

МОСТЫ

9

1962



МОСТЫ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

9

1962

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ ИЗ СССР (ЦОПЭ)

BRUCKEN

Hefte für Literatur, Kunst und Politik

Verlag ZOPE, München

BRIDGES

Literary-artistic and social-political almanach

ZOPE Publishing House, Munich

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК

В феврале 1921 года, в Петербурге, в Доме литераторов на Бассейной улице, были проведены «Пушкинские дни», приуроченные к 84-летию смерти поэта: 11 февраля А. А. Блок прочел речь «О назначении поэта» и М. А. Кузмин — стихотворение «Пушкин». 12 февраля А. М. Ремизов выступал с чтением глав из «Огненной России» и А. Г. Горнфельд с докладом «Два сорокалетия» (эти дни совпали с 40-летием смерти Достоевского). 14 февраля В. Ф. Ходасевич и Б. М. Эйхенбаум читали: первый — печатаемую ниже статью «Колеблемый треножник», второй — «Проблемы поэтики Пушкина». 17 февраля академик А. Ф. Кони читал доклад «Нравственный облик Пушкина». А. Ф. Кони также произнес вступительную речь (он был почетным председателем собраний), а Н. А. Котляревский — заключительное слово.

В сборнике, изданном в 1921 году Домом литераторов, были напечатаны: стихотворение Кузмина «Пушкин», речь Блока (вошедшая позже во все собрания его сочинений), речь Ходасевича, речи Кони, Эйхенбаума, Горнфельда, а также отрывок из «Огненной России». Речь Ходасевича была также напечатана в его сборнике «Статьи о русской поэзии» (Изд. «Эпоха», Петербург, 1922 г.) и больше, насколько нам известно, не перепечатывалась. Мы предлагаем ее вниманию наших читателей, к 125-летию со дня смерти Пушкина.

Р е д а к ц и я

В каждом художественном произведении мы находим ряд заданий, поставленных себе автором. Задания эти бывают различного порядка: философского, психологического, описательного и т. д. — до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью. Часто в процессе творчества одна такая задача оказывается разрешенной полнее, чем другие, как бы подавленные, приглушенные, несущие лишь служебную роль. Но самая наличность ряда проблем в художественном произведении неизбежна; в частности, стихотворец, по самой природе своего ремесла, не может себе поставить менее двух заданий, ибо стих содержит в себе по крайней мере два содержания: логическое и звуковое.

Одно из самых поразительных свойств пушкинской поэзии, может быть — одна из тайн пресловутой ее гармоничности, заключает-

ся в необыкновенном равновесии, с каким разрешает поэт эти параллельные задания. Поразительно, с какой равномерностью делит он между ними свое внимание, с какой исчерпывающей полнотой одновременно разрешает их все. В пьесе, которой смысл — благоговение мирной, домашней, трудовой жизни, с равным вниманием изображены и добрый домовой, к которому обращено стихотворение, и молитвенное смирение обитателя дома, и, наконец, самое поместье, с его лесом, садом, разрушенным забором, шумными кленами и зеленым скатом холмов. Задачи лирика, передающего свое непосредственное чувство, и фольклориста, и живописца разрешены каждая в отдельности совершенно полно. В читателе одновременно и с равной силой затронуты три различных чувства. Трехплановость картины дает ей стереоскопическую глубину.

Подобные ряды параллельных заданий можно вскрыть в любом из творений Пушкина, но нигде его мастерство не достигает таких вершин, как в поэмах. Здесь поражает не только мастерство в разрешении заданий, но и количество их. Можно составить длинный перечень тем, получивших полную и глубокую разработку, например, в «Медном всаднике». Это, во-первых, трагедия национальная в тесном смысле этого слова: здесь, как не раз указывалось, изображено столкновение петровского самодержавия с исконным свободолюбием массы; особый смысл приобретает эта трагедия, если на бунт бедного Евгения посмотреть, как на протест личности против государственного принуждения, как на столкновение интересов частных с общими; особый оттенок получит эта трагедия, если вспомнить, что именно пушкинский Петр смотрит на Петербург, как на окно в Европу: тут вскроется нам кое-что из проклятейшего вопроса, имя которому — Европа и мы. Но нельзя забывать, что «Медный всадник» есть в то же время ответ на польские события 1831 года, что бунт Евгения против Петра есть мятеж Польши против России. Наконец, как мне уже приходилось указывать, «Медный всадник» есть одно из звеньев в цепи петербургских повестей Пушкина, изображающих столкновения человека с демонами. Однако, сказанным далеко не исчерпаны задания поэмы. Прав будет тот, кто увидит в ней бесхитростную повесть о разбитых любовных надеждах маленького человека; прав и тот, кто выделит из поэмы ее описательную сторону и подчеркнет в ней чудесное изображение Петербурга, то благоденствующего, то «всплывающего, как Тритон», из волн наводнения, которое, само по себе, описано с документальной точностью. Наконец, мы будем неправы, если не отдадим должного Вступлению к поэме, как образцу блистательной полемики с Мицкевичем.

Но параллельные задания у Пушкина — тема большого, пристального исследования. Сейчас я коснулся ее затем только, чтобы на примере напомнить, как ряд заданий поэта придает его творени-

ям ряд параллельных смыслов. Пушкин показывает предмет с целого множества точек зрения. Вещам своего мечтаемого мира он придает такую же полноту бытия, такую же выпуклость, многомерность и многоцветность, какой обладают предметы мира реального. Поэтому к каждому из его созданий приложим целый ряд критериев, как он приложим к вещам, окружающим нас. Подобно тому, как художник, и геометр, и ботаник, и физик в одном предмете вскрывают различные ряды свойств, так и в творениях Пушкина разные люди усматривают разное — с равными на то основаниями. Воистину — творец Пушкин, ибо полна и многообразна жизнь, созидаемая его мечтой. Есть нечто чудесное в возникновении этой жизни. Но нет ничего ни чудесного, ни даже удивительного в том, что, раз возникнув, мир, сотворенный Пушкиным, обретает собственную судьбу, самостоятельно протекающую историю.

Исключительная многозначность Пушкина влечет за собой такую же исключительную многозначность его произведений. И если творения всех великих художников, заключая в себе ряды смыслов, вызывают соответственные ряды толкований, то творения Пушкина принадлежат к числу наиболее соблазнительных в этом отношении. Этот соблазн вытекает из самой природы пушкинского реализма. Так что, если к тому же мы примем во внимание естественное свойство критики отражать лицо критика, по крайней мере в такой же степени, как и лицо поэта, другими словами, если припомним, с какой неизбежностью произведения великих художников приобретают разные оттенки, значения, смыслы в глазах сменяющихся поколений и целых народов, то нам станет исторически понятно все многообразие смыслов, вскрываемых в произведениях Пушкина. Пушкина толковали и толкуют по разному. Но многообразие толкований есть, так сказать, профессиональный риск гениев — и надо признаться, что в последнее время неожиданность суждений, высказываемых о Пушкине, начинает бросаться в глаза. Правда, многое намечается верно и зорко, но многое поражает отдаленностью от того непосредственного и непредвзятого впечатления, которое дается произведениями поэта; многое, наконец, положительно идет вразрез с непререкаемой ясностью пушкинского текста. Я имею в виду отнюдь не сознательные передергивания и полтасовки, совершаемые ради литературной, а то и просто житейской корысти, — хотя, к несчастью и стыду нашему, бывает и так. Но такие явления случайны и ничего не говорят о внутреннем соотношении между Пушкиным и нашей эпохой. Зато глубоко показательными представляются некоторые безукоризненно добросовестные труды, в которых даются толкования, находящие слишком смутное подтверждение в пушкинском тексте, делаются обобщения, слишком смелые, высказываются гипотезы, слишком мало вероятные. Как один из примеров, со всевозможными оговорками, я бы все же решился на-

звать книгу Гершензона «Мудрость Пушкина», в высшей степени ценную и интересную по глубине и оригинальности многих мыслей. Немало верного сказано в ней о Пушкине, — а все-таки историк литературы Гершензон, выступая истолкователем Пушкина, оказался человеком слишком иного уклада, нежели сам Пушкин: Гершензон стоит уже на той незримой черте, которой история разделяет эпохи.

И Гершензон не один. С каждым днем таких критиков, большего или меньшего значения, является и будет являться все больше. Если, как я уже говорил, лицо великого писателя неизбежно меняется в глазах сменяющихся поколений, то в наши дни, да еще по отношению к бесконечно многосмысленному Пушкину, эта смена должна проявиться с особой силой. История наша сделала такой бросок, что между вчерашним и нынешним оказалась какая-то пустота, психологически болезненная, как раскрытая рана. И все вокруг нас изменилось: не только политический строй и все общественные отношения, но и внешний порядок, ритм жизни, уклад, быт, стиль. У нас новые обычаи, нравы, одежда, даже, если угодно, моды. Тот Петербург, по которому мы сегодня пойдем домой — не Петербург недавнего прошлого. Мир, окружающий нас, стал иным. Происшедшие изменения глубоки и стойки. Они стали намечаться еще с 1905 года, 1917-й только дал последний толчок, показавший воочию, что мы присутствуем при смене двух эпох. Прежняя Россия, а тем самым Россия Пушкинская, сразу и резко отодвинулась от нас на неизмеримо большее пространство, чем отодвинулась бы она за тот же период при эволюционном ходе событий. Петровский и Петербургский период русской истории кончился; что бы ни предстояло — старое не вернется. Возврат немислим ни исторически, ни психологически.

И вот, в применении к пушкинскому наследию, из создавшихся условий приходится сделать некоторые выводы. Мало того, что созданиям Пушкина предстоит претерпеть ряд изменений в сознании читателей. Об этих изменениях я говорил, только как о явственном признаке того, что Пушкин уже, так сказать, отделился от своего времени и вышел в открытое море истории, и ему, как Софоклу или Данте, предстоит обрасти толкованиями и комментариями. Должно произойти еще и другое.

В истории русской литературы уже был момент, когда Писарев «упразднил» Пушкина, объявив его лишним и ничтожным. Но писаревское течение не увлекло широкого круга читателей и вскоре исчезло. С тех пор имя Писарева не раз произносилось с раздражением, даже со злобой, естественной для ценителей литературы, но невозможной для историка, равнодушно внимающего добру и злу. Писаревское отношение к Пушкину было неумно и безвкусно. Однако ж, оно предсказывалось идеями, которые тогда носились в воздухе; оно до некоторой степени выражало дух времени, и, выска-

зывая его, Писарев выражал взгляд известной части русского общества. Те, на кого опирался Писарев, были людьми небольшого ума и убогого эстетического развития, — но никак невозможно сказать, что это были дурные люди, хулитаны или мракобесы. В исконном расколе русского общества стояли они как раз на той стороне, на которой стояла его лучшая, а не худшая часть.

Это было первое затмение пушкинского солнца. Мне кажется, недалеко второе. Оно выразится не в такой грубой форме. Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но — предстоит охлаждение к нему.

Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидным для всех. Нельзя и среди людей точно определить те крути, те группы людей, на которые падает его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова — не отщепенцы, не вырождаки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть ли не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распоролы немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей — и вот, вчера возвратились, разнося свою психическую заразу. Не они в этом виноваты, — но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти. Между тем, необходимость учиться и развиваться духовно ими сознается недостаточно, — хотя в иных областях жизни, особенно в практических, они проявляют большую активность.

И не только среди читателей: в поэзии русской намечается то же. Многие в Пушкине почти непонятно иным молодым поэтам, — потому, между прочим, что они не всегда достаточно знакомы со всем окружением Пушкина, потому что дух, стиль его эпохи им чужд, и остатков его поры они уже не застали. То же нужно сказать о языке. Быть может, они даже следуют пушкинскому завету учиться языку у московской просвирни, но просвирня сама уже говорит не тем языком. Многие оттенки пушкинского словаря, такие многочисленные для нас, — для них не более, как архаизмы. Иные слова, с которыми связана драгоценнейшая традиция и которые вводил в свой стих с опаской, не зная, имеешь ли внутреннее право на них, — такой особый сакраментальный смысл имеют они для нас, — оказываются попросту бледными перед судом молодого стихотворца, и не подозревающего, что еще значат для нас эти слова сверх того, что значат они для всех по словарю Даля. Порой целые

ряды заветнейших мыслей и чувств оказываются неизъяснимыми иначе, как в пределах пушкинского словаря и синтаксиса, — и вот это, заветнейшее, оказывается всего только «стилизацией»!

Нельзя не указать тут же и на воскресшее в последнее время отсечение формы от содержания и на проповедь главенства формы, подобно тому, как в пору первого затмения проповедовалось главенство содержания. И то, и другое одинаково враждебно всему духу пушкинской поэзии. Те, кто утверждает, что Пушкин велик виртуозностью своей формы, содержание же его — вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, — суть писаревцы наизнанку. Сами того не зная, они действуют, как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей.

Говоря все это, я имею в виду вовсе не футуристов, а представителей гораздо более «умеренных» литературных групп. Можно бы рассказать великое множество прискорбных курьезов, доказывающих, что прямое элементарное непонимание и незнание Пушкина есть явление, равно распространенное в молодой литературной среде, как и в среде читательской. Все это — следствие нарастающего невнимания к Пушкину; возникает оно из того, что эпоха Пушкина — уже не наша эпоха, а писателем древности он еще не сделался, так что научное изучение Пушкина, какие бы огромные шаги оно ни сделало, составляет еще достояние немногих. Важность и ценность такого изучения еще непонятны ни массовому читателю, ни массовому писателю. И вот, наивный юноша наших дней, равно читатель и молодой стихотворец, полагают, что Пушкин «попросту устарел».

То обстоятельство, что холодность к Пушкину вырабатывается не в колбах литературной лаборатории, что она обща и читателю, и писателю, — показывает, что она питается ежедневно возникающими условиями действительности. Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, т. е. происходят из причин, в литературно-общественном смысле органических. Причины эти не те, что были во дни Писарева, отстранение от Пушкина теперь по другому мотивируется, но оно может оказаться более прочным, распространиться шире и держаться дольше, потому что подготовлено историческими событиями огромного значения и размаха.

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубение во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры — ей предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина.

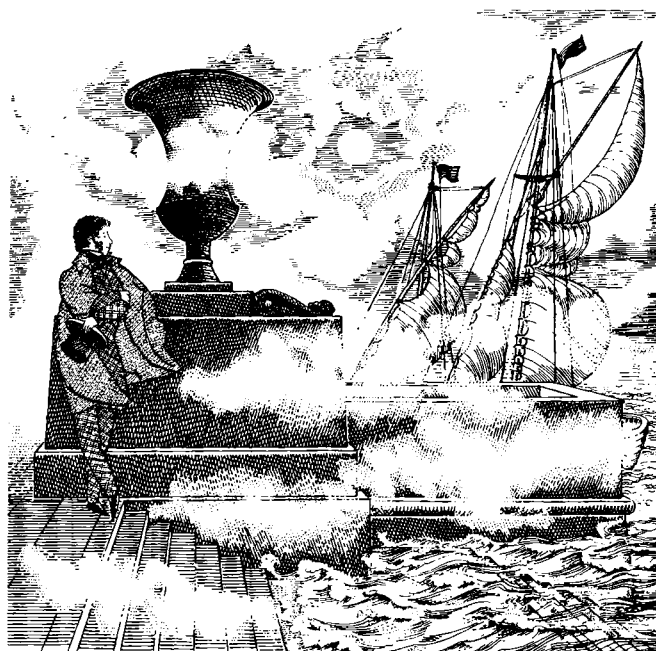


МЕДНЫЙ ВСАДНИК

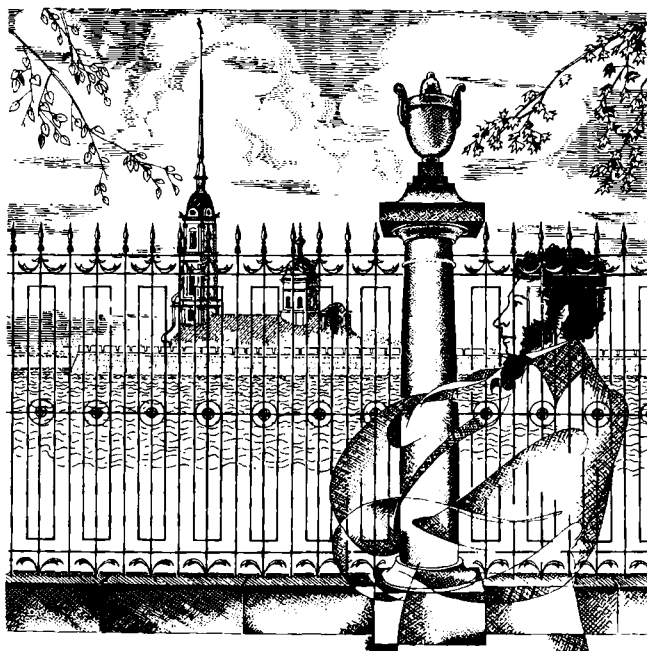
Иллюстрации
П. Шелестова (1962)

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой стройный, строгий вид...





Береговой ее гранит...



Твоих оград узор чугунный...

Но я был бы неоткровенен, если бы, заговорив об этом, высказался не до конца. Может случиться так, что общие сумерки культуры нашей рассеются, но их частность, то, что назвал я затмением Пушкина, затянется дольше — и не пройдет бесследно. Исторический разрыв с предыдущей, пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории. Та близость к Пушкину, в которой выросли мы, уже не повторится никогда. . .

Пушкин не дорожил народной любовью, потому что не верил в нее. В лучшем случае надеялся он быть любезным народу «долго» — отнюдь не «всегда»: «И долго буду тем любезен я народу» . . Охлаждение представлялось ему неизбежным и внешне выражающимся двояко: или толпа плюнет на алтарь поэта, то есть его оскорбляет и ненавидит, — или колеблет треножник его «в детской резвости». По отношению к самому Пушкину первая формула уже невозможна: «толпа» никогда не плюнет на алтарь, где горит огонь его; но следующий стих: «И в детской резвости колеблет твой треножник» — сбудется полностью. Мы уже наблюдаем наступление второго затмения. Но будут и еще. Треножник не упадет во веки, но будет периодически колебаться под напором толпы, резвой и ничего не жалеющей, как история, как время — это «дитя играющее», которому никто не сумеет сказать: «Остановись! Не шали!»

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль — и уступить место другим, уже напирającym сзади. Шумя и теснясь, толпа колеблет треножник поэта. Наше самое драгоценное достояние, нашу любовь к Пушкину, как горсть благовонной травы, мы бросаем в огонь треножника. И она сгорит.

О, никогда не порвется кровная, неизбежная связь русской культуры с Пушкиным. Только она получит новый оттенок. Как мы, так и наши потомки не перестанут ходить по земле, унаследованной от Пушкина, потому что с нее нам уйти некуда. Но она еще много раз будет размежевана и перепажана по-иному. И самое имя того, кто дал эту землю и полил ее своей кровью, порой будет забываться.

Отодвинутый в «дым столетий», Пушкин воскреснет там гигантским образом. Национальная гордость им выльется в несокрушимые медные формы, — но той непосредственной близости, той задушевной нежности, с какою любили Пушкина мы, грядущие поколения знать не будут. Этого счастья им не будет дано. Лицо Пушкина они уже не увидят таким, каким мы его видели. Это таинственное лицо, лицо полубога, будет меняться, как порою кажется, будто меняется бронзовое лицо статуи. И кто знает, что прочитают на нем грядущие люди, какие открытия они сделают в мире, созданном Пушкиным? Быть может, они разгадают то, чего мы не разгадали. Но многое из того, что видели и любили мы, они уже не увидят.

То, о чем я говорил, должно ощущаться многими, как жгучая тос-

ка, как нечто жуткое, от чего, может быть, хочется спрятаться. Может быть, и мне больно, и мне тоже хочется спрятаться, — но что делать? История вообще неуютна. «И от судеб защиты нет».

Тот приподнятый интерес к поэту, который многими ощущался в последние годы, возникал, может быть, из предчувствия, из настоятельной потребности: отчасти — разобраться в Пушкине, пока не поздно, пока не совсем утрачена связь с его временем, отчасти — страстным желанием еще раз ощутить его близость, потому что мы переживаем последние часы этой близости перед разлукой. И наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования, отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам переключаться в надвигающемся мраке.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

РОССИИ

Ты мне нужна, как ночь для снов,
Как сила для удара,
Как вдохновение для стихов,
Как искра для пожара.

Ты мне нужна, как для струны
Руки прикосновение,
Как высота для крутизны,
Как бездна для падения.

Так для корней нужна земля,
А солнце для лазури, —
Ты мне нужна, как воздух для
В громах летящей бури.

Нужна как горло соловью,
Как меч и щит герою,
Нужна в аду, нужна в раю, —
Но нет тебя со мною.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

Какая-то любовь не удалась
И не сбылась какая-то надежда,
В окне туман и на панели грязь,
А в книге мысль ученого невежды.

Брось книгу на пол, отвернись к стене
И, чувствуя тоску и холод в теле,
Уже сквозь сон, подумай о весне,
Которая придет в конце апреля.

Ты будешь ли еще смотреть в окно,
Иль будешь ты уже лежать в могиле,
Участвовать ты будешь все равно
В ее красе и радости и силе.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

Играй, играй, цыган проклятый,
Пой, неизбывная тоска!
Стакан вина в руке зажатый
Сияет и дрожит слегка.

Гитары томные напевы
И голос Маши неземной. . .
Друг или враг, садись со мной
И пей, и слушай голос девы.

И знай, что на путях земных
Бывают странные свиданья
И прозревай миров иных
Вот в этом кабаке сиянье.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

Н. М. Твардовской

Черное море шумит у пустых берегов,
Темные волны летят на высокие скалы,
На берегу остановится путник усталый
Смотрит на волны, на мутные гребни валов.

Капли соленые тихо плывут по лицу,
Так же, как я, ты бессильна слепая стихия,
Так же, как я, ты в пучины вернешься глухие,
Грозное море — и ты возвратишься к концу.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

ЭЛЕГИЯ

Еще я продолжаю жить
Безумно и однообразно,
Еще, скользя, не рвется нить
Меж пальцев Парки безобразной.

Еще я кое-что люблю
И иногда еще мечтаю,
Работаю, гуляю, сплю
И книги, иногда, читаю.

Но что-то в самой глубине
Во мне прошло иль изменилось,
На жизни медленном огне
Сгорело и испепелилось.

И будто сам себе чужой
Смотрю, почти без содроганья,
На потемневший образ мой
И слышу Парки бормотанье.

ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ

Когда останусь совсем один —
Покинут меня и жена и сын,
Друг отвернется, товарищ продаст,
На расстрел Россия меня отдаст
И в глазах уже больше не будет слез
— Я увижу крест, на кресте Христос.

Он прибитую руку от креста оторвет,
Чтоб коснуться моей груди
И опять тот же гвоздь Его руку пробьет
Для тех, кто еще впереди,
Для тех, чьи сердца в слезах и огне...
И никто уж не сделает больно мне.



2. 1. 1884 — 10. 3. 1937

Портрет работы П. Кустодиева

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

ВИДЕНИЕ

Водка была особенная, настоенная на щепотке чая с маленьким кусочком сахара. Иванов и Куколь поспорили, кто больше может выпить. Соседи стали подзадоривать, считать рюмки. Потом все забыли о них, но они уже вошли в азарт, ни один не хотел уступить. Они пили со злостью, упрямо, и каждый старался показать другому, что он трезв.

У Куколя очки сползали на нос, его мягкие лошадиные губы стали мокрыми. На меховом, заросшем бородой до глаз лице Иванова ничего не было заметно, но в голове у него стучала какая-то сумасшедшая кузница. Сквозь табачные облака он увидел беззубого маленького человека, который сидел на буфете под самым потолком, кричал, что он воробей и вил себе гнездо из газет.

Иванов никак не мог понять, мерещится ему это или на самом деле кто-то забрался на буфет. Ему стало неприятно. Он сказал Куколю, что идет домой. Куколь вдруг решил, что пойдет ночевать к Иванову, хотя Иванов жил черт знает где — на даче под Москвой. Но Иванов нисколько не удивился, и они выпили вместе, друг перед дружкой стараясь шагать как можно тверже.

В голове у обоих был такой же фантастический туман, какой сейчас, перед рассветом, накрыл всю Москву. Тусклые золотые купола висели в воздухе, как внезапно размножившиеся луны. Кремлевские башни превратились в вавилонские: их верхушки уходили в белую бесконечность. Иванову вспомнился человек на верху буфета и он осторожно спросил Куколя:

— А этого, на буфете, который гнездо вил — помнишь? Вот чу-дак!

— На буфете... гнездо? — вытаращил глаза Куколь. Потом спохватился и неуверенно сказал: — Да, да, помню.

Иванов понял, что он врет. Они пошли молча, искоса, испытующе поглядывая друг на друга.

Эти рассказ и очерк Е. Замятина, предоставленные нам вдовой писателя, ранее опубликованы не были. Мы помещаем их в ознаменование 25-летия со дня смерти Е. Замятина. (Ред.)

Кремлевские башни исчезли без следа. Туман стал еще гуще, он спустился на узкие переулки, как белый потолок, и переулки стали похожи на лабиринты метро. Иванов уже давно не понимал, где они идут, но не показывал виду, только шел все быстрее.

— Ну, где же это самое твое шоссе? Скоро? — спросил наконец Куколь.

— Сейчас, сейчас! — с притворной бодростью сказал Иванов.

И в самом деле, они перешли, спотыкаясь, через рельсы и выбрались на какое-то шоссе. Какое — Иванов не знал. Но Куколь успокоился, снял очки, даже зашел что-то.

Вдруг шедший впереди Иванов остановился, во что-то взгляды-ваясь, потом круто повернулся спиной к дороге и стал, зажмурив глаза. Куколь подошел.

— Что такое? — спросил он, ничего не понимая.

— Да нет, ничего особенного... — Иванов открыл глаза, он изо всех сил старался улыбнуться, но улыбка не вышла, губы у него дрожали.

— Ну, так идем. Чего же ты стал? — сказал Куколь.

Иванов вынул платок, тщательно протер глаза. Он медлил, он боялся: а что, если повернувшись, он снова увидит это? Но близорукие, прищуренные без очков, глаза Куколя с такой явной насмешкой глядели на него, что он собрался с духом и повернулся.

И справа, на пересекавшей шоссе дороге, он снова увидел это.

Уже рассветало, дул легкий ветер. Разорванный туман летел над полем длинными полотенцами. Впереди, отрезанный от земли, призрачный висел в воздухе черный лесок. И к лесу медленно приближался, колыхаясь вправо и влево... белый слон! Иванов попробовал идти с закрытыми глазами, но через минуту не вытерпел, со страхом открыл глаза — и снова увидел слона.

Его прошиб пот: ему стало ясно, что он дошел до галлюцинаций. Если бы не было этого проклятого Куколя, можно было бы сесть, с закрытыми глазами просидеть полчаса, пока не пройдет хмель и не исчезнет этот нелепый белый слон. Но Куколь весело напевал за спиной, Иванову во что бы то ни стало надо было идти вперед — туда, где в тумане плыл слон. И он шел, обливаясь потом, закрывая и опять открывая глаза и всякий раз снова убеждаясь, что галлюцинация продолжается. Он потерял всякое представление о времени: может быть, он шел так час, а может быть всего только пять минут.

До его сознания смутно дошло, что сзади, где напевая плелся Куколь, что-то такое изменилось. Потом он понял, что Куколь вдруг почему-то перестал петь. Иванов оглянулся и увидел: разинув рот, Куколь сквозь очки пристально глядел куда-то. Как толь-

ко он заметил, что Иванов смотрит на него, он торопливо сбросил очки.

— Я бы, знаешь, посидел бы... Покурим, а? — робко сказал он Иванову.

На краю шоссе лежал большой камень. Как будто сговорившись, оба сели спиной к лесу, около которого Иванову привиделся белый слон. Они молча курили, упорно, мучительно размышляя. Куколь несколько раз поднимал очки к глазам, потом, с опаской покосившись на Иванова, снова опускал их. Наконец не вытерпел, напялил очки, быстро глянул через плечо — и сейчас же отвернулся. Длинное лошадиное лицо его было бледно, испуганно.

Иванову пришла в голову дикая мысль, что у Куколя — тоже галлюцинация, что он тоже увидел что-то. Но что? Иванов не рискнул спросить, чтобы не выдать себя.

Догоревшая папироса обожгла Куколю палыцы — только тогда он очнулся, бросил окурки и сказал Иванову:

— Ну, что же, надо идти, а?

Но продолжал сидеть. Иванов сделал какое-то неопределенное движение ногами, как будто собирался встать, но не встал. Куколь с любопытством смотрел. Иванов обозлился на него, на себя, и вскочил, нарочно толкнув Куколя плечом.

Когда он повернулся и глянул вдаль — ему захотелось орать от радости: галлюцинация исчезла, впереди были только белые ленты тумана и черный лес. Он косолапо, по-медвежьи побежал к лесу, крикнув Куколю: «Догоняй». Но пьяные ноги слушались плохо, он плюхнулся в грязь. Догнавший его Куколь хохотал, запрокидывая голову вверх, — как курица, когда она пьет.

Весело болтая, они вошли в лес. Впереди была заросшая кустами горка, а потом дорога, должно быть, спускалась. Разогнавшись, они с разбегу взяли горку и побежали вниз, где как блюдо с молоком лежала налитая туманом круглая полянка.

И на повороте, будто наткнувшись на какую-то невидимую стену, оба враз остановились. Совсем близко на поляне Иванов снова увидел белого слона и ему показалось даже, что он успел разглядеть короткий, мирно помахивавший слоновый хвост. В галлюцинации ничего не было страшного, но Иванову страшно было убедиться, что он сходит с ума. Не оглядываясь, он побежал во весь дух. Сзади он слышал прерывающееся, хриплое дыхание Куколя.

В двадцати шагах под березой вился дымок: рябой, с облупленным носом красноармеец кипятил на костре чай. Облупленный нос — это было так просто, трезво, реально, что Иванов сразу опамтывался. Он, все еще тяжело дыша, присел возле костра и спросил:

— Вы, товарищ, в Москву? Служите там?

— Да, служба! Черт бы ее взял! — сердито плюнул красноармеец.

— А что? — участливо спросил Иванов, с нежностью глядя на облупленный нос.

— Да как же... сукин сын, а? На последней станции перед Москвой забунтовал, пришлось снять его с поезда.

— Кого — его? — осторожно вставил Куколь (он уже тоже сидел у костра).

— Да слона этого самого. Из Ливадии везем: сиамский царь нашему подарил, а теперь, значит, ввиду революции — в Москву, в зверинец... Белых у вас нету.

— Нету, нету! — восторженно подхватил Иванов. — Я еще издали на шоссе его увидал и обрадовался: вот, думаю, московским трудящим подарок! Спасибо, дорогой товарищ!

Он влюбленно стиснул руку удивленному красноармейцу, и пошел. Куколь за ним.

И молча, сконфуженно, стараясь не глядеть друг на друга, они зашагали через лес к шоссе.

О моих женах, о ледоколах и о России

Русских недаром обвиняют в легкости нравов: вот, например, я — двоеженец, и что еще хуже — не стесняюсь открыто, вслух заявлять об этом. В оправдание могу сказать только одно: я — не первый и не единственный, в истории русской литературы такие случаи уже бывали. Антон Чехов в своих письмах признался, что у него тоже было две жены: законная жена — медицина и незаконная — литература.

Мои две жены: техника и литература. И сегодня я хочу изменить литературе со своей старой, технической женой: я хочу написать... о ледоколах.

Ледокол — такая же специфически русская вещь, как и самовар. Ни одна европейская страна не строит для себя таких ледоколов, ни одной европейской стране они не нужны: всюду моря свободны, только в России они закованы льдом, беспощадной зимой — и чтобы не быть тогда отрезанными от мира, приходится разбивать эти оковы.

Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран, ее путь — неровный, судорожный, она взбирается вверх — и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая.

И так же ход ледокола не похож на движение приличного европейского корабля. Я даже не уверен, можно ли ледокол назвать кораблем. Корабль, как всем известно, существо морское, он идет только по воде, а ледокол — это амфибия, половину своего пути он делает по суше. По суше? Да, по суше, потому что лед — конечно, суша.

Люди, никогда не видевшие работы ледокола, обычно представляют себе, что ледокол режет лед носом, и поэтому, должно быть, нос у него очень острый, арийский. Нет, неверно: нос у него — русский, тяжелый, широкий, такой же, как у тамбовского или воронежского мужика. Этим тяжелым носом ледокол всползает на лед.

проламывает его, с грохотом обрушивается вниз, снова влезает вверх, и опять — вниз. Лыдины бьют в борта, скрежещут, ломаются с пушечным треском. Через лед нужно пробиваться, как через вражеские окопы. Это — война, борьба, бой, к счастью — не человека с человеком, а человека со стихией.

... И вдруг ледяные пушки замолкли, бой затих, все остановилось. Вы выскакиваете на палубу. Неожиданная тишина слышнее, чем грохот. Крутом развороченные, синие, ледяные внутренности, осколки, глыбы. И больно глазам от белизны еще не тронутых ледяных полей впереди.

Капитан на мостике ругается самыми крепкими русскими словами: оказывается, в боевом азарте мы зарвались, ледокол слишком далеко забрался на лед. Лед попался такой толщины, что выдерживает чудовищную тяжесть, трещит под ледоколом, но не сдается, не ломается. Нужно отступать и, вместо лобовой атаки, обойти ледяные укрепления с фланга. Но отступить не так-то легко: мы застряли, засели на льду. Шесть тысяч лошадей нашей машины, работающей задним ходом, пробуют стащить ледокол со льда назад в воду — и не могут. Машина бессильна, она не нужна, она остановлена, винт затих. Но какая-то жизнь идет в машинном отделении, там что-то готовится...

Проходит пять, семь, десять минут — и вдруг вы видите, что серая стальная амфибия-ледокол начинает медленно шевелиться на льду, тяжело клониться на один бок, потом на другой, и еще и еще раз... Если не знать ледокольных секретов — это кажется чудом. А секрет в том, что борта у ледокола — двойные, между наружным и внутренним бортом — пустое, ничем не заполненное пространство («бортовые цистерны»), и сейчас огромные центробежные насосы, каких не бывает ни на каком другом корабле, в несколько минут перекачивают тысячи тонн воды с одного борта на другой, чтобы расшевелить, раскатать застрявшую амфибию.

Но вот уже снова кипит вода за кормой — это заработал гребной винт, и снова кипит на мостике капитан: мы засели слишком крепко, раскатка не помогла. Чтобы слезть со льда и двинуться дальше, нужно пустить в ход другие средства, например... якоря.

Позвольте: якоря, чтобы двинуться? Всем известно, что якоря на корабле служат для того, чтобы корабль прочно стоял на месте! Да, да! Но на этом парадоксальном корабле, на ледоколе, есть особые, «ледяные» якоря, и они для того, чтобы двигаться.

Эти ледяные якоря спущены теперь на лед сзади ледокола, их зацепили за ледяные глыбы, и вот уже бегут назад, к кораблю, по снегу черные человеческие муравьи. Снова гудят колоссальные

насосы в машинном отделении: теперь они перегоняют всю воду в корму, в кормовую цистерну — и корма ледокола медленно тяжелеет, оседает, и нос поднимается вверх. Готово. — Полный задний ход! — командует капитан. Винт бурлит — и одновременно начинают гроыхать лебедки ледяных якорей: лебедки эти, вместе с машинной гребной винта, изо всех сил тянут назад, в воду, застрявший ледокол.

И, наконец, капитан снял фуражку и, отдуваясь, вытирает пот со лба: ледокол выбрался из плена, он свободен. Пятясь задом, он отступает. Разбитые льдины снова шуршат и скрипят под бортами. Это отступление — только для того, чтобы найти у врага слабое место и снова начать бой. . .

Но случается и так, что сверкающие, бесстрастные, беспощадные ледяные поля обложили ледокол прочной блокадой, нигде никакого слабого места, никакой лазейки не найти. Тогда ледокол начинает работать, так сказать, «подпольным методом»: пускают в ход гребной винт, глубоко, незаметно для глаза затряпанный в носовой части ледокола; сильно и умело направленная струя воды постепенно размывает, разрыхляет, подтачивает лед снизу. И к моменту следующей атаки ледяной враг уже ослабел — как слабеют разложенные агитацией воинские части. Лед не выдерживает натиска, ледокол прорвался, помог на этот раз носовой винт. . .

Внимательный читатель, вероятно, уже схватился за этот «носовой винт» и пробует остановить зафантазировавшегося автора: где же это видано, чтобы винт у корабля был не в корме, а в носу? Да, ни на одном нормальном корабле вы этого не увидите, но от ледокола всего можно ждать, даже носового винта вдобавок к кормовому.

«Подпольная работа», как известно, всегда дело рискованное. И не менее рискованна работа носового винта на ледоколе: как этот винт не законспирирован, льдины все-таки часто умеют найти его и обломать крепкие стальные лопасти. Правда, на ледоколе всегда есть водолаз, вот он уже стоит у борта, одетый в свой скафандр и похожий в этом костюме на морлоков Уэллса. Через час он кончит свою работу — поставит на винт, вместо сломанной, запасную лопасть. Но как поручиться, что еще через час лопасть опять не сломается? Сейчас поэтому предпочитают строить ледоколы без носового винта, тем более, что у ледокола всегда остается тот способ, каким пользуются русские бабы, если у них исчерпан весь запас ругани: они поворачиваются к неприятелю задом, подняв свои юбки. Так и ледокол: когда ему приходится трудно, он поворачива-

ется ко льду кормой и размывает лед кормовым винтом, вместо носового.

Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие ребра и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра — «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно — нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной пассивной прочности для этого все же еще было бы мало: нужна особая хитрая увертливость, похожая на русскую «смекалку». Как Иванушка-дурачок в русских сказках, ледокол только притворяется неуклюжим, а если вы вытащите его из воды, если вы посмотрите на него в доке — вы увидите, что очертания его стального тела круглее, женственнее, чем у многих других кораблей. В поперечном разрезе ледокол похож на яйцо — и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль.

Их еще мало, их всего только штук двенадцать на четыре русских моря. Дед всех ледоколов — это «Ермак», и это самый большой из построенных до сих пор ледоколов. Дед «Ермак» жив и работает до сих пор: так прочно и надежно строили англичане в те годы, когда еще прочен и надежен был их фунт стерлингов. Построен был «Ермак» на заводе Армстронга в Нью-Кастле, а основы проекта этого первого ледокола были разработаны адмиралом Макаровым, погибшим во время русско-японской войны.

После «Ермака» новых ледоколов в России долго не строили, и только незадолго до мировой войны появился у Ермака потомок — «Царь Михаил Федорович». Как и подобает, этот царь после революции, конечно, тоже свергнут, и называется как-то иначе — не помню как, но хорошо помню самый ледокол: через мои руки проходили его проекты. Поставщиками этого царя (как и многих других наших царей) были немцы: ледокол этот был построен на верфи «Вулкан» в Штетине.

И затем во время войны — сразу целый выводок, целая стая ледоколов: «Святой Александр Невский» — после революции превратившийся в «Ленина», — «Красин» — до революции «Святогор», два близнеца — «Минин» и «Пожарский» (не помню их новых имен), «Илья Муромец» и штук пять маленьких ледоколов.

Все эти ледоколы были построены в Англии, в Нью-Кастле и на заводах около Нью-Кастля; в каждом из них есть следы моей работы, и особенно в «Алекса́ндре Невском» — он же «Ленин»: для него я делал аванпроект, и дальше ни один чертеж этого корабля не попадал в мастерскую, пока не был проверен и подписан: „Chief surveyor of Russian Icebreakers' Building E. Zamiatin“.

«Ленина», никак не подозревая, что корабль будет носить это имя, строил завод сэра Армстронга (в свое время строивший «Ермака»). Часто, когда я вечером возвращался с завода на своем маленьком Рено, меня встречал темный, ослепший, потушивший все огни город: это значило, что уже где-то близко немецкие цебелины и скоро загрохают вниз их бомбы. Ночью, дома, я слушал то далекие, то близкие взрывы этих бомб, проверяя чертежи «Ленина», и писал свой роман об англичанах — «Островитяне». Как говорят, и роман, и ледокол вышли удачными. Ледоколыщики (критики более строгие и более компетентные, чем литературные) считают «Ленина» едва ли не лучшим из всех русских ледоколов. С ним конкурирует только знаменитый «Красин» (к постройке которого, кстати сказать, я имел меньше отношения, чем к постройке других ледоколов).

Но, все-таки, — что же это? Оказывается, все «русские» ледоколы импортированы в Россию из-за границы? Да, но при ближайшем рассмотрении многое, что кажется сейчас специфически российским, оказывается импортным материалом. Даже — марксизм, родившийся, как известно, на германской территории. Даже... самовары, которые — как теперь установлено — были в ходу у китайцев еще тысячи за две лет до Рождества Христова. Но фактам — грош цена: самовары все же навсегда останутся русскими.

Пусть они построены за границей, пусть их пока только двенадцать, но они делают свое дело: в мертвом, глухом, равнодушном льду — они пробивают дорогу от Европы к России. И сейчас, когда по улицам гуляют в легких пальто, там, среди бескрайних ледяных полей, команда ледоколов работает без отдыха, там сейчас идет атака. Каждый из ледоколов делает совершенно то же самое трудное дело, какое так прославило «Красина». «Красин» был только удачливей, чем другие ледоколы: из-за неудачника Нобиле за работой «Красина» следили миллионы глаз, имя «Красина» обошло весь мир. Другие ледоколы — то же, что «неизвестные солдаты» во время войны.

Но разве дело «неизвестного солдата» меньше, чем известного? По-моему, даже больше: «неизвестный» не получает за свое дело платы звонкой монетой славы.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

О Т Л И В

Украдкой море удалилось,
От черных скал отведено,
Для всех — на милость и немилость —
Открыв обманутое дно.

Слова, как лужи, тнилью пахнут.
Мой дар, ты жив или не жив?
И ты глазам земли распахнут,
Как иссякающий залив.

Брожу. Ракушки ноги колют.
В корытце каменном вода.
Лежит в теплеющем рассоле
И задыхается звезда.

И блекнут водорослей пятна,
И сохнет мелкий водоем. . .
О, как мы все волны обратной
В смертельном обмороке ждем!

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

Бессильны легонькие весла
И лодка вдруг побеждена,
По берегам помчались ветлы
И громом стала тишина.

И белой пылью водопадной
Клубится гибель впереди. . .
И знаешь: это беспощадно.
И шепчешь: Боже, пощади! . .

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

МУЗЕ

В сердце постоем стала
Властная жалость,
А для тебя в нем мало
Места осталось, —

Лишь уголок укромный
В дальней светлице,
Чтобы моей бездомной
В нем притулиться.

Темен твой угол, тесен.
Что же, родная!
Жалость не хочет песен,
Не понимает.

ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА

1918

Склон в сухой польни
И соленый зной.
Помнишь, морок синий
Плоской полз волной?

Наши скалы щупал,
Трогал берег наш,
Чуть толкая трупы
На пологий пляж.

Было море ярко
И ворсила гладь,
Но земля подарка
Не могла принять.

Море ж ей твердило:
Ох, не лицемерь, —
Тех, что породила,
Мучила, убила,
Забирай теперь!

ГАЙТО ГАЗДАНОВ

НИЩИЙ

Наверху, на Елисейских полях, где в это зимнее время уже с четырех часов дня зажигались световые рекламы и освещались витрины огромных кафе, шли ледяные дожди со снегом, а внизу, в длинных переходах метро, воздух был теплый и неподвижный. Посередине одного из этих переходов, всегда на том же самом месте, стоял старый, оборванный человек без шляпки, с грязно-розовой лысиной, вокруг которой, над висками и над затылком, торчали во все стороны седые волосы. Как большинство парижских нищих, он был одет во что-то бесформенное. И его пальто и его штаны имели такой вид, точно они никогда не были другими, как будто их сделали по заказу именно такими, с этими мягкими складками, с этим отсутствием сколько-нибудь определенных линий и контуров, как платье или рубище, в которое одевались бы люди, принадлежащие к какому-то другому миру, а не к тому, который их окружал. Этот человек стоял недалеко от слепого юноши, игравшего на гармонии целыми часами одну и ту же мелодию — «Болеро» Равеля, между двумя рекламами: на одной был изображен ухмыляющийся усатый мужчина, державший в руке чашку кофе; марка и качество были указаны внизу, в том месте, где тело этого человека было отрублено прямой линией, под которой было сказано, что лучшего кофе не бывает. На второй рекламе юная блондинка с блаженно счастливым выражением фарфорово-розового лица развешивала на веревке простыни мертвенно-белого цвета, выстиранные в теплой воде, куда был всыпан особенный порошок, придающий белью невиданную белизну. Огромные бумажные листы с этими рекламами годами висели на одном и том же месте, так же, как годами там стоял старый нищий, такой же неподвижный, как усатый мужчина с чашкой кофе и блондинка с застывшей на бумаге рукой, протянутой к простыне. Но он не видел этих реклам; вернее, они не вызывали никакого отражения в его глазах и если бы его спросили, что было на этих листах бумаги, он не мог бы вспомнить.

Но его никто ни о чем не спрашивал. Уже много лет, с тех пор, как он стал нищим, одной из особенностей его существования было то, что он почти перестал говорить, не только оттого, что он этого не

хотел, а еще и потому, что в этом не было никакой необходимости. Слова, и их значение, так же давно потеряли для него свой прежний смысл, как все то, что предшествовало его теперешней жизни. Однажды он увидел брошенную кем-то газету: она лежала на сером полу коридора метро и на первой ее странице огромными буквами были напечатаны слова: «Война в Корее». Он посмотрел на газету своими тусклыми глазами и не запомнил ни этого сочетания букв, ни их значения. Этой войны, за которой следили миллионы людей во всем мире, для него не было, как не было и ничего другого, кроме его собственного длительного бреда, через который он медленно и неуклонно приближался к смерти. Иногда, когда он выходил ночью из метро и шел по безлюдным улицам Парижа, через весь город, к тому пустырю на окраине, где стоял огромный деревянный ящик, в котором он ночевал, его останавливали полицейские и спрашивали, как его зовут, где он живет и есть ли у него деньги. Не глядя на тех, кто задавал ему эти вопросы, он отвечал, что его зовут Густав Вердье и что он живет возле Porte d'Italie. Потом он вынимал из кармана и показывал им несколько кредитных билетов, всегда одних и тех же. Полицейские отпускали его и он продолжал свой путь. Поздней ночью он добирался до своего ящика, отворял досчатую дверь, запиравшуюся на крючок, нагибался, входил и сразу ложился на матрац, служивший ему постелью. Этот ящик достался ему после того, как старик, такой же нищий, как и он, который сам себе его построил и откуда-то достал матрац, умер летней ночью от сердечного припадка и его через несколько дней обнаружили полицейские, которые узнали о его смерти потому, что было жарко и труп старика начал разлагаться. И когда ящик освободился, Густав Вердье вошел туда и с тех пор там оставался. Ящик был пропитан трупным смрадом, к которому он привык и который потом постепенно менялся, приобретая все новые и новые оттенки. От вони в ящике сначала захватывало дух; но затем становилось легче, так, точно в этом отравленном воздухе устанавливалось какое-то неопределимое равновесие между опасностью задохнуться и возможностью дышать. В этом ящике, от старика, который в нем умер, осталось небольшое зеркало из полированной стали — все, что отражалось в нем, приобретало холодный металлический оттенок; осталась еще свеча, коробка серных спичек, тазик для воды, маленькое ведро, выщербленная бритва, кусок мыла и серая тряпка, сквозь которую был виден свет и которая служила ему полотенцем. Все это, входившее в то последнее представление о мире, которое старик унес с собой в могилу, было на картонной коробке из-под консервов, кроме ведра, стоявшего в углу. Больше у старика не было ничего.

Все это — и ящик с матрацем, и долгие часы в переходах метро, и медленные ночные странствования через заснувший город, и то,

что большинство людей, которых он встречал или которые проходили мимо него, явно его сторонились и смотрели на него невидящим взглядом, как смотрят на пустое место, все это представлялось ему в течение последних месяцев и недель в крайне смутных и неверных очертаниях, точно сквозь пелену тумана. Он давно уже забыл о том, что можно испытывать желание есть: голодать ему никогда не приходилось, всегда были деньги на кусок хлеба, сыр и вино; кроме того, ранним утром в мусорных ящиках, стоявших на улицах, было легко найти остатки пищи, выброшенной хозяйками; на центральном рынке достаточно было пройти небольшое пространство, чтобы набить свою сумку овощами, подобранными с земли. Но теперь ему, чтобы насытиться, нужно было очень мало. Он засыпал и просыпался с одним и тем же шумом в голове, который начался в последнее время и сквозь который все другие звуки доходили до него заглушенными и неясными. Иногда у него было такое ощущение, что его грудь вдруг охватывалась точно железным обручем, он начинал задыхаться и все, что было вокруг него, сразу тонуло в этом ощущении боли и переставало существовать. Тогда он закрывал глаза и прислонялся к стене, почти теряя сознание. Но через несколько минут боль отпускала, он опять открывал глаза и мутно смотрел перед собой, на серые стены, окружающие его, на людей, которые проходили мимо, на рекламы, которых он не видел. Он уже давно перестал не только обдумывать что бы то ни было, но и думать вообще; это было то же самое, что исчезнувшая необходимость говорить. И в этой немой и бездумной жизни оставалась только смена ощущений — шум в голове, боль, сон, зуд кожи от укусов насекомых, тяжелая вонь ящика, которую он чувствовал, входя туда после долгого пребывания на воздухе, холод, жара, жажда.

И вот, в последнее время к этому прибавилось что-то новое; это тоже было ощущение, но очень особенное, ледяное и неотступное. И тогда он впервые за все последние годы сделал над собой усилие, от которого давно отвык, подумал об этом и сразу понял и значение шума в голове и ощущение железного обруча вокруг груди. Он вспомнил свой возраст — ему было семьдесят шесть лет, — и ему стало ясно, что долгая его жизнь подходит к концу, и что этого ничто не может теперь изменить. С этого дня, стоя в коридоре метро, то закрывая, то открывая глаза, он вновь начал думать о том, что занимало его мысли много лет тому назад. Это было бесконечно давно, задолго до того, как он стал таким, каким он был теперь. Вопрос, который в то время неотступно стоял перед ним и на который, как он знал это и тогда и теперь, не было и не могло быть ответа, — это был вопрос о том, какой смысл имела его жизнь, зачем она была нужна и для какой таинственной цели возникло это долгое движение, которое теперь привело его сюда, в этот теплый

каменный туннель под Елисейскими полями. Сквозь шум в голове он опять услышал ту мелодию, которую играл слепой юноша с гармонью. До сих пор он был настолько далек от окружающего, что воспринимал эту музыку, как механическое раздражение слуха, не отдавая себе отчета в том, что это такое. Теперь он вдруг узнал эту мелодию и вспомнил, что это было «Болеро» Равеля, которого еще в прежнее время он терпеть не мог; ему всегда казалось, что в этом тупом повторении одних и тех же варварских звуков, в их дикарском и примитивном ритме было что-то, действующее на нервы. «Болеро» вызывало у него почти физическое отвращение. Когда он это слышал последний раз? Он сделал усилие и вспомнил, что это было очень давно, на концерте. Он отчетливо увидел перед собой концертный зал, фрак дирижера, его лысую голову, ряды кресел, множество знакомых лиц, мужских и женских, которые возникали перед ним или в черно-белых рамках смокингов, воротничков и галстуков, или в вялых цветах напудренной кожи женских шей и плеч, обрывавшихся там, где кончались платья, над вырезанными линиями которых сверкали разными световыми отливами ожерелья. Он вспомнил, как судорожно дергался дирижер в ритм музыки и такими же дергающимися движениями вверх и вниз по струнам скрипок подымались и опускались смычки. Он сидел тогда во втором ряду, не поворачивая головы в сторону жены, чтобы не видеть ее лица и холодно-глупого выражения ее глаз. Был декабрьский вечер с таким же ледяным дождем, как теперь, но в концертном зале было теплее, чем в переходах метро. После концерта был ночной ресторан, белое вино и устрицы, и в ресторане ему было так же неприятно, как в концертном зале и он с тоской смотрел, как неумоимо действовали толстые пальцы его жены, которыми она держала раковины, и думал о том, когда он наконец вернется домой и останется один с ощущением иллюзорной и кратковременной свободы. И вот, это возвращение домой, в тот пригород Парижа, где находился особняк, в котором он жил, то, что он входил в свою спальню и затворял за собой дверь — это в сущности было похоже на его возвращение в тот ящик, где он жил теперь, с той разницей, что теперь он был свободен.

Слепой юноша перестал на некоторое время играть и «Болеро» умолкло. Старик продолжал думать, все стараясь понять что-то, как ему казалось, необыкновенно важное, возможность какого-то объяснения всего, которое от него ускользало. Он был теперь свободен — потому, что он был никому не нужен; у него не было ни имущества, ни денег, ни возможности какого бы то ни было влияния где бы то ни было, ни возможности кому бы то ни было, чем бы то ни было помочь или повредить, одним словом ничего, что связывало бы его с другими людьми и устанавливало какую бы то ни было зависимость между ним и ими. У него даже не было име-

ни, потому что людей с его фамилией были тысячи и тысячи, так что она становилась почти анонимной и никому в голову не могла прийти мысль, что нищий с грязно-розовой лысиной и окружавшим ее бордюром седых волос, стоявший в коридоре метро под Елисейскими полями, и тот Вердье, который был на концерте, где исполнялось «Болеро» Равеля, и об исчезновении которого много лет тому назад писали все газеты, могут иметь между собой что-то общее. О причинах этого исчезновения никто не догадался и ни одно из тех предположений, которые высказывались тогда в газетных статьях, не имело никакого отношения к действительности — самоубийство, неудержимая страсть к какой-то неизвестной женщине, двойная жизнь, которая этому предшествовала, состояние дел. Дела оказались в полном порядке, никакой двойной жизни не было, как не было ни страсти, ни неизвестной женщины. Люди, которые принадлежали к той же среде, что и он, не были бы способны понять, как такой человек, как Вердье, мог отказаться от жизни, которую он вел, и стать бродягой и нищим — без того, чтобы его вынудили к этому какие-то повелительные причины, — банкротство, разорение, помещительство, алкоголизм. Но ничего этого не было — и поэтому, в области тех понятий, которые определяли все возможности поступков в этой среде, не было и не могло быть никакого объяснения тому, что произошло. В этой среде были, однако, люди так называемых передовых взглядов; некоторые из них писали исторические или социологические исследования о причинах той или иной революции, или бунта обездоленных людей против своей судьбы и тех, кого они считали в ней виновными, против класса собственников. Но никому из авторов таких исследований не могла прийти в голову мысль, что возможен добровольный отказ от того самого благосостояния, во имя проблематического достижения которого совершались — по их мнению — революции. И настолько естественно было представить себе бедного, который стремился к благосостоянию или богатству, настолько неестественно было вообразить обратное движение, т. е. богатого, который стремился бы стать бедным. Вердье прекрасно понимал это. Из этих слов — богатство, бедность и бунт, — можно было составить разные сочетания; но главное слово, это все-таки было слово «бунт». У Вердье не было никакой ненависти к богатству и никакого стремления к бедности или нищете. Но всю свою жизнь — до тех пор, пока он не добился свободы, отказавшись от того, что другие считали величайшим благом — он безмолвно и постоянно бунтовал против той системы насилия над ним, которая его окружала со всех сторон и которая заставляла его жить не так, как он хотел, а так, как он должен был жить. Никто никогда его не спрашивал, хочет он этого или не хочет. Это было неважно, этого вопроса не существовало. Существовала фирма «Вердье и сын»,

которая производила точные измерительные приборы для металлургических заводов. В этой фирме были служащие и рабочие, начиная от директора и кончая подметальщиками. И фирма эта принадлежала Вердье, сначала отцу, потом сыну. У владельца этой фирмы было множество обязательств по отношению к самым разным людям, так или иначе с ним связанным. Был дом, была жена, были дети, прислуга, шофер, пожертвования, банковские операции, приемы, театры, концерты, переговоры с депутатами парламента, знакомства, выслушивание докладов о положении дел, о реорганизации того или иного отделения, необходимость быть там-то в таком-то часу, отвечать на такую-то речь, говорить об экономической эволюции, ехать в поезде, на автомобиле, на пароходе, лететь на аэроплане туда-то или туда-то, останавливаться в такой-то гостинице, читать такую-то газету, иметь суждение о таких-то композиторах или художниках, — вот как выглядела та система постоянного насилия над ним, из которой он долго не видел выхода. Он мог, конечно, развестись с женой, хотя в его положении и возрасте и по отношению к его детям — взрослому сыну, молодому инженеру, который уже начинал лысеть, и дочери, полнощечкой девушке с холодными, как у матери, глазами и пронзительным голосом, — этого не следовало, казалось бы, делать. Он мог развестись, хотя это вызвало бы целый ряд новых осложнений. Но кроме этого, развод не избавлял его от других обязательств, которые оставались бы такими же. До тех пор, пока он учился, сначала в лицее, затем в университете, до тех пор, пока он, как выражался его отец, не «вступил по-настоящему в жизнь», он почти не страдал от этой системы насилия, хотя уже тогда он ставил себе тот вопрос, на который никогда не мог найти ответа и который мучил его всю жизнь: какое таинственное и непостижимое соединение миллионов и миллионов разных причин или случайностей определило сперва его появление на свет, а потом его жизнь, каков был смысл этого и чем он отличался от смысла существования других людей? И если этого смысла не было — что казалось наиболее правдоподобным, — то что было вместо этого? Пустота? С другой стороны, если не существовало понятия смысла, то значит не существовало морали. Но если бы не было морали, то было бы то, о чем кто-то сказал, что, не будь угрозы возмездия, полиции и государственной власти и люди действовали бы, как это свойственно их природе, то на земном шаре остались бы только развалины, трупы и беременные женщины. Но тогда выходило, что мораль — это государство и полиция, то есть воплощение коллективной охраны, инстинкт самосохранения общества, а так называемая индивидуальная мораль — это страх, наследственность, брезгливость, но отнюдь не блистательное и совершенное отражение смысла и назначения человека на земле. В молодости, когда он об этом думал, это была

в сущности отвлеченная проблема. А когда произошло «вступление в жизнь», это с самого начала приобрело тот трагический характер, по сравнению с которым все, что предшествовало этому периоду, казалось идиллическим и счастливым. Как все это могло случиться? Вердье вспомнил, как он вернулся из Англии, куда его отправил в свое время отец, считавший, что он должен кончить университет именно там, в Оксфорде. Ему было двадцать четыре года и его интересовало многое — музыка, живопись, литература, философия. Меньше всего он думал о делах и в этом не было необходимости. Он собирался стать писателем, ему казалось, что именно в этом его призвание, и он все искал сюжета для своего первого романа — и только потом, значительно позже, понял, что ни при каких обстоятельствах он писателем не стал бы, — именно потому, что искал сюжета. Не найдя сюжета, он стал думать о необходимости написать нечто вроде трактата об особенностях английской прозы, но и в этом дальше нескольких фраз не пошел. В июле следующего года, через два дня после того, как он приехал на юг, где собирался провести лето, он получил телеграмму, в которой было сказано, что его отец тяжело заболел. И когда он вернулся домой, он увидел только труп отца, который умер накануне от апоплексического удара. Потом были похороны, речи, введение в права наследства и затем началось то закрепощение, от которого нельзя было уйти, все эти бесконечные обязательства и все, что было с ними связано. Через несколько месяцев он понял, что — до тех пор, пока это будет продолжаться, — у него никогда не будет времени на то, что называется личной жизнью. Его мать, здоровье которой стало хуже и хуже, говорила ему слабым голосом, что семья Вердье должна иметь наследника, надо подумать о том, что жизнь не ждет, годы идут и так далее, словом, необходимо жениться. И с такой же неизбежностью, с какой Вердье присутствовал на похоронах своего отца, которого он, в сущности, мало знал, потому что когда был мальчиком, он редко его видел, так как отец был всегда занят, а позже видел его еще меньше, потому что учился и жил за границей, — с такой же неизбежностью он потом присутствовал на своей собственной свадьбе; со своей будущей женой он был знаком в общем недолго и потом спрашивал себя, как все это произошло. Только позже он нашел на это ответ, в одинаковой степени печальный и нелестный для себя. В ней была тогда, в то время, несмотря на холодную пустоту ее глаз, — ту самую пустоту, в которой позже он отчетливо увидел уже нечто другое, что без колебания определил, как глупость, — в ней была, — в ее движениях, в линиях ее тела, — какая-то животная и теплая привлекательность. Это было одно. Второе, это то, что с самого начала их знакомства она вела себя с непоколебимой уверенностью в том, что все должно произойти именно так, а не иначе, как будто

это не могло быть по-другому, как будто все было ясно и заранее определено, и так как это все равно было неизбежно, то Вердье тоже невольно усвоил этот же тон и когда он вдруг подумал, что он собирается сделать нечто важное, чего он совсем не хочет, то было уже слишком поздно. Может быть это было не совсем так, но так казалось ему теперь и он подумал, что память семидесятишестилетнего старика не может восстановить тех чувств, которые он испытывал тогда, когда ему было двадцать пять лет и когда он был другим, в сущности, человеком. Может быть это было не так, может быть было все-таки какое-то чувство, забытое совершенно безвозвратно, и которое было значительно слабее, чем, например, воспоминание о вкусе устриц после концерта, на котором исполнялось «Болеро» Равеля. Потом у него были любовницы, покорно раздевавшиеся, когда он приходил к ним по вечерам. Он и тогда знал, что ни одна из них его не любила по-настоящему, и это было понятно: у него самого никогда не было ни неудержимого тяготения к женщине, ни того чувства любви, о котором он столько читал в книгах. Было вместо этого нечто вроде физической жажды, досадной, утомительной и раздражающей; и когда жажда была утолена, от всего этого оставался только неприятный осадок и больше ничего. Позже он понял, что он был слишком беден душевно, чтобы испытать настоящее чувство, и в течение некоторого времени эта мысль была ему очень неприятна. Но потом он перестал об этом думать.

Он вспомнил, что у него была репутация очень доброго и щедрого человека, который помогал всем, кто обращался к нему за помощью. Но и это было неверно: он не был, в сущности, ни добр, ни щедр. Он действительно никому не отказывал, но поступал так потому, что его раздражали люди, рассказывавшие ему скучными словами о своем бедственном положении, которое его совершенно не интересовало. Он всегда спешил избавиться от этих разговоров и охотно давал сумму, о которой его просили. Кроме того, денег ему действительно не было жаль, но не потому, что он был щедр, а оттого, что он никогда не понимал, как люди могут придавать им какую-то особенную ценность, которой они не имеют. Ему деньги были нужны только для других, — жены, детей, служащих его фирмы, еще кого-то, но не для себя.

Вдалеке, за поворотом длинного коридора, прошумел последний поезд метро. Вердье сдвинулся со своего места, медленно поднялся по лестнице и вышел на Елисейские поля. Дождя с жидким снегом больше не было, но дул ледяной ветер. Волоча ноги по холодным плитам тротуара, он опять начал свое долгое путешествие через город, туда, где кончались, возле *Porte d'Italie*, освещенные места и где чернел пустырь, на котором стоял его ящик. Он шел знакомой

дорогой, не глядя по сторонам и продолжал думать о тех вещах, которые, казалось, давно и безвозвратно были похоронены и забыты, но которые теперь опять возникали перед ним. Когда ему было около пятидесяти лет и когда все, что он вынужден был делать, его утомляло и раздражало, когда не осталось даже того небольшого, в чем он раньше находил некоторое удовлетворение — особенный оттенок во вкусе вина в ресторане, ощущение мягкой постели, в которую он ложился поздним вечером, блаженное состояние, когда он чувствовал, что сейчас заснет, — в этот период времени он опять начал читать. До этого, в течение многих лет, он читал только газеты. Теперь он взялся за книги, те самые, которые он читал когда-то в университете и содержание которых тогда так захватывало его. Теперь это все изменилось до неузнаваемости. Вернее, изменилось не то, что было в этих книгах. Нет, это было гораздо трагичнее. По мере того, как он читал разных авторов, он убеждался в том, что он потерял способность понимать те побуждения и чувства, которые заставляли героев этих произведений совершать те или иные поступки. Зачем нужно было жертвовать всем в своей жизни, чтобы добиться богатства или власти? — потому что богатство не имеет ценности, а власть создает утомительную ответственность. Зачем воевать? — потому что всякая война бессмысленна. Зачем нужно было Гамлету убивать Полония? Зачем люди шли на лишения и смерть, особенно на смерть, которая все равно придет, рано или поздно, и которую незачем торопить? Зачем проводить бессонные ночи, думая о том, что моя возлюбленная оставила меня и ушла к другому и зачем пытаться удерживать ее, потому что даже если бы это удалось, то ее присутствие не имело бы больше никакой ценности? Зачем завидовать и, главное, чему можно завидовать? Это был единственный период его жизни, когда в его существование ворвалось что-то действительно по-настоящему трагическое, потому что именно тогда он почувствовал, что все кончено. Он думал об этом — тогда, много лет тому назад, — весь день, с утра, и все не мог дождаться той минуты, когда он останется один, поздно вечером, у себя. И когда эта минута наконец наступила, он лег в кровать — и вдруг понял, что именно отличает его и от героев книг, которые он читал, и от тех людей, которые его окружали. Он невольно сравнил себя с деревом, у которого сохранился ствол, но внутри ствола все сгнило, осыпалось и умерло. Ему казалось, что в теперешнем его существовании было что-то, похожее на то, как если бы он нес в нем свою собственную смерть. Жить это значит иметь желания, к чему-то стремиться, что-то защищать. У него ничего этого не было. У него, правда, оставалось одно желание — свободы. Но и в этом тоже не было никакой ценности. Свобода была ему нужна не для того, чтобы иметь возможность сделать что-то, чего он без нее сделать не мог. То, что казалось ему тогда

стремлением к свободе — было просто отказом от всех многочисленных обязательств, которые лежали на нем, отказом от того мира, в котором он жил и в котором он не находил ничего, что оправдывало бы его пребывание в нем или как-то искупало бы это. Он неоднократно слышал и читал о том, как люди начинали жизнь сначала, какую-то вторую, новую жизнь. Но у него на это не было сил, да кроме того, он просто не видел, ради какой цели, ради чего стоило бы начинать нечто новое, — то есть опять какие-то усилия и другие обязательства. Он перебирал — в тысячный раз — те факторы, которые побуждают людей к труду или подвигам: тщеславие, стремление к богатству или власти, любовь к женщине, любовь к своей стране и желание принести ей пользу, наконец, любовь к ближним и желание им помочь или облегчить их участь. Из всего этого единственное, что казалось ему достойным, была любовь к ближним. Но искусственно создать ее было нельзя. С другой стороны, так же невозможно было продолжать жизнь, которую он вел, в которой среди множества обязательств самым тягостным было обязательство лгать всем, кто его окружал, и всем вообще, с кем он встречался. Лгать это значило делать вид, что он такой же человек, как они и что он готов до конца выполнять свою роль. Ему было нелегко принять то решение, которого так никогда и не понял никто. Он не знал, как сложится потом его жизнь. Но он знал, что в том мире, где он жил до того, он больше оставаться не мог.

И вот теперь, пересекая Париж ночью и направляясь к своему ящику, он думал обо всем этом. Ему было трудно идти, в ушах звенело, болели ноги. В ясном, холодном воздухе зимней ночи фонари казались ему мутными световыми пятнами. Он сел на скамейку и сразу заснул. Ему снилось, что он идет по снежному полю, сквозь метель, что ему очень холодно и что чей-то насмешливый голос говорит ему фразу, которую он никак не может понять, но эти звуки и эти слова все больше и больше приближаются к нему и, в последнюю секунду, кто-то требует, чтобы он повторил эту фразу. Он сделал усилие над собой и наконец повторил эти слова, которые он тотчас же забыл опять. Он проснулся и снова заснул. Потом он проснулся во второй раз, поднялся со скамьи и снова начал шагать, почти уже вслепую, в том направлении, которое он так хорошо знал. Он чувствовал, как подгибаются под ним ноги, так, точно их кости стали мягкими, как уходит из-под них земля, но он все-таки продолжал идти, ценой необыкновенного и бессознательного усилия воли. Ему казалось, что прошли целые часы, пока он добрался наконец до своего ящика и свалился на матрац.

Когда он открыл глаза, он увидел, что сквозь щели досок проходил дневной свет. Он поднялся, с удивлением чувствуя, что его

вчерашнее недомогание прошло. Выпив глоток мутной воды, которая оставалась в ведре, он вышел наружу. День был серый, было теплее, чем накануне. Все, о чем он думал, вспомнилось ему с необыкновенной ясностью и единственное, что оставалось еще, это сделать какие-то окончательные выводы. Но это было труднее всего. Вопреки очевидности, вопреки тому огромному расстоянию, которое отделяло его — такого, каким он был теперь — от того, каким он был раньше, было ясно, что вся его жизнь — и тогда и теперь — все-таки, несмотря ни на что, имела какой-то смысл и отличалась определенной последовательностью. В том, что он сделал, бросив свой дом и став бродягой, случайность, о которой он часто думал, не играла никакой роли. «Развалины, трупы и беременные женщины». Нет, не только они. Кроме них остались бы люди — такие, как он: те, у кого нет обычных страстей, обычных стремлений, определяющих человеческую жизнь, те, кто никогда не мечтал стать ни генералом, ни маршалом, ни епископом, ни депутатом, ни банкиром, ни бухгалтером, ни Дон Жуаном, ни героем, ни владельцем ненужного состояния, те, в ком едва мерцает бледный и вялый огонь, который может потухнуть каждую минуту. Вот, в сущности, то, что следовало сказать о нем и о таких, как он. Он родился нищим и никакое состояние — то, которое оставил ему отец, — и никакие обстоятельства — те, в которых он так долго жил, — не могли этого изменить. И если что-либо в его жизни было случайным, то это не то, что было теперь, а то, что было раньше: «Вердье и сын».

Он дошел до входа метро на Елисейских полях, спустился по лестнице, стал на свое обычное место и опять услышал «Болеро». Какой смысл имела его жизнь? Впервые за все время ему было ясно: он выполнил свое назначение на земле. Чья-то высшая воля, — если допустить что она существует, что, конечно, может считаться ничем не доказанной гипотезой, но с другой стороны так же невозможно доказать, что ее нет, — чья-то высшая воля определила его судьбу: избежать соблазнов и страстей и прожить на земле положенный срок, как животное или растение, до той минуты, когда этой жизни придет конец. «Блаженны нищие духом...» Он вдруг увидел перед собой картину, которую он запомнил. Он видел ее в городе Бон. На ней был изображен день Страшного суда: из растрескавшейся земли поднимаются к свету голые тела людей; некоторые уже вышли по пояс, у других только видны руки, которыми они раздвигают землю, засыпавшую их могилы.

Он стоял на своем месте, в коридоре метро, и беззвучно смеялся — первый раз за много лет. Они хотели сделать из него почтенного гражданина, кавалера ордена Почетного легиона? владельца предприятия? может быть депутата? может быть министра? И никто

из них не мог понять такой простой истины, что он был бесконечно далек от всего этого, и то, во имя чего люди страдали, совершали подвиги или преступления или просто подлости, — что для него все это не существовало. Он принадлежал к другому миру. Он был не похож на тех, кто его окружал, и в этом был смысл его жизни. Он ни у кого этой жизни не просил. Он ничего ни от кого не требовал, — ни от той высшей воли, о которой он начал думать в последние дни, ни от людей. Но мир, такой, каким он должен был его принять, и каким принимали его окружающие, находившие в нем какую-то законченность и справедливость — этот мир был ему одновременно враждебен и чужд. Он всегда чувствовал, что там ему не место и что ему нечего делать среди этих людей. Ему дана была жизнь и в ней он не находил ничего, за что стоило бы бороться или что следовало бы удерживать, что оправдывало бы какое-либо усилие. Он был согласен существовать, потому что иначе было нельзя и об этом опять-таки никто его не спрашивал. Но втиснуть это существование в те рамки, в которых оно должно было проходить — этого он не мог и не хотел.

Никогда все не казалось ему так ясно, как теперь. И с такой же ясностью он почувствовал, что жизнь медленно уходит из него. Ему становилось трудно дышать, очертания предметов теряли свою определенность, свет неоновых трубок в туннеле метро начал ему казаться серым. Но он не испытывал ни страха, ни сожаления: нечего было бояться и уж конечно не о чем было жалеть. И в этом медленном возвращении в небытие был даже какой-то соблазн, сладость неудержимого приближения к вечности, — того, о котором он думал, когда был юношей, но которого он не мог себе тогда представить. Опять настала ночь, опять он вышел из метро, чтобы вновь начать свое долгое странствие через Париж, быть может, одно из последних, как он думал. Но сделав несколько шагов, он снова почувствовал железный обруч, сжимавший ему грудь с такой беспощадной силой, какой он никогда до тех пор не испытывал. Он хотел крикнуть и не мог, потом все ухнуло и исчезло. Он не чувствовал, как его поднимали, как его положили в санитарный автомобиль, как его везли в больницу.

Несколько дней он был в бреду, так как у него оказалось, помимо всего, еще воспаление легких, сопровождавшееся высокой температурой. До него смутно доносились иногда отрывки из «Болеро», сквозь которые вдруг прорывались могучие трубные звуки, значения которых он не мог понять. Доктор, который на следующее утро подошел к его кровати, остановился и прислушался с удивлением: нищий старик, которого вчера подобрали на улице, говорил так, точно он возражал какому-то воображаемому собеседнику. Но он го-

ворил на очень чистом и правильном английском языке. Когда он пришел в себя, на третий день, доктор спросил его:

— Откуда вы знаете английский язык?

Вердье посмотрел на него своими невыразительными, потухшими глазами и ответил, что кончил университет в Англии.

— В Англии, — сказал доктор, — вот в чем дело.

Глубокой ночью Вердье, числившийся под номером сорок четвертым, проснулся оттого, что, как ему показалось, его позвал чей-то повелительный голос. Больной поднялся с кровати, стал босыми ногами на каменный пол, сделал несколько шагов, упал и умер.

Но в те двадцать четыре часа, которые отделяли утро того дня, когда доктор спросил больного, откуда он знает английский язык, от утра следующего дня, огромная административная машина пришла в действие, и то, чего до сих пор не знал никто, стало известно. И в одной из вечерних газет была напечатана статья, где все было объяснено: нервное потрясение Вердье, сопровождавшееся потерей памяти, и его внезапное исчезновение. Высказывалось предположение, что он провел много лет за границей и вернулся во Францию только тогда, когда вдруг вспомнил все, что предшествовало его душевной болезни.

После этого тело Вердье было потребовано его наследниками. Состоялись торжественные похороны, и Вердье был погребен в фамильном склепе. Его имя было написано золотыми буквами на тускло сверкавшей плите темно-серого мрамора. Завершение его жизни было внешне именно таким, каким оно должно было быть, и это было, в конце концов, победой того мира, из которого он ушел четверть века тому назад. Это можно было назвать победой этого мира, — но только в том случае, если допустить, что смысл слова «победа» перерастает пределы человеческой жизни и проникает туда, где нет ни пределов, ни жизни, ни смысла, ни слов.

Ф О Р Т Ы

Были утки. Чернели овраги,
Проносились, играя, стрижи,
Шелестели рулоны бумаги
И ложились на лес чертежи.
Пахло тесом в бревенчатом доме,
В окнах пенился белый поток,
Наклонялся французский геометр
Над неконченным планом фортов.
По соседству с порогом веселым
Стукотня топоров и пила.
Разбежались по рвам частоколы
И траншея в траве поползла.
В хриплый говор вечерних дозоров
Через узкие щели бойниц
Входят куперовские озера
Плеском листьев и шорохом птиц.
Пуля свистнула вкось рикошетом,
По-французски ругнулся капрал,
На бегу разбирали мушкеты,
Бросив карты спешили на вал.
Приступ шел по следам готовален,
Парень в красном валился в окоп,
Офицерскую перевязь рвали
На повязки для жмурых стрелков.

Там, где циркуль чертил полукружья,
Где линейка прорезала лес,
Длинноствольные фыркали ружья,
И таился в кустах ирокез.
Там теперь только тусклые даты,
Только яркий по склонам газон,
Только отблеск хрустальных закатов
Над притихшим простором озер.
Чтобы ты свои мысли узнала
По порогам и по камышу,
Я тебе от бобровых завалов,
От фортов приозерных пишу.

1961

ВЕСНОЙ

Когда тебе улыбка губы тронет,
Меня охватит голосами птиц,
На сыроватом от дождя балконе
Сияние пойдет от половиц.
Пойдут стихи. За стеклами окошек
Раскроется сияющий закат
И выплеснутся книги из обложек,
И выйдет в сад страница и строка.
Раздвинутся пропорции и стены,
И я увижу, что препятствий нет,
Концепции построятся в системы,
И заживут движением планет.
И обернется шорохом зеленым,
Просторной влагой обернется лес
И каждый лист забьется миллионом
Веселых торопящихся сердец.
Когда тебе улыбка губы тронет,
Пронижет солнце светом этажи,
Сойдя с листа поднимутся в бетоне,
В железных скрепах станут чертежи.
Весна ворвется ветреным порывом,
Прохватывая листья с высоты.
Смотри, твоя улыбка растворилась
И стала жизнью солнца и воды.

1961

СОН В ЛЕСУ НА РАССВЕТЕ

Вода озер, прозрачная как совесть,
Сквозь листья смотрит на меня в упор.
Как мне с тобой хитрить? Куда я скроюсь
От пристальной наивности озер?
Я выдан им. Мне защищаться нечем,
Я каждым шорохом изобличен.
Весь лес — глаза. Весь лес очеловечен,
Весь лес в едином слове заключен.
Проглядывают птичьи голоса
Сквозь муть рассвета над зеленым полем,
Лежит в траве белесая роса
Озябшая от нежности и боли.
Нет времени. Есть только полусон;
Нет логики. Есть только птичий шорох,
И лес в бреду глядит в твое лицо,
Без счета повторенное в озерах.

1961

ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ

Э С Т А Ф Е Т А

Мы прочно встали на водоразделе,
Водораздел просторен и высок,
Он перед нами прошлое расстелет
И вести будущего донесет.
Сквозь грохот войн, сквозь взрывы в черной пене,
Сквозь слизь траншей и глину волчьих ям
Мы прадедам кивнем сквозь поколения
И руки им протянем, как друзьям.
Грановский и Киреевский. . . За ними
Прохладный Запад ровно золотист,
За ними в колокольном переливе
Свободной грудью дышит романтизм.
Любовь и дружба. . . В ровных плитах камень,
Гремит собор, звучит просторный неф
И летний вечер, как в хрустальной раме,
Спокойно гаснет в стрельчатом окне.
Безудержные споры до рассвета,
Где совершенством бредит каждый вздох,
Колонны. Парки. Университеты,
Просторный взлет сороковых годов.

Н. БЕРБЕРОВА

МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА

ПЬЕСА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ, ПЯТИ КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

СЕРГЕЙ СОМОВ
ОЛЬГА СОМОВА
ДО

АГАР-БЕН-МОСЕД
ЛЕДА
ЕВГЕНИЯ

ПАТРИКЕЕВ

Действие происходит в одной из европейских столиц в наши дни.
Антракты после второй и четвертой картины.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Большая комната, меблированная уютно и со вкусом. Налево — два широких окна. Прямо, в середине, небольшая арка, ведущая в маленькую переднюю, в задней стене которой видна дверь на лестницу. Справа, ближе к рампе, дверь в столовую, и в дальнем углу — во внутренние комнаты.

Левая часть пола покрыта, поверх бобрика, персидским ковром. Диван, кресла, столики, радиоаппарат. В правой половине — тоже диван, кресла, книжная полка, пианино, письменный стол, стеклянный шкафчик с чайной посудой. Телефон. На стене — яркий натюрморт Боннара.

При поднятии занавеса на сцене темно, только за аркой в передней горит лампочка. Оба окна задернуты плотными занавесями. Первое окно не пропускает света. Второе, закрытое более небрежно, пропускает мерцающие цветные огни городских реклам. На потолке дрожит отсвет, но уличного шума не слышно. Поздний вечер.

Несколько секунд сцена остается пустой. В двери на лестницу поворачивается ключ. В переднюю входят Сомов и До. Сомов закрывает за собой дверь. До входит в комнату, Сомов за ней, в пальто и шляпе. Он

поворачивает выключатель у арки. Зажигается мягкий свет у левого дивана. Остальная часть комнаты в полумраке.

Едва войдя, До останавливается. Сомов бросает шляпу и пальто на кресло и подходит к До. На ней старый дождевик, шарф, под дождевиком яркая бархатная юбка и черный джемпер. Она без шляпы, в туфлях без каблуков. Длинные светлые волосы падают ей на лицо.

Сомов (*хочет обнять До, она отстраняется*). Вы здесь. . . у меня. . . Как мне благодарить вас за сегодняшний вечер? За то, что вы согласились прийти сюда? Маленькая девочка, снимите скорей ваш уродливый дождевик.

До (*руки в карманах*). Я сама.

Сомов. Я помогу вам (*Расстегивает ей пояс*). Не шевелитесь, я буду играть с вами, как с куклой, хотите? (*Смеется, стаскивает с нее дождевик, вынимая ее руки из карманов*). Скажите: «папа», «мама». Где вас заводят? А ну покажите! (*Поворачивает ее во все стороны, хочет обнять, она отступает*).

До. Сколько вам лет?

Сомов. Пятьдесят. И пожалуйста, не накидывайте мне лишнего, как всегда делают. Я говорю правду.

До. Почему? (*Осматривается*).

Сомов. Почему я говорю правду? Не знаю. Так привык. Стараюсь, когда могу, не врать. А вы разве нет?

До. А вашей жене вы тоже всегда говорите правду?

Сомов. До сих пор говорил. Моя жена — замечательная женщина, она все понимает. Иногда даже слишком хорошо.

До (*садится под лампу, на левый диван*). Примерное супружество.

Сомов (*садится у ее ног на ковер*). Это вопрос? Когда вы задаете вопросы, у вас это так звучит, будто вы не спрашиваете, а утверждаете.

До. Я очень редко что-нибудь спрашиваю. Люди обыкновенно сами все мне рассказывают.

Сомов. Я уже столько сегодня вечером рассказал вам о себе. Вам не было скучно? Вам понравился ресторан? А музыка?

До молча кивает.

Сомов. Не отнимайте рук. У вас совсем детские руки, До, детские пальцы. И ножки детские. И маленькая грудь. И все это — молодость. Вы даже не подозреваете, что это за сила: человек не может жить без нее.

До. Сколько раз в жизни вы уже это говорили другим?

Сомов. Никому и никогда. Вы верите мне? Впрочем, вы конечно не верите. Вы думаете, что я напал на вас, точно враг, из-за угла, заранее рассчитав свое нападение. Что у меня есть план, опыт. . .

Д о. Я ничего не думаю.

С о м о в. У меня нет опыта. Я никогда, с тех пор, как перестал быть молодым, не держал в объятиях молодость. *(Обнимает ее)*.

Д о *(неподвижна)*. Вы выпили за ужином.

С о м о в. Да, а вы разве нет?

Д о. Я могу много выпить, мне ничего не делается.

С о м о в *(не слушает ее)*. Вы, кажется, только что хотели посмеяться надо мной, над Ольгой и нашей жизнью? Вы правы, впрочем, все это может показаться смешным: за восемнадцать лет моей жизни с Ольгой я никогда не искал другой женщины. И она тоже... другого мужчину.

Д о. Никогда не говорите за других.

С о м о в. Смешная маленькая девочка! Между нами была большая любовь.

Д о. Была?

С о м о в. Была и есть. Все это трудно объяснить, да и надо ли? Зачем вам знать? Давайте лучше поговорим о вас.

Д о. Обо мне говорить нечего. Я живу на свете — вот и все.

С о м о в. Когда я увидел вас в первый раз у ван Дайнов, я подумал: с таким лицом, с такой красотой и чистотой, какая здесь должна быть душа.

Д о. Это вам теперь так кажется. Ничего этого вы тогда не думали.

С о м о в. Я даже Ольге сказал...

Д о. Проболтались?

С о м о в *(нежно смотрит на нее)*. Скажите мне, как вы попали к ним? Вы часто к ним ходите?

Д о. Была один раз и не думаю, что еще пойду: я никого там не знаю. Я и их почти не знаю. Все было так случайно.

С о м о в. В вас есть что-то ангельское в облике. Помните, есть такая картина итальянская: хор ангелов поет вокруг святой Цецилии, которая играет на каком-то инструменте. Там есть один ангел слева... *(Обнимает ее)*. От вас пахнет молодостью, дайте мне подышать... вами... *(Осторожно пытается притянуть ее с кресла на ковер. Она слегка сопротивляется, волосы закрывают ей лицо)*.

Д о. Значит, до сих пор Ольга все еще прекрасна? Как это интересно.

С о м о в. Интересно?... Но время шло. Я даже не знаю теперь, когда я начал... Может быть в ту минуту, когда я встретил вас.

Д о *(с любопытством)*. Вы почувствовали, как будто надвигается какая-то катастрофа?

Сомов, медленно перетянувший До с дивана на ковер, целует ее волосы.

Д о. Это персидский ковер или турецкий?

Сомов. Я расскажу вам целую историю про этот ковер, но сначала я поцелую вас. (*Целует ее*).

До. Теперь расскажите историю.

Сомов (*держа ее в объятиях*). Этот ковер персидский. Когда-то дети ткали в Персии эти ковры. Чем тоньше пальцы, тем сложнее и пестрее узор. Четырехлетние дети ткали, и шестилетние, и восьмилетние. Ткали, пока не слепли. Теперь это запрещено. Они целыми днями сидели на маленьких табуретах и перебирали пальцами узелки. Больше двух лет они не выдерживали. Теперь там новое законодательство и больше нет слепых детей.

До (*зевает*). Уж поздно. Мне пора домой.

Сомов. Нет, я не пушу вас. . . Мы сейчас будем пить кофе. Вы еще ничего не рассказали мне о себе. Где вы живете? Одна?

До (*лежа в его объятиях*). Я живу одна и совсем не похоже на то, как тут.

Сомов. Как же тут?

До. У вас на стене Боннар, а у меня совсем другие картины.

Сомов. Какие же?

До. Такие, какие я люблю. Знакомых художников. Я им позирую.

Сомов. Когда я вас слушаю, я чувствую, что никогда уж не смогу забыть вашего голоса.

До. Я когда-нибудь вам спою.

Сомов. Спойте сейчас! Я и не знал, что вы поете. Радость моя, каким вы меня делаете счастливым. До!

До. Я здесь.

Сомов. Как мне благодарить вас за то, что вы пришли? Сегодня, когда Ольга уехала и я позвонил вам — каких хитростей мне стоило узнать вашу фамилию у ван Дайнов! — когда я наконец добился вас, я уже знал, что вы сделаете меня счастливым.

До. Когда она уехала?

Сомов. В шесть часов.

До (*играя своими волосами*). Надолго?

Сомов. До понедельника. Так значит вас рисуют художники. И вот эти глаза, и вот эти волосы.

До. Всю меня. Я люблю позировать.

Сомов. А где же ваши родители? Почему вы одна?

До. Потому что мне так нравится. (*Освобождается из его объятий*). А что если я прожгу папиросой этот ковер?

Сомов. Зачем?

До. Я иногда люблю портить красивые вещи.

Сомов. Прожигайте, если хотите.

До встает, закуривает и медленно идет по комнате. Останавливается у книг. Сомов следит за ней.

Сомов. Хорошо на вас смотреть, когда вы двигаетесь.

До. Какие у вас странные книги. Они достались вам по наследству?

Сомов. Нет, это наши... мои книги. Почему?

До. Так. Я никогда не думала, что приду в гости к человеку, который читает такие книги.

Сомов. Я и пишу книги сам тоже. И тоже странные.

До. О чем?

Сомов. О португальском средневековье.

До *(равнодушно)*. А!

Сомов. Если вы любите портить иногда красивые вещи, то не изорвете ли вон тот журнал на столике: там моя статья с чудными репродукциями реставрированной часовни XIII века?

До. Спасибо. Я сама выбираю, что мне портить. *(Сомов подходит к ней)*.

Сомов. Маленькая девочка может портить и ломать все, что ей хочется, пока она здесь. Никаких запретов.

До. Зеленый свет? Можно проехать?

Сомов. Ну конечно. *(Страстно целует ее. Она не сопротивляется)*.

До. Сережа.

Сомов. Назовите меня еще раз так.

До. Сережа. *(Поцелуй)*.

Сомов. Теперь я не отпущу вас больше от себя.

До *(насмешливо)*. До понедельника? *(Отходит от него. Подходит к двери, ведущей во внутренние комнаты)*. А что там?

Сомов. Там комнаты... А вы ведь очень скоро забудете меня, завтра забудете. Ведь так?

До. Я вообще стараюсь как можно меньше помнить. Один раз я забыла, как звали моего отца.

Сомов. А как его звали?

До. Зачем вам знать?

Сомов. Он жив?

До *(не отвечает, берет в руки хрустальную пепельницу)*. Я никогда в жизни не видела такого безобразного предмета. Вот уж его я наверное никогда не сломаю. *(Включает радио. Тихая музыка)*. Вы любите Александра Корта?

Сомов. Кто это?

До. Вы не знаете Корта? Это гениальный писатель, новый, страшно талантливый. О нем все теперь говорят. Он написал роман, который сочинил, пока плавал в Тихом океане. И записал его. И ни одного слова не изменил потом.

Сомов. Если он записал его, пока плавал, то каким образом рукопись не вымокла? Она должна была ужасно вымокнуть.

Д о. Вы не поняли меня: он записал роман в голове, а потом уже во второй раз на берегу, по-настоящему.

С о м о в. Чудная, необыкновенная история! Расскажите мне еще что-нибудь, расскажите этот роман. Или про самого автора. Или про Тихий океан. Если бы вы знали, как вас весело слушать.

Д о (*обойдя комнату, подходит к первому окну. Прислушивается*). Мне вдруг стало страшно грустно, почему-то. (*Тушит папиросу, вынимает из кармана другую*). Дайте мне спичку.

С о м о в (*подает ей*). Отчего вам стало грустно? Маленькая девочка, почему?

Д о. Я сама не знаю. Со мной это бывает иногда. (*Сомов опять уводит ее на диван*).

С о м о в. Вам никогда не должно быть грустно. Посмотрите на меня: вам не смешно, что я так счастлив?

Д о. Оставайтесь со мной рядом. Не уходите. Теперь прошло. Около вас не страшно.

С о м о в. Вам бывает страшно?

Д о. Как здесь хорошо. Как тихо. (*Сидят обнявшись*).

С о м о в (*целуя ее волосы и руки*). Не думайте ни о чем печальном. Это может быть музыка виновата? Хотите, я закрою радио?

Д о. Мне все равно. Нет, не уходите. Так значит вы ученый? Археолог?

С о м о в. Да, что-то вроде этого. Я долго жил в Португалии перед войной.

Д о. Совсем один?

С о м о в. Нет, я никогда не расставался с Ольгой. Мы жили вместе и вместе работали в маленькой заброшенной часовне. А вокруг — каменщики, штукатуры, художники, фотографы... Они теперь продолжают, но уже в другом месте. И я поеду скоро. И может быть вы поедете со мной?

Д о. Вам никогда не бывает скучно?

С о м о в. Если бы вы знали Ольгу, вы бы поняли, что с ней никогда не может быть скучно.

Д о. Поцелуйте меня. (*Он целует ее*). Еще. (*Целует*). Теперь идите и готовьте кофе.

С о м о в. Мне расхотелось готовить кофе. (*Обнимает ее*).

Д о. Сережа, пожалуйста, дайте мне кофе. Мне холодно.

С о м о в. А что мне за это будет?

Д о. А что бы вы хотели?

С о м о в. Чтобы вы меня когда-нибудь позвали к себе в гости, посмотреть, как и где вы живете.

Д о. Нет, я не думаю, чтобы это было возможно.

С о м о в. Так я приду без приглашения.

До. Уходите. Нет, подождите. . . Скажите мне что-нибудь. Вы любите меня?

Сомов. Я люблю вашу молодость. Я две недели ждал этого вечера. Больше я ничего не могу вам сказать.

Уходит. До остается сидеть на диване. Курит медленно и думает.

Несколько секунд До одна. Внезапно занавес первого окна осторожно раздвигается и из-за него выходит Ольга в пальто. До окаменев смотрит на нее, но не делает ни одного движения. Ольга быстро подходит к ней.

Ольга (*торопясь*). Не пугайтесь. Не бойтесь меня. Я не уехала. Я осталась, чтобы быть здесь. Я знала, что он приведет вас, я не вполне была уверена, что это будете непременно вы, но я знала, что кто-то здесь сегодня будет. Мы слишком долго были близки и чувствуем каждую мысль другого. Нам почти невозможно скрыть что-либо друг от друга. (*Делает несколько шагов к двери, на пути машинально выключает радиоаппарат*). Не бойтесь. Вы нравитесь мне. Нет времени объяснять вам, что такое наша общая с ним жизнь. Я должна торопиться, он может войти. Я хочу сказать вам, чтобы вы ни на что не надеялись. Мне не хочется, чтобы вы обманулись: он никогда не оставит меня. Никогда не будет такой минуты, когда бы он вас предпочел мне. Ему нужна ваша молодость, не вы сами. Вы сами не знаете, как вы прелестны, но этого недостаточно, чтобы разрушить то, что есть между мною и им. Прелестное не может разрушить прекрасное. (*Идет к арке в переднюю. До следит за ней глазами*). Я могла бы остановить все это, но я не мешаю судьбе. Помните: не вам будет жаль меня, а мне будет жаль вас. (*Выходит через арку и дверь на лестницу. Неслышно закрывает дверь. Долгая пауза. До неподвижна*).

Сомов входит с подносом в руках. На подносе две чашки, ликер, рюмки, бисквиты.

Сомов (*весело*). Почему прекратилась музыка?

До (*с трудом*). Не знаю.

Сомов (*ставит поднос на столик перед До*). Что с вами?

До (*медленно*). Ничего.

Сомов. Почему у вас такое лицо?

До. У меня самое обыкновенное лицо.

Сомов. Маленькая девочка, когда я был маленьким мальчиком — потому что я им когда-то был — мой отец заставлял меня говорить ему три желания, из которых он по своему выбору исполнял одно. Скажите мне три желания, и я исполню все три.

До. Я хочу идти домой.

Сомов (*сидясь рядом с ней*). Нет, До, я не пущу вас. . . Вы останетесь со мной. . . Здесь пахнет гарью. . . Здесь что-то горит!

До (*спокойно*). Это вероятно горит ваш ковер. Я уронила папиросу.

Сомов достает из-за дивана окурок. До равнодушно смотрит на него.

Сомов. Что случилось?

До. Ровно ничего. В мире давно уже ничего не случается.

Сомов. В мире все время случаются катастрофы.

До. Вы их видели? Вы в них участвовали?

Сомов. Я...

До. Катастрофы случаются где-то далеко-далеко, куда нас не приглашают.

Сомов. А вы были бы рады принять участие в какой-нибудь катастрофе?

До. Я уже много лет ничему не радуюсь.

Сомов. Хотите, я научу вас радоваться? Пойдем к зеркалу, посмотрите на себя: глядя на вас нельзя не радоваться.

До. Я, действительно, лучше выпью кофе. *(Пьет)*.

Сомов *(кладет голову на ее колени)*. Довольно разговаривать, пить, есть, слушать радио и гулять по комнате.

До *(закрывает лицо волосами)*. Нет, оставьте меня. Я хочу уйти отсюда. Я хочу быть дома у себя и закрыть дверь на ключ.

Сомов *(нежно)*. Почему?

До. Я сама не знаю. *(Встает, идет к первому окну, раздвигает занавес, смотрит, что за ним. Идет ко второму окну, убеждается, что и там никого нет. Смотрит в окно)*. Как тут высоко. Только крыши, небо и огни. А днем, верно, бывают и ласточки.

Сомов. Какие в городе ласточки! *(Идет к ней)*. Одни воробьи. *(Хочет обнять ее, она отстраняется)*.

До. Где мой дождевик?

Сомов. Я не отдам его вам. Вы не уйдете. Вы просто капризная маленькая девочка. Вам нравится огорчать меня.

До *(хочет идти к арке)*. Оставьте мой дождевик у себя на память. Я уйду без него. *(Выходит в переднюю, Сомов бросается к ней)*.

Сомов. Зачем вы делаете это, До? Что случилось? Неужели вы боитесь меня? Все будет так, как вы сами захотите, только не уходите. Я люблю вас, не уходите от меня.

До *(трогает его лицо)*. Бояться вас? Нет, этого мне в голову не приходило, вы совсем не страшный. Но мне больше не хочется быть здесь с вами.

Сомов. Никогда больше?

До. Я не знаю, что будет потом. Сейчас я хочу уйти.

Сомов молча подает ей дождевик. Она надевает его и накидывает капюшон.

Сомов *(растерянно)*. Разве идет дождь?

До *(туго перевязывает пояс)*. Прощайте, Сергей Сергеевич. Хорошая страна Португалия.

Сомов (*хочет ее поцеловать*). Один последний, очень мирный.
Д. о. Нет. (*Открывает дверь*). Простите меня за то, что я прожгла ваш ковер. (*Уходит*).

КАРТИНА ВТОРАЯ

Та же комната. Понедельник, пять часов дня. В окна видны сумерки. Леда, женщина лет пятидесяти, увешанная драгоценностями, одетая не по возрасту, и Сомов сидят справа, пьют и курят.

Леда. Несчастье людей в том, что они ничего больше не хотят. Ни жить, ни умирать, ни пить, ни есть, ни любить. . . Впрочем, пить они хотят. . . Налейте мне еще.

Сомов (*наливает ей*). Я думаю, вы неправы. Одни хотят строить, другие разрушать. А если есть это, то продолжается жизнь.

Леда. Милый мой, я говорю о мужчинах, не о женщинах. У женщин колоссальный аппетит к жизни, они не так давно живут. Но у мужчин постепенно на наших глазах пропадает аппетит. Я бросила четырех мужей. У всех четырех мало-помалу совершенно пропал аппетит ко мне.

Сомов. Можно вам сказать дерзость? Вина была может быть в вас?

Леда. Я иногда сама задаю себе этот вопрос. Со всех сторон смотрю на себя и не вижу, в чем я могла быть виновата. Поверьте мне, я делала все, что могла, чтобы привлечь их внимание к себе. Как витрина галстучного магазина, как автомобильная фирма, я целый день занималась, если хотите, саморекламой. Не говоря уже о ночи. Но им приедался автомобиль, они теряли вкус к галстукам. И несмотря на все мои усилия, и страшные расходы, они теряли интерес ко мне. Тогда я бросала их, и они бывали мне ужасно благодарны. Нет ничего хуже на свете, чем когда ты чувствуешь, что ты тот товар, которому не может помочь никакая реклама. Убыточный товар. Ну подумайте только, я — убыточный товар. На что это похоже?

Сомов. Вам не кажется, что в мире. . .

Леда. Мне никакого дела нет до мира. Мир — это я. Умру и его больше не будет.

Сомов. Но ведь он был до вас?

Леда. Сомневаюсь. Может быть и не был. Впрочем, вам, как археологу, этого говорить нельзя: от археологии тогда ничего не останется.

Сомов. И от истории. И от многого другого.

Леда. Все это меня совершенно не касается.

Сомов. Итак, все четыре раза было одно и то же?

Леда. Люди все ужасно похожи друг на друга. Просто уди-

вительно. Теперь я предпочитаю поменьше заниматься ими. Занимаюсь собой и нахожу, что это куда интереснее.

Сомов. А сами себе вы никогда не надоедаете?

Лед а. Никогда. Мне все кажется важным, что меня касается: моя душа, мое тело, моя меховая шуба.

Сомов. До известной степени.

Лед а. Подумайте сами: ну неужели же интереснее заниматься душой, телом и шубой другого человека?

Сомов. Шубой нет.

Лед а. Но шуба непременно тут как тут, если вы хотите душу и тело.

Сомов. Может быть.

Лед а. Я уверена, что все думают, как я, и только притворяются. Мои волосы, мои браслеты, — скажите по совести, что может быть важнее для меня?

Сомов (с иронией). Международное положение.

Лед а. Да ведь оно всегда одно и то же. Есть война, нет ее — разница очень маленькая. И жизнь между второй мировой войной и третьей ей-Богу ничем не отличается от жизни между шестой и седьмой.

Сомов. Ольга опаздывает. Она должна была бы быть уже дома.

Лед а. Она будет здесь сейчас, нетерпеливый вы человек! Можно подумать, что вы женаты восемнадцать дней, а не восемнадцать лет.

Сомов молча ходит по комнате.

Лед а. Хотела бы я знать, что чувствуют друг к другу люди, прожившие вместе восемнадцать лет?

Сомов. Любовь.

Лед а. На что она похожа?

Сомов. Иногда она еще довольно сильно похожа на ту, которая была восемнадцать лет тому назад.

Лед а. Браво! Вы знаете, мой милый, что я всегда думала про вас, что вы умный человек, милый человек и чудный муж. И продолжаю думать это и восхищаюсь вами.

Сомов. Восхищаться надо Ольгой. Нисколько не удивительно, что я ей верен.

Лед а. Я восхищаюсь вами и нахожу все это ужасно оригинальным. (Пьет. Смотрит на него. Насмешливо). И вам никогда не хочется другой женщины?

Сомов. Никогда.

Лед а. Молодого лица? Молодого тела?

Сомов. У Ольги молодое лицо и молодое тело.

Лед а. Это не ответ. Вам никогда не хочется...

Сомов. Почему вы задаете мне эти вопросы?

Леда. Вы на них ответили. Мне больше ничего не надо. Вы ответили на них утвердительно. Что же вы делаете, когда вам хочется видеть рядом с собой молодое лицо?

Сомов. Я ничего не ответил вам. Напрасно вы что-то стараетесь вывести из моего молчания.

Леда. Я полагаю, что вы идете к ней, на какой-нибудь чердак, с окнами на грязный двор, где иногда весной так дурно пахнет, но где именно живут такие, каких вам надо: молоденькие, умненькие, умеющие хранить тайны и хорошо понимающие, что вам нужно. Или вы приводите ее сюда, когда Ольги нет, и она оставляет длинный золотой волос вон на тех подушках.

Сомов. Мне следовало бы на вас рассердиться, но мне почему-то смешно. *Смеется*).

Леда. Милый мой, дайте мне еще этой божественной влаги. *(Сомов наливает)*. А что делает Евгения?

Сомов. Все хорошеет. Заходила на прошлой неделе.

Леда. Мне кажется, ей за сорок?

Сомов *(смотрит на часы)*. Может быть... Вот она!

Дверь открывается и входит Ольга. Она в пальто и с чемоданом в руке. Сомов идет ей навстречу.

Сомов. Наконец-то. Почему так поздно?

Ольга. Здравствуй, Сергей. Леда, как я рада! Разве поздно?

Леда. Он уже полчаса места себе не находит.

Ольга. Как вы поживаете Леда? Как поживает Вольтер?

Леда. Вольтер уже два дня как в ветеринарной клинике. У него болит ухо. Что до меня, то я весела, как колибри.

Ольга. Я тоже весела, как колибри. А ты, Сергей?

Сомов. Я рад, что ты дома.

Ольга. Правда? Я рада, что ты рад.

Леда. Я сейчас оставлю вас вдвоем. Я зашла проститься: уезжаю завтра к моему Гри-Грипенке. Он, бедный, совсем плох.

Ольга. Это муж номер два?

Леда. Да, это мой второй. Когда ему, голубчику, немоготу, он вызывает меня к себе. Впрочем, все четверо они такие: считают, что изредка и в небольшой дозе я хорошо на них действую.

Ольга. Но ведь вы вернетесь к Рождеству? Я хочу в этом году устроить елку. Сто лет елки не было. Хочу, чтобы были свечи, хлопушки, подарки, все, как у людей.

Сомов. Елку для взрослых?

Ольга. Просто елку. А для кого — это мы еще посмотрим. Может быть, будут и дети.

Леда. Мне от детей всегда бывает ужасно скучно, особенно, когда их много и они маленькие.

Ольга. Я, может быть, приглашу таких, от которых не будет скучно, их будет немного, и они не будут очень маленькие. Хочешь, Сергей?

Сомов. Дочку Габерманов?

Ольга. Может быть и ее... Впрочем, она уж слишком мала.

Леда. Я вернусь через три недели. До того Вольтер будет жить в собачьей санатории. Их там кормят говядиной и развлекают всякими играми. Чтобы им не было скучно.

Сомов. Счастливейший пес!

Леда *(встает)*. Прощайте, друзья, живите счастливо. *(Сомов подает ей шубу под аркой. Она возвращается к столику, допивает свой стакан. Уходит. Ольга молча стоит посреди комнаты)*.

Сомов. Ну, как все было?

Ольга. Все было, как и следовало ему быть. Все здоровы, кланяются тебе. Все жалели, что ты не приехал, особенно папа. *(Пауза)*. Отчего ты не поехал со мной?

Сомов. Ты же знаешь, что я сейчас не могу отлучиться ни на один день. Альвар может приехать, не предупредив, такая у него привычка. Мы тут с Патрикеевым сидим, как на горячих углях. На две телеграммы ответа не было и я предчувствую, что он свалится как кирпич на темя.

Ольга. Писем мне не было? Никто не звонил?

Сомов. Звонила Женя. Кроме Леды, никого не было... Она непременно должна сказать, что Жене за сорок. Без этого она не может.

Ольга. Мне тоже за сорок.

Сомов. Леда сидела долго и говорила без конца. И такие глупости... Ты не голодна?

Ольга. Нет, я завтракала в поезде. *(Уютно усаживается в угол дивана)*.

Сомов *(садится подле нее)*. Ты не устала?

Ольга. Нет. Но мне почему-то не хочется разговаривать. *(Пауза)*.

Сомов *(слегка дотрагивается до нее)*. Ты не хочешь переодеться с дороги?

Ольга *(отстраняется)*. Я уже не успею. У нас сегодня к чаю гости.

Сомов. Какие гости?

Ольга. Сергей, я не успела предупредить тебя: я сегодня пригласила к нам ту девочку, помнишь?

Сомов. Какую девочку?

Ольга. Ту, которую мы встретили у ван Дайнов. Хорошенькую. Которая нам с тобой понравилась тогда.

Сомов. Когда ты пригласила ее?

Ольга. Я позвонила ей вчера по телефону от папы.

Сомов. Вчера? Зачем?

Ольга. Мне захотелось ее позвать к нам.

Сомов. Как ты узнала ее телефон?

Ольга. Очень просто, я вспомнила, как ее зовут и нашла в телефонной книге. *(Пауза. Сомов молчит)*. Ты как будто недоволен? Разве ты не провел с ней целый вечер?

Сомов. Я? Когда??

Ольга. Да тогда же, у ван Дайнов. Она прелестная, и кажется уменькая. И я слышала, что она музыкантша.

Сомов. Не знаю... Я не помню даже ее лица.

Ольга. Ее зовут не то Фа, не то Ре. Словом, какая-то нота. Она конечно не Фа и не Ре, а просто Маша или Клаша, но так она себя называет.

Сомов. Зачем же тебе понадобилась эта Клаша?

Ольга. Мне? Мне показалось, что в нашей жизни чего-то не хватает. Все, как будто, есть, а чего-то нет. Не хватает молодости. Тебе не кажется?

Сомов. Я никогда об этом не думал.

Ольга. Я уверена, что ты тоже это чувствуешь. Мы оба счастливы, мы даже как будто во многом остались прежними, но одного у нас нет больше — молодости. Молодости, которая бы дала аромат, свет и радость нашей жизни. Вообрази себе на минуту, как было бы хорошо иметь около себя существо, у которого столько надежд впереди и столько веры в свою судьбу.

Сомов. Если я правильно тебя понял, то ты хочешь использовать чью-то молодость себе на пользу, не думая о том, как это отзовется на самой этой молодости?

Ольга *(удивленно)*. Ты подозреваешь во мне дурные намерения? Нет, у меня не такая черная душа: я постараюсь дать ей больше, чем взять у нее.

Сомов. Значит, у тебя потребность не только взять, но и дать?

Ольга. Это само собой придет.

Сомов. А вдруг ты что-нибудь испортишь в человеке?

Ольга. А разве ты всегда думаешь о том, чтобы чего-нибудь не испортить в человеке?

Сомов *(после паузы)*. Я отвечу тебе на это так: если я на мгновение забываю об этом, то всегда потом раскаиваюсь. Ты же... мне кажется, Ольга, ты из тех людей, которые никогда ни в чем не раскаиваются.

Ольга. Неужели не все равно: раскаиваться или не раскаиваться? Испортив что-нибудь — разницы нет. Для меня, во всяком случае, нет.

Сомов. Разница есть и очень большая.

О л ь г а. Если ты сам испортил что-то, то жалеть или не жалеть об этом — результат один.

С о м о в. Лучше жалеть. *(Пауза)*. Тут между нами большая разница: мы, мужчины, всегда чувствуем себя хозяевами положения...

О л ь г а. Но ты не хозяин положения.

С о м о в *(не понимает ее намека)*. В душе я уверен, что да.

О л ь г а *(продолжая намекать)*. Ты себя обманываешь.

С о м о в *(продолжая не понимать)*. И будучи хозяином положения я не могу допустить мысли, что...

Звонок у входной двери. Ольга идет открывать. Сомов быстро уходит в дверь столовой. Входит До.

О л ь г а. У меня были сомнения, что вы придете. Я вас очень плохо слышала в телефон. Я рада, что вы здесь. Садитесь.

Д о *(раздеваясь)*. Я тоже вас плохо слышала. Вы звали меня к пяти?

О л ь г а. Да. Мы сейчас выпьем чаю. Дайте мне рассмотреть вас. Я вас так мало видела тогда.

Д о *(садится у пианино)*. А я хорошо видела вас. Я на вас во все глаза смотрела.

О л ь г а. Какие у вас волосы! Что вы делаете с ними, что они такие красивые? Или они сами по себе такие? У нас здесь стало светлей от них. *(До смотрит на Ольгу, не спуская глаз. Ольга немного смущается)*. Мы сейчас будем пить чай. Я только что вернулась. *(Вынимает из стеклянного шкафика зашки, электрический зашник, сахарницу)*. Из окна вагона я видела снег. Настоящий, глубокий снег. Вы бегаєте на лыжах?

Д о. Конечно, бегаю.

О л ь г а. Как хорошо было бы поехать на неделю куда-нибудь в горы, целый день бегать по снегу, вечером у камина книжки читать. Мне сказали ван Дайны, что вы играете на рояле?

Д о. Очень плохо. И плохо пою.

О л ь г а. Зачем вы так говорите? Никогда не надо говорить, что вы делаете что-нибудь плохо.

Д о. Я очень плохо пою и очень плохо бегаю на лыжах. *(Ольга смеется)*. Туся и Ян говорят, что я все делаю плохо.

О л ь г а. Кто это?

Д о. Они живут в доме, где и я. Он — художник.

О л ь г а. Талантливый?

Д о *(кивает головой)*. Только ему ничего не удастся. Он все делает хорошо, но ничего из этого не получается.

О л ь г а. У вас квартира?

Д о. Комната.

О л ь г а. Что же они говорят?

До (*хмуро*). Ничего. Я с ними теперь меньше дружу. Я сама по себе.

Ольга (*ласково*). И вы конечно никого и ничего не боитесь?

До. Конечно.

Ольга. И вы всегда говорите правду?

До. А вы сами?

Ольга. Я часто молчу. Иногда мне не хочется говорить неправду, а правду я сказать не могу.

До. Я бы хотела вам всегда говорить правду.

Ольга (*проходит мимо До, идет к двери*). Сергей, иди к нам. Давай чай пить. (*Ольга смотрит на До. До неподвижно смотрит на дверь*). Но вы тоже часто молчите. (*Входит Сомов. Ольга разливает чай и ставит зашки на столик, вокруг которого постепенно все трое и садятся*).

Сомов. Здравствуйте.

До. Здравствуйте, господин Сомов.

Ольга. До, идите к нам, идите поближе. Вылюбите пирожные?

Сомов (*стараясь быть непринужденным*). А я и не знал, что у нас сегодня гости. (*До переходит от пианино к дивану*).

Ольга. До — не гости, правда, До?.. Я говорила сейчас... что я говорила? Да, что из окна вагона все было белое от снега. Выпал снег... Зима... Так что же вы делаете в жизни, До?

До. Ян обещал мне роль.

Ольга (*Сомову*). Ян — это сосед, живет с женой в ее доме. (*К До*). Он режиссер?

До. Нет, он художник, но он получит работу в театре. Он абстрактный и будет скоро очень знаменит. Сейчас он еще не устроен.

Ольга. А Туся?

До. Туся хочет выставить в будущем году. Она тоже абстрактная. Она сейчас пишет мой портрет, только, конечно, не в этом духе (*показывает на Боннара*). Портрет в абстрактном плане. Это теперь многие делают.

Ольга. Вы — натурщица?

До. Я позирую, когда кто-нибудь просит. У них денег нет платить.

Ольга. У вас есть мать?

До. Я поссорилась со всеми и ушла из дому. (*Пауза*). Мне кажется, настанет такой момент, когда надо начинать жить самостоятельно, жить, а не прозябать.

Ольга. Главное в жизни, конечно, жить.

До. Я не люблю мещанства. Семья — в этом есть что-то старомодное. Я переросла свою семью.

Ольга. Вы хотите быть актрисой?

До. Да. Все говорят, что у меня талант.

О л ь г а. А пока?

Д о. Пока...

С о м о в (*искусственно оживляясь*). Я хорошо представляю себе вашу жизнь: вы наверное очень счастливы, вам всегда весело, целый день — гости, пишут картины, читают стихи, никаких обязанностей, в настоящем — проекты, полная свобода, в будущем — театр, слава.

О л ь г а. А если не выйдет?

Д о. Не выходит только у дураков (*закуривает*).

О л ь г а. И иначе вы бы не хотели жить?

Д о. Как иначе?

О л ь г а. Не знаю, например... не одна, чтобы кто-нибудь заболел о вас, дал бы вам возможность учиться дальше, охранял бы вас от трудностей жизни, пока крылышки не держат; давал бы читать хорошие книги, защищал бы от разочарований, баловал бы, любил.

Д о. Вы хотите знать, хотела бы я благополучия и уверенности в завтрашнем дне? Но благополучие скучно, и если есть уверенность в завтрашнем дне, он становится похожим на вчерашний. (*Заузенно:*) Мы живем в мире, в котором не может быть благополучия. Мое поколение это понимает.

О л ь г а. Бедная девочка! (*До, пораженная, молчит*).

О л ь г а. Бедная маленькая девочка! Но люди могут все же быть очень счастливы и прочно счастливы в этом мире — в разных концах его по-разному.

С о м о в (*передавая пирожные*). Возьмите еще что-нибудь. (*До берет*). Значит, надо совсем иначе представить себе вашу жизнь? В комнате, наверное, холодно зимой и жарко летом, не очень чисто, не очень светло. С утра до вечера приходят — собственно, даже неизвестно кто. Просто так себе, неудачники, полужнакомые лентяи и болтуны, никому не нужные личности, и самим себе опротивевшие недоучки. И вам от них ни жарко, ни холодно.

Д о (*гордо*). Свободные люди.

О л ь г а. Мы тоже свободные люди.

С о м о в. Вы все питаетесь крохами со стола какого-нибудь гения, который в двадцать лет ходит среди вас королем, а в тридцать вы его никогда не видите: он становится недосыгаем, и когда встречает вас, то не узнает. Он уже не помнит своих слов и мыслей, оброненных когда-то и вами подобранных, которые вы будете жевать до конца ваших дней.

О л ь г а (*обнимает До*). Почему ты так жесток с ней? Она еще ребенок.

С о м о в. Она не ребенок.

До. В том, что сейчас сказал господин Сомов, есть правда. (Пауза).

Ольга. Если вы не торопитесь, то я пойду переоденусь. Я еще не успела с дороги. . . Оставлю вас на несколько минут вдвоем.

До (встает). Мне пора.

Ольга (твердо смотрит на нее). Нет, посидите здесь с Сергеем. Я скоро вернусь.

Ольга уходит. Пауза.

Сомов (смотрит на До, взволнован). Маленькая девочка здесь опять со мной, в этой комнате, со мной вдвоем.

До. Вы смущены? Вы не в первый раз в вашей жизни не знаете, как вам быть; не решили: хорошо это для вас или дурно?

Сомов. Я так рад вас видеть опять, что у меня в голове никаких мыслей нет. Я только боюсь, что Ольга о чем-то догадывается. Вы здесь, вы опять со мной. . . Вы должны были отказаться от ее приглашения. Вы не должны были приходить. Это все страшно запутывает. . . И теперь вам лучше уйти, как можно скорее.

До. Я не понимаю, о чем вы говорите, господин Сомов. Мне очень нравится быть здесь, и мне очень нравится ваша жена. Я очень рада, что она пригласила меня. И я рада, что я пришла.

Сомов. Но поймите, что я совсем не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я сам могу жить, без чужой помощи. Она ставит меня в глупое положение. Самое лучшее будет, если вы уйдете и никогда больше. . .

До. Сережа, поцелуйте меня.

Сомов (быстро целует ее). До, не слушайте меня. Оставайтесь. Оставайтесь здесь у нас как можно дольше.

До. Сережа, вы любите меня?

Сомов. Вы знаете, что вы нравитесь мне и что я хотел бы. . .

До. Не бойтесь, она ни о чем не догадывается. Почему она могла догадаться? Не гоните меня: смотрите, я еще не кончила есть пирожное. Это пирожное похоже на мою будущую жизнь. . . У вас тут хорошо, господин Сомов, тепло, светло. . . Как вы сказали: не очень чисто? Да, не очень чисто, скучно и страшно.

Сомов. Скучно? Вам?

До. Бывает иногда. Когда чувствуешь, что жизнь бежит мимо, как поезд. А ты стоишь на платформе; он, оказывается, тут вообще не останавливается, это курьерский, не досмотрела чего-то в расписании. . . Он летит, и никто даже не выглянул из окна, чтобы посмотреть на тебя. Зря расчесала волосы, зря надела новые сапожки. . .

Сомов. Не будем говорить о том, что было. Теперь будет все иначе.

До. Как иначе?

С о м о в. Будет так, как мы захотим, вы и я.

До (*казает головой*). Нет, господин Сомов, ошибаетесь вы. Будет-то оно будет иначе, только совсем не так, как вы предполагаете.

Входит Ольга.

О л ь г а (*в новом платье*). Вам нравится мое новое платье, До? Его сегодня утром прислали из магазина, и я никак не могу решить: идет оно мне, или нет?

Д о. Какая вы красивая! Какая молодая!

О л ь г а. Не молодая. Маленькая девочка, не говорите мне комплиментов. Мне, наверно, в два раза больше, чем вам.

Д о. Мне девятнадцать.

О л ь г а. Сергей, ты слышишь, ей девятнадцать лет. Хорошо быть с кем-то, кому девятнадцать лет, я еще не знала Сергея, интересовалась всем, всем, всем на свете, но не португальским средневековьем.

Д о. Мне пора идти.

О л ь г а. Как вам понравилось у нас?

Д о. Очень.

О л ь г а. Вас ждут дома?

Д о (*неуверенно*). Д-да.

О л ь г а. Маленькая девочка, оставайтесь у нас. Мы с вами вместе сейчас соорудим обед. Правда, Сергей, пусть До остается?

С о м о в (*хмуро*). Конечно.

О л ь г а. И вообще, До, зачем вам куда-то уходить? Вон какая ужасная погода (*показывает на окно, там падает мокрый снег*). Это что? Ваше летнее пальто? (*Показывает на дождевик, лежащий на кресле*). Послушайте, вы умеете тонко-тонко нарезать помидор? (*Берет ее за плечи*). Так тонко, что его даже на тарелке не видно? Призрак помидора, привидение, (*шепчет*) томатный дух — не больше! Для этого нужен острый нож и большой фартук. Я дам вам большой фартук и вы увидите, как будет весело. Все дело в фартуке.

Д о. И в ноже.

О л ь г а. И в ноже. Особенно, если хотите кого-нибудь зарезать, или пырнуть. Все в жизни бывает. (*Увлекает До к дверям в кухню*).

Д о (*упираясь*). А что, если я вдруг что-нибудь разобью? Какую-нибудь красивую чашку?

О л ь г а (*весело*). Ну так что ж? Посуда для того и делается, чтобы ее бить. Эка беда!

Д о (*в первый раз весело смеется*). Посуда сделана для того, чтобы ее бить! А вы знаете, что я отлично умею жарить картошку?

О л ь г а. Идем скорее. Будем жарить картошку. Будем делать все, что вам нравится. (*Выходят обе на кухню*).

Минуты две Сомов один на сцене. Он сначала прислушивается к голосам из кухни. Потом ходит по комнате, смотрит на натюрморт, потом крутит радио. Затем идет и садится налево, в угол дивана. Замечает на подушке светлый, длинный волос, снимает его.

Звонок у двери. Сомов открывает. Входит Агар-бен-Мосед.

А г а р. Это я. Можно выкурить сигару в вашем обществе? (*Медленно идет к креслу, садится*).

С о м о в. Садитесь, Агар; как живете? (*Вглядывается в него*)
Опять опухли?

А г а р. Опух. Доктор говорит, что природа моя такая. Опухаем.
А я думаю, это все нервы.

С о м о в. Инш Алла! Какие могут быть у вас нервы?

А г а р. Мне кажется, что вы в плохом настроении сегодня? И я тоже.

С о м о в. Я — в отличном настроении. А вы почему в плохом?

А г а р. Надоели женщины, Сомов, просто не знаю, как развязаться с обеими.

С о м о в. Почему вдруг сразу с обеими?

А г а р. Потому что не сегодня-завтра одна другую пристрелит.

С о м о в. Ну и пусть пристрелит.

А г а р. Не люблю стрельбы. С детства.

С о м о в. Так ведь не пушечная же стрельба, револьверная.

А г а р. Шуму все равно много. Что может быть в жизни хуже шума?

С о м о в. Очень многое: обман, заговор. . .

А г а р. Все это тот же шум. И от двух женщин, Сомов, в жизни поднимается невыносимый шум. Хорошо было только тогда, когда они друг о друге не знали.

С о м о в. Чего не испытал, того не знаю.

А г а р. Надо бы собственно бежать, но это совершенно против моих принципов.

С о м о в. А у вас есть принципы? Не думал.

А г а р. Больше, чем у вас.

С о м о в. У меня их нет больше вовсе.

Агар громко смеется.

С о м о в. Это смешно?

А г а р. Нет, это я смеялся своим мыслям.

Входит Ольга.

О л ь г а (*ходит по комнате, собирает зайную посуду, замедляет Агара*). Агар, ну как у вас сегодня в Египте, все спокойно?

А г а р. Вчера вечером убили губернатора.

О л ь г а. Это ничего, не отчаивайтесь, будет другой. (*Выходит с посудой*).

А г а р. Разговоры наши с вами похожи на какие-то сигналы в

межзвездном пространстве. Мы понимаем друг друга, но кто нас подслушает — ничего не поймет. Заметьте, что за столько лет мы никогда не посмели дать друг другу совета.

С о м о в. У меня всегда есть моя Португалия, в которую я могу в крайнем случае убежать. У вас ее нет. *(Смеется)*.

А г а р. Зачем вам куда-то бежать? Вы знаете, на востоке, когда богатый человек строит себе дом, он в конце своего сада ставит особую калитку, всегда запертую, ключ от которой хранит день и ночь при себе. Это та лазейка, через которую он бежит от бедствий. . . незаметно уходит от всего. У меня нет такой калитки, забыл построить. Впрочем, если бы она и была, то ключ от нее я бы все равно потерял. *(Пауза)*.

С о м о в. Я сижу и думаю, сказать вам или нет одну новость?

А г а р. А почему бы и нет?

С о м о в. Ольга собирается усыновить ребенка.

А г а р. Неужели? Вот это неожиданно.

С о м о в. Девочку. От неизвестных родителей.

А г а р. Это сильно изменит вашу жизнь. Но в этом есть удовольствие. . . А почему же не мальчика?

С о м о в. Спросите ее сами об этом.

Входит Ольга.

О л ь г а. Агар, вы закусите с нами? Скоро все будет готово.

А г а р. Спасибо. Мне рано обедать, я только недавно встал. *(Берет газету)*.

С о м о в *(подходя к Ольге, тихо)*. Мне хочется провести вечер с тобой, вдвоем, так давно этого не было.

О л ь г а. Что ты! На прошлой неделе мы только и делали, что сидели вдвоем дома.

С о м о в. Не уговаривай ее остаться, она очень милая, но все-таки совершенно нам чужая.

О л ь г а. Она не чужая, уже не чужая, Сергей. Разве ты не чувствуешь, что она совсем своя? Я тебе сейчас что-то скажу, и ты страшно удивишься.

С о м о в *(жмуро)*. Лучше не говори.

О л ь г а. Как ты иногда можешь обрезать всякую радость. У тебя нет желания сделать что-то и посмотреть, что из этого получится?

С о м о в. Зачем?

О л ь г а. Ах, Сергей, каким ты иногда притворяешься каменным. Ты ведь совсем не такой.

С о м о в. Я никогда с тобой не притворяюсь. Если я тебе кажусь каменным, значит я такой и есть.

О л ь г а. Сделать что-то не совсем обыкновенное, попробовать что-то, чего не делают другие. . . И потом. . .

Сомов. Но мы с тобой никогда не жили «как другие». Мы жили по-своему.

Ольга. У тебя всегда была эта привычка: быть в стороне от судьбы.

Сомов. Я не понимаю, что это значит.

Ольга. А мне всегда хотелось помогать судьбе, мешать судьбе, вмешиваться в ее тайны.

Сомов. Я никогда не вмешивался ни в чьи тайны.

Ольга. Нет, ты просто не понимаешь, о чем я говорю.

Голос До из кухни: Скорей, скорей, здесь что-то кипит! Ольга убегает.

Сомов (*опускаясь в кресло*). О чем мы с вами говорили?

Агар (*опуская газету*). Вчера я проиграл Бергману четыреста. Собираюсь сегодня отыграться.

Сомов (*не слушая его*). Мы говорил об усыновлении детей бездетным родителями.

Агар. Я люблю игру, потому что в ней по большей части все делается очень тихо. Без всякого шума.

Сомов. Бездетным родителям ничего другого не остается, как усыновлять детей. Закон им в этом помогает.

Входит До в большом переднике.

До. Я ничего не разбила и очень вкусно заправила салат.

Агар (*встает*). Кто это?

Сомов. Это — До. Новая игрушка Ольги.

До. А какие игрушки были до меня?

Сомов. До вас? Не помню. Никаких не было.

До. Почему же вы говорите «новая», чтобы меня уколоть?

Сомов. Прошу простить меня. Агар, это До, первая и последняя игрушка Ольги.

Агар кланяется, До протягивает ему руку.

Агар. Если вы когда-нибудь захотите выйти замуж, скажите мне об этом.

До. Об этом не говорят. Это держат в секрете.

Агар. Пусть это будет секрет для всех, кроме меня.

До. Вы давно знаете господина Сомова?

Агар. Очень давно и очень хорошо.

До. Он хороший человек?

Агар. Он очень хороший человек.

До. А мне больше нравится его жена.

Входит Ольга.

Ольга. Господа, идемте в столовую. До, вы познакомились с Агаром? (*До кивает*). У него в Египте сегодня все совершенно спокойно.

До смеется и остается с Агаром. Ольга и Сомов на авансцене.

О л ь г а. Сергей, поди сюда. (*Сомов медленно подходит к ней*). У меня для тебя сюрприз. Она согласна.

С о м о в. На что?

О л ь г а. Остаться до завтра. Ты рад? (*Сомов молчит, Ольга смотрит на него пристально*). Что ж ты молчишь?

До подходит к ним и обнимает Ольгу.

О л ь г а. Маленькая девочка наверное давно проголодалась? Идемте, господа, обед на столе.

До (*заглядывая в глаза Ольге*). Вы любите меня?

О л ь г а. Ну конечно я люблю вас. Мы все любим вас. Кто может вас не любить?

Идут к дверям в столовую.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

Та же комната. Вечер. Зажжены лампы. После второй картины прошло пять дней. Сомов сидит у письменного стола, заваленного корректурами. Читает. Ольга на диване, тоже заваленном бумагами, с карандашом в руке, выбирает репродукции.

О л ь г а. Я бы взяла еще вот эту. (*Протягивает ему фотографию*).

С о м о в. Положи ее сюда.

О л ь г а (*встает, кладет фотографию на стол, возвращается на свое место*). Ты даже не посмотрел, что я выбрала.

С о м о в (*правит корректуры*). Сейчас. . . Дай дочитать.

О л ь г а (*берется за правку листов*). Ты на этот раз напропалска довольно много ошибок.

С о м о в (*взглядывает на часы*). Возьми еще, вот эту гранку, — две последние у меня.

Ольга идет и берет лист.

О л ь г а. Она сказала, что вернется к десяти.

С о м о в. Я совсем не о ней. Патрикеев должен прийти за корректурами.

О л ь г а. Я говорю, что еще совсем не поздно. Ее первый выход туда с тех пор, как она переехала к нам, ей-Богу же, Сергей, это не так страшно. Нельзя же ее держать взаперти. Всегда только с нами — она соскучится. Пять дней, как она тут, и только сегодня пошла навестить своих друзей, этого художника, который неверное никогда не прославится, и его жену.

С о м о в. Я не собираюсь держать ее взаперти. Я только того мнения, что она могла бы подождать неделю. Что ей, плохо здесь? Воображаю всю эту тамошнюю публику. Лодыри.

О л ь г а. Она сказала, что вернется рано. И нет оснований ей не верить.

С о м о в. Они небось немедленно начнут восстанавливать ее против нас.

О л ь г а. Почему? Что мы им сделали?

С о м о в. Что же ты, не знаешь тепершних молодых? Им все в нас противно, и кварталы, в которых мы живем, и картины, которые на стены вешаем, и вся наша жизненная установка.

О л ь г а. Ты рассуждаешь так, будто ты буржуа, будто у тебя капитал в банке и собственный завод... В конце концов ты ученый, живешь своим трудом.

С о м о в. Но живу в кругу буржуа. И вкусы у меня, как у буржуа, и подход к жизни буржуазный.

О л ь г а. Ну и что ж? Собираешься все это менять?

С о м о в. Нисколько. Но с тех пор, как она появилась — человек другой среды — я стал понимать, что не мы одни живем на свете.

О л ь г а. Конечно, не мы одни. Но ты же сам только что назвал всех этих неудавшихся гениев лодырями.

С о м о в. Вот это-то меня и смущает. Я знаю, что они нас не стоят, но они мне мешают.

О л ь г а. Почему?

С о м о в. Не знаю. И знать не хочу.

О л ь г а. Они тебе мешают потому, что занимают место в ее жизни.

С о м о в. Мы ее пригрели, а она все туда смотрит.

О л ь г а. Ты хотел бы, чтобы она смотрела только на нас с тобой?

С о м о в. Ты ставишь вопрос неверно. Не то, чтобы она смотрела только на нас с тобой, а чтобы она полюбила эту нашу жизнь больше той.

О л ь г а. Она ее полюбит и очень скоро.

С о м о в. Ты так думаешь?

О л ь г а. А ты сомневаешься? У нее тут есть все, а там — ничего.

С о м о в. Кроме чего-то, чего здесь нет.

О л ь г а. Богемы? Сегодня — с одним, завтра — с другим, без обеда спать легли, с квартиры сбежали — платить нечем, зависть к тем, кто вырвался к славе, оригинальничанье, безделье.

С о м о в (смотря на часы). Без двадцати десять.

О л ь г а. Ну и что ж?

С о м о в. Да я же тебе сказал, что Патрикеев придет за корректурами.

О л ь г а. А! Я забыла. Я думала...

С о м о в. Оригинальничанье, безделье. Но при этом возможность

всегда говорить правду. Жить, так сказать, по прямой линии. Пони-
маешь?

Ольга. А мы с тобой разве живем не по прямой линии.

Сомов. Не знаю. Может быть нет. Но у нас всегда есть этому
оправдание: так делают все кругом, так мы приучены.

Ольга. Ну нет. Оправданий мне не надо. Если я живу, как ты
говоришь, не по прямой, то оправдываться в этом не собираюсь.

Сомов. С тех пор, как она здесь, у меня тысяча вопросов в го-
лове. И самый главный из них: благодетели мы или погубители?

Ольга (смеется). Ну какая тебе разница? Вероятно и то, и
другое.

Сомов. Но я не хочу этого.

Ольга. Чего же ты хочешь? (Пауза. Оба гитают корректуры).
Ты знаешь, учитель пения мне сказал, что он очень доволен ею, и
она так старается.

Сомов. Я давно хотел сказать тебе одну вещь: я заметил, что
кроме старого дождевика у нее нет пальто.

Ольга. Я сама об этом думала. Знаешь, я видела недалеко от
нас в окне мехового магазина беличью шубку. Ей так пойдет.

Сомов. Надо купить на этих же днях. А то еще простудится.

Ольга. И маленький беличий капор. Как ты думаешь?

Сомов. Ну, конечно.

Ольга. Ей все идет. Вчера днем, когда тебя не было, мы игра-
ли с ней, одевались в мои старые платья, перерыли все сундуки.
Нашли мое старое, розовое, ты наверное и не помнишь его, лет пят-
надцать тому назад шитое. Мода была такая (показывает). Она его
надела. Оно было так красиво на ней. Я заказала его, когда мы по-
ехали после нашей свадьбы во Флоренцию. Так давно... так неве-
роятно давно это было.

Сомов. Как было бы хорошо опять поехать туда, показать ей
Перуджию, Сиену.

Ольга. Да, Сергей, ты представляешь себе, какая это будет
всем нам трюим радость? И как весело будет смотреть на нее, когда
она будет восхищаться где-нибудь в Лукке...

Сомов. Надо все это обдумать. Может быть, мы могли бы по-
жить в Милане и найти ей учителя пения.

Ольга (смеется). Интересно, кем мы будем тогда: благодете-
лями или погубителями?

Сомов молчит и взглядывает на часы.

Ольга. Ты не отвечаешь? Я скажу тебе: не все ли равно?

Сомов. Ты это серьезно думаешь?

Ольга. Иногда.

Сомов. Мне кажется в эту минуту, что я тебя мало знаю. Жи-
ву рядом с тобой столько лет, и не знаю.

О л ь г а. Какие глупости! Мы знаем друг друга хорошо.

С о м о в. Ты так думаешь?

О л ь г а. Я совершенно уверена, что знаю тебя очень хорошо.

С о м о в. А себя?

Ольга, пораженная, молчит.

С о м о в. С собой ты ведь живешь еще дольше.

О л ь г а. Если я за столько лет не смогла узнать себя, тогда грош мне цена. *(Берется за корректуры)*.

С о м о в *(передает ей гранку)*. У меня осталась одна последняя.

Оба читают. Сомов опять смотрит на часы. Внезапно в дверь раздается едва слышный стук. Сомов поднимает голову, прислушивается. Продолжает читать. Стук чуть слышнее раздается во второй раз. Сомов встает и идет к двери. Входит До.

С о м о в. Почему вы стучите? Почему не звоните? Разве мы не дали вам ключа?

Д о *(смущенно)*. От робости. Я не знала, хотите ли вы вправду, чтобы я вернулась. Я не очень поздно пришла?

О л ь г а. Нисколько. Мы тебя не ждали так рано.

Д о. Как хорошо прийти домой. *(Оглядывается)*. Там было очень интересно. *(Раздевается, идет к Ольге)*. Скучно было. Здесь никогда не скучно, около вас. *(Ольга целует ее)*. Я не буду больше туда ходить. *(Садится на ковер)*.

С о м о в. Успели повидать своих друзей?

Д о. Они мне показались какими-то другими. Я обедала у Туси. Ян опять без работы. Я сказала им, что учусь петь. Они смеялись надо мной.

С о м о в. Почему?

Д о. Не знаю. Мне показалось, что они разлюбили меня. И тот фотограф, который живет под крышей, тоже разлюбил. И даже индус, который статистом в кино, и вообще все.

О л ь г а. Но тебе не грустно, что тебя разлюбили фотограф и индус?

Д о *(грустно)*. Нет, мне не грустно. Я знаю, что вы любите меня.

О л ь г а. Тебе хорошо у нас?

До кивает. Сомов пристально смотрит на нее.

С о м о в *(после паузы)*. Нечего было ходить туда.

О л ь г а *(меняя разговор)*. Твой учитель мне сказал сегодня, что особенно надо обращать внимание на низкие ноты. Ты сколько сегодня занималась?

Д о. Утром полтора часа и после завтрака около часу.

О л ь г а. Умница. Тебе нравится учиться пению?

Д о. Очень. Но теперь я устала. Я хотела бы, чтобы Сергей Сергеевич нам почитал вслух какой-нибудь рассказ *(вытаскивается на ковре)*.

О л ь г а. По-моему, пора уже тебе называть его Сережей.

Д о. Сережей? Сережа, почитайте нам что-нибудь. Ольга, что ему почитать?

С о м о в. Может быть Корта?

О л ь г а. Да, прочитай нам маленький рассказ Корта, из того сборника, что До принесла с собой. Вчерашний мне так понравился.

С о м о в. Но До их наверное все наизусть знает?

Д о. Это ничего. Я люблю слушать, как вы читаете, и люблю смотреть, как слушает Ольга.

О л ь г а. Сядь ко мне сюда. *(До садится у ее ног).*

С о м о в. *(берет книгу со стола, листает).* Вот тут один рассказ, называется «Гвоздь, который превратился в гвоздику».

Д о. *(к Ольге).* Так значит завтра?

О л ь г а. Да, завтра.

С о м о в. Что завтра?

О л ь г а. Завтра мы едем с До выбирать ей новое платье. Скоро Рождество и ей нужно платье.

С о м о в. А мне нельзя с вами? *(Обе смеются).*

О л ь г а. Конечно, можно.

С о м о в. А какого цвета будет платье?

Д о. Может быть белое. Ольга, можно белое?

О л ь г а. Конечно, можно.

С о м о в. А туфли?

Д о. А туфли будут золотые.

С о м о в. Почему не белые тоже?

Д о. Туфли должны быть золотые.

О л ь г а. Можно те, и другие.

Д о. И белые, и золотые, и серебряные, и голубые. . .

С о м о в. Белые.

Д о. Золотые.

О л ь г а. Подождите, я сейчас что-то принесу. Пусть До примерит мои золотые сандалии.

Д о. А как с гвоздикой, которая превратилась в гвоздь?

О л ь г а. *(смеется).* Подождет. *(Выходит).*

С о м о в. До! *(Озень тихо).* Я люблю вас. Взгляните на меня хоть раз подольше. До, вы слышите меня?

Д о. Нет, Сережа, я ничего не слышу.

С о м о в. Теперь я знаю, что такое счастье: это видеть вас каждый день и целый день, ночью чувствовать вас где-то совсем близко, за стеной. Иногда вас касаться, дышать вами. Надеяться.

Д о. Надеяться не на что.

С о м о в. Не говорите так. Не разрушайте этого удивительного, этого волшебного состояния, в котором я живу. Счастье мое! Я люблю вас.

Д о. Я не хочу, чтобы вы говорили так со мной.

С о м о в. Когда вы остались ночевать, в тот первый вечер, я еще ничего не понимал: хорошо это или плохо? Минутами мне казалось, что какая-то беда надвигается на меня. Я не хотел, чтобы вы остались, и хотел этого одновременно. Я боялся того, что будет. Я не привык, чтобы кто-то распоряжался моей жизнью. Но теперь... мне смешно все это. Какое мне дело до всего этого? *(Целует ее руки)*. Моя девочка, моя маленькая девочка.

Д о. Нет, Сергей Сергеевич, никаких поцелуев, пожалуйста. Я здесь не для того, чтобы вы любили меня. Я сюда пришла не для того, чтобы обманывать Ольгу. Я здесь потому, что нам вдвоем хорошо друг с другом, и все, что я делаю и говорю — правда. И совесть у меня такая чистая, будто ее вымыли щелоком... Я даже не знала, что у меня есть совесть, и теперь я еще многое другое знаю. И мне так легко, так легко...

С о м о в. Если вы поверите моей любви, вам будет еще лучше *(хочет ее поцеловать)*.

Д о. Я не хочу, чтобы вы целовали меня. Я слишком люблю Ольгу.

С о м о в. Вы можете продолжать ее любить, это ничему не мешает.

Д о. Это мешает мне. Раньше вы были честнее, Сергей Сергеевич. Не такой грубый.

С о м о в. Когда человек любит, он всегда грубый, он говорит нежные слова и слушает соловьев, но на самом деле хочет грубого счастья. Вы еще этого не знаете.

Д о. Раньше...

С о м о в. Не все ли равно, каким я был? Не делайте меня несчастным. Вам так легко сделать меня счастливым.

Д о. Нет, совсем не легко.

С о м о в. Не говорите словами. Только взгляните на меня, и я пойму.

Д о *(отвораживается)*. Нет, Сергей Сергеевич.

С о м о в. Никогда?

Д о. Я уже сказала: никогда.

Сомов хочет поцеловать ее колени, но она отодвигается и он целует ее платье.

Ольга входит, улыбаясь, держа в руках две пары золотых сандалий.

О л ь г а. Примерь эти туфли. Я думаю, что-нибудь в этом роде надо будет тебе купить к новому платью.

Д о. У меня наверное ноги больше ваших.

О л ь г а. А я думаю — одинаковые.

Д о *(примеряет сандалии и остается в них)*. Как красиво! Почему нельзя носить такие туфли каждый день? *(Танцует по комнате)*.

Ольга. Почему нельзя? Если нравится — носи на здоровье.

До. С утра до вечера? Вы мне их дарите?

Ольга. Конечно. Кому же мне делать подарки, как не тебе.

До (*опять садится у ее ног*). Да. Расскажите мне что-нибудь, вы всегда так интересно рассказываете.

Ольга. Но ведь Сережа, кажется, хотел нам что-то прочесть вслух?

Сомов (*садится у лампы, спокойно*). Это называется «Гвоздь, который превратился в гвоздику».

Резкий звонок у двери. До вскакивает, Ольга встает.

До. Кто это?

Сомов. Это Патрикеев за корректурами.

Ольга. Уйдем скорее, До. С этим господином нам не о чем разговаривать.

Берут каждая в руку по золотой сандали, оставляют посреди комнаты туфли До, уходят в дверь направо.

Сомов открывает дверь. Входит Патрикеев, человек сухой, без юмора, с длинным лицом. Под пальто у него надет смокинг.

Патрикеев. Это что ж? Вы не одеты?

Сомов. А почему, собственно, я должен быть в бальном платье?

Патрикеев. Мы едем на обед.

Сомов. Я уже обедал. Мы никуда не едем (*собирает корректуры и фотографии*). Вот вам. Все готово. И репродукции отобраны.

Патрикеев. Идите одеваться. Нас ждут.

Сомов. Все это — на полное ваше усмотрение. Просмотрите, если хотите, и пошлите, куда следует.

Патрикеев. Вы знаете, куда я вас тащу?

Сомов. Понятия не имею.

Патрикеев. Сегодня утром прилетел Альвар.

Сомов (*иронически*). Ура! Ну и что же?

Патрикеев. Летит назад в конце недели и хочет, чтобы вы летели с ним.

Сомов. Послушайте, мой бриллиантовый, я сейчас скажу вам что-то и вы сильно удивитесь: я болен и ехать никуда не могу. Доктор предписал мне полный покой. И я ехать никуда не хочу — вот вам сущая правда. Не хочу, и не поеду.

Патрикеев. Это вы про что говорите?

Сомов. А вот про этот самый сегодняшний обед. Сюрпризы Альвара — я привык к ним, не хочу, чтобы мне падал кирпич на темячко. Он уже звонил мне два раза — и на меня это не произвело никакого впечатления. «Бежим туда», «летим сюда». Я болен и увижусь с ним завтра.

Патрикеев. Не понимаю вас. (*Видит туфли До посреди комнаты*). Не понимаю. Сочувствую, но не понимаю. Дело есть дело.

Алтарь кончают реставрировать, фрески полностью вышли наружу. А вы, значит, в туфлях и халате развлекаетесь по-домашнему. Другие, значит, пожнут то, что вы посеяли.

Сомов. Как вы сказали? Пожнут? Это от какого же глагола?

Патрикеев. Это русский глагол совершенного вида: пожать.

Сомов. Но от «пожать» будет «пожмут».

Патрикеев. Значит, не от пожать, а от пожнуть.

Сомов. Такого слова по-русски нет.

Патрикеев. Может быть, пожмать.

Сомов. Не думаю. А какой же это будет залог?

Патрикеев. Этого, простите, я не знаю.

Сомов. Тем хуже для вас. *(Пауза. Патрикеев смущен)*. Спасибо вам, мой алмазный, за то что приехали. Забирайте корректуры. Последнюю гранку просмотрите особо: в ней наверное остались опечатки, объяснять долго почему, Альвару скажите, что завтра утром я в его распоряжении, а сегодня не могу. У меня жар.

Патрикеев. Вид у вас совершенно здоровый.

Сомов *(теснит его к арке)*. Доктор запретил.

Патрикеев. Они будут так разочарованы все, когда я сейчас появлюсь один.

Сомов *(отпирая дверь на лестницу)*. Завтра в любой час... Хоть затемно. Так ему и скажите.

Патрикеев выходит. Сомов запирает за ним дверь. Из столовой с хохотом выбегают Ольга и До.

До *(прыгая вокруг Сомова)*. Скорей, скорей! Где черный галстук? Где чистая рубашка? Одеваться! Одеваться!

Ольга *(бросается на диван, хохоча)*. Неси ему черные носки. Мы его сейчас оденем с ног до головы и спровадим.

Сомов. Вы подслушивали?

До. Ну, конечно! *(Тащит с него пиджак)*. Извольте убираться отсюда вон! Довольно праздновали! Пора за работу! Альвар Альварыч ждет!

Сомов *(хватает ее в объятье и бросает на другой диван. Посреди комнаты собирается произнести реж)*: Вы одни во всем виноваты. Вы обе поощряете во мне лень. Вот плоды вашего воспитания: «Почитай нам вслух!» «Расскажи что-нибудь!» «Посиди с нами!..»

Ольга и До хохочут.

Ольга. Ну где тебе может быть веселей?

До *(вскакивает с дивана)*. Дома так хорошо!

Сомов *(смотрит на нее)*. Вот потому-то я и сижу дома.

Ольга опять садится на прежнее место, Сомов — под лампой, у стола. До смотрит то на одного, то на другого.

Сомов *(хмуро)*. Они, конечно, будут требовать, чтобы я летел к черту на кулички в конце недели.

О л ь г а. А тебе не хочется?

Д о. Если вы уедете, кто же нам будет читать вслух по вечерам?

С о м о в. Вот именно. Потому я никуда и не поеду (*смотрит на нее*).

О л ь г а. Люблю в тебе решительность и твердость.

Д о (*подносит Сомову раскрытую книгу*). Вам светло так? Или вы пересядете туда?

С о м о в. Мне очень хорошо. Лучше быть не может. (*Берет книгу и одновременно руку До. Она осторожно отнимает ее*).

О л ь г а. Я бы тоже сейчас никуда не полетела.

Д о. Люди говорят о себе теперь, как если бы они были ласточками. (*Сомов неподвижно смотрит на нее*). Ну, что ж вы не начинаете? (*Садится у ног Ольги*).

С о м о в (*зигает*). «Несколько лет тому назад, в одной из старых улиц нашего города, еще стоял дом с огромным чугунным ангелом у входа (*занавес начинает медленно падать*), и каждый раз, когда я проходил мимо него, я думал о том, что эти чугунные крылья когда-нибудь дрогнут...»

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Та же комната. Сочельник. Мебель передвинута, потому что между окнами, слева, стоит большая рождественская елка, украшенная, в огнях. Все лампы зажжены, пианино открыто. На столах — цветы, бутылки, стаканы. Под елкой — завернутые в бумагу подарки. Час ночи.

Дверь в столовую открыта, оттуда слышны голоса гостей.

Д о и Агар-бен-Мосед выходят из двери в столовую. Чувствуется, что До много выпила.

Д о (*садится в кресло. Лицо у нее счастливое*). Какие сегодня все милые, какие веселые! Правда?

А г а р. Не знаю, не заметил.

Д о. И вы тоже. Какие вы интересные истории рассказывали за столом. Может быть это были сказки?

А г а р. Я знаю еще тысячу разных историй, которые я вам расскажу, когда мы ближе познакомимся.

Д о. Мне нельзя с вами ближе познакомиться.

А г а р. Почему? (*До смеется*). Почему вы смеетесь?

Д о. От счастья.

А г а р. Вы помните, что я сказал вам: надо всегда следить за тем, чтобы кончики ваших ушей были одинаково теплые или одинаково холодные.

До (*трогает себя за уши*). По-моему, одно ухо у меня горячее другого.

А г а р. Дайте я попробую. (*Трогает ее уши*). Да, и это значит, что вы серьезно больны.

До. Чем я больна?

А г а р. Это решит доктор.

До (*лукаво*). Вы бы хотели быть моим доктором?

А г а р. Нет, зачем?

До. Чтобы вылечить меня.

А г а р (*несколько секунд думает*). Хотите выйти за меня замуж?

До. Нет не хочу, благодарю вас.

Из столовой выходят Ольга, Сомов, Леда, Евгения и Патрикеев. Все рассаживаются вокруг елки, кроме Сомова, который остается стоять среди комнаты, и Ольги, которая идет к елке.

Е в г е н и я. А который сейчас час? Верно уже очень поздно. Никогда еще не было у вас так весело, Сережа, это моя самая веселая елка за много лет. И все сегодня в ударе, правда?

Л е д а. Нет ли подходящей музыки? Только без меланхолии, пожалуйста.

Е в г е н и я. Да, нет ли подходящей музыки. Я хочу танцевать.

А г а р. Танцевать буду я, и непременно с До, и под любую музыку. (*Хочет взять До за талию*).

О л ь г а. Оставьте До в покое и пусть никто не говорит, что поздно, и что пора домой. Сейчас я буду раздавать подарки, как полагаются на елках. Пусть все сядут. (*Сомов садится поодаль*).

Л е д а. Как интересно! Будут подарки.

С о м о в. Ольга под большим секретом от нас устроила все это. Мы с До не были допущены к елке ближе, чем на десять шагов.

До. Мы с Сережей были даже изгнаны из комнаты, и чтобы мы не подглядывали, она нас выставила из квартиры.

А г а р. И вы пошли в кино?

До. Я пошла в кино, а Сережа пошел гулять по улицам, как всегда.

Е в г е н и я. С каких это пор вы ходите по улицам? Это еще что за новая привычка?

Л е д а. Это надо понимать метафорически.

А г а р. То есть символически.

П а т р и к е е в. Я тоже иногда люблю бродить по улицам, особенно, когда...

О л ь г а. По крайней мере мне никто не мешал и я могла все устроить так, как мне хотелось.

До. И вы все так чудесно устроили! (*Любуется елкой*).

Ольга. Внимание! Я начинаю раздавать подарки. Первый — До. От меня. *(Дает До маленький сверток)*.

До. Мне? Что это? *(Раскрывает сверток, вынимает футляр, в нем — золотой браслет)*. Ольга! *(Бежит к Ольге, обнимает ее)*. Наденьте мне его на руку сами. Мне всегда так хотелось иметь браслет! *(Ольга надевает ей браслет, Сомов подходит и смотрит)*.

Леда *(Евгений, тихо)*. Роль этой блондинки в этом семействе мне не совсем понятна.

Евгения. У меня такое впечатление, что она живет с Агаром.

Агар *(подошел к До)*. Покажите мне тоже. *(Смотрит на браслет, целует До руку)*.

До. Ах, как я счастлива! *(Агару)* А вы?

Ольга. А это вам, Леда. *(Дает ей сверток)*. А это тебе, Женичка, а это вам, а это вам... *(Раздает Евгений, Агару и Патрикееву свертки)*. Ты, Женя, понюхай, как пахнет. *(Евгения нюхает духи, все развораживают свертки, возгласы)*. Сережа, тебя чуть не забыла. *(Дает сверток и Сомову, он развораживает его, это — книга о Лукке)*. Напоминание о том, что ты собирался везти нас обеих в Италию.

Все переглядываются.

Патрикеев. Вот я тоже собираюсь в Италию, и представьте...

Сомов. Как хорошо ты все придумала, Оленька, каждому то, что ему подходит.

До. А у меня — лучше всех. *(Ложится на диван)*.

Агар. С детства не помню, чтобы мне кто-нибудь что-нибудь дарил.

До *(кладя обе ноги на подушку)*. Это все потому, что я тут. *(Смущение)*.

Ольга. Ну, конечно. Я устроила елку для тебя.

До. Ах, как хорошо жить на свете! *(Все смеются)*.

Сомов. По-моему, она слишком много выпила.

До. Я еще хочу.

Ольга. Полежи спокойно, а то завтра будет болеть животик. *(Ольга садится с гостями. До лежит несколько вдалеке и сама себе улыбается)*.

Сомов *(закуривая)*. Я не договорил вам, но возможно, что в будущем году мне придется отправиться на время на Ближний Восток. Там начинается совершенно новое дело: обследование в Аравии старых колодцев; в одном недавно нашли каменную плиту с надписью, и сейчас Британский музей работает над расшифровкой. Я видел снимки. И мне сделали одно очень интересное предложение...

До. Лучше откапывать мамонтов. Мы недавно с Ольгой читали одну книжку про мамонтов, как одного откопали в Сибири.

А г а р. Неужели? Когда? Теперь?

Д о. Нет, перед войной, не перед этой, а перед той, я не знаю, перед какой, их столько было. Одним словом, перед какой-то войной откопали в Сибири мамонта и когда он весь вышел наружу, один ученый так волновался, что умер. Умер от мамонта. *(Все смеются)*.

С о м о в. Не умер, а упал в обморок от волнения. Это известный случай.

Д о. Умер, раз я говорю! А от каменной плиты еще никто не умер. *(Протягивает руку к столику, хочет достать стакан и выпить)*.

С о м о в *(идет к ней и отнимает стакан)*. Пожалуйста, поставьте стакан на место.

Д о. Ольга, мне довольно пить?

О л ь г а. Довольно, моя девочка.

Д о *(отдает стакан)*. Ах, как хорошо жить на свете! *(Сомов возвращается на свое место)*.

Е в г е н и я. Ближний Восток мне всегда казался удивительным местом, это смешение народов, языков, политических влияний... Я не помню, как называется этот город на берегу Персидского залива, где, говорят, небо иногда бывает лиловое, а солнце зеленое, и вообще краски в природе, как на картинах кубистов.

Д о. Не кубистов, а сюрреалистов.

О л ь г а *(стараясь замять)*. На картинах модных художников. Если Сережа поедет в Аравию, то мы с До будем жить в Каире, или в Сицилии. Правда, Сережа?

С о м о в. Да, конечно.

О л ь г а. Или поедет в Грецию. До, ты хочешь в Грецию?

Д о *(сонно)*. А вдруг я там потеряюсь?

С о м о в. Хотите я покажу вам, как реставрировали алтарь? И фотографии фресок тоже получены. Их привез Альвар.

П а т р и к е е в. Вот, вот, я всегда говорил: представляют чрезвычайный интерес, и отчасти восполняют...

Е в г е н и я. Покажите, я не знала, что они там все закончили. Почему же вы не там?

С о м о в *(идя с ней и с Патрикеевым в столовую)*. Это длинная история...

Все трое уходят.

Ольга подходит к До, лежащей на диване, гладит ее по голове, наклоняется к ней и что-то тихо спрашивает.

Д о *(громко)*. Совершенно счастлива.

Ольга что-то шепчет.

Д о. Ничего не болит... Ничего не хочу.

Л е д а *(тихо Агару)*. Роль этой блондинки в этом семействе мне не совсем ясна. Мне кажется, Ольга делает болушую глупость.

А г а р *(спокойно)*. Они ее усыновили.

Л е д а. Вы с ума сошли! Кто вам сказал?

А г а р. Никто. Впрочем, сам Сергей мне как-то намекнул на это. У Ольги проснулся материнский инстинкт.

Л е д а. Вы притворяетесь дураком.

А г а р. Благодарю вас.

Л е д а. Все дело в Сергее. И это все по-моему большая гадость. Лучше в таких случаях немедленный развод. Вас, как мусульманина, это конечно не коробит.

А г а р. Позвольте вам сказать, что вы на совершенно ложном пути. *(Пауза)*.

Л е д а. Всякая путаница в жизни меня всегда ужасно раздражает.

А г а р. Мне казалось до сих пор, что вы совершенно равнодушно относились к драмам, которые вас прямым образом не касались.

Л е д а. А разве тут уже драма?

А г а р. Я этого не сказал.

Л е д а. Евгения считает... впрочем это все равно, что Евгения считает. Вы будете, конечно, отрицать. Меня раздражает... что меня раздражает? Я забыла, о чем мы говорили.

Д о *(из глубины сцены)*. Жила-была на свете маленькая девочка и однажды раздвинулся занавес *(показывает на первое окно)* и представление началось.

А г а р. И что же это было за представление?

Д о. Это было чудное представление, и у маленькой девочки была самая большая, самая главная роль. В этой роли от одного неверного слова могли произойти мировые катастрофы. *(Пауза)*.

Д о. Но маленькая девочка, которая до того так тихо жила на свете, знала, как ей вести эту самую главную, самую важную роль. Она знала все слова... она умела их говорить. *(Пауза)*.

А г а р *(хочет остановить ее)*. До, вы любите Леду?

Д о. Я всех люблю.

А г а р. И меня?

Д о. И вас. И ее. И швейцара, который каждое утро говорит мне, что хорошая погода, и Эмилию, которая приходит по субботам и спрашивает меня, как я поживаю.

Начинает что-то напевать. Входят Сомов и Патрикеев.

С о м о в. Налить вам чего-нибудь, Леда?

Л е д а. Шампанского, конечно.

Сомов наливает ей и Патрикееву, который сидит в углу и смотрит на

До. До напевает что-то про себя. Леда говорит тихо, чтобы она не слышала.

Л е д а. Скажите, друг мой, у вас еще долго будет гостить эта девочка?

С о м о в. Ничего не могу вам ответить на это, я и сам не знаю.

Л е д а. Она не стесняет вас?

С о м о в. Нет, нисколько. Сначала немного непризвечно было — быть всегда втроем, вместо того, чтобы быть вдвоем, но сейчас все уладилось... она меня больше не раздражает, я вполне примирился... И потом Ольга так привязалась к ней.

А г а р. Ее нужно выдать замуж.

С о м о в. Как это просто! Да, вы правы.

П а т р и к е е в. Когда я выдавал замуж мою Ирочку, мы устроили завтрак на двести персон, и представьте, кто приехал? Бы никогда не отгадаете! Приехал сам Флинт. Я думал: ну телеграмму пришлет, ну там цветы, может быть, а он взял да и приехал. Прямо с Крита.

А г а р. Ее нужно выдать замуж.

Ольга и Евгения возвращаются.

Е в г е н и я. Вы знаете, что сейчас, оказывается, будет? До будет петь.

А г а р. До будет петь?

О л ь г а. Да, я хочу, чтобы она нам спела что-нибудь. Вы знаете, она берет уроки пения, у нее чудный голосок, и она делает огромные успехи.

С о м о в. Оставьте ее в покое. Она спит.

Д о (*лежа на диване*). Я не сплю. Я просто решила молчать, чтобы не принимать участия в ваших скучных разговорах. Теперь вы хотите, чтобы я веселила вас? Хотите, чтобы я вам спела? Без меня вы совершенно не знаете, чем вам занять себя. (*Встает с дивана. Общее смущение*).

С о м о в. Спойте, вы всем нам доставите этим удовольствие.

Д о. Всем, но не вам. Потому что вы относитесь ко мне критически.

С о м о в. Я вовсе не отношусь к вам критически, откуда вы это взяли? Я просто не прихожу в восторг от всего, что вы говорите и делаете.

А г а р (*стараясь замять*). Напрасно, напрасно.

О л ь г а. До, ты прекрасно знаешь, что Сережа тебя очень любит. Пожалуйста, господа, не ссорьтесь.

Д о. Я не ссорюсь, я тоже Сережу люблю, но он делает мне замечания.

О л ь г а. Ну, будет, будет. Пожалуйста, помиритесь, поцелуйтесь и будем петь.

До подходит к Сомову и после некоторого колебания целует воздух у его щеки.

О л ь г а (*идет к пианино*). Что же мы будем петь?

Д о. Все, что вы хотите. Я буду петь все, что вы скажете.

Леда. Люблю семейное начало. У меня в доме его никогда не было.

Евгения (*тихо Леде*). Мне кажется, я была неправа, когда сказала вам, что она живет с Агаром. Она с ним не живет.

Ольга и До у пианино.

Агар. Если она еще и поет хорошо, то у нее все качества.

Сомов. Она поет очень мило, но конечно — у них у всех одна цель: любой ценой на сцену. С этим следует бороться.

До. Вы слышите, что он сказал? Он все время хочет со мной бороться! А сначала этого не было... Но все это пустяки. Простите меня за то, что я только что сказала вам какую-то дерзость, пожалуйста, не думайте обо мне плохо. Любите меня... Такой чудный день и такой чудный подарок (*смотрит на браслет*), и Сережа такой милый, и все вы тоже. Я счастлива! И я вам буду петь, и вам Агар-бен-Мосед, мне ничего ни для кого не жалко.

Сомов. Она, кажется, опять выпила.

До. Когда я молчу, вы говорите, что я сплю, а когда я говорю, вы думаете, что я пьяная. Какие вы несправедливые. Какие злые. (*Закрывает лицо руками*).

Ольга. Мы будем петь «Ласточку».

До (*ко всем*). Да, мы будем петь «Ласточку». Слушайте все! И пожалуйста, будьте немножко добрее, а то я чувствую иногда, как холодный ветер бежит по этой комнате. Как будто зимой дует из окна. (*Оглядывается*). Эта комната. Я была в этой комнате когда-то... И мне теперь так хорошо здесь. И я люблю эти высокие окна, с их тяжелыми плотными занавесями. Сережа, там никто не стоит? (*Показывает на первое окно*). Там, кажется, кто-то спрятался?

Ольга. Ну довольно, довольно. (*Играет интродукцию*).

До поет.

Евгения (*хлопает*). Очень мило.

Агар. В ней действительно все качества.

Леда. Сергей, bravo, вы выбрали себе талантливую дочку.

Сомов. Какую дочку?

Леда (*насмешливо*). Я слышала, что вы усыновляете До.

Сомов. Простите, Леда, но ваши шутки неуместны.

Леда. Значит, мне сказали неправду.

Патрикеев встает, нервно ходит по комнате, потирает руки.

Ольга (*подходя к гостям вместе с До*). О чем вы здесь говорите?

Агар наливает До шампанского и она выпивает бокал. Сомов укоризненно на нее смотрит.

До (*возвращая бокал Агару*). Что вы так смотрите на меня, Сережа? Я всегда знала, что хорошо и что дурно. Я знаю, что здесь хорошо, а там дурно. (*Ольге*). Вы не прогоните меня туда?

Жизнь без вчера и без завтра, что может быть страшнее? И никого кругом. Они говорят: мир гибнет, так давайте погибнем вместе с ним, но здесь мир не гибнет, правда, он еще стоит в целости? И я тоже здесь в целости?.. Я останусь здесь, ведь так, Ольга? Когда я в первый раз увидела вас, я сразу ясно поняла, что есть мне место на свете... Что вы так смотрите на меня, Сергей Сергеевич? Разве вы не рады, что я здесь? Разве вы не говорили, что вам не хватает молодости? Вот она, молодость! Берите ее, кто хочет!

О л ь г а. Сумасшедшая маленькая девочка! Нельзя столько разговаривать, дай поговорить другим.

А г а р. Я бы хотел жениться на ней.

Д о. Мало ли кто хочет жениться на мне! Но мне и так хорошо.

Л е д а (*погти громко*). Она меня раздражает тем, что когда она здесь, все видят только ее одну.

Д о. Потому что она прелестна. (*Все смеются*). Но прелестное не может разрушить прекрасное... (*Пауза*). Вам теперь всем пора идти домой. (*У нее спадает с одного плеча платье*).

С о м о в. Прошу вас не разгонять моих гостей. У вас с плеча падает платье. Поправьтесь, это неприлично.

Д о (*поправляя платье*). Мне нечего скрывать, я всюду красивая. И я говорю и делаю, что хочу. А вы нет.

С о м о в. Оставьте меня в покое.

Е в г е н и я. Она совершенно права, нам всем давно пора домой, (*Встает, за ней Леда*). Спасибо за все. И за духи.

Все, прощаясь друг с другом, идут под арку, в переднюю. Агар и Сомов подают женщинам шубы. Патрикеев остается один с До на авансцене. Он подходит к ней. Остальные постепенно выходят.

П а т р и к е е в. Это был сам Флинт. Он приехал с Крита, бросил все.

Д о (*смотрит на него, словно в первый раз его видит*). Кто это?

П а т р и к е е в. Величайший ум. Корифей! Колосс! Он был на Ирочкиной свадьбе.

До испуганная начинает отходить от него. Патрикеев смущается, кланяется, идет к выходным дверям. И накидывая пальто выходит вместе со всеми.

Сомов подходит к До. Они оба слева на авансцене. Ольга на мгновение остается стоять под аркой, глядя на них, и как только Сомов начинает говорить, тихо и медленно уходит во внутренние комнаты.

С о м о в. Я хочу, чтобы вы мне, наконец, сказали, долго ли еще будет продолжаться этот кошмар?

Д о. Что, собственно, вы называете кошмаром?

С о м о в. То, что началось почти в шутку, а теперь грозит всей моей жизни?

Д о. А, так это были шутки в тот вечер, когда я прожгла ваш ковер?

С о м о в. Тише. Я дошел до того, что готов все ей сказать.

Д о. Но что же именно? Что сказать? Разве что-нибудь было между нами?

С о м о в. Уходите отсюда. Завтра утром уходите к себе домой.

Д о. Нет, я никуда не уйду.

С о м о в. У вас не будет никаких забот, все будет сделано... завтра же. Я позабочусь обо всем. Только уйдите от нас, уйдите. Дайте нам жить, как раньше.

Д о. Вы так говорите, Сергей Сергеевич, потому что я не стала вашей любовницей. Если бы я была ею, счастливее вас не было бы человека на свете. Но этого никогда не будет. И я все-таки останусь здесь.

С о м о в. Вы очевидно забыли маленькую подробность: этот дом мой.

Д о. Мне это совершенно все равно.

С о м о в. То есть как все равно? Я здесь хозяин.

Д о. Разве дело в квартире? Если дело дойдет до выбора, то Ольга выберет меня.

С о м о в. Вы пьяны. Этого никогда не будет.

Д о. Не волнуйтесь так. Посмотрите на себя, на кого вы похожи? Вам лучше примирится с тем, что я здесь, и не ставить Ольге никаких ультиматумов. Вы проиграете. Все это одно ваше самолюбие.

С о м о в. Я кажется схожу с ума. Моя жена приглашает гостить в дом знакомую. Я хочу, чтобы она уехала, и эта особа говорит, что ее предпочтут мне.

Д о (*лукаво*). Но ведь это не совсем обыкновенная гостья.

С о м о в. Да, но ведь Ольга этого не знает.

Д о. Она вероятно предполагает, что ничего не было.

С о м о в. То есть как это? Я не понимаю вас... До, ведь вы тоже страдаете от всего этого, неужели не лучше уйти туда, откуда вы пришли?

Д о. Я уже сказала вам, что мне здесь хорошо, как в раю, и мне некуда уходить. А страдания, господин Сомов, они только ваши. Мне уготовлены здесь одни радости.

Ольга входит в халате и туфлях.

С о м о в (*кидаясь к ней*). Ольга!

О л ь г а (*спокойно*). Что, Сергей, что, мой милый?

С о м о в. Я хочу, чтобы она уехала от нас. Мне кажется, что в этой жизни втроем есть что-то неестественное.

О л ь г а. Что с тобой? Куда ты хочешь выгнать маленькую девочку? Мы же обещали ей, что она будет наша собственная.

С о м о в. Ольга, мы счастливо жили с тобой вдвоем, я опять хочу жить вдвоем, как прежде. Я ничего больше не хочу.

О л ь г а (*слегка играя*). Я не понимаю тебя. Сережа, от До — одна радость и мне, и тебе. Как она мило пела сегодня, все были в таком восторге от нее. Вся наша жизнь приняла какой-то новый смысл с тех пор, как она с нами. Я сама помолодела от нее, и даже ты...

С о м о в. Я не хочу молодости. Я доволен тем, какой я есть.

О л ь г а. Прекратим этот разговор. Я думаю, нам выпало на долю огромное счастье — дать человеку часть самих себя, полюбить его, пригреть, самим радоваться на него. Неужели тебе непонятно это?

С о м о в. Я хочу, чтобы она уехала.

О л ь г а. Об этом не может быть и речи. До, ты хочешь от нас уйти?

Д о. Я всегда хотела бы быть около вас. Мне так хорошо с вами.

С о м о в. Ты погубишь все, что было между нами.

О л ь г а. Ты, кажется, собираешься быть смешным?

С о м о в. Да, если бы кому-нибудь рассказать, что здесь происходит, то это может показаться смешным. Но мне не смешно. Есть еще время спасти все. Прогони ее!

О л ь г а. Этого никогда не будет.

С о м о в. Я не могу больше жить втроем. Я не могу ее видеть. Если она не уйдет, то уйду я.

О л ь г а. Как хочешь.

С о м о в. Что ты сказала? Ты выбираешь ее?

О л ь г а. Я не выбираю ее, но неужели ты думаешь, что я могу ее прогнать — нашу маленькую девочку? Она ни в чем не виновата.

С о м о в. Но ведь я люблю тебя.

О л ь г а. Я тоже люблю тебя, но почему нам не быть всем вместе?

С о м о в. И ты считаешь, что все это естественно?

Д о. Конечно, так и надо жить. Люди, живущие вместе, не два кула с мукой, а два динамитных патрона.

С о м о в. Убирайтесь отсюда с вашими гнилыми теориями!

О л ь г а. Зачем ты оскорбляешь ее? Что она тебе сделала?

С о м о в. Она разрушила мою жизнь. Она ослепила тебя.

О л ь г а. Слушай, Сергей, теперь я скажу тебе что-то очень важное, чего я тебе никогда не говорила. Я полюбила ее за то, что при нашей первой встрече я смогла что-то изменить в ней, пробудить в ней что-то честное, человеческое, что могло и не проснуться.

С о м о в. Что же это было?

О л ь г а. Это заведет нас слишком далеко. Но случилось так, что один мой поступок, и такой неожиданный для нее, изменил в ней все.

С о м о в. Ты обольщаешься. Она просто поняла, что может сыграть роль и без театра, и вот она здесь.

О л ь г а. Нет, случилось однажды так, что она могла разбить, сломать драгоценную вещь, и она не сломала ее.

С о м о в. Она сделала хуже: она пришла сюда и испортила нам существование. И теперь ей доставляет удовольствие слушать нас. Смотри на нее.

О л ь г а. Как ты болезненно все преувеличиваешь.

С о м о в. Я не желаю больше доставлять ей это удовольствие. Я уйду.

О л ь г а. Не будь смешным. Ты придешь обратно завтра и тебе будет стыдно.

С о м о в. Я приду, если ее здесь больше не будет.

Д о (*бросаясь к Ольге*). Оставьте его, пусть уходит! Мы проживем и без него.

С о м о в. (*бросаясь на До*). Вон отсюда! (*Ольга заслоняет ее*).

О л ь г а. Сергей, я не узнаю тебя. Успокойся ради Бога. До, не говори ему таких слов, они обижают его.

С о м о в. Я уйду.

О л ь г а. Ты сходишь с ума. Я люблю тебя и ни на кого не променяю.

С о м о в. Ты ее любишь больше меня!

О л ь г а. Но, Сережа, какое же может быть сравнение! Ведь это безумие, ставить себя на одну доску с ней. Ты — мой муж, мой друг, товарищ моей жизни. А она — просто маленькая девочка, которую я люблю и жалею, которой я больше всего на свете желаю счастья.

С о м о в. Ты не видишь, что у нее на душе. Она в эти минуты переживает такое наслаждение, какого ей никогда не удавалось переживать. Она участвует, наконец, в жизни, она не только коснеет на своем чердаке, между самоубийцами, бездарностями, наркоманами, никому ненужными людьми, как она сама. Она живет! Смотри, все гланды у нее работают!

Д о (*бросается на него, метя ногтями в глаза, кричит*). А. . .

О л ь г а (*опять становится между ними*). Мне страшно, мне стыдно тебя слушать. Я хотела бы. . . Сергей после того, что ты сказал. . . Я никого не выбираю, я не хочу выбирать. . . Разве не ты первый захотел, чтобы она была здесь?

С о м о в. Когда?

О л ь г а (*как будто решившись на что-то*). С самого начала.

С о м о в. Что ты называешь самым началом?

О л ь г а (*отступая*). Ах, не все ли равно, когда это было! Считаю, что я привела ее к тебе. . . Я даю ее тебе. Вот тебе молодость, которую ты так хотел. Играй с ней, бери ее! А я буду смотреть на вас.

С о м о в. Успокойся. Давай решим, что нам делать.

О л ь г а (*возвращаясь к прежнему тону*). Мне нечего решать. Я знаю, что мне надо делать. Я делаю только то, что считаю нужным делать. В тот вечер, когда...

Д о (*испуганно*). Молчите! Не говорите ему ничего больше!

С о м о в. В какой вечер?

Д о. Ольга! Не надо!

О л ь г а (*приходя в себя*). Вот видишь, в какое состояние приводят ее наши ссоры.

С о м о в. Я ненавижу ее. Я хотел бы быть за сто верст отсюда.

Д о успокоилась совершенно, с улыбкой насмешливо хочет приоткрыть входную дверь, другой рукой делая знак Сомову, что он может уйти.

С о м о в (*опять хочет броситься на нее*). Не смейте меня гнать из моего дома. (*Поворачивается и уходит во внутренние комнаты*).

Ольга бросается в кресло. До подле нее.

Д о. Мы никогда не расстанемся, правда? Я буду делать все, что вы скажете.

О л ь г а. Неужели он уйдет? Нет, он только грозит, что уйдет.

Д о. А если и уйдет, то вернется завтра. Зачем он вам?

О л ь г а. Если бы я хотела отдать его, то не стояла бы за портьерой в тот вечер.

Д о. Он всегда злился, когда нам с вами бывало весело без него.

О л ь г а. Ты преувеличиваешь.

Д о. Вы заметили, как он часто обижался в последнее время, без всякой причины? Он не любит вас.

О л ь г а. Да, иногда мне тоже это казалось.

Д о. Бог с ним! Не думайте о нем. Есть столько вещей, о которых интересно думать. Я буду думать о моем браслете.

О л ь г а. А ты и не посмотрела, что выгравировано внутри.

Д о. Нет, а что там? (*Снимает браслет, гугает*). Моей маленькой девочке на ее первую елку. (*Бросается на шею Ольге*).

О л ь г а. До, как хорошо, что ты здесь. Ты знаешь, я дорожу моим чувством к тебе.

Д о. Я знаю.

О л ь г а. Ты знаешь, почему, в ту первую ночь, я ушла и оставила вас вдвоем?

Д о. Конечно, знаю. Если бы вы остались, чтобы сделать сцену ревности, вы были бы, как все.

О л ь г а. А ты знаешь, чего мне это стоило?

Д о (*лукаво*). Да, но вы получили награду.

О л ь г а. Вышло, что я оказалась сильнее судьбы.

Д о. А я? (*Пауза*).

О л ь г а. Как ты пела сегодня. (*Пауза. Обе молча сидят рядом, До положила голову на плечо Ольге*).

Входит Сомов в пальто.

Ольга (*вскакивая*). Сергей, одумайся. Мы могли бы быть так счастливы втроем. Ну помирись с ней, попроси у нее прощения за все грубые слова.

Сомов (*с отворачиванием смотря на обеих*). Я не могу тебе сказать всего, но она не то, что ты думаешь.

Ольга. Она не то? Что ты хочешь этим сказать?

До. Не слушайте его! Он теперь будет клеветать на меня.

Сомов (*показывая на Ольгу, к До*). И она не то, что вы думаете о ней. Не бойтесь, больше я ничего не скажу вам друг о друге. Ты заметила, как она испугалась? Я хотел бы никогда больше не видеть ее. (*Уходит*).

Ольга. Сережа, не уходи. Сережа, я люблю тебя... Сережа... (*Некоторое время остается у двери, потом идет, не глядя, к книжной полке и стоит там неподвижно*). До, что я сделала? Что случилось?

До (*тушит елку*). Елке конец.

Ольга. Надо было не так... Надо было... Зачем я встала тогда за этот занавес?

До (*насмешливо*). Вы хотели быть сильнее судьбы. На что вы жалуетесь? Ведь вам это удалось?

Ольга. Но я себя не знала.

До. Познакомьтесь. Никогда не поздно... А я в тот вечер ваш ковер прожгла. Папироской.

Ольга (*равнодушно*). Да? Отчего ты тогда весь дом не спалила?

До (*смеется*). Это будет в следующий раз.

Ольга (*пристально глядя на нее*). Как ты жила раньше? До нас? Кого ты мучила?

До (*небрежно*). Одного котенка.

До потушила елку и лампы, в комнате полумрак.

Ольга. Неужели день кончился? Что я сделала, До? А если он не вернется?

До (*говорит, как ребенку*). Пора спать. Спокойной ночи. Завтра будет другой день.

Поворачивает Ольгу лицом к двери во внутренние комнаты, берет за плечи и ведет перед собой к этой двери. Ольга идет машинально. До возвращается к елке, осматривается, видит свой стакан, собирается допить из него шампанское, но, раздумав, выплескивает вино на ковер. Потом медленно подходит к вазе с цветами, обрывает у роз лепестки и обеими руками бросает их в воздух. Занавес начинает падать, а она все обрывает лепестки и бросает, они падают на пол.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Та же комната спустя два дня. Елка вынесена. Позднее утро. Солнце. На стене вместо натюрморта Боннара — абстрактный набросок маслом.

До в брюках и рубашке навывпуск, лежит на животе посреди комнаты и читает книгу. Она курит и сыплет пепел вокруг себя, куда придется. Волосы ее подобраны в узел. При поднятии занавеса звонит телефон, но До не двигается, перелистывает книгу и стряхивает папиросу. Телефон

звонит долго, потом умолкает.

Когда телефон стихает, До переворачивается на спину, задирает ноги и продолжает читать и курить. У входной двери звонок. Она не двигается. Берет конфету из коробки, рядом с собой. Второй звонок, более продолжительный. До, наконец, нехотя встает, идет к двери, открывает ее.

Входит Евгения.

Евгения. Вы что, спали? Я уж думала, никого дома нет.

До (*хмуро*). Никого и нет.

Евгения. Ольга ушла?

До (*ложась на диван с книгой*). Угу.

Евгения. Когда она вернется?

До. Угу. (*Читает*).

Евгения. Разве мы не условились с ней идти сегодня за билетами в оперу? На улице мороз... (*Садится*). Погреюсь немножко. (*Пауза*). Что вы читаете?

До. Книгу.

Евгения. Я вижу, что книгу. А где Сергей?

До молчит и читает.

Евгения. Я спрашиваю вас: где Сергей Сергеевич?

До. Уехал.

Евгения. Уехал из города?

До (*продолжает гитать*). Угу.

Евгения. Что так внезапно? Позавчера и разговору об этом не было... Надолго? (*Снимает туфлю и что-то в ней разглядывает*).

До пожимает плечами.

Евгения. А елку уже убрали? Что так скоро? (*До молчит*). Обыкновенно оставляют елки до нового года, а иногда и дольше. Когда я была маленькая, у нас были маленькие елки, а как я стала подрастать, так и елки сделались больше. Это мой отец придумал. Он всегда что-нибудь придумывал, и однажды он придумал бросить нас с мамой. И я его больше никогда не видела. (*Задумывается, пауза*). А у вас были елки, когда вы жили дома?

До. Нет, не было.

Евгения (*мягко*). Подойдите ко мне сюда. Вы позавчера были такая злая, наговорили всем дерзости, обидели Сергея, отка-

зали Агару, когда он сделал вам предложение. Но ведь вы не плохая?

До (*подойдя к ней*). Это была моя первая елка.

Евгения. Какое событие!.. Что ж, родители ваши разве не баловали вас?

До (*мягко и доверчиво*). Папа умер, когда мне было шесть лет. А мама очень часто жила не дома.

Евгения. Как не дома? Где же она жила?

До. В больнице.

Евгения. А кто же за вами смотрел?

До. Сестра. Она была папина дочь, не мамина. Потом она вышла замуж и уехала.

Евгения. Послушайте, да ведь это очень грустная история.

До. У многих так бывает.

Евгения. И что же было потом?

До (*внезапно меняя тон*). Потом я сняла хорошую квартиру с окнами в парк, наняла двух лакеев, шофера и повара, завела пекинских собачек, и когда я гуляла с ними в этом парке...

Евгения. Не надо так разговаривать со мной. Не хотите — не говорите ничего. Давайте молчать.

До идет и ложится с книгой на диван. Пауза.

Евгения (*замекает картину на стене*). Это что изображает? Балерину?

До. Что?

Евгения. Я спрашиваю, что там нарисовано?

До. Берег моря.

Евгения (*насмешливо*). Это вы нарисовали?

До (*не замечая насмешки*). Я не рисую.

Евгения. А что же вы здесь делаете? Учитесь?

До. Я читаю, как вы видите. (*Пауза*).

Евгения. Так откуда же вы собственно появились?

До. Кто? Я?

Евгения. Да, вы.

До. Я появилась из мест, куда таких, как вы, не пускают.

Евгения. Почему?

До. Потому что туда пускают только особенных.

Евгения. Если там так хорошо, то почему вы ушли оттуда?

До. Меня оттуда выманили. Обещали, что будет еще лучше.

Евгения. И вы поверили? И вас обманули? (*До молчит*). Что ж вы молчите? Отвечайте: вас обманули? (*До молчит*). Молчать самое легкое. В первый раз, когда я увидела вас, вы объявили мне довольно дерзко, что в жизни самое трудное и есть самое интересное. Помните? Вы еще сказали тогда, что все легкое и простое вам всегда скучно. Это были только слова.

До. Нет. Я никогда не говорю только слова *(бросает книгу)*.

Евгения. Если вас отучить от всех этих парадоксов, спустить вам штанишки и хорошенько выпороть вас, а потом сделать соответствующее внушение, то из вас выйдет очень хорошая девочка.

До. Собирающая цветы и плетущая венки? Или вышивающая по канве?

Евгения. Будет вам! Меня этим не проймешь. Я не Ольга.

До *(смотрит на нее серьезно, пристально)*. Да, меня обманули.

Евгения *(мягко)*. Подойдите сюда. *(До встает и осторожно подходит)*. Вы что, боитесь меня? Я вас не съем. Мне хочется сказать вам что-то доброе, но я совершенно не умею говорить, я так давно ничего никому доброго не говорила... я... сядьте рядом *(До садится)*. Я... Нет, не знаю, как это сказать.

До *(мягко)*. Скажите! Придумайте что-нибудь!

Евгения. Чувствую прямо какую-то стену между мной и другими людьми, и не нахожу слов, подходящих, понимаете?

До грустно встает и отходит. Пауза.

Евгения. У вас были любовники?

До. Не смейте издеваться надо мной.

Евгения. Я уверена, что вы переехали сюда после какой-нибудь сногсшибательной авантюры.

До. Что это такое? Я не понимаю.

Евгения. Это значит: потрясающего романа.

До. Я стараюсь не понимать ваших пошлостей.

Евгения. Скажите пожалуйста! Что, я не знаю, с какими целями вы поселились в этом доме?

До решает уйти из комнаты, но видимо не знает, куда.

Евгения. Не вышло с одним, выйдет с другим... Благородства в вас во всяком случае не было, не делайте оскорбленного лица.

До решает уйти в дверь столовой.

Евгения. А когда вам говорят что-нибудь, что вам не нравится, то вы хотите благополучно улигнуть.

До *(возвращается к Евгении)*. Замолчите пожалуйста.

Евгения. По-моему, вы собираетесь заплакать?

До затыкает уши, уходит к окнам.

Евгения *(обиженно)*. Скажите Ольге, что я зайду попозже. Пусть подождет меня. *(До молчит. Евгения уходит)*.

До опять ложится на пол, но не читает, а кладет голову на руку и думает. Из двери справа выходит Ольга в халате.

Ольга. Что ты так смотришь на меня?

До. Я думала, вас нет дома.

Ольга. Здесь никого не было?

Д о. Угу.

О л ь г а. А кто звонил?

Д о. Приходила Евгения.

О л ь г а. Ну и что же?

Д о. Я думала: вас нет. Она ушла.

О л ь г а. Я же сказала тебе, что иду купаться.

Д о. Я забыла... Но не беспокойтесь, она придет опять. *(Ольга садится к письменному столу и что-то пишет. До смотрит на нее насмешливо)*. Вы со вчерашнего дня стали вести дневник?

О л ь г а. Нет, почему ты спрашиваешь? Я не веду дневника.

Д о. Все пожилые дамы, которые ничего не делают, ведут дневники.

О л ь г а *(спокойно)*. Я пишу письмо.

Д о. «Милый Сережа, вернись! Я не могу без тебя жить.»

О л ь г а. До, оставь меня в покое.

Д о *(после паузы)*. Мадам Сомова рассердилась.

О л ь г а. Ты опять начинаешь свое.

Д о. У вас за эти два дня испортился характер.

Ольга не отвечает и продолжает писать.

Д о. Мадам Сомова надулась. *(Молгание)*. Да ведь вы даже не знаете его адреса!

О л ь г а. Но я вовсе не ему пишу... Может быть, ты знаешь его адрес?

Д о *(насмешливо)*. Я не успела записать его, когда он мне его шепнул, уходя.

О л ь г а *(кладет перо, смотрит на До)*. Я сегодня всю ночь думала: почему его нет, а ты — здесь? И мне все, что произошло позавчера, кажется таким бессмысленным.

Д о. Я здесь потому, что вы этого хотели.

О л ь г а. Я теперь спрашиваю себя: хочу ли я этого еще?

Д о. А, так я, оказывается, была капризом мадам Сомовой!

О л ь г а. Почему ты меня так называешь?

Д о. Потому, что вы брошенная супруга господина Сомова.

О л ь г а. Спасибо тебе за эти слова. *(Пауза)*. Сегодня очень рано звонил бен-Мосед. Он был очень осторожен и деликатен, но мне кажется, он все знает.

Д о. Бен-Моседу хочется спать со мной.

О л ь г а. Это его дело.

Д о. Сереже тоже хотелось спать со мной.

О л ь г а. Я это знаю.

Д о. Почему вы тогда вышли из-за занавеса? Если бы вы остались стоять за ним, вы бы теперь наверное знали, что между нами ничего не было.

О л ь г а. Я и теперь это знаю. Давай об этом больше не говорить.

Д о. Сейчас вы притворяетесь доброй и милой, но настоящей вы были там, в тот вечер (*показывает на окно*), когда следили за нами.

О л ь г а. Разве тогда я была дурная? Если бы я была дурная, я бы не вышла оттуда, или вышла бы иначе.

Д о. Сознайтесь, что вы жалеете теперь, что не достояли там до конца?

О л ь г а (*задумавшись*). Да, вот сейчас, в это самое мгновение, я пожалела об этом в первый раз. Потому что, если бы я осталась до конца, то тебя бы сейчас здесь не было. Со мной был бы Сергей, которому бы я давно все простила.

Д о. Так простите его сейчас!

О л ь г а. Сейчас мне ему прощать нечего.

Д о. Вы уверены в этом?

О л ь г а. Оставь меня в покое.

Д о. Вы тогда боялись опасности, вы вышли ко мне из трусости.

О л ь г а. Мне становится все равно, как ты судишь меня и что думаешь обо мне.

Д о. Вы, может быть, презираете меня с высоты вашей добродетели?

О л ь г а (*тихо и зло*). Я никогда не ходила ночью в дом к чужому человеку.

Д о (*все более разгораясь*). Вам страшно обидно, что Сергей едва не обманул вас.

О л ь г а. И это ты говоришь мне?

Д о молчит и читает.

О л ь г а. Мне не это больно. Я не знаю, поймешь ли ты меня: мне больно, что между тобой и мной все разрушилось. И это случилось в одну ночь: в тот час, когда он ушел отсюда. Он ушел, оставив нас вдвоем и этим самым он сделал твое присутствие в доме бессмысленным. При нем мне казалось — был смысл в тебе. Теперь его нет. И вот выходит, что Сергей был и есть хозяин моей жизни.

Д о. Я — хозяин вашей жизни. Вот уже месяц, как я хозяин вашей жизни.

О л ь г а (*холодно смотрит на нее*). Может быть, уже нет.

Д о бросает книгу, включает радио. Громкий джаз. Ольга встает, идет к радио, закрывает его.

О л ь г а. Я не оказалась сильней судьбы, а ты — просто моя ошибка.

Д о. Это относится к категории громких слов, которые у нас презирают.

О л ь г а. У нас? Это где же? Там, откуда ты сбежала сюда?

Д о. Там, где мучают людей по-другому.

О л ь г а (*решившись*). На этот раз это будут совсем тихие сло-

ва: ты мне больше не нужна. В тебе был смысл, пока он был здесь.

До. Не собираетесь ли вы выгнать меня из дому?

Ольга. Я собираюсь просить тебя уехать отсюда.

До (пораженная). Вы меня выставяете на улицу? (Пауза. Ольга молчит). А если я не хочу уходить? Если мне здесь нравится? (Пауза. Ольга молчит). А если я не уйду? Вы слышите, что я говорю? Я спрашиваю вас: есть ли на свете такое право, чтобы гнать людей из дому после того, как их взяли в дом?

Ольга. Успокойся, До.

До (разгораясь). Маленькую девочку приголубили, обласкали, а теперь — довольно! Она надоела, маленькая девочка, она больше не нужна. С ней поиграли и будет. Ее задарили, захвалили, ей наобещали, а потом сказали: вон! Мы лучше заведем собачку или канарейку... Но маленькая девочка не уйдет, ей некуда уйти. И не к кому.

Ольга. Но, До... (Хочет дотронуться до нее).

До. Не трогайте меня... Я теперь знаю, что было у вас на уме, когда вы хотели, чтобы я жила с вами. Вы хотели продолжать следить за ним и за мной, как уже следили (показывает на окно). Вы хотели все видеть своими глазами, вы не могли примириться с мыслью, что что-то случится за вашей спиной. Но ничего не случилось. И убеждаясь в этом, вы делали счастливой. Вы убеждались каждый день и целый день, что ничего не было и нет. Вы видели, как страдало его самолюбие, когда я привязывалась к вам, и вам это нравилось. Этим вы мстили ему за то, что он привел меня в ту ночь к себе. А теперь вы решили мстить мне... Больше всего вы боялись быть обманутой. Но обманутой оказалась я. Я поверила, что вы можете дать мне все, чего я лишена в жизни (голос ее дрожит, слышны слезы). Я приняла вас за судьбу мою. Но без него я не нужна вам. Я нужна была только для сведения счетов между супругами Сомовыми.

Ольга. Замолчи! Все это совершенно не так.

До. Нет, это именно так. (Внезапно голос ее падает). И теперь я должна идти, не знаю, куда.

Ольга (сухо). Как ты дурнеешь, когда злишься.

До. Неправда, я всегда хорошенькая.

Ольга. Ты делаешься некрасивой и вульгарной.

До. Посмейте еще раз сказать это. (Хватает хрустальную пепельницу).

Ольга. ...и вульгарной. (До бросает пепельницу в Ольгу, но не попадает. Пепельница не разбивается. У двери раздается звонок).

До бросается к двери, Ольга останавливает ее. Борьба. Обе у входа в переднюю.

О л ь г а (*шепотом*). Ты меня хотела убить, гадина!

Д о (*шепотом*). Зовите полицию! Она защитит вас от меня!

Ольга наконец отталкивает До от входа в переднюю и берется за ручку двери. До убегает во внутренние комнаты в слезах, Ольга открывает дверь. Входит Евгения.

Е в г е н и я (*входя*). Здравствуй Ольга. Ты знаешь, я уже была сегодня. Что ж ты не одета? Мы же условились.

О л ь г а. Здравствуй Женя.

Е в г е н и я. Ты чем-то расстроена.

О л ь г а. Не спрашивай меня ни о чем. Посиди со мной. Это сейчас пройдет.

Е в г е н и я. Иди, одевайся скорей. Я тут без тебя сидела с До.

О л ь г а. Женя, милая, я сяду здесь, и ты сядь рядом (*садятся обе на диван*). Никуда я с тобой не пойду. Иди одна.

Евгения поднимает пепельницу с пола.

О л ь г а. Ты, конечно, знаешь, про Сергея.

Е в г е н и я. Что случилось?

О л ь г а. Он ушел от меня позавчера ночью, после того, как вы все ушли.

Е в г е н и я (*пораженная*). Почему?

О л ь г а. Он меня больше не любит.

Е в г е н и я. Ты сошла с ума! Кого же он любит по-твоему?

О л ь г а. Не знаю, ничего не знаю. Я даже не знаю, где он. Я сама во всем виновата.

Е в г е н и я. А где сейчас До?

О л ь г а. До... еще здесь.

Е в г е н и я. Пора тебе разделаться с ней, она стала ужасно нахальной.

О л ь г а. Что ты! Когда ты заметила?

Е в г е н и я. Пусть возвращается на свой чердак. Ей совершенно не место здесь. У нее свои вкусы (*смотрит на картину*), свои привычки. И потом, что у тебя за идея держать при себе молоденькую девушку? У Сергея от нее наверное завелись всякие мысли.

О л ь г а. Нет, ты ошибаешься, тут совсем другое.

Е в г е н и я. Это очень опасно. Еще чего доброго ее могут принять за твою дочь. Хорошенькое положение! А Сергея надо вернуть.

О л ь г а. Нет, Женя, не делай этого. Он вернется сам.

Е в г е н и я. Держу пари, что он у бен-Моседа. Где же ему еще быть? Ты Моседу звонила?

О л ь г а. Он сам сегодня рано-рано звонил мне, но он ничего не сказал, а я, конечно, не спросила. Никто еще ничего не знает, но скоро, я думаю, всем все будет известно.

Евгения. Я не так умна, как ты, но ей-Богу же во мне больше здравого смысла. Разве можно без всякой причины все ломать? Что вы, разве в первый раз за восемнадцать лет поссорились?

Ольга. Так — да.

Евгения. Как это «так»?

Ольга. Чтобы это объяснить, надо долго думать и многое распутать для самой себя, да и то неизвестно, станет ли ясно. (*Кричит*). Я до сих пор не знаю, кто виноват во всем, но кто-то же виноват? Неужели действительно я? Когда была сделана ошибка? Я просчиталась? Я...

Евгения. Успокойся, не волнуйся так.

Ольга. Понимаешь, это как в преступлении, когда все так тщательно обдумано и вдруг пустяк, забытый клочок вчерашней газеты, все выдает, рушится весь расчет, вся хитроумная постройка...

Евгения. Виновата во всем наверное эта девчонка. Как это было неосторожно поселять ее здесь!

Ольга. У меня не было другого выхода. (*Волнуется*). Это был мой единственный способ борьбы и попытка совершить чудо, которое сделало бы всех нас счастливыми. Это оказалось невозможным.

Евгения. Но ты уверена, что они не видятся сейчас где-нибудь в другом месте, за твоей спиной?

Ольга. Нет, Женя, они не видятся. Но ей нет смысла больше здесь жить, когда распалось все.

Евгения. Что ты говоришь! Какие нелепости!

Ольга. Я думала, она станет центром, смыслом нашей жизни, но этого не случилось. Она любит все разрушать вокруг себя.

Евгения. Пусть идет разрушать в другое место. У меня с самого начала были подозрения... Но все это слишком сложно для меня. Гони ее и возвращай его. Вот и все.

Ольга. Женя, я все потеряла. (*Прыгает лицом*).

Евгения. Ты хочешь сказать, что ты потеряла Сергея? Не беспокойся, он вернется к тебе.

Ольга. Не только Сергея. Я теперь сожалею о поступке, которым еще неделю тому назад тайно гордилась перед самой собой.

Евгения. Вся эта история не стоит выеденного яйца. Прогони девчонку, верни Сергея и уезжайте куда-нибудь на месяц.

Ольга (*не слушая ее*). Я жалею о поступке, который еще совсем недавно казался мне каким-то особенным, сильным, прямым.

Евгения. Ольга, милая, мне больно видеть тебя такой расстроенной.

Ольга. Уходи лучше, Женя. Я позвоню тебе завтра. Мне хочется остаться одной.

Евгения (*встает*). Прощай. Уверю тебя, что эта маленькая

ссора, о которой вы оба через месяц забудете. Только одно: постарайся, чтобы он, когда вернется, не виделся бы больше с ней.

Обе идут к входной двери.

О л ь г а. Ее здесь тогда уже не будет.

Е в г е н и я. Ты не поняла меня. Чтобы он не ходил к ней на ее романтический чердак. Поняла теперь? Пусть он третьего дня при всех ругал ее, и они ссорились, это еще не значит, что он не побегит к ней от тебя, через день после того, как вернется.

Ольга слушает ее с ужасом. До входит и тихо остается стоять у двери.

Е в г е н и я. Да не расстраивайся так. Ну на что это похоже? Я тебе говорю про жизнь. . . Ты хотела не то облегчить им что-то, не то помешать им в чем-то. Но это им совсем не важно. Они сами уладят свои дела без тебя. (*Берется за ручку двери, уже выходя на лестницу*). Они сами. . . без тебя. . . без твоего согласия или несогласия. . . (*Выходит*).

О л ь г а (*замекает До у двери*). Ты уложила свои вещи?

Д о. Я. . . У меня нет вещей. . . Все вещи ваши.

О л ь г а. Они тебе будут посланы завтра же. На твою старую квартиру. Теперь уходи. (*До не двигается*). Последнее, что я хочу сказать тебе, это что я жалею, что не осталась там (*показывает на окно*) до утра. Ты права: надо было остаться. Но я не подглядываю и не подслушиваю.

Д о. Вы только самой себе кажется благородной. Другие могут быть о вас иного мнения. Вы и подглядывали, и подслушивали.

О л ь г а. Ты еще здесь? Почему ты не уходишь.

Д о (*испуганно*). Куда?

О л ь г а. Уходи, До. Совсем, навсегда уходи отсюда. То, чего мне хотелось — не вышло. Тебе не к чему больше оставаться здесь.

Д о. Вы пошутили. Вы не прогоняете меня всерьез?

О л ь г а. Я прошу тебя уйти всерьез.

Д о (*со слезами в голосе*). Но ведь я была вашей маленькой девочкой.

О л ь г а. Все это имело смысл, пока он был здесь. Разве ты еще не поняла?

Д о. Скажите, что вы шутите. Вы пугаете меня.

О л ь г а. Нет, я не шучу, ты уйдешь отсюда.

Д о. Но мне некуда идти. Мне некуда, и мне страшно. Мой дом здесь — вы сами мне дали его.

О л ь г а (*равнодушно*). Теперь я его отнимаю. У тебя есть другой, там.

Д о. Вы не понимаете жестокости, бесчеловечности вашего поступка?

О л ь г а. В чем его бесчеловечность? Ты гостила у нас, а теперь возвращаешься к себе.

Д о. Это неправда! Вы играете в игру! Все будет опять по-прежнему.

О л ь г а. Ничего не будет по-прежнему.

Д о. Но куда же я пойду? Куда вы гоните меня? (*Ольга проходит мимо нее, До пытается схватить ее за платье*). Куда?.. Мне некуда идти... Ольга... (*Плачет*).

О л ь г а (*отводя ее руку*). Оставь меня. Чем скорее ты уйдешь, тем будет лучше. Вот в эту дверь (*показывает*), в которую ты вошла.

Ольга выходит в дверь, ведущую во внутренние комнаты. До остается одна. Она старается удержать слезы, вытирает руками лицо. Она мечется по комнате минуты две, не находя себе места. Ольга входит. В одной руке у нее небольшой чемодан, в другой — несколько платьев.

О л ь г а. Бери с собой эти платья, остальное я дошлю тебе завтра.

Д о. Но... так нельзя поступать с людьми... за что вы мстите мне так страшно? Я ничего не отняла у вас. Вы просто обезумели от ревности.

О л ь г а. Сейчас это уже не имеет никакого значения.

Д о (*слезы текут по ее щекам, она уже не вытирает их*). Вы тогда за занавеской уже все это придумали: завлечь меня, и потом прогнать. Это была ваша месть за то, что я в тот вечер согласилась прийти с ним сюда. А я все приняла за чистую монету.

О л ь г а (*спокойно*). Да, так бывает в жизни, но это уже совершенно неважно сейчас. Я — я, а ты — ты.

Д о (*кричит в слезах*). Ольга! Мне некуда идти! Я одна на свете!

О л ь г а. Тихе, тихе, сделаем все очень спокойно. Что значит «одна на свете»? Тысячи людей одни на свете. Жила же ты как-то до этого?

Д о. Но ведь вы заставили меня поверить вам!

О л ь г а. Вот твои платья. Остальное тебе все привезут завтра. У тебя есть квартира?

Д о. Да, есть.

О л ь г а. И ты вернешься в нее, будто после путешествия (*улыбается*).

Д о (*смотря на ее улыбку*). Я нужна была вам... я поняла теперь... я нужна была вам, чтобы разрушить меня, разрушить мою молодость, которой вы завидовали. И это удалось вам. Вы думали мною удержать его. Если бы я согласилась с ним спать, живя здесь, он остался бы с вами и вы бы теперь не прогоняли меня. Но я пришла сюда не для того, чтобы с ним спать и обманывать вас, я пришла сюда, потому что верила вам и любила вас, потому что вы стали для меня всем... всем... Я верила в первый раз в жизни...

О л ь г а (*равнодушно*). Все это прошлое.

Д о. Но какое прошлое! В этом прошлом есть бесчестная жен-

щина — это вы, и честный человек — это я. Вы думали, со мной все можно сделать? Нет, со мной нельзя все делать, я не хочу, чтобы со мной делали все! Вы обманули меня. . . Живите счастливо с вашим Сергеем.

О л ь г а. А все-таки с тобой можно было сделать все, как мне хотелось.

Д о. Слушайте еще последнее: когда вы стояли там, вы обдумали план. Но я теперь скажу вам: он вам не удался. Потому что тогда я осталась с ним до утра. Я сказала ему о вас и мы вместе смеялись над вашим уходом.

О л ь г а. Ты лжешь!

Д о. Ах, мне теперь все равно.

О л ь г а (в бешенстве). Ты лжешь! Все в тебе всегда было лживо. Ты привыкла играть, ты привыкла лгать среди таких, как ты. От вас ото всех несет позой, — от скудости вашей вы не знаете, куда вам деться. Ты и сюда пришла жить, чтобы сыграть наконец роль, которую тебе никогда не дадут.

Д о. Дадут, и вы придете смотреть на меня.

О л ь г а. Но напрасно ты радовалась: ты никакой роли не сыграла. Здесь без тебя все опять будет по-прежнему. Тебя здесь не было!

Д о. Я здесь была. . . И ничего не будет здесь по-прежнему.

О л ь г а. Ты мечтала сделать зло, потому что ничего другого ты делать не умеешь. (До, обессилив, берет гемодан и идет к двери). Но мы сильнее тебя, мы не хотим тебя. И у тебя не было и нет здесь роли.

До плача, раздавленная, идет к дверям, открывает их. Ольга, посреди сцены, чувствует, что может быть еще что-то следует сказать или сделать, но молчит и не двигается. До уходит и закрывает дверь. Ольга бросается в кресло, спиной к двери, остается неподвижна. Закрывает лицо руками. Проходит минута. По улице едут пожарные, слышен рев сирены. Это продолжается некоторое время. Ольга прислушивается. Звонит телефон. Она отбегает от него и пока он звонит, она, затыкая себе уши, уходит все дальше по комнате, подходит к первому окну, становится за занавеску и ждет. Телефон умолкает. Ольга выходит из-за занавеса и опять падает в кресло в той же позе. Опять слышно, как едут пожарные. Тихо, неслышно, в незапертую дверь входит Агар-бен-Мосед.

Ольга его не видит.

Агар подходит вплотную к креслу Ольги. Она вскакивает.

О л ь г а. Вы?

А г а р. Почему вы не отвечаете на телефон? Я звонил утром. Вы были дома? Я звонил теперь, снизу. . .

О л ь г а. Агар, я знаю, зачем вы пришли: он у вас.

А г а р. Конечно, он у меня и совершенно не знает, что ему даль-

ше делать, т. е. никогда в жизни я не видел человека в состоянии такой растерянности.

О л ь г а. Что же он говорит?

А г а р. Он говорит всякие безумные вещи, но от этих безумных вещей до смешного — один шаг. Он ревнует...

О л ь г а. Ее ко мне?

А г а р (*долго смотрит на нее*). Нет, он ревнует вас к ней.

О л ь г а. Ее больше нет.

А г а р. Она ушла?

О л ь г а. Я прогнала ее.

А г а р. Бедная маленькая девочка. Было ясно, что этим должно было кончиться.

О л ь г а (*зло*). Вам так казалось? А вам никогда не казалось, что должно было кончиться тем, что меня выгнали бы отсюда, а она бы осталась?

А г а р. Вы так ее боялись? Вы так ее ненавидели?

О л ь г а (*в отчаянии*). Агар, я никого не люблю. Я никогда не умела любить.

А г а р. Успокойтесь. Все люди умеют это делать. *Così fan tutti*. Но ведь вы кажется собирались быть чьей-то судьбой?

О л ь г а. Разве этого нельзя делать?

А г а р (*задумчиво*). Нельзя. (*Пауза*). В этом единственная мудрость жизни. Восток это знает. Запад забыл.

О л ь г а (*испуганно*). Что вы говорите? Почему?

А г а р. Потому что судьба, как цветок: нельзя его раскрыть, надо чтобы он сам раскрылся. Надо давать судьбе самой распутывать и запутывать нас друг с другом.

О л ь г а. А страдания?

А г а р. Они все равно будут. Они были и будут. Не думайте, что они где-то лежат, в каком-то сундуке, и можно так сделать, чтобы этот сундук не раскрылся. Они нигде не спрятаны. Ничто не предусмотрено, нет. Все рождается с каждым новым днем. Все творится.

О л ь г а (*кричит*). Нет, нет, все это хорошо для вечности, но не для моего сегодняшнего дня.

А г а р (*спокойно*). Что хорошо для вечности, то хорошо и для дня.

О л ь г а (*горько*). Это годится для больших, сильных людей, каких теперь нет.

А г а р (*так же*). Что годится для сильных, годится и для слабых. (*Пауза*).

О л ь г а (*меняя тон*). Забудьте, что я вам сказала сейчас. Зовите его скорее. Ведь он пришел с вами? Он внизу?

Агар медленно подходит к телефону и звонит вниз. Тихо говорит в трубку.

А г а р (*возвращается к Ольге*). Вы сегодня забыли спросить меня, как в Египте?

О л ь г а. Агар, не уходите отсюда, я умоляю вас, не оставляйте нас вдвоем.

А г а р. Я прошу вас успокоиться.

Пауза. Ольга с усилием возвращается к своему обычному тону.

Входит Сомов. Агар в середине разговора незаметно уходит.

С о м о в. Ольга!

О л ь г а (*сдержанно*). Здравствуй, Сергей. (*Закрывает дверь за ним*). Я хочу, чтобы эта дверь была плотно закрыта, никто не должен сюда больше входить.

С о м о в (*оглядываясь*). Вот мы вдвоем опять. (*Берет Ольгу за руки*).

О л ь г а. Да, мы вдвоем. (*Стараясь быть нежной*). Ты хочешь, чтобы мы были вдвоем? Всегда вдвоем?

С о м о в. Хочу... Что это было? Зачем все это было? Ты мстила мне? За что? Или она мстила нам обоим? Я не могу понять.

О л ь г а. Не знаю, и ничего не хочу распутывать в этом узле.

С о м о в (*продолжая*). И чего здесь было больше: любви или ненависти? Или была в моем поведении в самом корне какая-то слабость?

О л ь г а (*все решительнее*). Не знаю, и ничего не хочу об этом знать.

С о м о в. Мы с тобой едва уцелели вместе, но почему-то у меня такое чувство, будто мы вдвоем зарезали кого-то.

О л ь г а (*чпрямо*). Не распутывай, не надо. Живи так.

С о м о в. Или это меня кто-то едва не зарезал? Ведь и так повернуть можно?

О л ь г а. Мудрые люди в мире, во всякие времена, всегда стремились что-то объяснить себе и другим, трудились, и все-таки никогда ничего объяснить не умели. А мы давай и не начинать (*обнимает его*).

С о м о в. В ней было что-то разрушительное, чего до нее мы совсем никогда не знали. А в нас (*насмешливо*) все было так благородно, так возвышенно.

О л ь г а. Молчи, Сергей, давай говорить о другом.

С о м о в. Лучше, значит, ни о чем больше не вспоминать, и на загадочной картинке не искать злодея?

О л ь г а. Не искать.

С о м о в. Но ведь она не просто пришла сюда к нам?

О л ь г а. Бог с ней!

С о м о в. Ты права. Значит, будем жить так, будто ничего и не

было, и безо всяких объяснений.

О л ь г а. Да, Сергей, попробуем.

С о м о в. Хорошо. Попробуем. (*Пауза*).

Сомов садится на диван в изнеможении. Ольга около него.

О л ь г а. Ты грустен?

С о м о в. Нет. . . я просто устал.

О л ь г а. Поцелуй меня.

С о м о в (*рассеянно целует ее*). Хорошо быть дома, и с тобою вместе. . . даже так.

О л ь г а. Ты рад быть дома?

С о м о в. Да. . . А где же Агар? (*Оба видят, что они одни*).

О л ь г а. Он ушел. Ты не находишь, что к нам как-то особенно легко люди входят и от нас выходят? (*Невесело смеется*). Может быть он в столовой? (*Идет к двери в столовую. Останавливается. Беспокойно*): Ты никуда не уйдешь от меня, Сережа?

Сомов отрицательно качает головой. Ольга выходит. Сомов один.

С о м о в (*подходит к окну*). Ласточка. . . Ласточка, где ты? (*Пауза*). Завтра я увижу тебя. Мы завтра будем вместе, ласточка! . .

О л ь г а (*возвращается*). Ты кого-то звал?

С о м о в. Нет, я просто сказал, что там, над крышей, летают ласточки.

О л ь г а. Какие в городе ласточки. . . Это воробьи. Так как же?

С о м о в. Ты это о чем?

О л ь г а. Значит, будем жить дальше, как раньше жили?

С о м о в. Да. Будем.

Ольга ходит по комнате, Сомов садится в кресло у стола.

С о м о в (*после паузы*). Хорошо вернуться домой.

О л ь г а. Да, правда хорошо? Тебе приятно думать, что ты у себя, под собственной крышей, что здесь тепло, светло, что рядом — я?

С о м о в. Да, я люблю все это. А то, что было. . . оно правда кончилось, Оля?

О л ь г а. Ну, конечно, навсегда. Не возвращайся к нему больше. Ты же знаешь, что это было безумием, моим и твоим, а то, что есть. . .

С о м о в. Ну, конечно, я знаю это.

О л ь г а. И в том, что мы оба так чувствуем, большое утешение, правда?

С о м о в. Ну конечно. На таких, как я и ты, прочно стоит мир и всегда стоял, все другое его подтачивает.

О л ь г а (*все ходит*). Я люблю тебя.

С о м о в (*смотрит на нее долго, задумчиво говорит*). Тебе ничего не хочется сказать мне о себе? Что-нибудь, что в эту минуту хотелось бы открыть, наконец, чтобы нам обоим стало легче? Что-нибудь, что ты все это время скрывала от меня?

О л ь г а. Почему ты спрашиваешь? Ты же знаешь, и всегда знал,

что у меня нет и не было от тебя тайн. . . *(Внезапно смотрит на него. Тревожно)*. А у тебя?

С о м о в. Что у «меня»?

О л ь г а. У тебя есть что-то, о чем ты не говоришь. . . что не можешь сказать, даже теперь?

С о м о в *(смотрит на нее, подходит к шкафику, достает бутылку, наливает в стакан)*. У меня, как у тебя. *(Возвращается на место, пьет)*.

О л ь г а *(садится около него)*. Поцелуй меня еще. *(Обнимает его)*.

С о м о в *(холодно целует ее)*. Прости меня, но у меня такое глупое чувство, что она еще там. Вдруг это обман, и она не ушла? *(Показывает на дверь во внутренние комнаты)*.

О л ь г а *(смеется невесело)*. Пойди, посмотри, проверь.

Сомов выходит. Ольга тревожно смотрит ему вслед. Пауза. Ольга ждет.

Внезапно она бежит за Сомовым.

О л ь г а. Сергей! Где ты? Что ты там так долго?

С о м о в *(возвращаясь)*. Нет, ее там нет. . . Нет больше совсем. . . *(Видит лицо Ольги)* Что с тобой? Ты думала, я через черный ход убежал? *(Смеется)*. Но ведь я же вернулся к тебе? Чего же ты боишься? Мы вместе, мы одни. . . Ну, значит будем жить дальше. *(Садится на прежнее место)*.

О л ь г а *(садится против него)*. Будем жить. . . как-нибудь. . . ты и я. . . Сережа. . .

1953-1961

АЛЕКСАНДР БЕН

НА ОКРАИНЕ

Узкой улочкой пошел,
Палкой чешет частокол
И трезвонит кол о кол —
Кленокликий колокол. . .

Вырвался автомобиль
Шинами швыряя пыль
На кивающий ковыль,
На вседневнешнюю быль —

Два резиновых шара,
Хромовые буфера. . .

Не промерили глаза,
Запоздали тормоза!

Миг смятенья,
Столкновение. . .
Завихрилось шин шипенье.
Вдаль ушло мотора пенье.
В ручке палка без движенья. . .

Серым строем частокол
Ждет, чтоб кто-нибудь пришел.
Встал на стражу каждый кол, —
Тишина, как колокол.

АЛЕКСАНДР БЕН

ПОД ВЕЧЕР

На клеенку океана
Грубо скомканную шквалом,
В сером рубище тумана,
Времени пронизан жалом —
Рухнул день, как под кинжалом.

По бесчисленным страницам
Промелькнул он цифрой точной,
По меняющимся лицам
Струйкою скользнул проточной.

Затворяются ворота:
Жди сквозь ночь другого дня.
Тьма — конец его полета.
Но быть может навсегда
Прошлый день запомнит кто-то.

АЛЕКСАНДР БЕК

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ

Разрешите представиться... просто, без хитрости:
Жизнь — баланс обстоятельств, не мною надуманных,
Как скитаюсь по свету скитальцем без родины,
Кувыркаюсь, вращаюсь в продыmlенном космосе.

Украина и Крым, да дорожки балканские,
Спит Европа, развалина послевоенная, —
Вот они, уголки моих детства и юности
От голодных тридцатых до сорок девятого.

А потом Атлантический палубу шваркает,
Сквозь Нью-Йорк и Чикаго несет меня поездом,
В Калифорнии солнечной мыкаю долюшку,
По Кореям, Япониям шляюсь солдатиком.

Возвращаюсь в США я, учусь и работаю,
Развлекаюсь беседами, пивом, политикой,
Разъезжаю по найму, терзаюсь заботою:
Где б и как стать-пристать, пока снова не бросило.

АЛЕКСАНДР БЕН

Ноги мои ножки,
Ноженьки мои,
Сбились с дорожки —
В рай не привели.

Не пришли и к аду
Во чертоги зла,
Только на досаду
К дымишку и чаду
Привели меня.

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

...На берегах Невы

Несется ветер, разрушеньем вея...

Георгий Иванов

Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные, игры. Особенно в «театр для себя».

Осенью 1919 года, накануне второй годовщины октябрьской революции, — ее готовились пышно отпраздновать, — он с таинственным видом сказал мне:

— Завтра и мы с вами попразднуем и повеселимся. Не спрашивайте, как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее, клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.

Мое рыжее клетчатое пальто — я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в Летнем саду:

А она уходит, напевая,

В рыжем, клетчатом пальто моем —

привезенном мне во время войны из Лондона. Было оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно и я ходила в шубке. Но Гумилев настаивал: Наденьте непременно. Я зайду за вами в три часа, завтра.

Он пришел ровно в три. Он вообще был чрезвычайно пунктуален. Это было тем более удивительно, что часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома.

Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новые оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, «шестым чувством-бис» — чувством времени.

— У гениев и кретинов это чувство безошибочно. А я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что я за три месяца ни разу никуда не опоздал. Все же, — рассказывал он мне как-то, — я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании «Всемирной литературы» на Моховой. Вы-

Из книги воспоминаний, готовящейся к печати.

хожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего — Простите, который час? Тот в ответ развел недоумевающе руками — А кто его знает? — и побрел дальше.

— Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время, до полминуты. Но заведешь кошку — она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со старшей мышью за лапку. Вздор. Не верьте. Даже по отношению к мыши я предателем быть не могу...

Я открыла Гумилеву сама — и ахнула. Он стоял перед дверью в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее — шотландский шарф, один конец закинут за плечо. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Под козырьком самодовольно и лукаво светились его косые глаза. Левый — на меня, правый куда-то в сторону. Через плечо на ремне полевой бинокль.

— Hallo! — приветствовал он меня, — Let's go! — И он со смехом объяснил, что мы с ним англичане. Он — приехавший на октябрьские торжества делегат Labor Party, а я его секретарша.

Критически оглядев меня, он кивнул:

— Отлично. Настоящая english girl in her teens и даже волосы у вас английские. Но ведь и я настоящий англичанин, а?

Не знаю, как я, — он на англичанина совсем не был похож. Разве, что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:

— Стопроцентный английский делегат.

— Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.

Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:

— What is that? — После многократно повторенного ответа, Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:

— I see. Thank you ever so much: Козà-Собó (Казанский собор).

И хотя мы и видом и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось: — Англичане! Смотри, английские делегаты!

Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же, кусая губы, сохранял англосаксонскую выдержку, повторяя:

— Don't giggle. Don't play the giddy goat. Shut up! — Я еще сильнее заливалась смехом.

Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, апло-

дировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха. Но нам, как гостям-англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же симпровизированный им перевод Интернационала. Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-уюю!

Окончив к общему удовольствию пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать „The way to Wassilo Ostow“, повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя: Wonderful! O, yes! Your great Lenine! Karl Marx! O, yes! — и пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки.

Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:

— Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?

Гумилев горячо потряс ему руку:

— Thank you. Thank you! — и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе знакомого англичанина.

Забежав за угол, мы остановились, переводя дух. Тут было тихо и пусто.

— Ох, даже жарко стало, — хохотал Гумилев. — Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас! И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!

И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.

Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:

— An Englishman does not dance in the street. Shocking! — А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене.

— Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!

На следующий день в Студии Гумилев весело рассказал Лозинскому об «английских делегатах». Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно:

— С огнем играешь, Николай Степанович. А что было бы, если бы вас забрали в милицию?

— Ничего не было бы, — перебил его Гумилев. — Никто тронуть меня не посмеет. Я слишком известен.

Лозинский покачал головой:

— Я совсем не уверен, что не посмеют, если захотят. Не надо «им» подавать повода. Ты слишком легкомыслен.

— А ты слишком серьезен и благоразумен. Мне скучно без развлечений.

Лозинский не сдавался:

— Никто не мешает тебе развлекаться, чем и как хочешь. Только не задевай «их». Оставь «их» в покое.

Гумилев достал свой большой черепаховый портсигар и постучал папиросой по крышке. Как всегда, когда был раздражен.

— Ты недорезанный буржуй, вот ты кто, Михаил Леонидович. Нам друг друга не понять. Тебе бы только покой и возможность работать у себя в кабинете. А мне необходимо *vivre dangereusement*. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно — в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять. . .

Дома, когда я проболталась о том, как веселилась на октябрьских торжествах, мне сильно попало. Отец хотел даже «объясниться по этому поводу» с Гумилевым.

— Ты соображаешь, что могла очутиться на Шпалерной с обвинением в шпионстве? — горячился отец. — Никто не поверил бы, что нашлись идиоты, для забавы разыгрывающие англичан-делегатов!

Нет, я не соображала. Мне казалось, что перепуганные, затравленные «буржуи» боятся даже собственной тени и делают из мухи слона. И я, защищаясь, повторяла только:

— Если бы ты знал, как весело было. И как мы смеялись.

— А если бы тебя и твоего Гумилева поволокли расстреливать, вы бы тоже смеялись и веселились?

На это отвечать было нечего.

В те дни я не верила ни в возможность быть расстрелянной, ни просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.

Интересно отметить, что Анна Ахматова, в единственный раз, когда я с ней разговаривала, вернее, когда слушала ее, почти дословно говорила о том же — о чувстве необычайной сохранности в первые революционные годы, об уверенности, что с ней ничего дурного случиться не может. Это было уже во времена НЭП'а, летом 1922 года. Мы, — то есть Анна Ахматова, Артур Лурье и я, — возвращались вместе, мне было по дороге с ними, с вечера в Доме искусств.

Но об этой незабываемой для меня встрече с Анной Ахматовой расскажу подробно потом.

Теперь же еще далеко до НЭП'а. Теперь еще только зима 1919-20 года. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.

Я каждый день возвращалась, поздно вечером, из «Института живого слова», одна. По совершенно безлюдным, темным — «хоть глаз выколи» — страшным улицам. Грабежи стали тогда бытовым явлением. С наступлением сумерок грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте, иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: — Скидавай шубу! — мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее «Мурзик».

«Мурзик» нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:

— А не прогулять ли нам «Мурзика» по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.

Я всегда с радостью соглашалась.

Как ни странно, но мы, ежедневно проделывавшие пешком длиннейшие путешествия, — в трамваях мы почти не ездили, — еще ходили гулять. Просто так. Для удовольствия. В Таврический, — что было ближе, — или в Летний сад.

Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знаменем, «на страх врагам». Именно, осенял себя крестным знаменем, а не крестился.

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище, действительно, было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающейся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою принадлежность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.

Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия. Однажды на вечере поэзии у балт-флотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать так же спокойно и громко, будто не замечая, не удостаивая вниманьем возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загрели, как гром.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

— А была минута, мне даже страшно стало, — рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. — Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, краса и гордость красного флота, вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И, заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.

Я, сидя в первом ряду между двумя балтфлотцами, так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.

— И даже очень страшно, — подтвердил Гумилев. — А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.

Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, слух о контрреволюционном выступлении Гумилева. Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептались друг другу, пугливо оглядываясь:

— Слыхали? Гумилев-то! Так и отрезал матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!

Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначенных для него. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер, был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.

... Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной.

Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.

Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду — к этому у меня уже привыкли.

Поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили — для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»

Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно, как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня — вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта — оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы: — Хотите у меня работать? Сыты будете.

Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она — и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать — весной 20-го года.

Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамильярным: — Входите. Дома!

Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи, дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.

Гумилев недовольно прерывал чтение.

— Что вам, Паша?

— А ничего, Николай Степаньч, — мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке и спрятав руки под передник. — Послушать пришла стишки. Только и всего.

И Гумилев, благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате.

Как-то он все же спросил ее:

— Нравится вам, Паша?

Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:

— До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем, как раньше в церкви бывало.

Ответ этот поразил Гумилева:

— Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.

Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стряхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.

Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости.
Стучу в дверь.
— Войдите!
И я вхожу.

Низкая комната, мягкая мебель,*)
Книги повсюду и теплая тишь.
Вот сейчас выползет черепаха,
Пролетит летучая мышь.
Но все спокойно и просто,
Только совсем особенный свет:

У окна папиросу курит
Не злой и не добрый поэт.

Белым полем шла я ночью
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:

— На земле и на небе радость —
Сегодня Рождество.
Ты грустна оттого, что не знаешь, —
Сейчас ты увидишь его.
И поэт прошел предо мною,
Сердцу стало вдруг горячо.
И тогда сказал мне странник:
— Через правое взгляни плечо.

Я взглянула — он был печальный,
Добрый был он, как в стихах своих,
И в небе запели звезды
И снежный ветер затих.
И опять сказал мне странник:

— Через левое плечо взгляни.
Я взглянула. Поднялся ветер
И в небе погасли огни.
А он стал злой и веселый,
К нему подползла змея,
Под тонкой рукой блеснула
Пятнистая чешуя.

*) Привожу полностью свое стихотворение, написанное под Рождество 1920 года.

Год прошел и принес с собою
Много добра и много зла
И в дом пять, по Преображенской,
Я походкой робкой вошла:

Низкая комната. Мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь.
Вот сейчас выползет черепаха,
Пролетит летучая мышь.
Но все спокойно и просто
Только совсем особенный свет:

У окна папиросу курит
Не злой и не добрый поэт.

Да, все совсем так, как в моем стихотворении. Все правильно — и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что «вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь». И «особенный свет», таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горячей печки. Оттого, что Гумилев курит не у окна, а у печки.

Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся.

— Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.

— Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.

Гумилев пожимает плечами.

— Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот — сами видите — вы пришли. Против своей воли пришли.

Я не знаю, шутит он или говорит серьезно. Но я стараюсь по-пасть ему в тон:

— Должно быть я, действительно, почувствовала. И пришла к вам.

Он пододвигает мне низкое креслице, к печке.

— Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело, — искренне и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. — Как я одинок. Господи! Даже поверить трудно.

— Одиноки? — недоверчиво переспрашиваю я. — Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И еще мать.

Он нетерпеливо машет рукой:

— Ах, все это не то! Это все декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет на всем свете никого. Ни одного друга. Друзей во-

обще не существует. О поклонниках смешно говорить. Ученики. Вы, например, — вы бы согласились в аду с чертом на горящих углях сидеть, только бы он вас учил писать стихи. А до меня самого вам ведь и дела нет. Не спорьте, пожалуйста.

Я не спорю, хотя мне обидно. Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? О чем?

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печи. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне.

Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми.

Он продолжает смотреть и мне становится невыносимо его молчание. И этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом литераторов.

Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузмина с Юрочкой Юркуном и Олечкой Абрениной. И мало ли еще кого? Даже самого Федора Кузмича Сологуба, если посчастливится.

Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня должно быть, от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку.

— Вот мне и легче стало, — говорит он повеселевшим голосом. — Просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности когда молчите. Как хорошо, что вы пришли.

Хорошо ли? В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти.

— Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. И ничто не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я, к тому же, живу совсем один, — Паша не в счет. И как это тягостно. Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат так тесно прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. — Он разводит руками. — А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь.

Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает:

— Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая — трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как не ловчись, как не хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем — вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как где, как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что:

Умру я не на постели
При нотариусе и враче...

Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство, равенство перед законом смерти. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не то, что я когда-нибудь, через много-много лет, умру, а то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле: «Верю Господи, помоги моему неверию...»

Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя. И вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает:

— Давайте обещаем друг другу, что тот, кто первый умрет, явится к другому и все, все расскажет, что там.

Он протягивает мне руку и я, не колеблясь, кладу в нее свою руку. Он крепко пожимает мою руку.

— Повторяйте за мной, — говорит он медленно и торжественно: — Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я не умерла. Клянусь.

Я послушно повторяю за ним:

— Клянусь!

Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее:

— И я клянусь, где бы и когда бы я не умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы и вы никогда не забывайте ее. Даже через пятьдесят лет. Даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой.

Он выпускает мою руку и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неуютно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я с детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром.

— Естественно и логично, что я умру первый. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти, — серьезно продолжает он и вдруг перебивает себя: — Что это вы как воробей нахохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?

Я энергично трясу головой, стараясь улыбнуться:

— Нет. Совсем нет.

— Ну и слава Богу! Путаться совсем нечего. Ведь и я и вы дожи-

вем до самой глубокой старости. Я меньше, чем на девяносто лет, не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до ста. Так ведь?

— До ста с хвостиком, — поправляю я. — К тому времени, наверно, изобретут эликсир долголетия.

— Непременно изобретут, — соглашается он. — Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше! Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: «Я хочу умереть в двадцать пять лет. Дальше жить не интересно». А вы — сто с хвостиком! — Он смеется: — Молодец! Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. И, знаете, самое лучшее время — старость. Я уверен, что только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить. — Он встает. — Пойдем, скажем об этом Паше.

Мы идем на кухню. Но кухня пуста. Паши нет.

— Должно быть пошла хвоститься за хлебом в кооператив, — говорит Гумилев. — Ничего, я хитрый, как муха, и сам могу приготовить чай.

Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник. Все это он продельывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха.

Мы садимся на кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго.

— Удивительно некипкая, глупая вода, — замечает Гумилев. — Я бы на ее месте давно вскипел.

И как бы в ответ, крышка чайника начинает громко хлопать.

— Вот видите, — торжествует Гумилев, — обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода, как женщина — надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали.

Мы возвращаемся к печке пить чай. С академическим изюмом, — Гумилев достает из шкафа кулек с изюмом.

— Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, — рассказывает он. — Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз в тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. — И вдруг перебивает себя: — А клятву свою вы никогда не забываете. Никогда...

Стихи А. Лисицкой

*В Петербурге мы сойдемся снова..
О. Мандельштам*

Больше двадцати лет тому назад, когда я еще жил в Англии, одна моя ученица, ездившая в Россию за несколько лет до того, передала мне тетрадь «Стихов о Петербурге», подготовленных к печати, но никогда не печатавшихся. Она получила их от автора, молодой, проживавшей в СССР поэтессы, которая давала ей уроки русского языка и водила ее по своему любимому городу. Город этот она никогда иначе не называла, как «Петербург». Поэтесса эта изредка печатала свои другие стихи в советских журналах, но издать свою книгу, которую она думала озаглавить «Серебряная рака. Стихи о Петербурге», в СССР не могла или не хотела. Вместе с тем она мечтала о напечатании этих стихов за границей и говорила об этом не с одним иностранцем, с которым ей доводилось встречаться (а по условиям работы она встречалась в те годы со многими). В письме одному своему зарубежному знакомому, ученому-слависту, который подал ей надежду на издание ее книги, она писала:

«... Знайте, что я с радостью иду на все тяжелые жертвы ради моей бедной книги — *pace, nec invidia, sine me, liber, ibis*. Будьте ей добрым крестным отцом!.. не бойтесь за меня и не жалейте: природные данные каждого человека должны иметь свободное развитие, в этом — залог развития культуры».

В постскриптуме к тому же письму автор добавлял:

«Псевдонима не давайте, пожалуйста, пускай книга идет под моим полным именем, как моя подпись. Один конец!»

Письмо это было написано в самый разгар жестоких сталинских чисток. Вскоре друзья получили известие об аресте Лисицкой (она и раньше не раз уже «сидела»).

С изданием книги ничего тогда не вышло. В мои руки рукопись «Серебряной раки», написанная четким, красивым почерком, напоминающим несколько почерк Марины Цветаевой, попала незадолго до войны, когда об издании ее нельзя было и думать. Перед войной я несколько раз читал стихи Лисицкой о Петербурге в частных домах в Лондоне.

Помню одно чтение в доме А. В. Тырковой-Вильямс в присутствии В. В. Набокова, который приезжал ненадолго в Лондон и которому я устраивал вечера чтения его произведений в нескольких английских домах. В этот вечер он был приглашен А. В. Тырковой, которая еще по России была хорошо знакома с его родителями, и читал у нее свой недавно написанный рассказ — не то «Посещение музея», не то «Диктатора». Помню, некоторые стихотворения Лисицкой ему понравились.

Тогда же, помнится, я послал несколько стихотворений И. И. Бунакову-Фондаминскому в «Современные записки». Я знал, что этот журнал был известен Лисицкой и что она его ценила. Но я счел нужным нарушить строгий наказ автора и заменить ее фамилию придуманным мною псевдонимом, основанном на шутливом прозвище («Лис»), которым она подписывала иногда свои письма к нашей общей знакомой-англичанке. Кажется, война помешала напечатанию этих стихов, хотя редакция «Современных записок» и приняла их (у меня нет сейчас возможности проверить, не появились ли они в единственной вышедшей в 1940 году книге журнала).

В дальнейшем, уже после войны, переселившись в США и ничего больше не зная о судьбе автора, я время от времени печатал ее стихотворения — все под тем же псевдонимом — в зарубежных русских изданиях: в «Новом журнале» (шесть стихотворений в 1946 г.), в парижском «Возрождении» (четыре стихотворения в 1949 и 1950 гг.), в «Гранях» (27 стихотворений в 1952, 1953 и 1954 гг.), в газете «Русская мысль». Вместе с тем я не оставлял мысли об издании книги (многие стихотворения остаются еще не напечатанными, но и те, которые напечатаны, заслуживают быть собранными воедино*). В том письме, которое я уже цитировал, А. Лисицкая писала, что, если издание книги осуществится, «хорошо было бы заказать какому-нибудь хорошему художнику иллюстрации к каждому стихотворению (например, в стиле Добужинского)». В 1952 году, подумывая снова об издании книги в связи с предстоящим 250-летием со дня основания Петербурга, я обратился к самому Мстиславу Валериановичу Добужинскому, запрашивая его, не согласился ли бы он ознакомиться со стихами Лисицкой, проникнутыми столь близким ему страстным культом Петербурга, его архитектурой и исторической стариной, и, буде они понравятся ему, иллюстрировать их. Я послал ему машинопись всех стихов Лисицкой, но он как раз уехал из Нью-Йорка в Лондон, мое письмо ему шло очень долго, а стихи и того дольше. Отвечая 7 ноября 1952 г. на мое августовское письмо, М. В. писал:

«Вы меня очень заинтересовали заочно этими стихами о Петербурге и

*) Стихи, помещенные здесь, нигде напечатаны не были, кроме третьего по порядку: это стихотворение было напечатано в «Гранях» (№ 14) без первой строфы.

я тронут тем, что там меня кто-то не забыл.*) Но кто автор? Я почти уверен, что, когда прочту их, то захочу иллюстрировать, хотя последнее время мало этим занимаюсь».

Еще через некоторое время М. В. писал, что с нетерпением ждет стихов, что пакет ему должны выслать из Нью-Йорка. Но я так и не знаю, получил ли М. В. эти стихи и как на них реагировал. Может быть, они ему не понравились, и потому он ничего мне не написал. В 1956 и 1957 годах, будучи в Лондоне, я не мог повидаться с М. В., так как он как раз в это время уезжал в Париж и в Италию (он эти годы много работал в Европе над театральными постановками). А затем М. В. скончался, почти сразу же по возвращении в Нью-Йорк.

Сейчас есть основания думать, что автора «Серебряной раки» нет больше в живых. Тем не менее я сохраняю пока придуманный мною псевдоним. Читатели заметят, что почти все печатаемые ниже стихотворения написаны между 1933 и 1937 годами (в книге есть и несколько стихотворений конца 20-х годов; самые поздние все датированы 1937 годом) и что они совершенно не похожи ни по теме, ни по фактуре на средние советские стихи того времени. Я не собираюсь сейчас подробно разбирать поэтическую генеалогию Лисицкой. Нет сомнения, что она многим обязана акмеистам — и Гумилеву, и особенно, пожалуй, Мандельштаму периода «Камня». За Мандельштамом чувствуется и ломоносовская традиция (не случайно покойный кн. Д. П. Святополк-Мирский говорил о возрождении Мандельштамом «Ломоносовской риторики большого стиля»). Культ Петербурга переходил у Лисицкой в страсть; она, видимо, знала каждый камень в городе и все связанные с ним исторические ассоциации. Но при всей «топографичности» ее стихов о Петербурге (это как бы поэтический путеводитель по Петрову граду), в них нет холодной археологичности: «самый фантастический город в мире» вошел ей в плоть и кровь, и тема Петербурга — тема историческая и архитектурная — переплетается в ее поэзии с личной, лирической темой («мой город... — он голос и тело»), как и с общей темой России и истории, причем в историю вторгается и современность. Острое чувство истории тоже роднит Лисицкую с Мандельштамом. Как и он, она слышит «шум времени». Помимо стихов о Петербурге, в которых историческая тема все время пробивается наружу, ею написан ряд сонетов на исторические темы — о русских царях и царицах 17-го и 18-го веков: «Софья Алексеевна», «Иоанн Антонович», «Анна Иоанновна», «Па-

*) Уже после смерти, Добужинского вспомнили «там» и вполне открыто: в интересной статье В. С. Нечаевой об иллюстраторах Достоевского в сборнике «Творчество Ф. М. Достоевского» (Москва, 1959) Добужинскому уделено целых четыре страницы из 37! Нечаева говорит, что для Добужинского «иллюстрирование Достоевского не было случайным, попутным эпизодом, но делом почти всей жизни, с годов учения до лет полной художественной зрелости» (стр. 500). В сборнике напечатаны три репродукции иллюстраций Добужинского к «Белым ночам». Г. С.

вел Петрович», «Три Алексея» и другие. Сонеты эти она думала напечатать в виде приложения к «Серебряной раке» под названием «Пряничный солдат» (сонет о Петре III — том Петре, «что был нам не эт Бога», — кончается строкой: «И сломан был, как пряничный солдат»). В небольшую черную записную книжку, куда записан цикл «Пряничный солдат», входят также несколько сонетов на темы советского быта, поданного в ироническом преломлении. Есть у Лисицкой и стихотворение под названием «Россия», горьким тоном своим перекликающееся со стихами Максимилиана Волошина и Георгия Иванова (оно датировано 1934—1937 гг.). Приведу из него первое четверостишие, которое могло бы служить эпиграфом ко всей известной мне поэзии Лисицкой:

Россия. Нет такого слова
На мертвом русском языке.
И все же в гроб я лечь готова
С комком земли ее в руке.

Мысль об издании целиком книги стихов А. Лисицкой я, как говорю, не оставил (едва ли ее сейчас выпустят в СССР). Увы! — сопроводить их иллюстрациями Добужинского уже невозможно. Нет больше в живых и другого художника Петербурга, которому, может быть, стихи Лисицкой были бы еще больше по душе — Александра Николаевича Бенуа. Я собирался повидаться с ним весной 1960 года, но он умер как раз перед моим отъездом в Европу.

ГЛЕБ СТРУВЕ

Август 1961 г.

А. ЛИСИЦКАЯ

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

1

Расставаться с тобой я учусь
На большие, пустые недели, —
Переламывать голос и грусть,
Мне доверенные с колыбели:

Чтобы город на завязи рек
Предпочла я высоким мужчинам,
Чтобы не был чужой человек
Безраздельным моим господином.

Или вправду ты нужен мне так,
Что и город мой — темен и тесен? —
Отпусти меня в море, рыбак,
Если мало русалючьих песен:

Пусть привычное множество Нев
В той, гранитной, качнет меня зыбке, —
Чтобы имя короткое: Лев, —
Мне не всем говорить по ошибке.

1935

А. ЛИСИЦНАЯ

2

На Марсовом широковеинном поле
Острее запах палого листа
И ветер мне — крупицей свежей соли
С горбатого, сурового моста.

О, город мой, как ты великолепен!
Здесь перебито будней колесо.
Заботы о ночлеге и о хлебе —
Горсть желудей и небо: вот и все.

Так воробы, в песке чуть влажном роясь,
Бездомными не чувствуют себя.
И кажется тогда мне: я покоюсь,
О, город мой, на сердце у тебя.

1931

А. ЛИСИЦНАЯ

3

... И ты, между крыльев заката,
Как луч в петербургской листве,
Проходишь под аркой Сената
К широкой, спокойной Неве.

Мой город... он — голос и тело,
Сквозь зданий облупленный мел.
Он голубем сизым и белым
На финские топи слетел;

Он вырос из грубого хора
Московской, тутой суеты —
Мой голос, мой голубь, мой город,
Родной и высокий, как ты.

1929

А. ЛИСИЦКАЯ

4

СМОЛЬНЫЙ: I

Утро. Ветер. Воздух вольный.
Колесован снег и след.
Вырисовывает Смольный
Свой китайский силуэт.

Словно поднятые палыцы —
Боковые купола...
Время, выведшее, сжался
Над ладонью из стекла.

Первой льдиной, легче дыма,
Рассыпается собор:
В горнах дней неуловимо
Тает выпренный фарфор.

Неужели, неужели
Мы навек осуждены,
Вместе с замыслом Растрелли,
У китайской лечь стены?..

... Из-под палок Николая
Госпиталь кровавый встал,
И Кропоткин, убегая —
Азиатчины бежал.

1933

А. ЛИСИЦКАЯ

5

СМОЛЬНЫЙ: II

Пятикратный купол крова:
Служкам-звездам аналой.
Был богат о дни Петровы
Город, смолоду, смолой.

Синим льдом сверкнувший ледник.
Стен обшарпанная голь.
Служат шальные обедни
Галки, черные как смоль.

Вон, залиvistой тальянкой
В нижний выманена круг,
Колоколенка — смолянка —
Тихо встала на ветру.

Свейский плес, русея, фыркал:
К флорентинцу шла река.
Богородицына стирка —
С синевую облака.

Невских волн высокий гребень,
Смольный — столпник, выше вех,
Синий с белым, словно небо
Опрокинулось на снег.

1935

6

Когда, в тумане розоватом,
Встают такие города...
Как Достоевского когда-то
Меня преследует вода.

И я готова, вскрикнув резко,
Бежать, стремглав, по всем мостам:
Но та, наощупь, с тихим плеском
За мною ходит по пятам.

Вода. Литая позолота.
В зацветшей заводи, одна,
Угрюмой аркой Деламота
Она увенчана сполна.

Не ветер — вкус воды летейской.
Кто жажду странствий утолял?
Сменяет ров Адмиралтейский
Екатерининский канал...

Еще фонарь мерцает тускло,
Но первый луч уже найдет
Русалок, возвращенных в русла...
По капелькам. Наперечет.

1935

А. ЛИСИЦКАЯ

7

Как Гумилев — на львиную охоту,
Я отправляюсь в город за тобой:
Даны мне копыя — шпилей позолота —
И, на снегу, песок еще сухой,

И чернокожие деревья в дымной
Дали, и розовый гранитный ларь, —
И там, где лег большой пустыней Зимний,
Считаюсь, петербургская Агарь. . .

1935

НА ОХТЕНСКОМ МОСТУ

Чешуйчатые башни
На Охтенском мосту,
Где лед скользящей пашней
Развернут на версту.

Фонарь, ведро олифы —
Расплесканный уют...
В двух горенках два скифа —
Привратники живут.

Они сметают мусор
В железные совки —
Окурки, шпильки, бусы
И драные кульки.

А в полдень — входят важно,
У ветра на счету,
В чешуйчатые башни
На Охтенском мосту.

1933

Бегут трамваи — стадо красных серн —
Мостов горбатых обтекая склоны.
На вахтенном, чье имя — Крузенштерн,
Срывает ветер снежные погоны.

Не палуба — бульжный лег настил,
И линиями, всех прямых прямее,
Царь-мореход свой остров прочертил,
Для нас с тобой отторгнутый у Сvei.

У каждого фонарного столба
Большой сугроб — осевший, сонный лебедь...
Голландская кирпичная труба
Подъемлет ростры, флаги помнят: реять

Я дохожу до дома твоего
У самых вод — прозрачная застава —
А Медный Шкипер с берега того
Неумолимо указывает вправо.

АКАДЕМИЯ НАУК

Здесь воздух мятко влит в оконные квадраты,
И мелом, в восемь черт, набросан стройный план:
У спуска, где Неве разбег широкий дан,
Я вижу, за углом, колонны ствол покатый.

Здесь каждая ступень — как сброшенные латы,
И голубая кровь течет в просветы ран.
Не здание: здесь Амур Италии крылатой
Забыл на берегу свой каменный колчан.

Булыжный говорок, асфальтов плавных речь
И цоканье торцов, глухое как th —
Гваренги слышал все, с линейкой наготове. . .

И начат был чертеж. И циркуль дивно лег —
Быть может для того, чтоб некий Зодчий мог
В столетии другом твои наметить брови.

1937

ЛАЗАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ

*В трофей и лавр здесь Лавра процвела
Тредьяковский*

В который раз река ломает лед,
В учебнике Петров порядок навран, —
А для меня по-прежнему цветет
Огромная, запутанная Лавра.

На белом камне или на снегу
Гниют ветвей чернеющие сети,
И в куполе — я слышать не могу! —
Свистит впустую беспризорник-ветер.

Здесь рыхлый мрамор солнце золотит,
И воробьи, крича свежо и броско,
Не знаю, как — а Ломоносов спит —
Занесены на мраморную доску.

Живой себя прелестней и живей,
Все ждет — и плечи бронзовыми стали —
Неторопливо едущих гостей
Гагарина на крутом пьедестале.

Замерзший сток кладбищенской воды.
Под аркой мост — хрустящих листьев короб,
Соборных стен высокие лады
Не оборвет командою Суворов.

Здесь с городом прощался Александр...

КОЛОКОЛ СВ. САМПСОНИЯ

Он был подобен темной сливе
В прозрачной зелени стены.
Петровский зодчий мудро вывел
Пять арок с каждой стороны.

И ветер слушать хор улетя,
И дождь был, верно, спрыснуть рад
Большие вязы, плиты, флоксы
И церковь — Божий вертоград.

Пусть спит Хрущев, еще не тронут —
В честь современников моих
Уж сбита тяжкая корона,
Смотри, с герба Еропкиных...

Раскрыта в сад двойная рама:
На площади (полулуной)
Чугунный Петр — хранитель храма —
Впервые пост оставил свой...

За город свой, за это зданье
Молилась я, меж слов и дел,
И, онемевший в ожиданьи,
Неснятый колокол чернел.

1937

МИЛОВАН ДЖИЛАС

В О Й Н А

Большая река текла с востока на запад и впадала в еще бóльшую реку. Так уж в этом мире устроено и так будет всегда: большие реки всегда будут впадать в еще бóльшие. Человеческая жизнь издавна располагается вдоль рек, а реки, смотря по обстоятельствам, объединяют людей или разделяют их. И потому на берегах больших рек всегда велись войны, и всегда проходили по ним линии фронта.

Три месяца шли бои на берегах этой большой реки. Силы противников были равны и им было трудно уничтожить друг друга, особенно теперь, когда быстро приближалась зима (зимняя кампания требует больше и людей, и снаряжения). Обе армии окопались на своих берегах, накапливая силы, чтобы по весне уничтожить одна другую, когда лед растает и земля вновь зазеленеет.

Линия фронта пересекала большую реку, но как всякой реке, так и этой, конечно, было совершенно безразлично, пересекает ее фронт или нет. Фронт начинался у самой реки и тянулся на юг и на север, — на севере он поворачивал в сторону еще большей реки и оттуда уже шел по ее течению. Реке, конечно, было в высшей степени безразлично, идут ли бои на ее берегах или где-нибудь в другом месте. Фронт своими окопами, блиндажами и траншеями изуродовал и опустошил полосу земли, заключенную между двумя реками, шириной километров этак в пятьдесят. Но ведь и земле — полям и виноградникам, деревням и городам — тоже безразлично, проходит по ним фронт или нет.

Только людям, жившим по берегам реки, все это было вовсе не безразлично, хотя они тоже не были виноваты в том, что идет война. В этом краю земля и солнце были милостивы к человеку, и люди благоденствовали. А война — это же грабеж, она завладевает и человеком и средствами его существования. Она несет полное разрушение, как только добирается до его земли.

Где война, там два противоположных лагеря (без них ведь и не было бы войны), и каждая сторона изо всех сил старается уничтожить все, что могло бы оказаться полезным вражеской стороне. Но

Этот рассказ был напечатан в журнале «Нью Лидер» (Нью-Йорк).

ведь нет таких плодов рук или ума человека, которые бы не были хоть кому-нибудь полезны. И самый верный способ победить врага, это уничтожать вообще все, что могло бы попасть в его руки. У войны ведь нет разума; она не может предугадать, чем именно воспользуется другая сторона. И наиболее мудрый способ действий во время войны — методически уничтожать все: дома и дороги, семена и стада, мосты и музеи, а главное — нужно уничтожать самих людей и их средства к существованию.

Отступая на запад, враг взорвал все мосты и разбил все лодки, даже те утлые лодчонки, которые с трудом вмещали и влюбленные пары (а влюбленные, раз уж они влюблены, сидят обычно, тесно прижавшись друг к дружке). К этому времени на линии фронта, и даже в некотором отдалении от него (ведь фронт сегодня здесь, а завтра двинулся дальше), не осталось ни единого моста, ни шаланды, ни парома. Даже несколько жалких челнов, спрятанных рыбаками от отступающих, были конфискованы наступающей армией, не потому, что армия нуждалась в них, а потому, что когда-нибудь они могли пригодиться врагу, ну, например, для перевозки шпионов или саботажников, может, и на случай контрнаступления.

Человек должен продолжать жить и во время войны, несмотря на войну. В тылу фронта местное население пыталось чинить паромы, ходившие прежде от берега к берегу. Но не хватало инструментов и материала, чтобы привести все в порядок. Да к тому же знали, что каждая починенная лодка или шаланда будет немедленно реквизирована. И единственным средством переправы осталась моторная шаланда: нужно же армии как-то соединить оба берега. В конце-то концов армия тем и существует, что присваивает все, что принадлежало, или могло принадлежать врагу.

Солдаты на шаланде были хорошими ребятами. Все солдаты хорошие ребята, пока они не солдаты, или даже если и солдаты, то пока не воюют. Они бесплатно перевозили жителей и их пожитки. И делали они это охотно, ибо сами были из того района, где шли бои. Но занимаясь перевозом они могли только в те часы, когда шаландой не пользовалась армия для своих военных целей. Это было благоразумно: солдаты все равно были там по своему военному делу.

Вражеские самолеты предпочитали налеты среди бела дня. Ясно, что шаланда должна была работать на армию ночью, а для народа днем. Но люди, хоть они и не были в армии, тоже поумнели, и собирались на берег ближе к вечеру, когда враг прекращал налеты, а армия еще не занимала шаланду для себя; или они собирались чуть свет, пока враг еще не начинал бомбить, а армия уже прекращала перевоз.

Как-то в послеобеденный час, туманный, зябкий и сырой, как это бывает в зимние сумерки, особенно в военное время, послышалось

погребальное пение, долетавшее с левого берега реки, оттуда, где был фронт. На другом берегу стояло несколько солдат и три офицера: майор контрразведки, его помощник — капитан, и лейтенант, руководивший переправой. Они знали, что крестьяне (только крестьяне так упорно оплакивают своих мертвых) везут с фронта своего брата (или отца, или сына), убитого в бою. Офицерам хотелось бы раньше начать переправу, чтобы успеть до захода солнца перевести этих убитых горем людей. Но пока они должны были прятаться, так как вражеские самолеты продолжали еще кружиться в облаках, словно им нравилась река — не синяя, не серебристая, а желтая и грязная, окаймленная, среди гнилых камышей, толстыми чернеющими ветлами, сливающимися с серым небом.

Наконец шаланда, фыркающая и пыля, пошла через реку. Густые серые тучи низко нависли над рекой; казалось, что они касаются поверхности воды, и темнота наступила скорее обычного. Офицеры решили, что вражеские самолеты больше не опасны.

Погребальный напев, сначала тихий и неразличимый, вдруг взметнулся и превратился в вопль, будто крестьяне только и ждали, чтобы мотор затих и шаланду пришвартовали к берегу. Толпа крестьян, с коровами, овцами, лошадьми, бросилась в шаланду. В давке пожилой крестьянин с жидкой бородачкой все пытался успокоить своих пугливых коней и понудить их идти вперед. Видно, он всегда так разговаривал с животными, только сейчас в его голосе было еще больше грусти и нежности, наверно потому, что на телеге стоял гроб из сырых неотесанных досок. Пожилая крестьянка, закутанная по глаза в платок, ухватила костью рукой за гроб, словно не могла от него оторваться.

— Ну, мои красавицы, ну же, везите мое горе в мою пустую хату, — бормотал крестьянин, натягивая вожжи; женщина, истонно рыдая, одной рукой обнимала гроб, а другой гладила его.

Капитан, приземистый блондин (хотя это вовсе не важно, как он выглядел. Главное — он капитан), сердито кричал пассажирам, набившимся уже в шаланду, чтобы они посторонились и очистили место для телеги. Неожиданно он спрыгнул на берег, схватил вожжи и потянул лошадей.

— Дай-ка я попробую, дядюшка. Я вырос с лошадьми. Эй, вы там! Посторонитесь, дайте место.

Лошади сразу почувствовали твердую руку. Заложив уши, они шли за капитаном, осторожно пробуя копытами зыбкие доски сходов. Крестьянин бросился благодарить капитана, осылая благодарениями его и армию. Но капитану это бурное проявление благодарности не было приятно. Оттирая с рук грязь (вожжи ведь были саленные и грязные), он скромно ответил:

— Ничего, дядюшка. Это наш долг помогать народу. Для того мы и здесь. А скажи-ка, кого это ты везешь в гробу?

— Кого? — откликнулся крестьянин. — Я везу мою разоренную жизнь, моего единственного сына везу. Двоих сыновей я уже отдал, а теперь и этого нет. Вот кого я везу в этом гробу.

Видно было, что капитану хотелось сказать несколько сочувственных слов, которые в то же время могли бы быть чем-то вроде лозунга, ну вроде: «Да, за свободу приходится дорого платить». Но он не нашел сразу подходящих слов, а может быть, все слова казались ему тщетными перед огромным горем крестьянина и его жены, которая, по всему видно, была матерью убитого. И капитан промолчал, подавив вздох. Вместо капитана заговорил стоявший у руля лейтенант. Он тоже был светловолос, но высок, и редкие бесцветные усики на его безбородом лице заставляли еще больше выдаваться и без того большой подбородок. (Его внешность тоже не имеет значения. Главное, что он — лейтенант).

— Что поделаешь, — сказал он. — Война. Люди умирают каждый день. Иногда мы перевозим больше мертвых, чем живых.

Пожилой крестьянин, высокий, худой, с изможденным лицом, спросил старика:

— Ты что, на фронт ходил за своим сыном?

Старик принялся рассказывать. Он пошел со своей женой туда, где шли бои, чтобы отнести сыну еду и чистую одежду. Он ведь тоже бывал на войне, он знает, что солдату нужно. А за два дня перед этим, на заре, враг перешел в наступление и, так уж видно судьбе было угодно, его сын, молодой и неопытный — ему нет еще и двадцати — был убит гранатой. — «Все внутренности вырвало. Отец и мать так и не увидели его живым, не услышали последних слов с его уст».

Голос старика становился душераздирающим. Старик даже не замечал, что говорит в третьем лице о себе и о своей жене. А мать закончила рассказ горестным воплем: — «О чем тут еще говорить? Это наш конец, наш очаг потухнет теперь».

Высокий крестьянин был как будто глух к горю родителей. Адамово яблоко шевелилось на его тонкой шее. Он сказал:

— Мой сын тоже убит, месяц тому назад. Только я не пошел за ним. Пусть покоится вместе со своими товарищами. Но как это ты ухитрился достать гроб на фронте? Там ведь нет ни досок, ни плотников, ничего?

Отец продолжал сокрушаться, словно он и не слышал вопроса.

— Я и сам не знаю, куда и зачем мы его везем. Мужичья глупость, должно быть. Просто, нам легче, если его могила будет возле нас.

Капитан согласился. Бывало, что и другие родители уносили сво-

их мертвых сыновей, только, правда, без гроба. — «Военное командование, — добавил он, — уважает народные обычаи, хотя, конечно, правильнее было бы солдату лежать рядом со своими товарищами».

В этот момент шаланда ткнулась в противоположный берег. Лошади метнулись, но капитан опять взялся за вожжи. На этот раз животные последовали за ним спокойно, торопясь ступить на твердую землю.

Дорога шла по насыпи, параллельно берегу реки. Армия насыпала к дороге песчаную тропу от пристани, через грязь и лужи. На этой короткой тропе переправившиеся вытянулись в одну линию, готовя бумаги, чтобы показать их майору, который пока еще не появился из своей маленькой избушки при дороге.

Капитан тянул лошадей, не обращая внимания на народ по обочинам. Да люди и сами очищали дорогу, отступая в грязь неохотно, но без протестов. Ибо они уступали дорогу мертвому, которого к тому же вез человек в военной форме.

Измощенный крестьянин, тот, чей сын был убит месяц тому назад, не обращая ни на кого внимания, бросился в сторону избушки. Лейтенант крикнул ему:

— Не выходить из рядов! — но он только отмахнулся на бегу и, показывая на избушку, прокричал: — «У меня важное дело!»

И вдруг наступила тишина, прерываемая только скрипом телеги и чавканьем сапог, хлюпающих по грязи. Каждый сразу понял, что измощенный крестьянин хочет сказать что-то важное майору в избушке. Да ведь крестьянин и не скрывал этого.

Когда телега поднялась по откосу, майор вышел из избушки и приказал остановиться. Измощенный крестьянин, в возбуждении переминаясь с ноги на ногу, выглядывал из-за плеча майора, насмешливо и хитро улыбаясь.

— Я сам слышал, — торжествуя говорил он, — в гробу что-то живое. А ты, капитан, не сердись на меня, что я тебе не сказал. Я боялся, что они столкнут гроб в воду. Я ждал, пока мы переедем реку, где нас ждут высшие начальники. Вы тоже не сердитесь на меня, — обратился он к родителям. — Наша обязанность сообщать все подозрительное. Война есть война.

Отец и мать окаменели и стояли молча. Мать первая опомнилась. Она начала проклинать крестьянина за его ложь и жестокосердие и молить майора: — «Будь добр, отпусти нас с нашим покойником, пока еще светло».

Ободренный словами жены, отец вытянулся по-военному перед майором и заговорил почтительно, по-солдатски: — «Окажите внимание, господин товарищ майор. Мы же родители, это наш единственный сын; наша деревня далеко отсюда».

Майор был темноволос и выглядел довольно молодо; лицо его выражало скорее любопытство, чем строгость (конечно же, совершенно не важно, как он выглядел, важно было то, что он — майор). Когда он заговорил с крестьянином, казалось, что он говорит не человеку, стоящему перед ним, а кому-то отсутствующему; но правила воинского поведения предписывали быть вежливым: «Тебе нечего беспокоиться. Мы сейчас все разберем, согласно уставу».

Он подошел к телеге, постучал по крышке гроба и велел открыть. Солдаты быстро отвязали гроб и сняли его с телеги. Мать бросилась на гроб, причитая: — «Мой дом, мой пустой дом».

Но у солдат не нашлось ничего, чем бы вытащить гвозди из крышки. Это обстоятельство прибавило отцу силы и он опять начал умолять: — «Не навлекай проклятья на свою душу, майор, уважь мою просьбу».

Казалось, майор вовсе не слушает, а может быть он был слишком занят, проверяя бумаги пассажиров. Во всяком случае он сказал отцу, а может быть и одному из людей, подходивших к нему гуськом:

— По порядку, по порядку, все должно быть сделано по порядку.

Мимо проезжал грузовик и майор, подняв руку, в которой развевалось несколько удостоверений личности, остановил его. Капитан сам знал, что ему надо делать, без того, чтобы нужно было ему говорить. Он попросил у шофера клещи и молоток. И попытался осторожно отстранить мать от гроба. Но она не двигалась, склоненная над гробом; стиснутыми кулаками она подпирала щеки и еще безнадеежнее оплакивала свой опустевший дом и черную судьбу.

В несколько минут солдаты вытащили гвозди и майор, покончивший с проверкой документов, приказал поднять крышку. В гробу лежал темноволосый безбородый юноша, по-крестьянски одетый. Он моргал глазами и сделал движение — будто хотел сесть. Но смущенно улыбнулся и как лежал, так и остался лежать.

— Это ваш сын? — спросил майор.

— Мой сын, — ответил крестьянин. — Единственный сын. Два других убиты.

— Он бежал с фронта?

— Нет, он не бежал. Я хотел его спасти. . . Какая от земли и хозяйства польза мне и государству, если все, что у меня есть, пойдет прахом?

Склонившись над гробом, мать приглаживала мокрые от пота волосы сына, успокаивая его: — «Не бойся, сынок, он хороший человек. Он от нашей власти, народной власти».

Прохожие с любопытством смотрели. Майор приказал солдатам прогнать их и они быстро ушли, подгоняемые прикладами. А шофер грузовика, как только получил свои инструменты назад, так сразу же и уехал. Как видно, этот случай не интересовал его, а может

быть, у него было много дела и собственных забот. Только изможденный крестьянин остался стоять, будто у него было специальное разрешение на то, чтобы оставаться тут. — «Я думал, это шпион, или что-нибудь в этом роде, — бормотал он про себя. — Я же не хотел никому зла, ей-Богу не хотел, ей-Богу».

Набравшись храбрости, парень сел в гробу. Но майор показал ему жестом — снова лечь. И как по приказу, парень упал и лежал в позе «смирно».

— Капитан, — проговорил майор, — исполните ваш долг.

Быстро, как будто он только и ждал этого приказа, капитан выхватил револьвер из кобуры и взвел курок. А лейтенант твердо, но не грубо, взял мать за плечи, заставил встать и отвел в сторону. Солдат, прикладом ружья, отгеснил отца от гроба и подтолкнул к жене.

Капитан подошел к гробу и выстрелил юноше прямо в сердце, с такой ловкостью и быстротой, что, казалось, эхо ответило раньше, чем дуло коснулось груди юноши, и раньше, чем родители успели понять, что происходит. Казалось, что и юноша понял только тогда, когда пуля разорвала его сердце: он вскрикнул, выгнулся, голова и ноги ударились о край гроба, и вдруг тело рухнуло, словно лишенное всех сил.

— Теперь везите его, — сердито проговорил майор. И добавил спокойнее: — Мы наш долг выполнили и будем его и впредь выполнять.

Родители не слышали. Они бросились на тело сына, всхлипывали и рыдали в припадке отчаяния.

Солдаты оттащили их от гроба. Сделали это решительно, но не грубо. Они аккуратно поставили гроб опять на телегу, не забыли даже накрепко привязать веревкой. Рядом с гробом они положили крышку, так как у них не было ни инструментов, ни времени ее снова прибавать. Шаланда должна была отойти каждую минуту и военные грузовики уже ждали.

Как только солдаты поставили гроб, лошади тронулись сами собой. Родители поспешили за телегой. А изможденный крестьянин бормотал про себя: — «Откуда же я мог знать? Ну как мне было знать?»

От днища гроба отошел кусок доски; сквозь щели потекла кровь, темная, тихая. Мать так и оставила свою руку на гробе. Она невнятно причитала, а отец шел рядом с лошадьми и громко рыдал, забывая даже понукать.

Лейтенант сказал: «Станные люди, эти крестьяне. Смотрите, как они плачут и рыдают: совсем так же, как и до этого, на шаланде».

Но никто не слышал его. Все были заняты грузовиками, стоявшими вдоль берега большой реки.

ПЕРЕВЕЛА С АНГЛИЙСКОГО Т. ПЕТРОВСКАЯ

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ

ПУШКИН

В жизни каждого русского, связанного с литературой или просто думающего иногда о судьбах России и русской культуры, наступает момент, когда он как будто впервые, не на словах, а на деле, встречается с Пушкиным, сталкивается с ним, и должен отдать себе отчет в своем отношении к нему. Происходит это скорее к концу жизни, чем в начале ее, — и тогда становится ясно, что это не случайно, что обойтись без этого было нельзя, потому, что связано это с вопросами, касающимися самого важного, что в русской культуре было, да и вообще затрагивает основы нашего существования.

Конечно, и до этого, до этой встречи не было безразличия к Пушкину или забывчивости по отношению к нему. Наоборот, было увлечение несравненной прелестью его стихов, были бессонные ночи над «Онегиным» или «Медным всадником» — но это не то, и я не об этом сейчас говорю. Только много позднее возникает в сознании вопрос, который в сущности мы более или менее безотчетно обращаем к каждому большому писателю, но который при обращении к Пушкину становится почти неотступен, — потому, что ответ на него труден: кто ты такой, помимо чудесного своего поэтического дара, — кто ты такой, что ты можешь мне дать, куда ты меня ведешь и чего от меня хочешь.

О том, что ответ труден, я упоминаю не случайно и даже хотел бы трудность эту подчеркнуть. Все знают, что слово это часто употребляется по инерции, механически, что это избитый, излюбленный ораторский прием: начать с указания, что о том-то говорить трудно, хотя бы это ничуть не было труднее, чем о чем-либо другом. Однако, о Пушкине говорить и писать действительно трудно, и есть на это причины не только внутренние, глубокие, относящиеся к свойствам его творчества, но и внешние.

Речь, произнесенная на собрании в Париже 6 мая 1962 года.

Больше, чем какой-либо другой русский писатель, Пушкин у нас обожествлен, — и этому следовало бы только радоваться, если бы обожествление не исключало отношения к поэту, как к живому явлению. Есть не мало людей, которым нельзя сказать, например, что такое-то пушкинское стихотворение я люблю меньше других, без того, чтобы это не вызвало упреков в оригинальничании, а то и в нигилизме. Все будто бы одинаково прекрасно, никаких пятен на солнце нет. Побуждения за этим самые лучшие, но в результате Пушкин становится подобен существу заоблачному — и забывается, что он дорог нам именно своей человечностью, своей живой и сложной непосредственностью, не допускающей всегда одинакового, академически-бесстрастного отношения.

Затем, о Пушкине, будто бы, все сказано, — и остается, значит, как делают это пушкинисты, тратить годы и годы на то, чтобы наконец установить, с кем Пушкин пил такого-то числа чай и куда, выпив чашку чая, отправился, — вместо того, чтобы вдумываться в его творчество и по мере сил уяснять себе сущность и значение единственного в истории России феномена — «Пушкин». Нет, сказано, о нем не все, и никогда все сказано не будет, — хотя бы потому, что обманчивая его ясность неисчерпаема, что, как в бездонном зеркале, каждый видит в нем свое и что, наконец, нет двух людей, которые о явлении сколько-нибудь значительном думали бы то же самое, если только они действительно думают, а не более или менее искусно и грамотно повторяют то, что прочли в написанных другими людьми книгах. Достаточно вспомнить, насколько резко разошлись в отношении к Пушкину Белинский и Достоевский, или оба они с Владимиром Соловьевым, или с Блоком, чтобы убедиться, что подвести стройные итоги решительно невозможно.

«Пушкин — это наше все», по формуле Аполлона Григорьева. Это тоже повторяется постоянно и считается чуть ли не аксиомой. Можно понять и даже разделить восхищение, восторг, продиктовавшие это крайне спорное утверждение, — но плохо в нем то, что оно обезличивает духовный облик Пушкина, затушевывает одну чрезвычайно важную черту: обособленность Пушкина, его одиночество в русской литературе, — одиночество, полное смысла, и при том такого смысла, который уходит вглубь, к самым корням нашей культуры.

Надо, конечно, выделить то, что относится к развитию литературных форм, приемов, жанров, языка и прочего. В этом формальном плане ни о каком одиночестве Пушкина речи быть не может. В нем влияние и роль его исключительно велики, все позднейшие русские писатели должны считаться его учениками.

Но едва мы переходим в область духовную, как положение резко меняется, и хочется спросить: не о себе ли самом Пушкин сказал — «Ты царь, живи один»? Если о себе, то сказано это с поразительной

прозорливостью, будто глядя далеко вперед, в предвидении будущего. Пушкин действительно в русской литературе царь, но царствуя, он не управляет, — не управлял по крайней мере в необыкновенное по творческому напряжению полстолетие, — или немногим более полстолетия, — охватывающее период от его смерти до последних художественных произведений Толстого.

Может быть, настоящее царство Пушкина еще впереди, может быть, истинный пушкинский день еще придет. Это очень большой вопрос, и для всей русской культуры очень важный. Я не собираюсь его сейчас, в несколько минут, решать, а хотел бы только определить его сущность, наметить основные «данные» по этому делу, и заранее прошу прощения, что по ограниченности времени мне придется изложение свое донельзя скомкать. Но по крайнему моему разумению, это — самое острое новых, возникающих уже в наш век, после всего нами пережитого, размышлений о Пушкине, и именно этим размышлениям свойственна та неотступность, о которой я упомянул.

Бердяев назвал Пушкина «ренессанским» человеком. Слово уродливое, но характеристика совершенно правильная. При всей своей глубочайшей «русскости», порой даже не лишенной какой-то нарочитой фольклорности, Пушкин был великим, — а главное, в нашей литературе единственным великим, — представителем тех начал, которые в эпоху Возрождения возобладали в сознании европейского человечества и вдохнули в несколько поколений столько творческой энергии, вдохновения и радости. В двух словах начала эти сводятся к чувству, что на земле можно жить и стоит жить, не торопясь ни в какие потусторонние дали умчаться, — и если, при рационализации своим, чувство это внушает мысль о необходимости устройства мира и жизни, упорядочения их, возможно большем очеловечении их, то убеждает оно и в неизбежности ограничений, в недостижимости чего-либо безмерного и абсолютного.

Пушкин не был счастлив в личной жизни, но не видел в этом достаточно оснований, чтобы чернить жизнь вообще. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Пушкин не ладил с русским правительством, но не видел в этом оснований отрицать всякое государство, всякое организованное общество. А главное, Пушкин мог сомневаться в чем угодно, только не в великом значении культуры, просвещения и творчества, в особенности — творчества, в котором вовсе не видел чего-либо, ведущего к трагическому и неразрешимому разладу с совестью. Умирая, Пушкин взглянул на свои книги и сказал «Прощайте, друзья», — и тут я позволю себе сделать скачок, который, надеюсь, сразу разъяснит мою мысль.

Представьте себе Толстого, это величайшее олицетворение противополопушкинского, то-есть противовозрожденского духа, представь-

те себе Толстого, умирающего в Астапове: можно ли хоть на мгновение допустить, чтобы он перед смертью вспомнил о своих книгах? Невозможно, абсурд, — это всякий сразу чувствует! Книги лгут, обольщают, уводят за тысячи верст от «единого на потребу», а что такое это «единое», определить трудно, только наверно не то, что согласуется с понятиями цивилизации, просвещения или прогресса. Сжечь надо большинство книг, бежать от них, а не сокрушаться о разлуке с ними. Прощайте, враги, соблазнитель, потворщики моим слабостям, прощайте хитрые, хлороформирующие обманщики, а не друзья и помощники!

Наша послепушкинская литература, как бы не казалось это на первый взгляд парадоксальным, литература безумная, сознательно включающая страшный риск, а если в своей библейской несговорчивости это — безумие священное, высокое, — что и потрясло в конце прошлого века западный мир, — то с Пушкиным оно все же решительно не в ладу. И началось это сразу после его смерти, началось с Гоголя и Лермонтова, которые оба взяли Пушкина в штаны, при всем преклонении перед ним. Гоголь в последние свои дни, — правда, по требованию о. Матвея Ржевского, — отрекся от Пушкина, как от чего-то греховного и соблазнительного. Гоголь сжег «Мертвые души», которые он сам называл «венцом» своего творчества, — и тут опять можно вспомнить Толстого. Толстой ничего не сжигал, но подвергшись ему в старости рукопись «Войны и мира», он, конечно, не задумываясь бросил бы ее в огонь. Сказал же он однажды об «Анне Карениной», что ему даже вспомнить стыдно, сколько времени и труда потратил он на такой вздор! Наконец, Гоголь выпустил «Переписку с друзьями», книгу замечательную, местами написанную с гипнотической силой, но книгу, которая наверное привела бы Пушкина в недоумение или даже ужаснула бы его: ужаснула потому, что в крайних крайностях своего консерватизма книга эта разрушительнее всякого вольтеррианства и вольномыслия, — что отчасти можно сказать и о позднем, заносчиво славянском консерватизме Достоевского.

А Лермонтов, умолявший Творца освободить его от «страшной жажды» поэтического творчества! Почему жажда эта «страшна», почему нужно освобождение? Пушкин утверждал, что поэт рожден «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». И разве Пушкин способен был тосковать о каких-то «звуках небес», которых здесь, на земле, ничто заменить не может, — как тосковал Лермонтов в своем детски-гениальном «Ангеле»? Кстати, необычайность поэтического явления Лермонтова, мальчика и наполовину дилетанта, именно в том, что будучи современником Пушкина, он без малейшего усилия нашел свой, чуждый Пушкину, творческий тон, ушел из-под его власти, — что не удалось полностью мастерам гораздо бо-

лее зрелым, как Тютчев и Баратынский. Основное отличие Лермонтова от Пушкина, кажется мне, в том, что если бы Пушкина спросили, чего он ищет в своем искусстве, то Пушкин вероятно ответил бы: совершенства, а Лермонтов сказал бы: чуда. Разница огромная, — как, например, какой-нибудь средневековый собор своими взрывающимися к небу иглами рвется к чуду, немymi своими камнями тоскует о чуде, напоминает о нем, а здание греческое, Парфенон, в спокойной своей законченности крепко стоит на земле и красоте земли не только не противоречит, не только не кажется упреком ей, но с ней сливается и ее дополняет.

Не к чему после всего на эти темы написанного повторять, что та культура, к которой Россия, как часть Европы, принадлежит, сложилась под двумя противоречивыми воздействиями, развилась по двум линиям — библейско-христианской и греко-римской, или, как говорил Лев Шестов, иерусалимской и афинской. За две тысячи лет должна была как будто возникнуть гармония. Но Иерусалим к гармонии не склонен, а если порой на нее и соглашается, то лишь тогда, когда неукротимый дух его слабеет. На Западе столкновение, борьба и более или менее удавшееся — конечно, только более или менее! — слияние двух трудно примиримых начал наполнило столетия, с Возрождением, как одним из важнейших эпизодов западной истории. Но в России Возрождения не было, у нас хозяйничали татары, когда в Италии забрезжил его рассвет, и похоже на то, что Россия в судорожной послепетровской спешке, в лихорадочном стремлении стать действительно страной европейской, пожелала испытать, пережить, проделать на протяжении нескольких десятилетий, в сжатом и потому взрывчатом виде, то, что на Западе заняло века. Хронологический порядок оказался при этом нарушен. Пушкин явился не как преодоление, а скорее как предостережение. Пушкин заранее, как бы через головы своих мнимых литературных последователей, протянул руку всем, кто обречен жить на земле в неотвратимых земных условиях и кто согласен на это. В Пушкине дано предчувствие позднего Гоголя, Толстого и Достоевского, дана защита от их духовных ультиматумов, от их ригоризма, от их беспощадной требовательности, — и тому, кто в России такой защиты ищет, не к кому кроме него обратиться. Пушкин у нас один на уровне нашей великой послепушкинской триады и, не зная ее, он один в силах ей противостоять.

Ипполит Тэн назвал Тургенева единственным греком в современной ему литературе. Это, конечно, преувеличение: какой же Тургенев, очень умный, очень талантливый, меланхолический, скептический, во всем разуверившийся, чуть-чуть капризный русский барин, какой же он грек! Но если Тэн сквозь тургеневские писания понял и почувствовал Пушкина, то проявил редкую про-

ницательность. Тургенев со своим демократическим европеизмом все-таки не на уровне Толстого или Достоевского, и в качестве ответа им он мало убедителен. Но Пушкин их натиск выдерживает и помогает выдержать тем, кто, скажем, после «Смерти Ивана Ильича» и других, может быть и глубоко человеческих, но грозных, немолчаливых, испепеляющих сердца и душу страниц нашей литературы, вспоминает какое-нибудь легкое и все же не менее глубоко человеческое, его восьмистишие: впечатление такое, будто очнулся от страшного сна и видишь, что все на месте, солнце светит, ветерок веет, и можно блаженно вдохнуть глоток того воздуха, которым мы единственно и в силах дышать. Если некоторые пушкинские стихи нам непонятно дороги, то вероятно разгадка именно в этом ощущении.

Поставим однако точки над *i*: надо признать, по-моему, даже необходимо признать и сказать, что мораль Толстого, в конечном, вышшем, самом чистом своем виде, все-таки выше морали пушкинской, — потому что, со всеми оговорками, которые обычно в данном случае делаются, это мораль евангельская, та, о которой Гете, как известно — язычник, человек, особой склонности к Евангелию не чувствовавший, сказал в одном из своих удивительных разговоров с канцлером Мюллером:

— Это не может быть превзойдено.

Да, это не может быть превзойдено: в утверждении свободы духа, в преодолении формального, законнического понимания добра и зла, в торжестве над будто бы общеобязательной регламентацией того, что должно бы остаться внутренним делом каждого из нас. То, о чем рассказано в последней главе «Воскресения», где Нехлюдов впервые читает Евангелие и впервые его понимает, не может быть и никогда не будет превзойдено. Но хорошо, когда это остается на нехлюдовском уровне, горит в толстовском духовном костре. Опасность в том, что при снижении до сознаний заурядных, и как у большинства из нас, охлажденных, усталых, достаточно потрепанных жизнью, — как тут не вспомнить ужасные, хотя и обезоруживающие своей искренностью, слова Розанова: «Я не хочу истины, я хочу покоя!» — да, при спуске к такому состоянию, в морали этой, со всей ее свободой, обнаруживается какое-то попустительство, что-то вроде потворства нашим слабостям и нашей беспечности. Все прощать, — читает Нехлюдов, — всегда прощать, не до семи, а до семидесяти семи раз, то-есть до бесконечности: да, тут возразить нечего. Но ведь не потому прощать, чтобы это внушало и успокаивающую, убаюкивающую надежду, что и тебе самому все будет прощено и что можно, значит, махнуть рукой на ежедневные сделки с совестью и на всякие мелкие житейские мерзости! Ни на что второстепенное не обращать внимания, жить только мыслью об основном, памятью

о важнейшем: да, и тут возразить нечего. Но ведь наше реальное существование соткано из второстепенного, и случается, что под предлогом стремления к «единому на потребу», люди живут кое-как, в анархической беспорядочности, мало-помалу теряя чувство ответственности перед другими людьми и собой, лениво рассчитывая на «авось», на «кое-как», на «ах, не все ли равно».

В особенности люди русские.

Я не случайно об этом говорю, когда говорю о Пушкине, а потому, что в Пушкине отсутствует тот максимализм, который при искажении своем, при сползании с духовных вершин в духовную равнину или даже в болото, неизбежно терпит и соответствующую метаморфозу. Никто не решится нашу послепушкинскую литературу в беспечности или других немоцах упрекнуть, а если решится, то обнаружит, что ничего в ней не понимает. Но когда от Толстого или Достоевского совершается переход к Ивану Ивановичу или Петру Петровичу, то тут своевольно присвоенные черты теряют всю свою значительность и подтачивают самые формы жизни, расшатывают уклад жизни, ничем этого не оправдывая и ничем не возмещая. Исторически мы достаточно за это поплатились, и это — именно то, чему, глядя на нас, не без усмешки удивляется Запад, в великих трудах веками устанавливавший, веками укреплявший организацию быта, его стройность и его дисциплину. О чем же рассказано в «Легенде о Великом инквизиторе», как не об этой долгой работе?

Мне не хотелось бы останавливаться на мелочах, в особенности вслед за упоминанием о «Великом инквизиторе», но для иллюстрации сошлось все-таки на одну из них. В газете «Фигаро» была не так давно статья, автор которой, говоря о встрече с одним из своих знакомых, вскользь, как нечто само собой разумеющееся и всем известное, писал:

— C'était un Russe, donc un fou. Это был русский, значит — сумасшедший.

И хотя нам, конечно, кажется комическим преувеличением это „*donc*“, этот знак равенства между расшатанным, — и при том большей частью высокомерным, уверенным в своем превосходстве, — русским сознанием и простым помешательством, какая-то доля правды в шутке французского журналиста есть, согласно изречения о «шаге», отделяющем великое от смешного.

Повторяю, Пушкин — единственное на вершинах нашей культуры явление, которое дает России другое лицо, и не требуя от людей неустанного духовного героизма, не приоткрывает им и лазейки, ведущей к разложению. Оттого-то он в этой культуре и одинок. Ближайшие его преемники отвергли Пушкина в том основном, что он принес и что всем своим творчеством выразил, — хотя Гоголь и назвал его «чрезвычайным явлением русского духа», а Достоевский

добавил «и пророческое», тут же, в своей знаменитой речи, перетолковав Пушкина с таким вдохновенным и патетическим неистовством, что он стал поистине неузнаваемым — и речь эта должна бы остаться, как важнейший документ для понимания самого Достоевского, но никак не Пушкина.

Мне, пожалуй, скажут, что вместо отвлеченных рассуждений о двух видах духовной культуры лучше было бы заняться общим или формальным разбором стихов Пушкина и, не мудрствуя лукаво, поговорить об их обаянии, об их прелести, которую я сам же назвал несравненной. Но ведь именно о стихах Пушкина я и говорил! То, что в них порой почти необъяснимо хорошо, то, что вызывает в сознании единственный отклик, ведь именно и держится, — не знаю, как бы это вернее определить, как бы точнее выразиться, — держится на их внутреннем совпадении с обликом нашего мира, с данными нашего мира, на их безошибочном соответствии строю нашего мира, как в архитектурной сдержанности своей совпадает с ним и соответствует ему тот афинский храм, о котором я уже упоминал.

Самые удивительные пушкинские стихи, и во всяком случае наиболее пушкинские среди пушкинских стихов, не те, где он напрягает голос и повышает тон, не «Пророк» и даже не песнь председателя из «Пира во время чумы» — хотя Холасевич, человек очень проницательный и при том всю жизнь Пушкиным занимавшийся, считал именно эту песнь высшим его созданием, — а те, по-моему, где он с совершенной непринужденностью, с полнейшей естественностью интонации, не форсируя стиля, говорит о жизни, которая в каждой повседневной мелочи так же таинственна, как и в огромных мировых событиях. И скорее с грустью, чем со скорбью говорит еще о том, что мало у кого жизнь складывается так, как надо бы, и что для каждого из нас срок ее ограничен.

Нет в нашей литературе ничего прекраснее, чем дивный последний монолог Татьяны, — музыкально дивный, в напеве своем дивный:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

и в особенности строфа:

А мне, Онегин, пышность эта
Постылой жизни мишура...

Именно вспоминая такие строки и понимаешь, что такое Пушкин. Конечно, в этом монологе сказано неизмеримо больше того, что непосредственно выражено словами, — как и всегда в истинной поэзии непосредственной, логический смысл слов бывает беднее ее содержания. И даже больше: этим бессилием непосредственного смысла исчерпать содержание уровень поэзии и определяется.

Конечно, легким голосом Татьяны, грустными ее словами о любви, верности и долге, Пушкин тут говорит о земном существовании во всем его объеме: и о том, что «от судеб защиты нет», как сказано в «Цыганах», и о том, что если даже существуют иные, неведомые, потусторонние миры, то в них наверно нет солнца, неба, весны, нет встреч, похожих на вспышку света, нет ночи и дня, нет счастья и горя, — всего, словом, что знаем мы здесь на земле, к которой прикованы, но для которой и созданы.

Вспоминая такие строки, вспоминаешь и то, что сказал Тютчев о Пушкине: «тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Но мне хочется настойчиво повторить, что истинное понимание Пушкина и благодарное, будто сыновнее чувство связи с ним приходит скорее к концу жизни. И тогда человек, к русской литературе причастный, мысленно добавляет к тютчевской строке: «и как последнюю любовь, не забудет» — не забудет хотя бы потому, что для забвения не останется и времени.

В. ВЕЙДЛЕ

Для кого пишет писатель?

СОВРЕМЕННОКИ И ПОТОМКИ

Писателю нужен читатель. Такой читатель, который до конца бы его понял, полностью оценил, а если можно, то и полюбил. Это читатель воображаемый, идеальный; для него-то он и пишет; но в окружающей его действительности такого читателя может не найтись. В крайнем случае готов он помириться и на меньшем. Знаменитый французский поэт Поль Валери говорил: «Я не ищу восхищения, я ищу внимания». Он нашел и то, и другое. Но иной, столь же достойный обоих, даже и внимания найти не может. Ему остается мечтать о том, чего нельзя выразить скромней и в то же время точнее, чем словами Баратынского:

И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.

В случае Баратынского эта мечта сбылась. Но всегда ли она сбывается? Всегда ли оказываются потомки понятливей или справедливей, чем современники? Не всегда, совсем не всегда. Однако лучше уж мечтать о воображаемом читателе, чем подлаживаться к всамделишному, — а читатель будущий иначе как воображаемым и быть не может. Обращение к нему означает поэтому более высокую требовательность к себе, к своему уму и таланту, к своей писательской совести. Того, что писатель требует от себя, того ведь, тем самым, он требует и от читателя. Ему не пристало смотреть на него ни сверху вниз, ни снизу вверх. Он обращается к нему, как к равному. Но он должен желать такого читателя, который способен ответить на лучшее, что он может ему дать.

Вот почему и апеллирует так часто писатель от суда современников к суду потомства. Но это не значит, ни что судом современников он может пренебречь, ни что суд потомства непременно окажется более для него благоприятным или даже просто справедливым. За последние полтора столетия было столько поэтов, музыкантов, писателей, художников, достигших только очень позднего, а

то и всего лишь посмертного признания, что люди, причастные к искусству и литературе, стали смотреть на суд современников более, чем скептически. Но так как из этих людей трибунал и бывает составлен, положение получилось парадоксальное: судьи отказываются судить. Им слишком хорошо известно, что каждый одаренный писатель или художник встречает сопротивление тому новому, что он в себе несет; сопротивление это им хотелось бы устранить; они поэтому всякую новизну заранее приветствуют и одобряют. При этом они упускают из виду, что новизна бывает и кажущейся, или выдуманной, нарочитой, лишенной внутреннего оправдания; а с другой стороны бывает затаенной, стыдливой, такой, что не сразу удастся ее и распознать. От суда нельзя отказываться ни подсудимому, ни судьям. Этого суда не заменит тот, время которого наступит, когда уже не будет в живых ни писателя, ни первых его читателей. Ложную новизну этот будущий суд отвергнет, но и подлинная для него уже не будет новизной.

Суд современников нужен художнику, даже когда приговор этого суда возмущает его и потомству представляется несправедливым. Отсутствие всякого сопротивления гораздо хуже может отозваться на жизни искусства, чем та обстановка борьбы, в которой оно развивалось до сих пор. Главное же, надо оставить мысль, что сопротивление непременно означает неверное понимание. Враги сплошь и рядом лучше, чем друзья, определяют существо того, с чем те дружат, а они враждуют. Свиридный враг вагнеровской музыки, Ганслик, восставая против нее, высказал много истин, с которыми нынче согласились бы и вагнерианцы. Импрессионизм получил свое наименование и свое первое определение именно от своих врагов, чья критика хоть и была близорука, но целила верно, а не палила вовсе наугад. Противники Гоголя, обвинявшие его в преувеличении, карикатурности, вычурности, неправдоподобии, поняли его гораздо верней, чем многие его сторонники, или критики шестидесятых годов, видевшие в нем сатирика, бытовика, и только. О Пушкине, о Лермонтове — что поделать, даже о них! — современники толковали вкривь и вкось, но все же не настолько вкривь и не настолько вкось, как Писарев или Варфоломей Зайцев. Когда же в конце века появились в нашей поэзии так называемые декаденты и будущие символисты, то встретили их, что и говорить, в штыки. Но все же проявили в отношении к ним меньше тупости, чем авторы недавно выпущенного Академией наук десятого тома «Истории русской литературы». Что же касается пародий Владимира Соловьева на ранние стихи Брюсова, то в них рядом с порицанием столько понимания, что нынче их едва можно отличить от тогдашних брюсовских стихов.

Суд современников и суд потомков дополняют друг друга как в хорошем, так и в дурном. Первый острее чувствует новизну, не-

зависимо от того, осуждает он ее или одобряет. Второй к новизне равнодушен; ему любо не то, что молодо, а то, что не стареет. Но заблуждаются сплошь и рядом оба. Да и новизна, молодость, старость — все эти понятия в литературе относительны. На протяжении веков, а то и тысячелетий писателей вспоминают, забывают, опять вспоминают; хоронят, воскрешают. Только в одном суд потомков всегда превосходит суд современников: он нелицеприятен. Загробную славу никому не мешали приобрести неприятные черты характера, и молчалинским путем ее тоже никто не приобрел.

Современники бывают слепы. Белинский не заметил Тютчева. Щедрин назвал «Анну Каренину» «мочеполовым романом». Николай Бестужев (декабрист) писал брату в 1836 году: «Каков Бенедиктов! Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, чем у Пушкина, а стихи звучат так же». Вот три достойных внимания примера того, что иначе, как слепотой, как будто и не назовешь. Как будто. Потому что слепоты тут, собственно, нигде не было; была лишь некоторая, в каждом случае особая, подслеповатость. Но для современников (в отличие от потомков) такая именно подслеповатость как раз и характерна. И наши три примера относятся к трем ее разновидностям. Стоит поэтому присмотреться к ним поближе.

Белинский не заметил Тютчева. Но Белинский и вообще гораздо вернее оценивал прозу, чем стихи; ценил в стихах не то, что присуще им одним, а то, что принадлежит им вместе с прозой. Кроме того, судить о Тютчеве он мог лишь по стихам, разбросанным в альманахах и журналах, и даже не по тем подписанным лишь буквами двадцати четьрем «Стихотворениям, присланным из Германии», которые Пушкин поместил, за год до смерти, в двух номерах своего «Современника». Их-то Белинский и не заметил. Но их заметил Пушкин, а также Вяземский, Жуковский; для поэта всего важнее быть замеченным именно поэтами. Так и позже Тютчева оценил столь не похожий на него поэт, как Некрасов; его стихи горячо любили Фет, Владимир Соловьев, а также Тургенев и Толстой. В течение всего прошлого века широкого круга читателей у него не было, но о том, что его вовсе «проглядели», речи быть не может. С подлинными талантами, если такое и случается, то крайне редко. Почти, но все же лишь почти, случилось это с величайшим — рядом с Гегелем — лирическим поэтом Германии, Гельдерлином. В 1799 году один немецкий журнал опубликовал список тогдашних писателей и поэтов, достигших хотя бы и очень относительной известности. В этом списке было 149 имен, но имени Гельдерлина в нем не было, хотя он успел напечатать к тому времени многое из того, что позже создало ему славу. И все-таки были отдельные люди, которые уже и тогда с восторгом читали его стихи. Подслеповатость современников сказывается не столько в том, что

они хорошего не замечают, сколько в том, что они замечают слишком многое, не всегда умея отличить — да и кто всегда это умеет? — хорошее от посредственного и настоящее от поддельного.

Бестужев польстился на мишуру и на — дешевую — новизну. Бенедиктов показался ему интереснее Пушкина: «мыслей побольше, а стихи звучат так же». На самом деле стихи звучали иначе: залихватистей, звончей, бойчей; меблированы они были самыми роскошными словами, да и страсть выражали самую, как тогда говорили, знойную. Козьма Прутков был ими совершенно всерьез, но предвосхищен. Именно это Бестужев за мысли и принял. Да и Тургенев, вместе с многими, попался на ту же удочку. Позже он с усмешкой вспоминал об этом своем кратковременном, правда, увлечении. Затмить Пушкина Бенедиктову удалось, но лишь на полчаса. И всего удивительней кажется нам не то, что его Пушкину предпочли, хотя бы на минуту, а то, что его вообще могли сравнить с Пушкиным, ставить рядом их имена, ставить их книги на одну полку. Но в этом-то как раз для современников ничего странного и не было. Не то, чтобы они не ценили того, что мы ценим сейчас, но ценили они это не больше, чем то, что мы давно забыли. «Федра» Расина незамеченной не прошла, но современники долго спорили о преимуществах или недостатках ее по сравнению с ничтожной «Федрой» Праксона. «Красное и черное» Стендаля охотно читали дамы, но столь же охотно, как романы Поль де Кока и Эжена Сю. Наклонившись к своему соседу за столом во время званого обеда, одна из них сказала: «Как, вы еще не прочли „Красного и черного“? Ах, но ведь этот роман не менее знаменит, чем „Жаба“, не менее хорош, чем „Плик и Плок!“»

Щедрин отозвался об «Анне Карениной» не только глупо и несправедливо, но и непристойно. Это однако уже не суд современников, а лишь особое мнение одного из них. Особые мнения бывают разные. Вызывает их сплошь и рядом личная неприязнь, и относятся они часто не столько к роману или стихам, сколько к их автору. Молодой Гете почти всегда очаровывал всех, с кем встречался, но все же сохранились о нем и такие два, довольно красноречивые, несмотря на краткость, отзывы: «пустой болтун» и «грубая скотина». Да и вообще его литературный, как и жизненный путь, вопреки распространенному мнению, розами усеян не был. Семидесяти девяти лет от роду, отлично зная о своей европейской славе, он все же писал: «Сочинения мои никогда не будут популярны; было бы нелепо и стремиться к этому». Современники обыкновенно заботятся о том, чтобы и баловни славы не слишком избаловались. Часто эту заботу проявляют и такие современники, которые сами увенчаны лавровым венцом. Вольтер вел яростную кампанию против «Новой Элоизы» Руссо, как и против Руссо вообще. Через десять лет после выхода романа, гнев его еще не ослабел,

что видно по следующему отзыву: «Можно подумать, что свою „Элоизу“ он писал наполовину в публичном доме, а наполовину в доме умалишенных. Одна из мерзостей этого века — рукоплескания, которыми некоторое время награждали этот чудовищный роман».

Как видим, Вольтер почти столь же сильно высказывался о романе Руссо, как Щедрин о романе Толстого. Таковы неудобства славы. Писателю надо умереть, чтобы они исчезли. Но и посмертная слава далеко не так прочна и не так безоблачна, как обычно думают. Неизменно помогает ей лишь одно: забвение, в котором исчезают современники знаменитого писателя.

В конце прошлого века жил в Париже плодовитый русский писатель Петр Дмитриевич Боборыкин. В одном из его писем тех лет встречается фраза: «Пишу много и хорошо». Письмо сохранилось, потому что было адресовано Толстому.

Боборыкин сообщает Толстому: пишу много и хорошо! Нам это кажется чудовищным, но Боборыкин этого нашего чувства очевидно не разделял, да и Толстой, прочитав письмо, быть может, улыбнулся или пожал плечами, но вряд ли самодовольную фразу счел неслыханной дерзостью. В конце концов, Лев Николаевич и Петр Дмитриевич были почти что сверстники (Боборыкин был всего на восемь лет моложе Толстого). Оба писали романы, у обоих были читатели и даже, в значительной мере, те же самые читатели: не такой уж был грех одному немного расхвастаться перед другим. Никакой пропасти между ними не было. Пропасть образовалась позже. Окончательно стала она зиять не для современников, а для нас. Боборыкин исчез. Толстой остался.

То, что еще возможно для современников, уже немислимо для потомства. Для современников (и особенно для сверстников) Толстой и Боборыкин, Пушкин и Бенедиктов — на одном плане. Потомство такой однопланности не признает. Было бы, однако, совершенным суеверием думать, что суд потомства непогрешим и что он не подвержен переменам. Суеверие это распространяют учебники и словари, а также мелькание знаменитых имен в разговоре и в печати. Но следует отличать память от любви, и нейтральную, принимаемую на веру, общепризнанность от живого восприятия, подлинно стирающего грань между прошлым и настоящим. Да и простая память изменяет, сама общепризнанность колеблется. Стоит оглянуться назад, чтобы с легкостью в этом убедиться.

Гете и Шиллера чуть ли не сто лет запрягали парой и считали конями совершенно одинаковой резвости. Затем перспектива изменилась: Гете всех обскакал в одиночку, а Шиллер отошел на второй план, не только по сравнению с ним, но и по сравнению с Клейстом и Гельдерлином. В начале века у нас было пять вели-

ких писателей; немного позже их стало три: Гоголь, Толстой, Достоевский. Тургенев и Гончаров слегка отодвинулись назад и приобрели соперников в лице Лескова, Чехова, Бунина. Но это лишь перемены в литературной табели о рангах. Ими дело не ограничивается.

Всякая эпоха воспринимает из прошлого лишь то, к чему она чувствует внутреннюю близость. Гуманист и архитектор Леон-Батиста Альберти, один из крупнейших мастеров Возрождения, называл готическую архитектуру «безрассудной похотью сопрягать камни». Через полвека после смерти Шекспира, секретарю британского адмиралтейства и автору знаменитого «Дневника» Сэмюэлю Пипсу казалось, что нет ничего нелепей, чем «Сон в летнюю ночь». Для Вольтера, Шекспир был «пьяный варвар». О «Божественной комедии» он отзывался в том же духе. Даже Гомер и Вергилий не всегда одинаково чтились, а уж читались в разные времена и совсем по-разному. Два английских перевода «Илиады», Чэпмана и Попа, мало чем сходны между собой (как и мало чем похожи на «Илиаду»), и вряд ли есть много общего между «Энеидой», как понимал ее Данте и как ее объясняют современным школьникам. Еще в конце XVIII века Чезаротти «исправлял» Гомера, исходя из эпической техники Вергилия, а немецкие романтики, немного лет спустя, не находили вкуса в Вергилии, отведая первобытной стихийности Гомера.

Потомство неподкупно, но и непостоянно — как сама история. Оно вспоминает забытое, но и забывает то, о чем долго помнило; оно возвеличивает и ниспровергает в зависимости от своих собственных меняющихся вкусов. Наше историческое сознание за последние полтора века невероятно расширилось, но уже конечно не все авторы, о которых мы знаем и чьи книги хранятся в наших библиотеках, одинаково привлекают к себе наше внимание и любовь. Те, кто привлекал вчера, завтра перестанут привлекать. Тех, кого не читали отцы, с жадностью прочтут дети или внуки. Тысячи, десятки тысяч канули в Лету — по-видимому навсегда, но утверждать, что никто из них не выплывет из реки забвенья, тоже не приходится.

Да и не одни литературные перемены влияют на наши оценки. Резкое осуждение Пушкина в шестидесятых годах было вызвано политическими настроениями тогдашней молодежи, совершенно так же, как осуждение Гете за четверть века до того. Революционный пафос «Молодой Германии» внушил Берне его проклятия: «С тех пор, как я чувствую, я ненавижу Гете; с тех пор, как я научился думать, я знаю, почему», — «Гете говорит медленно, тихо, спокойно, холодно: его поучения оскорбляют свободного человека». Никто больше не читает Берне, несмотря на столь эффектные его формулы: «Гете — рифмованный холоп, Гегель — нерифмо-

ванный» и другие в том же роде. Но и национальный поэт Венгрии Петефи в 1847 году пророчил: «Наше время поклоняется Гете. Будущее опрокинет этот кумир, как и все другие кумиры. Так же, как он безразлично взирал на людей с высоты своего величия, будут люди безразлично глядеть на запыленные осколки его славы».

Пророчество Петефи не исполнилось. Писарев Пушкина тоже не похоронил. Страсти улеглись; революции прошли; и там, где государство не искажает насильем нормального хода вещей, литература торжествует над политической предвзятостью. Слава колеблется, но покончить с ней по личному желанию или по приказу властей не так-то просто.

О ШИРОКОЙ СЛАВЕ И ОБ УЗКОЙ

Сбрасыванье Лермонтова «с парохода современности» — занятие глупое и пустое. Никого нельзя сбросить с этого парохода по собственному произволу; ни о ком даже и предсказать нельзя, что он будет с него сброшен; единственное, что можно предсказать, это что сам пароход пойдет ко дну. Современность недолговечна; ей на смену придет другая современность, вспоминающая о прежней когда с завистью, а когда и с иронией. Наша нынешняя совсем не похожа на ту, с высоты которой рослый юнец с деревянной ложкой в петлице судил русских поэтов шемакинским судом. Мы на нее глядим издали, точно повернув бинокль в обратную сторону, и сбрасывателей за гигантов не принимаем. Что же касается Лермонтова, то его, я полагаю, и нынче, в Советском Союзе, читают и любят едва ли не больше, чем Маяковского.

Еще забавней попал Маяковский впросак с другим своим изречением: «Для нас Державиным стал Пушкин». Не только решительно ни для кого Пушкин Державиным не стал, т. е. не удалился в какую-то седую древность, но и сам Державин приблизился к нам, поэзия его ожила, очистилась от той условно-школьной оболочки, в которой только и была знакома Маяковскому, и представила перед нами во всей крепости своего языка, непосредственности чувства, во всем первобытным своим могуществе. То же, что у нас с Державиным, случилось у немцев с его современником Клопшток-ом. Книги его давно запылились на верхних полках, самое его имя ряду поколений перестало напоминать что-либо, кроме скучных учебников, но лет сорок назад казавшееся мертвым древо снова зазеленело и студенты где-нибудь в Иене или Гейдельберге с восторгом принимались друг другу читать оды старого поэта. Воскресшая слава Гельдерлина воскресила и его славу; или, вернее, не слава, сама их поэзия воскресла, потому что стала созвучной

другому, изменившемуся времени. Точно так же, и в те же примерно годы, воскресили англичане своих так называемых метафизических поэтов (Донна, Крэшоу, Марвелла), а французы впервые отдали должное своим совершенно ими забытым, но и впрямь прекрасным стихотворцам конца XVI и первой половины XVII столетия.

«Возвращается ветер на круги своя». Пройдет одна «современность», наступит другая, и французы пожалуй опять полюбят Парни, которого так любил Пушкин и которого они давно уже не читают. Конечно, имя Парни они не забыли, подобно тому, как немцы никогда не забывали имя Клопшток; но слава имени — это сплошь и рядом лишь отзвук былой славы или отголосок существующего в данное время мнения о том, какое место занимает тот или иной писатель в истории литературы или языка его страны. Мнение это тоже меняется, потому что движется историческая наука, но не она решает вопрос о том, останется ли память о каком-либо авторе архивной, книжной или оживет и вольется в литературную жизнь такого-то поколения или ряда поколений. Историк литературы может найти потерянное, может стряхнуть пыль со старой книги, может предложить ее вниманию своих современников, но откликнутся ли они, зависит уже от них; и скорее добьется у них отклика не ученый, а писатель, поэт, с волнением прочитавший стихи другого, давно умершего поэта. Для воскрешения имени, для оживления славы достаточно бывает порой одного нового читателя, но при условии, чтобы, услышав его зов, присоединились к нему и другие. Читатели эти — те самые и есть, которых ждал, для которых писал писатель.

Писал вчера или много веков назад. Разница тут менее велика, чем кажется. Греческая трагедия и сейчас захватывает нас, как во времена Эсхила и Софокла, а некоторых книг нам и в голову не придет читать из тех, что с упоением читались нашими отцами или дедами. Да и само отмежевание современников от потомков условно: твердой границы между ними установить нельзя. Тютчев был современником Тургенева, Фета, Толстого, но по году своего рождения он гораздо ближе к Пушкину, чем к ним. Однако жил он почти вдвое дольше Пушкина и многие его современники были для Пушкина уже потомством. На каждом «пароходе современности» есть пассажиры и двадцати, и сорока, и шестидесяти лет. Двадцатилетнему Маяковскому хотелось сбросить с него не столько в сущности Пушкина и Лермонтова — пассажиров бесплотных и безбилетных — сколько тех, кто был жив, но постарше его, так, чтобы его сверстники, с ним во главе, остались бы одни на пароходе. Сверстник — этому понятию и в самом деле присуща некоторая точность. Но разве писатель пишет для одних своих сверстников? Разве не больше он думает о тех, кто моложе его, и

о будущем вообще больше, чем о настоящем, которое уже отходит в прошлое? Всякое творчество — ставка на будущее; но и борьба с ним, борьба за то, чтобы оно стало этому творчеству созвучно. Победа в такой борьбе бывает длительной, бывает мимолетной; окончательности ее никто гарантировать не может: ведь не в одном писателе тут дело, дело и в читателе. . .

Не только зыбкой бывает слава и мимолетной. Само понятие славы не такое уж ясное и определенное, как обычно думают. Даже самая бесспорная, самая громкая слава, если присмотреться к ней поближе, окажется менее монолитной, чем представлялось на первый взгляд. В ней обнаружатся отнюдь не равнозначные и не равноценные составные части. Так обстоит дело даже с самой дорогой нам всем из русских слав, со славой Пушкина.

Есть в этой славе большая (больше, чем во многих других) доля подлинного знания и понимания, подлинной — потому что зрячей и сознательной — любви. Но есть в ней (как во всех других) также и немалая доля привычки, покорного следования авторитетам и склонности с азартом повторять давно ставшие азбучными истины. Пушкин — величайший наш поэт; иностранцам это хорошо известно, но по-настоящему в этом убедиться они могут, только если знают русский язык. О «Братьях Карамазовых» или «Войне и мире» можно судить, читая их в переводе; но даже вполне приличный перевод — гениальных пока нет — не может дать достаточно-го понятия не только о таких стихотворениях, как «Для берегов отчизны дальней», но и о «Евгении Онегине», «Медном всаднике», «Моцарте и Сальери». О прозе Пушкина получить представление по переводам возможно; но как бы ни была его проза хороша, слава его все-таки зиждется в первую очередь на стихах, и не знающим по-русски иностранцам приходится принимать ее на веру. Они это и делают. Оспаривать наше мнение о Пушкине им, конечно, и в голову не приходит. Это было бы невежливо, и кроме того образованный француз, немец, англичанин кое-что о Пушкине знает: читал его биографию, статью о нем, а то и в перевод заглянул или слушал оперу на пушкинскую тему; главное же знает, что о величайшем русском поэте что-нибудь знать необходимо, — на худой конец хоть то, что он величайший русский поэт.

Слава Пушкина всемирна. Иногда она принимает даже и довольно неожиданный для нас облик. Говорят, например, что в негритянских кабаках нью-йоркского квартала Гаарлем зачастую красуются портреты Пушкина и автора «Трех мушкетеров» Алек-

сандра Дюма, двух африканских классиков. Это еще не значит, что среди «номеров», исполняемых в этих кабачках, часто встречается монолог «Скупого рыцаря» или хотя бы

Гляжу, как безумный, на черную шаль
И хладную душу терзает печаль.

Всемирная слава Пушкина, да и кого бы то ни было, это слава имени, не больше. Доктор Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова признается: «Третьего дня разговор в клубе; говорят Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я». О Пушкине в клубе разговора, по-видимому, не было. Его-то уж доктор Чебутыкин несомненно читал, а в школьные годы должно быть и наизусть зубрил. Но поручиться, что пушкинская слава была для него чем-то большим, чем слава имени, все-таки нельзя. Машинально и пассивно мы сплошь и рядом прославляем как авторов, которых мы вовсе не читали, так и тех, которых мы читали из-под палки или по какой-нибудь суетной причине, с почтением может быть, но без интереса и внимания. Французские школьники издавна заучивают наизусть Расина, итальянские — Данте, наши — Пушкина, но понимать и любить этих авторов научаются далеко не все (некоторые даже раз навсегда отучаются от этого) и лишь для немногих становятся они спутниками жизни, а слава их — вестью о том, что они живы и что они нужны живым.

Широкая слава нуждается в узкой славе, иначе она останется внешней и пустой. Мы все гордимся Пушкиным, но мы вправе им гордиться, только если умеем его читать, если всем своим существом мы открыты его гению. Понимание тут важнее восхищения, а восхищению без понимания грош цена. Лучше уж бранить Пушкина последними словами, как это позволял себе Писарев, чем, воздавая ему лицемерную хвалу, других поэтов корить — как это тоже у нас делалось — за то, что они пишут не по-пушкински, не так, видите ли, «просто», не так «прозрачно», как Пушкин. Лицемерие здесь явствует не только из похвал пушкинской простоте, обличающих весьма поверхностное понимание его поэзии, но еще и из того, что человек, не понимающий Блока, Анненского, Некрасова и сетующий о том, что они не пишут, как Пушкин, без всякого сомнения очень плохо понимает и Пушкина.

Бывают поэты узкой славы, как Баратынский или тот же Анненский; имен их не повторяют всуе по всему свету; лицемерной хвалы никто им не воздает; только те или почти только те и славят их имена, кто их читает, любит и понимает. Но и широкая слава лишь тогда по-настоящему оправдана, когда она не только не исключает узкой, но и питается ею, зависит от нее. Когда узкая слава начинает колебаться (как во французской литературе случи-

лось, например, с Гюго), тогда грозит опасность и широкой; когда же широкая улечит, узкая может остаться невредимой. Узкая слава обходится и без широкой, а вот широкая без узкой надолго обойтись не в состоянии. Если у писателя при жизни одна только широкая слава и была, можно быть уверенным, что после смерти она быстро пойдет на убыль.

При жизни писателя, а иногда и некоторое время после его смерти, широкая слава — это большие тиражи. Так, по крайней мере, бывает в нормальных условиях, то есть когда производство любого товара, в том числе и книжного, не регулируется сверху, а сообразуется с предполагаемым спросом на этот товар. Цифра тиража как раз и есть показатель этого спроса. Отчасти так обстоит дело и в странах тоталитарного режима, поскольку и тосиздаты ищут прибыли, а не убытка, и поскольку книга не относится к разряду тех, чтение которых власть во что бы то ни стало желает навязать своим подвластным. В той мере, в какой тираж отвечает спросу, иначе говоря свободному выбору читателя, он весьма точно выражает читаемость такой-то книги, а значит и популярность, известность такого-то автора. А разве популярность, известность не то же самое, что слава?

То — да не то. Слава содействует тиражам, но не порождается тиражами. Во Франции самые большие тиражи совсем недавно в течение ряда лет выпадали на долю романистки Делли, но ее благонравные — герань и кисея — романы, столь усердно читаемые по всей стране, никакой славы ей не принесли. Доходы доходами, но имени ее во французской литературе нет как нет, а уж о бессмертии она вряд ли и сама мечтала. У нас в пушкинские времена Булгарина читали больше, чем Пушкина; популярности, известности было у него хоть отбавляй, но славы не приобрел он никакой, кроме той, что называется дурною славой. В иных случаях, впрочем, дурная слава уживается с чем-то, весьма похожим на настоящую славу, как это было, в те же времена, с Августом фон Коцебу, тем самым, который упомянут в пушкинской эпиграмме на Аракчеева:

Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу,

и которого убил воспетый Пушкиным немецкий студент:

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век утас на плахе...

Коцебу, наполовину обрусевший немец, прежде чем стать тайным агентом русского правительства (за что его и покарал зандовский кинжал), снискал себе очень широкую известность своими романами и особенно драматическими произведениями (одну из его

пьес сам Гете приспособил для веймарской сцены), как у себя на родине, так и за ее пределами. Убит он был в 1819 году, но из 98 написанных им пьес многие еще довольно долгое время ставились на сцене. В России популярность его была так велика, что через десять лет после его смерти в каталоге книгопродавца Смирдина числилось 130 его переведенных творений. Еще в сороковых годах пьесы его разыгрывались на русских провинциальных сценах. Правда, люди более зрелого вкуса давно уже смеялись над этой «коцебятиной». Потом и словцо это забыли. Но стоило бы его воскресить. Звучит оно выразительно, а случай, к которому оно относится — самый обыкновенный. Сколько раз уж это повторялось: большие тиражи, широкая известность, а потом пробовая тишина. И если страхнуть пыль со старых этих книжечек, глядишь, ничего в них и нет; старомодные моды, непугающие ужасы, несмешной смех, одним словом — сплюсшая коцебятина.

Дело тут не в бренности всего земного и не в легкости забвения. Памяти человеческой свойственно ошибаться. Вовсе не все, что забыто, заслуживает быть забытым. Дело скорей в том, что широкая известность и большие тиражи не только будущего не предreshают, но и прижизненной настоящей славы тоже не определяют: иногда сопутствуют ей, а иногда и не сопутствуют. Настоящая слава может быть и не широка, а широкая бывает дешевой, суетной, мимолетной. Широкая слава без узкой именно и сводится к тиражам, к недолговечному, хоть и шумному успеху, а в конечном счете к той же коцебятине.

Писатель, разумеется, против больших тиражей не возражает. Чем шире его слава, тем лучше; он не будет нарочно ее суживать. Но если ему безразлично качество этой славы, то значит и писательству его не велика цена. Если же писательство это чего-нибудь стоит, то нельзя его приспособлять к уже готовому спросу, и отклик оно найдет у тех, кто способен оценить нечто не предлагавшееся до тех пор: такой товар, на который не было и не могло быть никакого заранее учитываемого спроса. Поначалу, таких ценителей бывает немного, но с них-то и начинается слава — узкая, зато горячая. Разрастаясь, расширяясь, она хоть и остынет слегка, но не перестанет быть подлинной славой, — такой, что способна пережить века. Однако, переживает она их, только если внутри широкой сохранится и узкая слава, если в каждом поколении окажутся люди, у которых писатель найдет каждый раз немного иной, но все такой же живой и горячий отклик.

Более дальновидные издатели знают, что большие тиражи бывают краткосрочны, а малые с течением лет способны возрасти и обеспечить верный доход. Писатель же, если ему есть что терять,

пусть лучше остерегается слишком быстрого, слишком широкого успеха. Читатель ему нужен, — но не любой. Хороший писатель ищет хорошего читателя.

ПОЭТ И ЧЕРНЬ

Хороший читатель предъявляет писателю высокие и строгие требования, и не предъявляет требований вздорных, то есть идущих наперекор ремеслу и призванию писателя. Но хороших читателей не так-то много. Особенно часто вздорные требования предъявляются поэтам, — со стороны людей, невосприимчивых к поэзии и даже просто не понимающих, что такое поэзия. Таких людей отнюдь не меньше, а может быть и больше, чем людей немзыкальных, но немзыкальные люди о музыке судить не берутся, тогда как люди глуховатые по части стихов смело о них судят, на том основании, что стихи состоят из слов, то есть из того же материала, как и газетные статьи или, скажем, руководства по сельскому хозяйству. Вот почему поэту постоянно приходилось и приходится выслушивать требования, которые он принужден с негодованием отвергать. Недаром Пушкин писал, обращаясь к поэту:

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной

и недаром на эту тему написано им знаменитое стихотворение 1828 года «Чернь», печатаемое нынче под измененным (самим Пушкиным) заглавием: «Поэт и толпа».

Стихотворение это доставило много хлопот толкователям и критикам. О нем писал почтительно, но далеко не с полным одобрением Белинский, его с последней резкостью разобрал Писарев, а когда Пушкин был окончательно канонизирован, как величайший поэт, стихотворение это, ради того, чтобы не ставить его Пушкину в вину, стали подвергать весьма произвольному и насильственному толкованию.

Как известно, в этом стихотворении поэту противопоставляются те, кто «холодно», «надменно» и «бессмысленно» ему внимают, — иначе говоря читают его стихи, не вникая в их подлинный, в поэтический их смысл. Люди эти названы тупой чернью, непосвященным народом. Непосвященность и тупость их именно в том и сказываются, что они предъявляют поэту бессмысленные по его мнению требования:

Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.
И толковала чернь тупая:

«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит
Как своенравный чародей?
Как ветер песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Негодующий поэт на это отвечает:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь!
Но мрамор сей есть Бог!.. Так что же?
Печной торшож тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

К кому обращены эти гневные слова? Казалось бы, ясно: ко всем тем, кто требует от поэта, и прежде всего от лирического поэта, поучений, наставлений, полезных истин, «передовых» (или каких-либо других) идей, и вообще пользы, непосредственной практической пользы, которую мы вправе требовать от печного горшка, но не вправе требовать от произведения искусства, например, от знаменитой статуи ватиканского музея, прозванной Бельведерским Аполлоном. Тупой чернью, бессмысленным народом названы здесь все те, кто, прочитав, скажем, «На холмах Грузии» или «Под небом голубым страны своей родной» стали бы спрашивать об авторе этих стихотворений, —

Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? Чему нас учит?

и так далее. Тупая чернь и бессмысленный народ, это для Пушкина, в данном стихотворении, все те, кто неспособен ценить поэзию, как таковую, любить ее за то, что она поэзия, а уж, конечно, не народ в целом и не простонародье («чернь» в буквальном смысле слова), но и не какой-либо другой общественный слой и класс. Пушкин, разумеется, прекрасно знал, что во всех слоях и классах есть люди, восприимчивые к поэзии, и люди, совершенно чуждые всякому поэтическому восприятию.

Казалось бы, все это так ясно, что и говорить об этом совестно. Однако уже Белинский прочел это стихотворение по-другому и счел нужным защищать от Пушкина чернь и народ, или как он выражается «толпу, в смысле массы народной», хотя Пушкин о «массе народной» не говорил (слово «масса» в своих писаниях он применил только раз, порицая «утождение читательской массы»), а Писарев в своей защите «трудящейся массы» зашел так далеко, что назвал поэта, отвечающего «черни», то есть в сущности самого Пушкина, кретином. Современные же комментаторы порицать Пушкина, даже и в более умеренных выражениях, не хотят и поэтому усердно поясняют нам, что в стихотворении «Чернь» он имел в виду исключительно «светскую чернь», то есть окружавшее его аристократическое общество. Пояснение это, однако, крайне не убедительно. Обращаясь к этому обществу, довольно странно было бы говорить:

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!

и довольно странно было бы предполагать, что именно оно так уж заботится о печном горшке и так уж пренебрегает Аполлоном Бельведерским. Кроме того, слова Шуйского в «Борисе Годунове» —

...бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна

никак не могут быть отнесены к светской черни. Нельзя к ней отнести «чернь» и в стихотворении «Мирская власть», или в письме Вяземскому 1831 года: «В Англии, говорят, бунт. Чернь сожгла дом Веллингтона». Ни слова чернь, ни слова народ («народ бессмысленный» в стихотворении «Герой» 1830 года) Пушкин к аристократическому обществу, собиравшемуся в светских гостиных, разумеется, не применял. Выражения «бессмысленный народ», «бессмысленная чернь» применяются Пушкиным — как видно из только что приведенных примеров — по-разному. Но в стихотворении «Чернь» они обозначают людей, не понимающих поэзии, к какому бы слою общества они не принадлежали. Пушкин называет в нем чернью плохих читателей, ту разношерстную, но в литературе одинаково неискушенную «читательскую массу», которой он угодить не может и не хочет. Увы, эта читательская масса, эта читательская чернь отнюдь не состояла из одних его современников. В сороковых годах ее было не мало, в шестидесятых стало еще больше. Наступили уже и новые шестидесятые, а воз и ныне там — по крайней мере в отношении этих (но и не одних этих) стихов Пушкина. Началось это как будто с Белинского.

Белинский называет стихотворение «Чернь» «художническим profession de foi» (исповеданием веры) Пушкина. Исповедание это

он не одобряет; но и понимает он его при этом не совсем правильно. Обратимся сперва к неодобрению, а потом к непониманию.

В пятой из своих статей 1844 года о «Сочинениях Александра Пушкина» Белинский об этих стихах пишет: «Никто, кроме людей ограниченных и духовно-малолетних, не обязывает поэта воспевать непременно гимны добродетели и карать сатирою порок; но каждый умный человек вправе требовать, чтобы поэзия поэта или давала ему ответы на вопросы времени, или, по крайней мере, исполнена была скорбью этих тяжелых неразрешимых вопросов». Если Белинский прав, то из его слов вытекает, что такие, например, стихотворения Пушкина, как «Для берегов отчизны дальней» или «Брожу ли я вдоль улиц шумных» никакого «умного человека» удовлетворить не могут, так как ни на какие «вопросы времени» ответа не дают и их вообще ни в какой мере не касаются. Они исполнены скорби, но отнюдь не гражданской скорби. Одно из них — о любви, другое — о смерти. Люди во все времена любили и умирали. И Пушкин, говоря в своем стихотворении «о звуках сладких и молитвах», и гневно отстраняя «чернь», требовавшую от него нравочений и «пользы», именно того и добивался, чтобы ему позволили писать не о преходящем, а о вечном, и вообще на его темы, а не на заданные ему другими, или хотя бы «временем».

Белинский, таким образом, присоединяется в требованиях, предъявляемых им поэту, к той самой толпе, которую Пушкин — именно за эти самые требования, вытекающие из непонимания поэзии — в гневе обзывает чернью. Но пушкинского замысла он к тому же еще и не понял. Он защищает от Пушкина чернь или толпу, не понимая, кого именно Пушкин этими именами называет. Он пишет: «Толпа, в смысле массы народной, есть прямая хранительница народного духа». Но этого смысла слову «толпа» или «чернь» Пушкин ведь и не придает; не придает он его и слову «народ», когда говорит о «непосвященном» или «бессмысленном» народе. «Народ непосвященный» — это лишь те, кто не понимает поэзии; и если бы Пушкин мог прочесть статью Белинского, он и его бы причислил к «непосвященным».

Через двадцать один год после статьи Белинского была опубликована статья Писарева «Лирика Пушкина», в которой целых двадцать страниц посвящены разбору все того же стихотворения и отзыва Белинского о нем. Белинского Писарев корит за то, что отпор, данный им Пушкину, был слишком мягок, а на самого Пушкина обрушивается с грубейшей бранью. Он пишет, например:

«Услышав рассуждения черни, кретин, произведенный Пушкиным в поэты, начинает ругаться. . . Ну, а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире? . . . Повар твой, о кретин, скажет нам наверное, что твоя пища варится в горшках и кастрюлях, а не в кумирах, и

скажет нам, кроме того, в какую цену обходится тебе твой обед. Тогда мы узнаем, что ты съедаешь в один день такую массу человеческого труда, которая может прокормить «раба нужды» с женою и детьми в течение целого месяца». И так далее в том же роде. Приведу еще одну фразу: «,Червь земли' живет впроголодь, а ,сын неба' приобретает себе надежный слой жира, который дает ему полную возможность создавать себе мраморных богов и беззастенчиво плевать в печные горшки неимущих соотечественников».

Откуда этот гнев? Во-первых, из того же, что у Белинского, непонимания, кого Пушкин называет в этом стихотворении народом или чернью (с той разницей, что Белинский думает о народе в целом, как хранителе «народного духа», а Писарев о народе, как о простом трудовом народе). Во-вторых, из того же, что у Белинского, но более резко выраженного, утилитарного или публицистического, то есть антипушкинского понимания поэзии.

Такое же точно понимание поэзии господствует на родине Пушкина, или навязывается ей вот уже скоро сорок пять лет. Пушкина, однако, бранить у нас не полагается. Поэтому стражи порядка, приставленные к литературе, ученые или неученые комментаторы, как его, так и Белинского и Писарева, хором уверяют нас в том, что стихотворение «Чернь» относится к «светской черни». Редактор трехтомного Белинского Кулешов так и пишет: «Пушкин адресовал свое стихотворение светской черни, и никогда не отгораживал искусства от живых интересов современности». Ему вторит редактор четырехтомного Писарева, Сорокин, пытаясь убедить нас в своей вступительной статье, что противопоставление «поэта» и «черни» «выражало острую враждебность Пушкина к придворной черни, к аристократии, к тем, кто пытался навязать свобододобивому поэту реакционные тенденции». А редакторы десяти томного Пушкина (библиотеки «Огонек») поясняют: «Чернь стихотворения, это отнюдь не простой народ, а журнальная чернь вроде ренегата и тайного агента третьего отделения Булгарина и в особенности 'чернь' светская. Об этом прямо свидетельствует рассказ современника: однажды в светском салоне Пушкина настойчиво просили прочесть что-нибудь из его новых стихов; поэт долго отказывался и, наконец, прочел это стихотворение, с сердцем сказав после этого: ,В другой раз не станут просить'».

Комментарий этот основан, однако, на передержке. Слова Пушкина естественно отнести к тем гостям светского салона, которых он, за их непонимание поэзии, называет в своем стихотворении «тупой чернью» и «бессмысленным народом». Такие люди могут найтись в светском салоне, как и в любом другом сборище людей. Но это еще не значит, что стихотворение «адресовано» к светским людям, как таковым, к аристократии, как таковой. Современник к тому же говорит не о каком-нибудь безымянном салоне, а о салоне

княгини Зинаиды Волконской, той самой, которую в известном стихотворении того времени Пушкин называет «царицей муз и красоты». Комментаторы об этой подробности молчат, — и совершенно ясно, почему. Ведь очень уж трудно предположить, что именно Зинаиде Волконской и ее гостям печной горшок был дорожке Бельведерского Аполлона, и что именно к ним Пушкин обращается со словами: «Поденщик, раб нужды, забот». Что же касается политического давления на Пушкина в те годы, то оно производилось как справа, со стороны придворных кругов, так и слева, со стороны его друзей, близких к сосланным или казненным декабристам. Если в стихотворении «Чернь» вообще есть политический смысл, то он заключается в том, что Пушкин просит избавить его от политических «гражданских», нравоучительных заданий, какого бы толка они ни были.

Конечно, Пушкин «не отгораживал искусства от живых интересов современности», но не отгораживал он его и от других, вне-временных интересов, а главное требовал, чтобы ему была предоставлена свобода интересоваться, чем вздумается, или тем, что ему подсказывал его гений. Вот этого-то и не понял Белинский, а за ним Писарев, как этого теперь, в России, читателям Пушкина и не позволено понимать. Даже такой превосходный и (в меру допускаемого властью) честный ученый, как покойный Б. В. Томашевский в комментарии к изданному под его редакцией десяти томнику, хотя и правильно называет это стихотворение «ответом на требования дидактического морализма» и о «светской черни» воздерживается писать, но все же упоминает об одном только «давлении кругов, близких к правительству». Он не утаивает, что Пушкин в этих стихах требует свободы творчества, но ему хочется внушить нам мысль, что свободу эту стесняли исключительно люди, «близкие к правительству», которые, оказывается, больше всех и беспокоились об успешной варке каши в печном горшке и о сметании сора «с улиц шумных».

На самом деле Пушкин требовал, ради своего творческого дела, свободы вообще, свободы ото всех, и восставал против всякого стеснения ее, откуда бы оно ни исходило. Утождать «читательской массе», все равно какого состава, не входило в его правила. Не для себя он писал; он писал для читателя, но для хорошего читателя, для того читателя, которого ищет, о котором мечтает всякий подлинный писатель.

П. БОБРИНСКИЙ

Мысли о русском символизме

Мысли эти навеяны книгой С. К. Маковского «На парнасе серебряного века». Только навеяны, ибо прямого отношения к интереснейшим воспоминаниям С. К. Маковского они не имеют. Не претендуют они и на критический анализ или оценку поэтического творчества этой эпохи.

Выражение «серебряный век» уже давно вошло в употребление. Впервые о нем стали говорить, в эмиграции, еще в тридцатых годах. Это было, как мне помнится, на чествовании В. Ф. Ходасевича по случаю двадцатипятилетия его литературной деятельности. С. К. Маковский в своей книге выражение это приписывает Бердяеву. Не думаю, однако, что справедливо говорить о «серебряном веке» русской литературы вообще. Эпоха эта не была отмечена ни одним сколько-нибудь действительно значительным произведением в области романа или повести. Но в поэзии, конечно, начало этого столетия было эпохой расцвета, сравнимой только с пушкинским «золотым веком».

Этот расцвет обычно связывается с именами поэтов-символистов, внесших новую струю в русскую поэзию, после долгого поэтического безвременья. Но связан он не с ними одними. Если, например, можно говорить об Иннокентии Анненском, как о символисте, то отнюдь не в смысле принадлежности его к поэтической школе символистов (его первая книга стихов вышла лишь в 1910 году). Символистами во многих своих произведениях были и другие поэты, принадлежавшие к враждебным «символизму» течениям. Спор двух поэтических школ, которым ознаменовался конец первого десятилетия века, был в сущности спором академическим и не касался существа поэзии, как обычно не касались существа художества и другие, нам известные из истории, литературные споры. Разве самые большие высоты художественного творчества не доступны одинаково романтику и классику, реалисту и мистикку?

Сейчас, в почти полувековом отдалении, позволяющем нам обнять все начало века, с его религиозно-философскими и мистическими чаяниями, становится все более ясным основной порок «сим-

волизма», как поэтической школы. Символика была для поэтов этой школы лишь художественным приемом, техникой, и это независимо от того, нуждалось или нет в символическом иносказании то, что они хотели выразить. В этом убеждаешься, перечитывая символистов первого периода, даже такого искушенного всезнанием поэта, как Вячеслав Иванов, не говоря о других представителях поэтического движения, связанного с именами стольких эрудитов. И обратное: их противники, и акмеисты, и поэты возглавлявшегося Гумилевым «Цеха поэтов», впадали в другую крайность, игнорируя значение символа в поэтическом творчестве.

Поэтический образ, метафора — еще не символ, как не символ — аллегория, но они могут стать символом, как может быть им любая вещь, даже абстракция. Но для этого надо, чтобы вложенное в них содержание превосходило содержание слов, надо, чтобы то, что поэт хочет сказать, не могло быть выражено иным путем, как символически. Иначе иносказание, особенно если оно художественно не оправдано, обращается в простой ребус или в загадку.

Поэзия символична, когда стремление передать несказуемое, будь то духовное прозрение поэта или его внутренний опыт, о котором Баратынский сказал, что —

...внутренней своей во веки ты
Не передашь земному звуку, —

не передашь иначе, как в его «Осени», поэтическим нарастанием символических образов — от осеннего пиршества природы до земли «в широких лысынах бессилья», от «блистательных туманов» до рождения новой звезды в мировых просторах.

Символична поэзия и тогда, когда содержание ее выходит за пределы высказанного, даже независимо от намерения поэта. Примером такого символизма может служить лермонтовский «Парус» — зрительный образ белого паруса на фоне туманного моря и, одновременно, знак, символ, за которым раскрываются для нас иные, словами невыразимые горизонты. Но для этого не надо ни заглавных букв, ни нарочито изобретаемых иносказаний.

*

У большинства поэтов символистов на протяжении их творчества можно проследить постепенное преодоление того литературного «символизма», которым оно было окрашено вначале. Можно проследить постепенный отказ от мистической туманности или свойственного многим из них искания часто одной музыкальности или новых метров и форм, в ущерб словесному материалу. Постепенно в их стихах слово начинает обретать ту полновесность, о которой забыли во второй половине прошлого столетия и без кото-

рой нет поэзии, как словесного искусства. Это возвращение к словесной выразительности и экономии, даже часто к «прекрасной ясности» Кузмина, характерно для поэтов символистов как старшего, так и младшего поколения — мы находим его и у Валерия Брюсова, и у Вячеслава Иванова, и у Андрея Белого — и это сближает их с поэтами, принадлежавшими к враждебному им лагерю.

Но означала ли эта эволюция отказ от символизма в его подлинном, настоящем смысле?

В поэзии Александра Блока эта эволюция особенно ясна. Мне отнюдь не хочется умалять несомненную прелесть его ранних стихов с их музыкальной певучестью, туманными образами и мистической символикой. «Стихи о прекрасной даме», как и многие другие его стихотворения, относятся к той же эпохе, как вошедшая во все антологии «Девушка пела в церковном хоре»; они навсегда останутся в истории литературы, как непревзойденные образцы русской лирики. Но мне не думается, что в них можно видеть вершины поэзии Блока, ни в них, ни в стихах последующего периода «Нечаянной радости» и «Незнакомки». Эти вершины мы находим, лишь начиная со «Страшного мира», когда стихи Блока, не теряя своего первоначального звучания (Блок, вероятно, музыкальнейший из русских поэтов, после него мало кого можно читать вслух), обретают наконец ту полновесность, словесную экономию и выразительность, о которой говорилось выше, чтобы в последний творческий период его жизни достигнуть высот подлинного символизма.

Я имею в виду такие его стихотворения, как поразительные по своей напряженности «Шаги командора». Или, в совершенно ином духе, классическое по своей простоте и прозрачности образов:

Ты помнишь, в нашей бухте сонной
Спала зеленая вода...

Мне могут возразить: можно ли эти оба стихотворения, столь непохожие одно на другое и в то же время столь типичные для Блока, считать стихотворениями символическими? Видеть символы в образах Анны и Командора — еще да. Но о какой же символике идет речь в классической простоте описания бухты и ее посещения военными судами? —

И загорелые матросы
Ходили важно среди нас...

Не в последней же только строфе о карманном ноже и пыли дальних стран?

Символизм этого стихотворения заключается, в моем представлении, в том параллелизме почти обыденной действительности, описываемой в нем, и внутреннего сокровенного строя поэта, его

мыслей, чувств и душевного состояния, которые он нам передает. Я нарочно привел в виде примера именно это стихотворение Блока, так как можно провести некоторую параллель между ним и первыми стихами лермонтовского «Паруса». Оно приоткрывает, за границами зрительных образов, те же умозрительные дали, которые иначе, никакой риторикой, не могли бы быть обнажены.

*

Поэзия и риторика несовместимы. Конечно, поэзия может быть не только поэзией представлений и чувств, интуиции или вдохновения. В какой-то степени она может быть и рассудочной, скорее поэзией ума, умного ведения. Такую поэзию мы находим у больших русских поэтов прошлого столетия: Баратынского, Тютчева, также Пушкина, хотя он и считал, что поэзия должна быть глуповатой. Мы находим ее и у поэтов символистов, у того же Блока, несмотря на почти медиумический характер его вдохновения, также у участников «Цеха поэтов», в том числе у Гумилева, создателя и теоретика «цеха». Ученик Валерия Брюсова, Гумилев в сущности прошел через те же этапы поэтической эволюции, как и его учитель или другие поэты символисты. Только «символический» период его творчества был сравнительно краток. Уже в знаменитых «Капитанах» мы находим все элементы его будущей поэтики. Но, конечно, не этому периоду, который он быстро преодолел, принадлежат лучшие его произведения.

И вот, перечитывая его книги, приходишь к заключению, которое может показаться парадоксальным. Гумилев, превозносивший поэзию, как мастерство (вспомним «святое ремесло» Каролины Павловой!), объявивший войну символизму и считавший объектом поэтического творчества предметную реальность окружающего нас мира, был в лучших своих произведениях метафизиком и символистом. Я имею в виду и такое его стихотворение, как «Творчество» («Моим рожденные словом, гиганты пили вино...»), или «Дева-Птица», но главным образом его «Заблудившийся трамвай». Эта скорее поэма, чем стихотворение, — вероятно, одна из значительнейших вещей, написанных в эпоху революционных событий, и по богатству поэтических образов, и по изумительному сочетанию бреда нежнейшей лирики и метафизического видения.

Этот «заблудившийся в бездне времени» гумилевский трамвай невольно напрашивается на сравнение с несущейся вскачь степной кобылицей Блока. Только тематика Гумилева в этой поэме не ограничивается темой России и революции. Она переплетается с метафизической темой «Индии духа», темой свободы:

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет...

И рядом — жуткая символика зеленой лавки, где «вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают»:

В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне.
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком на самом дне.
А за окошком забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон, —

где «жила и пела» та, к которой обращается поэт. И снова, в заключительных стихах, патетическое к ней обращение:

Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

*

Думается мне, что трудно отрицать символический характер поэмы Гумилева. Содержание ее как бы переливается за края adequately выразимого. Иначе, как в символических образах, не могли бы найти выражение то душевное состояние, те мысли и переживания, которыми оно навеяно. Так же, как и «Шаги командора» или заключительные стихи «Двенадцати», «Заблудившийся трамвай» принадлежит к лучшим образцам русской символической поэзии.

Все это, конечно, только отдельные примеры, которые мне казались наиболее характерными. Можно было бы найти много других в творчестве поэтов-символистов или у их противников. Но это увлекло бы нас слишком далеко. Мне все же хочется, для пояснения своих мыслей, привести еще один типичный пример поэтической поэзии той же эпохи, а именно стихотворение Вл. Ходасевича из его сборника «Тяжелая лира».

Холодный и строгий мастер, внушавший по его собственному выражению «отвращение и страх желторотым поэтам», Вл. Ходасевич, в отличие от Гумилева, с «символизмом» никогда не порывал. Он до конца своих дней продолжал считать себя поэтом символизмом, хотя и искал в своих зрелых вещах того словесного совершенства, той классической ясности и простоты, которыми отличаются его последние книги. И именно в этих его книгах мы находим образцы подлинно символической поэзии. Вспомним хотя бы его «Балладу»:

Сижу освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей. —

круглой, как земля или круг горизонта, под небом потолка и электрическим солнцем:

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытии...

И вижу большими глазами —
Глазами быть может змеи —
Как пеню дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей.
На гладкие черные скалы
Стопы упирает Орфей.

Разве «прекрасная ясность» этой баллады не может служить примером символической поэзии, не нуждающейся для выражения ни в дионисийском мраке, ни в туманной романтике раннего русского «символизма»?

ЮРИЙ ИВАСК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЯЗЫКОВЫЕ СМЕСИ

В каждом литературно развитом языке можно найти несколько слоев разного возраста, разного стиля. У нас — это просторечие, крестьянское или мещанское; средний литературный стиль, включающий выражения разговорные, книжные и другие; архаизмы преимущественно церковно-славянского происхождения; иностранные слова, неологизмы и т. д. Стилистическая принадлежность того или другого слова постоянно меняется. Так, по наблюдениям князя Н. С. Трубецкого, выражение *жулик* считалось вульгарным, но оно уже давно «повысилось в чине» и стало вполне литературным. Наоборот, многие «высокие» выражения, например, поэтические архаизмы *чело* или *ланины* исчезают, но *уста* или *очи* еще встречаются. Совсем недавно даровитый Леонид Мартынов одно из лучших своих стихотворений «построил» на противопоставлении синонимов *уста-губы, очи-глаза*:

Жизнь моя все короче, короче,
Смерть моя все ближе и ближе.
Или стал я поэтому зорче,
Или свет нынче солнечный ярче,
Но теперь я отчетливо вижу,
Различаю все четче и четче,
Как глаза превращаются в очи,
Как уста превращаются в губы,
Как в дела превращаются речи...

(Стихи, 1957 г.)

Ломоносов строго разграничивал функции так называемых трех стилей. В высоком стиле (оды) он не допускал просторечия. Но уже его младшие современники, Петров и Державин, вводят «низкие выражения» в свои оды. Смешение разных стилей, языковые

коктейли изготавливались и по классическим рецептам, например, в бурлеске Василия Майкова. В его «Елисея» Зевес —

... дабы дела вершить не волоча,
Корону на лоб бух, порфиру на плеча...

«Низкое выражение» б у х, конечно, снижает величие олимпийского бога. И функция этого снижения — грубо-комическая.

В «Евгении Онегине» тоже появляется Зевес:

Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных.

И здесь есть комизм, но более тонкий, чем в майковской поэме, которой Пушкин зачитывался в лице: «Читал охотно Елисея...» признается он в «Онегине» (но позднее заменяет Елисея Апулеем). Повеса, почтовые — это т. н. «реализм», это — «проза жизни». Мифология же вкраплена не без легкой иронии, но в очень звучном стихе:

Всевышней волею Зевеса... (всивы-вóли-ивéса).

Читая эту строфу можно улыбнуться, но стих о Зевесе не только комический. Стих этот ласкает слух, пленяет, а не только тешит, смешит. Слова в окружении Олимпийца — снижающие, но звфония как-то Зевеса возвышает, хотя и не возвеличивает.

Снижение-возвышение находим и в «Горе от ума», например, в этих двух стихах:

А тетушка? все девушкой, Минервой?
Все фрейлиной Екатерины Первой?

Чацкий над своей бытовой московской тетушкой-девушкой, конечно, издевается. Но одический рокот четырех Р, в особенности же эти звучные грозди согласных рв, фр, рв воздают должное бедной, осмеянной тетушке: она вдруг переносится, возносится в эпоху своей юности, на олимп Орловых, Румянцевых, Суворовых и Екатерины Первой, прославленных в рокочущих одах Петрова и Державина. (Кстати заметим: Екатерина Первая у Грибоедова заменила Вторую — по соображениям цензурным или же рифмы ради).

В этом грибоедовском языковом коктейле есть ирония (сатиры) и пафос (оды). И на слух — одическое звучание ослабляет, «обезвреживает» сатирическое содержание. Так что осмеянная тетушка на Страшном суде поэтов, стилистов — оправдывается, спасается...

Еще один коктейль, более современный, изготовленный Осипом Мандельштамом:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных...

Как это книжно, как это по-интеллигентски бездарно: я изучил науку! Однако, после этих трех слов, от которых «мухи мрут» — внезапный удар, шок: мы узнаем, что есть такая наука — расставанья! Здесь, конечно, намек на Овидиеву «Науку любви» (*Ars amatoria*), и на печальную судьбу поэта-изгнанника. Ведь стихотворение Мандельштама называется „*Tristia*“ — тоже по книге Овидия. Август, пытавшийся реставрировать добрые нравы древнего Рима, изгнал автора «неприличной» «Науки о любви» на далекий север, в нынешнюю Румынию. И вспомним, что у Пушкина Старый цыган оплакивает бедного изгоя. Но римский север для русского поэта был югом, «Цыганы» — южная поэма Пушкина. . . Наконец, еще одно отступление: если бы Овидия не сослали, он не написал бы такую необычную для того времени поэму, как „*Tristia*“ — эту песню изгнанников любой эпохи. Такой лирической поэмы вздохов более удачливые современники Овидия написать не могли бы. Личное несчастье в жизни Назона оказалось для него великой удачей в поэзии. Сколько прелести, например, в этих его вздыхающих стихах:

Exul eram, requiesque mihi, non fama petita est. . . (IV, 1,5).

Так, почти две тысячи лет тому назад, «обнимая в душе» всех прошлых и будущих изгнанников, вздыхал несчастный Овидий Назон. Перевожу эти его стихи:

Я утешения ищу, изгнанник, а не славы. . .

Но утешения не было, а славы все еще очень хотелось — и до самой смерти! Никакого внутреннего «просветления» Овидий на берегах Дуная не пережил. . . Но полной грудью вздыхал — в поэзии.

Вернемся к стихам Мандельштама. Значит, есть такая неизвестная еще наука — расставанье. Наука — неточная, свободная, поэтическая. А дальше начинается бормотание:

В простоволосых жалобах ночных. . .

Это метафора: поэт слышит ночные жалобы простоволосых женщин или же — какие-нибудь ночные шорохи, которые ему напоминают, допустим, простоволосых плакальщиц.

Простоволосая — выражение скорее «низкое». Пример: из избы выбежала простоволосая баба, за нею гонится пьяный мужик с кочергой или оглоблей. Простоволоска (по Далю) — девка вольного поведения. Но в этом стихе мы прежде всего слышим волшебные звуки — в простоволосых жалобах — а в а л о — а л о б а. Слышим томяще-печальную музыку речи. И только позднее, «очухавшись», вникаем в смысл этого стиха, обращенного к сердцу, а не к уму. Это — коктейль Мандельштама, смесь языковых слоев интеллигентского, простонародного, отборно-поэтического и, наконец, с добавкой эвфонии.

Разнотильные и разноцветные слова смешиваются и в про-

зе. Вот замечательный образец того дворянского языка средне-высшего круга, на котором говорили герои «Детства и отрочества» и «Войны и мира». Но пример я привожу не из Толстого, а из Константина Леонтьева, из его романа «Подлипки» (написанного в 50-х годах). Двоюродному брату главного героя, Володи Ладнева — Модесту Ладневу, очень нравится их тетушка-девушка, которая с прибоевской мало что имеет общего. Она матриархальная владычица дворянского гнезда — Подлипок. Модест ею искренне восхищается, но, вместе с тем, слегка иронизирует:

— Тетушка, однако, важный малый, патриарх такой милый, bon enfant в высшей степени... (Часть вторая, глава VII).

Чего только нет в этом коктейле!

Опять — бытовая т е т у ш к а, затем — простонародный родной малый, книжный п а т р и а р х с определениями разговорной речи — такой милый, наконец, дворянский французский «анклав» в русской речи, с примыкающим к нему книжным выражением в высшей степени. Вся фраза эта — тонко-комическая. И комизм ее заключается не только в том, что старая барыня сравнивается здесь с юношей, старцем, младенцем! Этот комизм усиливается стилистической игрой: малый (парень) — тетушку снижает, п а т р и а р х — ее «повышает в чине», и только французский bon enfant, в плане стилистическом, вполне соответствует ее положению в обществе.

Звуковые повторы не играют значительной роли в прозе, но все же иногда они встречаются, — и там, где их меньше всего можно было бы ожидать, например, у Достоевского, который подлил несколько «капель» эвфонии в один из своих звуковых к о к т е й л е й. Привожу ниже пример из «Села Степанчикова». Фома Фомич Опискин патетически восклицает:

— Я кричу: дайте мне человека, чтоб я мог любить его, а мне суют Фалалея! Фалалея ли я полюблю? Захочу ли я полюбить Фалалея? Могу ли я, наконец, любить Фалалея, если бы даже хотел? Нет; почему нет? Почему я не люблю человечества? Потому что все, что ни есть на свете, — Фалалей или похоже на Фалалея! Я не хочу Фалалея, я ненавижу Фалалея, я плюю на Фалалея, я раздавлю Фалалея, и, если б надо было выбирать, то я полюблю скорее Асмодея, а не Фалалея!

Лицемерный самодур Опискин — лицо хорошо всем знакомое. А Фалалей — это глуповатый безобидный подросток-красавчик, любимец выжившей из ума генеральши, главной покровительницы Фомы Фомича. Опискин постоянно изводил несчастного Фалалея за то, что он лихо отплясывал камаринского или же видел все тот же сон про белого быка.

Между прочим, отметим, что вышеприведенный отрывок, как и многие другие монологи Опискина, едва ли можно считать пародиями на тоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями» (гипотеза Ю. Тынянова). Совпадения Опискина с Гоголем — минимальны. Данный монолог — скорее пародия на одного из идолов молодого Достоевского, Шиллера, вернее — на шиллеровскую *Schoene Seele*, объясняющуюся в любви ко всему человечеству... Позднее, на каторге, Достоевский пересмотрел свой «германский идеализм». Он понял, что в сибирском Мертвом доме труднее любить человечество, чем в подвалах и на чердаках Петербурга. И тогда он решил полностью не человечество, а человека, хотя бы и каторжанина...

Но вернемся к стилю этого отрывка. Фома Фомич философствует, как ему самому кажется, на самом изысканном языке, но живущий в нем старый приказный постоянно проговаривается: он пользуется такими «низкими» глаголами, как *совать*, *плевать*... В результате этого смешения получается комический коктейль. Замечательно также, что в его высоко-низкой речи немало благозвучия, он явно упивается всеми этими звуковыми повторами *ла-ла-ле* в имени Фалалей, *лю-лю* в глагольных формах — *люблю*, *раздавлю*, *плюю*. Конечно, эвфония здесь усиливает комизм. И все-таки эта пародия-сатира, звучащая, как «сладчайшая элегия», имеет в себе что-то двусмысленное: все смешно, очень смешно, но и приятно для слуха... Опискин — дрянь-человек, но, сам того не ведая, он великий мастер тончайшего комического стиля, как и многие другие добровольные шуты Достоевского — Лебедев в «Идиоте», Лебядкин в «Бесах», Федор Павлович Карамазов. Язык этих шутов не выразительнее ли многих положительных героев Достоевского — князя Мышкина или старца Зосимы? Мышкин — будто переводит с какого-то общего европейского языка, сразу же и немецкого, и французского... С языка Шиллера и Жорж Занд! Зосима — вещает на языке грошевых душеспасительных брошпорок... Все на том же Страшном суде языка (о котором любила говорить Марина Цветаева), не будут ли оправданы многие великие и малые грешники — гротескные гиганты Рабле, английский Сатана Мильтона или профессор Антихриста — Лебедев? За дела свои они достойны осуждения, а за слова?.. Так или иначе, эвфонические высоко-низкие *коктейли* Опискина — это стилистические удаchi Достоевского.

Звуковые смеси могут быть квалифицированы в качестве подвида паронимасии, игры слов. В эту игру обычно включаются слова того же самого стилистического слоя, например, в «Слове о полку Игореве» — «Уже снесся хула на хвалу...» (106, реконструкция Р. Якобсона). Между тем, в языковые *коктейли* «вливаются» разностильные слова.

Во всех современных литературных языках постепенно стира-

ются различия между разными стилями: архаизмы отмирают, просторечия чаще всего «повышаются в чине». Но огромное свое богатство и стилистическое разнообразие русский язык сохраняет. И языковые коктейли все еще в русской литературе изготавливаются.

ШАХМАТЫ И ЦИРК

«Зависть» Юрия Олеши вышла в 1927 году. Эту книгу читали, обсуждали и в России, и в эмиграции. Потом появились его рассказы в сборнике «Вишневая косточка». Позднее, уже в тридцатых годах, имя его все реже встречается на страницах советских журналов и, наконец, совершенно исчезает.

Его начали забывать. В эпоху «оттепели» были изданы его «Избранные сочинения», которые я сейчас читаю. Появился также английский перевод «Зависти» и некоторых рассказов — это «массовое издание» в бумажном переплете, книжка продается за 35 центов. Средний гонорар за эти трошковые выпуски — 30-40 тысяч долларов, но Олеша его не получил.

Очень мало мы о Юрии Карловиче Олеше знаем. Он родился в 1899 году, в Елизаветграде. Его отец служил акцизным на водочном заводе. У них был «собственный выезд, имелся вороной рысак с белым пятном на лбу», вспоминает Олеша в рассказе «В мире» (1937). Когда ему было три года, семья переехала в Одессу.

О его одесской жизни рассказывает П. Е. Ершов («Опыты», VIII): «Олеша низенький, плотный, коренастый, широколицый, с тяжелой челюстью, некрасивый. . .» В юности он писал стихи на «пушкинские темы» — Дон Жуан, Пиковая дама, Моцарт и Сальери. Стихи эти, пожалуй, «акмеистические», напоминающие раннего Гумилева и не очень удачные. Время было голодное, жуткое и, вместе с тем, какое-то беззаботное, — по крайней мере, для молодых участников одесской Зеленой лампы: они жили стихами, дурили, дурачили.

Олеша вспоминает о своих одесских приятелях — это Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев и Илья Ильф, который еще не успел сочетаться литературным браком с Петровым (другим Катаевым).

Теперь иногда говорят об одесской школе литераторов. Их старший современник — Исаак Бабель: и он исчез с советского горизонта, и его недавно переиздали.

Покойный Довид Кнут писал о Кишиневе:

Особенный еврейско-русский воздух,
Блажен, кто им когда-либо дышал...

Эти его стихи сразу все запомнили. Пусть у Кнута воздух — ки-

плиневский, но это тоже и одесский воздух! Атмосфера, в которой жили, подрастали Бабель, Багрицкий, Ильф, Катаев, Петров.

Если бы кнутовские «Кишиневские похороны» дошли до Олеси, то он почувствовал бы в этих стихах свое, родное.

Перечитываю «Зависть». Поражает графичность этой повести. Плоскость, по которой передвигаются герои, напоминает шахматную доску. Олеша играет за двоих. Одна партия — это «новые люди». Король — советский хозяйственник Андрей Бабичев, здоровенный дядя, холерический оптимист. «Он поет по утрам в клозете. Можете представить себе, какой это жизнерадостный здоровый человек». Так начинается «Зависть». Это веселое эпатирование, это безобидное хулиганство кое-кого возмутило, а кое-кого просто развеселило. Такой страницей можно в литературе *н а ч и н а т ь*, но нельзя *к о н ч а т ь*. Всякая новизна в искусстве должна быть в конце концов оправдана чем-то находящимся по ту сторону всего того, что называется «старым» или «новым».

Духовный сын Андрея Бабичева — Володя Макаров, нэповская, американизированная версия комсомольца. Чего хочет этот восемнадцатилетний Володя? Он хочет стать советским Эдиссоном, он хочет жениться на Вале, но не сейчас, а через четыре года. Володя также спортсмен, «звезда» футбольной команды.

Лица этих «новых людей» — идеально-здоровые румяные лица, которые мы видим каждый день и, при этом, в любой стране. Это они намыливаются белопенным мылом, это они с аппетитом жуют резину, это они улыбаются с автомобильной модели: от их завидного счастья нет спасения в двадцатом веке! Это все герои рекламных плакатов.

«Старый мир» тоже имеет своего короля — это Андреев беспутный брат, Иван Бабичев. И у него тоже есть духовный сын — Николай Кавалеров. Они не «сходят» с рекламных плакатов. Они явно заимствованы у Достоевского. Это добровольные шуты, заявляющие своеволие. Помесь Подпольного человека, Лебедева, Лебяпкина, старого Карамазова. У Кавалерова находим даже смердяковскую черточку: ему хотелось бы родиться во Франции, там его лучше поймут, чем в отсталой России!

Не хочу быть голословным и привожу примеры. Пьяненький Мармеладов пророчествует:

«Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники! И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: Свины вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы! И скажет: Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что не единый из сих сам не считал себя достойным сего...»

Это говорилось в 1866 году, в петербургской распивочной. А вот в 1927 году пьяненький Иван Бабичев разглагольствует в московском трактире:

«Ко мне! Ко мне! Великое мое воинство! Актерики, мечтающие о славе. Несчастные любовники! Старые девы! Счетоводы! Честолюбцы! Дураки! Рыцари! Труссы! Ко мне! Пришел король ваш, Иван Бабичев!»

Смысл — прямо противоположный: Бог устами Мармеладова призывает грешников смиренных, а Бабичев, нечто вроде «зверя из бездны», обращается к грешникам не смирившимся! Но тон этих призывов — тот же самый. Оба они, Мармеладов и Бабичев — п ь я н ы е п р о р о к и.

Партия «старых» атакует «новых». Эта атака ведется по линии «заговора чувств»... Чувства эти — любовь и влюбленность, честолюбие и воображение, ревность и зависть. Хорошие ли это чувства, или плохие — несущественно. Важно, что это чувства, которые у «новых» будто бы отсутствуют. «Новые» — не настоящие люди, а машины, машинки — административные, бюрократические, технические, спортивные. Их всех должна уничтожить О ф е л и я: это тоже машина, но вымышленная, несуществующая — изобретение Ивана Бабичева.

«Новые», теснимые «старыми», отступают. Андрей Бабичев призадумывается: а прав ли я? Не бесчувственный ли я человек?.. Но у его духовного сына Володи Макарова никаких сомнений нет.

В конце концов «старые» проигрывают партию. У «старых» остается только одно чувство: зависть к «новым». Но и оно ослабевает. Иван Бабичев и Николай Кавалеров, по очереди, делают ложе с пятидесятилетней вдовой Анечкой — и обретают покой. Они уже ко всему постыдно равнодушны. Между тем, у «новых» обнаруживаются чувства — и самые благородные. Андрей Бабичев жалеет бездомного Кавалерова, а Валя жалеет беспутного отца — Ивана Бабичева. Володя влюблен в Валю, в науку и т. д.

Советские критики сперва «Зависть» расхвалили. Ведь в этом романе «новые люди» положили на лопатки оживших было героев Достоевского! К тому же еще — есть новизна, та литературная новизна, которую в двадцатых годах очень ценили. Но вскоре советские критики «расчихали»: пусть разложившиеся шуты и повержены, даже смешаны с грязью, а все же з а г о в о р ч у в с т в в тоталитарном государстве «представляет огромную опасность»... Пусть Иван Бабичев опускается куда-то на самое дно, но его пьяные филиппики очень уж врезаются в память.

Иван Бабичев говорит:

«Это я сижу на жердочке, Андрюша, я, старый мир. Век мой сидит там, мозг моего века, Андрюша, умевший сочинять и песни, и формулы. Мозг, полный снами, которые ты хочешь уничтожить».

Новые выиграла. Но кто они? Румяные здоровяки, изображаемые на объявлениях. Может быть первая страница «Зависти» — всего только реклама патентованного слабительного? По сравнению с ними побитые герои «старого мира» — как-то убедительнее, или, по крайней мере, забавнее. Пусть они — из Достоевского, но ведь Достоевский художественнее рекламной «живописи».

Вот та шахматная партия, которую молодой Олеша разыграл ловко, легко, весело и, вместе с тем, с советской точки зрения — весьма двусмысленно, ибо остается неясным, кто же в конце концов выиграл. Но есть еще совершенно другой план в «Зависти». Не шахматный, не аллегорический, как в притче. Есть в этой повести — волшебная игра воображения, есть в нем и какая-то цирковая атмосфера. И цирковые прыжки увлекательнее, упоительнее шахматных ходов.

Тогда еще раздавался колокольный звон в Москве. Большой колокол отбивал басовые — том-том-том, а малые колокола заливают — вир-лир-ли, вир-лир-ли.

Перезвоны слагаются в членораздельные звуки песни:

Том Вирлирли,
Том с котомкой,
Том Вирлирли молодой.

Это юноша, озирающий город, это странник-мечтатель с котомкой. И этот образ немедленно воплощается. «В дверь постучали. Он?» — записывает Кавалеров.

«Я открыл. В дверях, держа котомку в руке, весело улыбающийся (японской улыбкой), точно увидевший сквозь дверь дорогого, взлелеянного в мечтах друга, застенчивый, чем-то похожий на Валу, стоял Том Вирлирли. Это был чернявый юноша, Володя Макаров».

Другое, не менее сказочное, видение летящей девицы:

«По асфальтовой дороге, ведущей к ступеням лестницы, шел оркестр, и над оркестром парила Валя. Звучание инструментов держало ее в воздухе. Ее нес звук. Она то поднималась, то опускалась над трубами, в зависимости от высоты и силы звука».

Это все видения побитого «новыми» людьми Николая Кавалерова. Он шут из Достоевского и он поэт — создание Олеша. Сюрреалист, если хотите, но не французского изготовления. Эти видения — чистые, как «улыбка ребенка»! Наивно-сентиментальные. Впрочем, не всегда наивные и не всегда сентиментальные.

Олеша никогда не устает наблюдать и выдумывать. Выдумка — это «возлюбленная разума», определяет он.

Всюду он «видит чудеса в решетке»: странные подобию, материализованные мысли. В рассказе «Любовь» герой думает о тигре и ви-

дит влетающую осу. Первый воплотился во вторую! Не то же ли это самое? Ведь оба «зверя» полосатые и кровожадные...

Все вообще чудесно уже и в «Зависти»: облако, похожее на Южную Америку; соль, спадающая с ножа и не оставляющая следа на лезвии; аспидный черный фон доски, на котором чудятся меловые линии. Слово постель для бродяги — нечто столь же поэтически отдаленное, как слово серсо. После пощечины — щека анестезирована и боли нет... Веет легкий ветерок — точно листают книгу...

Есть что-то веселое, праздничное почти во всех этих подобиюх, сближениях Олеша. Пусть эти грязные гротескные бродяги похожи на связанных обезглавленных китайцев. Но: «Аврора касается их прохладными перстами». Знакомая розовоперстая заря — из Гомера, Ломоносова...

Олеше иногда хочется читателя развеселить, чем-то увлечь. Он выдумщик-клоун.

Читателю же хочется сказать — Бог с ними, со всеми этими умело передвигаемыми шахматными фигурами. Не все ли равно, какие именно функции они выполняют, неважно, кто они — красные или белые, «новые» или «старые». Есть вещи поважнее, посущественнее:

И дорог нам лишь узнаванья миг... —

писал Мандельштам. И Олеша в этом печальном советском мире все видит по-своему — узнает вечно-новое в привычном, надоевшем существовании.

Олеша иногда напоминает Набокова. В набоковском мире тоже два плана: фабульный, плоский, шахматный и другой — фантастический, объемный, цирковой... Здесь — все чудесно, любая мелочь.

В «Зависти» Валя моется над тазом, «сверкая как сазан» и перебирая «клавиатуру воды». Это напоминает Набокова.

Но набоковский «эмигрантский» язык куда крепче олешиного, одесского. Набоков наблюдательнее, точнее в своих сравнениях, сближениях, у него неизмеримо больше вкуса. Он не влюбился бы в эту дешевку — в имя Фламарион! Между тем Олеше хочется назвать Фламарионом не то звезду, не то планету...

Но зато Олеша — веселее, беззаботнее Набокова. От него ждешь сказки. И он написал сказку: «Три толстяка». Эти толстяки какие-то феодальные тираны, которых низвергает простой народ, возглавляемый цирковым акробатом; цирк в этой сказочной истории одерживает победу над деспотизмом... Здесь есть некоторая тенденция, но есть и другое: свободная фантазия.

Читал ли Олеша Льюиса Карроля, автора «Алисы в стране чудес»? Набоков Карроля читал и переводил. Я думаю — оба они ведут свою литературную генеалогию от этого волшебного выдумщика.

В новом советском издании избранных сочинений Олеша помещены его заметки из записных книжек (1954-1956). Он узнает о смерти Томаса Манна и пишет: «Их была мощная поросль, роща с десяток дубов, один в один: Уэллс, Киплинг, Анатолий Франс, Бернард Шоу, Горький, Гамсун, Манн». О вкусах не спорят. Но вкусы бывают разные! Кто же у нас теперь этим дубам поклоняется? Да и были ли эти писатели дубами? Может быть, Франс, Гамсун, Манн, но едва ли другие. По эту сторону были бы скорее названы Пруст, Джойс, Кафка, Буинг...

В этот же цикл включена запись, которую привожу полностью:

«Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле, было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от кровавого пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь... Разве это не было страшно?»

Мысль замечательная. Мысль — просто и точно выраженная. О том же пишет и Набоков на первой странице «Других берегов»:

«Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час».

В своих заметках Олеша любит вспоминать; он вспоминает о том, как ему делали исследование крови в госпитале. Пришли две девицы. Ему хочется пошутить и он говорит им: — Служба крови! Но они не смеются:

«Они видят ужасное существо с гноящимися глазами, с руками в шелушащейся коже; вы были смертник — они это знают. Упруго встав, они идут к другой кровати, а вы вздыхаете и вот-вот заплачете».

«Вы были смертник», Олеша! Но где, когда, почему? Мы не знаем. Мы также не знаем, почему именно лет пятнадцать Олеша был в сетях, жил неизвестно где и ничего не писал.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Ходасевич — большой поэт, а стихи его недоступны читателям... «Собрание стихов» 1927 года уже давно распродано, и его нет во мно-

Владислав Ходасевич. «Собрание стихов» (1913-1939). Редакция и примечания Н. Берберовой, Мюнхен, 1961 г., стр. 233.

гих библиотеках. Например, американские университетские книгохранилища готовы покупать «все» русские книги, но лишь в немногих из них есть сборники Ходасевича; это происходит иногда по недосмотру, а чаще потому, что зарубежные издания 20-х и 30-х годов чрезвычайно трудно получить, с книжного рынка они исчезли.

Поэтому особенно надо отметить выпущенное Н. Н. Берберовой «Собрание стихов» Ходасевича. Это издание во всех отношениях образцовое; оно — ценный подарок, а для любителей поэзии за железным занавесом эта книга была бы подарком, которому цены нет!

Можно только посетовать, что из-за недостатка места составитель ограничился очень короткой (в одну страницу) биографической справкой о жизни Владислава Фелициановича. Но зато в сборник включены замечательные комментарии Ходасевича, сделанные им собственноручно на экземпляре «Собрания стихов» в 1927 году. Помещены в книге и стихотворения, не вошедшие в это «Собрание», а также примечания Н. Берберовой к ним...

В этом коротком отзыве хочется не критиковать, а прежде всего благодарить поэта за все то, что он для русской поэзии сделал, за его стихи, которые мое «незамеченное поколение» учило наизусть. А когда-нибудь их будут твердить и в России...

У Ходасевича была какая-то действительно беззаветная, аскетически-суровая преданность русской литературе. В зарубежье он был чем-то вроде верховного жреца: и очень многие (не без оснований) боялись этого литературного первосвященника или игумена (с которым он однажды себя в стихах сравнивал). Запомнилась одна его рецензия в «Возрождении», в тридцатых годах: «Двадцать два». Это был отзыв о 22-х сборниках (или — 22 несчастьях) молодых поэтов! Лучшая метафора для этой зловещей статьи: избиение младенцев или же коршун в курятнике! Но и к себе он был очень строг и сил своих не щадил: еженедельные статьи в газете он отделял с той же тщательностью, как и свои работы о Пушкине или книгу о Державине (это, несомненно, лучшая русская биография Державина).

Но, конечно, как ни велики заслуги Ходасевича-пушкиниста или знатока нашего «Осмынадесятого века», он прежде всего не литературовед, а поэт.

«Жив Бог! Умен, а не заумен...» — писал Ходасевич в своем полемически заостренном стихотворении 1923 года:

Заумно, может быть, поет
Лишь ангел Богу предстоящий, —
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я не ангел осиянный,
Не лютый змий, не глупый бык.

Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык:
Его суровую свободу,
Его извилистый закон.

Едва ли он имеет здесь в виду поэтов, которые имели репутацию заумных, например, Хлебникова. Я думаю, в этом стихотворении он разоблачает и бичует почти всех писателей «серебряного века»; он осуждает ту модную двусмысленность, которой грешили и большие, и малые двадцатого столетия. И, конечно, здесь нет никакого педантизма, хотя Ходасевич и был пуристом. Заумь для него — разновидность человеческой глупости, претенциозность, безвкусица, дешёвка.

Замечательно, что сам он всегда писал внятно, экспериментировать не любил и следовал традиции (больше в метрике, но и в стилистике). Однако, в лучших своих стихах он часто понятно говорит о непонятном (выражение это заимствую у Зинаиды Гиппиус) Непонятное, о котором он говорил понятно — это поэзия-музыка, это бессмертная любовь, это тайны «вечности и гроба».

Вот строки — такие понятные, такие простые, что иногда наивно говоришь: эти стихи каждый мог бы написать!

Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре, —
Мне непременно припомнишься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море,
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

Это стихи о любви, которая столь же очевидна, сколь и непонятна, как вероятно каждая настоящая любовь!

Непонятна и музыка, которая «вырывается в пенье мое», непонятно и желание вырваться —

... камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...

Может быть, только непонятное и реально для Ходасевича-лирика — самого понятного русского поэта двадцатого века. Пишет он просто, но понять его так же трудно, как те простые «последние вещи человека», о которых он постоянно думал.

В описательных стихах Ходасевич часто изображает пошлость — ту загадочную для иностранцев пошлость, которая со времен Гоголя приобрела в русской литературе все свойства непрощаемого смертного греха:

Вверху — грошевый дом свиданий.

Внизу — в грошевом «казино»

Расселись зрители. Темно.

Пора щипков и ожиданий.

Тот захихикал, тот зевнул...

Ходасевич зло издевается над пошляками и пошлячками. Но пошлость, осужденная в поэзии, — это уже другая пошлость; пошлость — преображенная ямбами в поэзии Ходасевича или ритмической прозой у Гоголя. Эта пошлость обезвреженная: и совсем не потому, что она осуждается и высмеивается автором. Она обезврежена искусством: для художника она тот контраст, та черная тень, без которой светлая красота или светлая правда была бы менее светла... Именно поэтому искусство по ту сторону нашего добра и зла. Если есть добро и зло в искусстве — то они уже другие: это добро, которое не улучшает, и это зло, которое не приносит вреда! Оправдание же поэта — в его художнической честности, — например, в отказе от красного словца и даже от волшебных звуков, от красивой невнятицы, которые никакого отношения к выбранной теме не имеют и все-таки соблазняют художников, иногда и очень одаренных, но нечестных... Ходасевич более, чем кто-либо другой, такие соблазны всегда преодолевал: его стихи — чистые, без сомнительных экивоков. Его Муза не приманивает «изысканным убором», как и муза Баратынского.

Стихи Ходасевича — умные, но и живые; рассудком они не подсушены. Следовательно, в пушкинском смысле этого слова, его поэзия — г л у п о в а т а. Он сам все это отлично разъяснил в статье о глуповатости поэзии: не глуповат поэт рассудочный, а поэт разумный может быть иногда глуповатым, может быть и безумцем! Сколько Ходасевич ни утаивал своего священного безумия, оно, несомненно, постоянно им владело. Пусть поэзия его аполлинистическая, но корни ее темные, глубоко уходящие в мистику, в стихию Диониса. Но едва бы Ходасевич одобрил эту модную в свое время ницшевскую терминологию, которую в России насаждал Вячеслав Иванов. Он любил проще и точнее выражаться:

Так и душа моя идет путем зерна:

Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путем зерна.

(«Путем зерна», 1917 г.)

Это великая мудрость, но темная — укорененная в древних мистериях, греческих и египетских; а излагает он эту мудрость внятно и четко.

Здесь, совершенно неожиданно, Ходасевич совпадает с Розановым, который в своем последнем (сумасшедшем) письме Эриху Голлербаху писал о том же, но иначе, невнятно:

«Проклятая Россия, благословенная Россия. Но благословенна именно на конце... Нет зерна — пусто, вонь; нет Родины, пуста она. Зачеркнуто небытие. Не верь, о не верь небытию, и — никогда не верь. Верь именно в бытие, только в бытие, в одно бытие. И когда на месте умершего вонючее пустое место с горошинку, вот тут-то и зародыш, воскресение... Ах, вот где суть... Когда зерно сгнило, уже сгнило: тогда на этом ужасающем «уже», слезном «уже», что оплакано и представляет один уже небытия и пустоты, полного nihil-я — становится безматериальная молитва...» 26 октября 1918 г.).

Замечательно, что и внятный Ходасевич, и невнятный Розанов восходят не только к древним восточным мистериям, но и к притче в евангелии от Иоанна: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (XII, 24). Этот же стих — эпиграф к «Братьям Карамазовым».

Это — путь зерна, путь смерти и воскресения: и для многих есть в этой мудрости великое утешение.

АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК

ИВО АНДРИЧ

ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА 1961 ГОД

Иво Андрич родился в 1892 году в маленьком боснийском городке Травнике, а детство провел в Боснии же, в городах Выпшеграде и Сараеве. (В Сараеве он окончил гимназию).

Это не просто биографическая справка. Это данные, которые помогут нам лучше понять облик писателя. Не потому только, что из трех крупных вещей Андрича одна — «Травникская хроника» — описывает Травник эпохи наполеоновских войн, а другая — «Мост на Дрине» *) делает своей «центральной фигурой» мост, воздвигнутый в 1571 году через Дрину в Выпшеграде великим визирем Мехмедом — пашой Соколи, — когда-то сербским мальчиком из Боснии, взятым в янычары. И не потому, что большинство и других произведений писателя так или иначе связано с Боснией.

Босния у Андрича не только колорит. Эта небольшая, но многострадальная лесистая и гористая область языком своих преданий и памятников старины нащептала Андричу ту мудрость, которой он делится с нами на страницах своих произведений.

Каждый, попадающий в Боснию с севера или запада, поражается: здесь минареты мечетей бросают тень на островки готические крыши костелов, а повернешь голову в сторону — и сразу увидишь тут же поблизости византийский куполок православного храма.

Босния — это сплав людей двух племен, трех исповеданий. До сих пор еще, когда знакомишься, тебя обязательно спросят: «Какой веры?» До сих пор еще два начала противоборствуют в народной толще: религиозная рознь и внушенное религией же сознание человеческого братства. Бывает, и даже очень часто бывает: крестьяне-мусульмане («турки», хотя они вовсе не турки, а потомки насильно переведенных турками в ислам сектантов «богумилов») при-

* Придерживаемся этого названия, данного русским переводчиком роману-хронике „Na Drini ćuprija“. Правильнее было бы перевести «Есть на Дрине мост».

глашают соседей сербов к себе на праздник Байрама, а сербы зовут «турок» на «крестную славу». Но бывают и взаимные побоища. А в 1941—1945 годах гражданской войне в Боснии сопутствовала и война религиозная.

Иво Андрич рос и формировался, когда в Боснии еще была свежа память о многовековом турецком владычестве с его жестокостями и произволом и когда делала свои первые шаги новая власть империи Габсбургов.

Сам Андрич эту смену режимов характеризует так:

«С грохотом, какого еще не слыживало боснийское ухо, 19 августа 1878 года австрийские войска вступили в Сараево. За грохотом последовало и все остальное: кровь, трупы, неправый суд, расстрелы, страх, чужие лица, новые распоряжения и обычаи». («Рассказ о кмете Симане»).

Роман-хроника «Мост на Дрине» охватывает три с половиной века: с 1571 года, когда мост был завершен постройкой, и до 1914 года, когда его взорвали австрийские саперы. В начале романа мы, вместе с согнанным народом, присутствуем на жуткой сцене смертной казни: по приказу начальника строительных работ Абид-аги, палач сажает на кол «вредителя», сербского крестьянина Радисава. Эту мучительную казнь Андрич описывает во всех подробностях. Затем мы читаем, как были казнены на вышegradском мосту (во время восстания Кара-Георгия в Сербии) юноша Миле и «блаженный» старец Елисей, как отрубили турки голову священнику отцу Михаилу и «цыганята воткнули окуроч в его мертвые губы», а в самом конце романа, — на наших глазах, потому что Андрич умеет завораживать, — австрийцы публично вешают трех сербов по вздорному обвинению в шпионаже. Вот такая Босния вставала перед Андричем.

В начале века боснийская молодежь вдохновлялась национально-освободительными идеями. «Золотой мечтой» было низвержение власти Габсбургов и объединение всех южных славян в одно демократическое государство. Из рядов этой молодежи — нищих студентов, чачоточных, нервных, много и жадно курящих революционеров, — вышел и Гаврило Принцип, убийца эрцгерцога Франца-Фердинанда, невольный и случайный виновник первой мировой войны. Иво Андрич отдал дань «золотой мечте» и заплатил за нее тремя годами тюрьмы (1914—1917 г.г.). Плодом трехлетнего сидения за решеткой была его первая книга: сборник стихотворений в прозе „Ex ponto“ (издан в Загребе в 1918 г.).

Босния, университеты Загреба, Вены, Кракова и Граца (в Граце Андрич защищал докторскую диссертацию, взяв темой историю культуры Боснии), габсбургская тюрьма — вот где формировалось мировоззрение Андрича.

Свидетель межплеменной и религиозной розни со всеми ее отвратительными сторонами, он вступил в жизнь убежденным поборником объединяющей югославянской национальной идеи. Андрич, хорват по происхождению, босниец по рождению, белградец по долголетнему обитанию, едва ли не самый «югославский» из всех современных писателей многонациональной Югославии. (Нужно знать всю глубину взаимного недоверия и вражды сербов и хорватов, чтобы оценить это качество Андрича, делающее его как бы провозвестником их примирения в еще неясном нам будущем).

В период между двумя войнами Андрич, как писатель, сравнительно мало продуктивен, хотя уже его первые вещи высоко оцениваются критикой (например, об одном из его первых рассказов «Путь Алии Джержджелеза», опубликованном в 1920 году, отзывался, как о «маленьком шедевре», известный сербский критик того времени Милан Богданович). Причину тому, думается, следует искать в занятости Андрича по службе: с 1923 года и по апрель 1941 года он состоит в дипломатическом ведомстве. Объявление Гитлером войны Югославии застало его в Берлине, где он занимал должность королевского югославского посланника. Андрич не воспользовался возможностью выехать из Германии в Швейцарию, а предпочел вернуться в оккупированный Белград. Там, запершись в своей квартире, почти никуда не выходя, почти ни с кем не встречаясь, он работает над рукописями двух вещей, принесших ему впоследствии мировую славу: над рукописями «Травникской хроники» и «Моста на Дрине».

Прежде, чем перейти к этим — и другим — произведениям Андрича, скажем несколько слов о его «литературном почерке». Лаконизм предложений, чеканка слов, скупость изобразительных средств (допускается лишь самое необходимое) роднят Андрича со Стендалем. Пишущему эти строки дважды попадались на глаза отзывы французских критиков, сравнивавших «Травникскую хронику» — широкое эпическое полотно — с «Войной и миром». Аналогия эта вряд ли удачна. Но в Андриче действительно есть нечто от «тайновидчества плоти» (по Мережковскому) Толстого.

«Особенно полюбила она запах его кожи. Никогда не могла Мара без страха смотреть в необычайно спокойные глаза паши, в его лицо с этим страшным лишаем на левой щеке и с темными висячими усами, которые всегда были немного влажны и медленно шевелились, как водоросли в воде, когда он говорил. Но запах его кожи все больше и больше притягивал ее; и она часами вдыхала его с закрытыми глазами, положив голову ему на грудь». («Наложница Мара»).

«Если бы только он мог вдохнуть немного больше воздуха, если бы только дорога стала ровнее и он мог бы дойти до дома, чтобы лечь в свою постель, увидеть и услышать кого-нибудь из своих близких! Это было те-

перь единственным желанием. Он был уже не в силах сохранить правильную ритмическую связь между дыханием и сердцем; сердце остановилось, оборвав дыхание, как это бывает иногда во сне. Но спасительного пробуждения уже не было. Ходжа открыл рот и почувствовал, что глаза у него вылезают из орбит. Крутизна, которая все возрастала, теперь придвинулась вплотную к его лицу. Перед его взглядом была лишь твердая каменная дорога, которая превращалась в охвативший все его существо мрак.

На пригорке по дороге на Мейдан в смертельной агонии лежал Али-Ходжа». («Мост на Дрине»).

Андричу в высокой мере свойствен дар перевоплощения. Он перевоплощается во времени, рассказывая о давно минувших днях, и мы вместе с ним не чувствуем отделяющего нас от них расстояния. Он перевоплощается в своих героев. К «Травникской хронике» добавлено, в виде приложения, толкование тех турецких и арабских слов и выражений, которыми то и дело уснащали свою речь травничане начала XIX века.

А приехавший в Травник мошенник, пьяница и авантюрист, отуреченный эльзасец, прежде Мендельгайм, а теперь Исмаил Раиф, пишет длинное письмо французскому консулу Давиллю — неудачливому поэту — завершая его стихами. Андрич не удовлетворяется простой констатацией. Мы читаем:

„O ma vie! O vain songe! O rapide existence!
Qu'amusement les désirs, qu'abusent l'espérance"... и т. д.

Художественный диапазон Андрича поражает своей широтой. Пестрой, красочной вереницей проходят перед нами турки, боснийские мусульмане («турки»), сербы, австрийцы, итальянцы; проходят визири, паши, янычары, монахи-францисканцы, православные священники, муэдзины, дервиши, крестьяне, дипломаты, жандармы, купцы, гимназисты; проходят тираны и мученики, бродяги и скопидомы, разбойники и революционеры.

На протяжении столетий власть в Боснии была синонимом насилия — все равно, варварского ли насилия турок или просвещенного насилия двуединой монархии.

Мы едва ли ошибемся, если скажем, что подсказанная боснийской историей проблематика взаимоотношений: власть — человек и человек — власть занимает исключительное, центральное место в творчестве Андрича. Сама Босния «родилась» для Андрича только тогда, когда ее поработили турки; дотурецкий период истории Боснии — период местных христианских феодалов и «злых еретиков» богумилов как бы вне поля зрения Андрича: да, порядки тех времен были не сладкими, но они не были игом, возведенным в законченную систему.

Герои Андрича распадаются на два лагеря. Первый лагерь — это

носители власти и их прислужники: визири, пашы, яньчары, австро-венгерские чиновники, жандармы, палачи.

Второй лагерь — «простые» люди: крестьяне, горожане, купцы, священники, бродяги. Они обречены противостоять власти, защищать от нее свое человеческое «я». И они защищаются — кто как может. Кто оружием, кто мрачным упорством, кто изворотливостью и хитростью, кто злой насмешкой. Они знают, а не знают, так нутром чувствуют, что «когда насилие оказывается неспособным решить поставленную задачу, оно оборачивается против самого насильника» («Предание о слоне визиря»).

Защищаясь от насилия — а насилие он видел в принудительном труде на строительстве моста через Дрину — крестьянин Радисав по ночам разрушал возведенное за день. Турки поймали его и посадили на кол. Радисав до самой своей смерти не переставал клеймить насильников. А когда умер Радисав, то «все сербы почувствовали облегчение, как будто одержали незримую победу».

«Теперь они все смотрели наверх, на помост и на казненного. Все чувствовали, что в постоянной борьбе и соперничестве с турками перевес на их стороне...

— Да простит его Господь и помилует!

— Мученик, заступник наш!

— Разве не видишь, что он приобщился к лику святых? Святой страдалец!

И каждый украдкой взглядывал на умершего, стоявшего прямо, как будто он вел за собой войско. Вознесенный на высоту, он больше не казался им ни страшным, ни заслуживающим жалости. Напротив, всем было ясно, насколько он выделился из общей среды, возвысился над ними. Свободный от земных уз и тягот, он более не ведает страданий. Теперь уже никто и ничто не может причинить ему зла: ни пуля, ни сабля, ни коварная мысль, ни человеческое слово, ни турецкий суд. Обнаженный до пояса, прямой, со связанными руками и ногами, с закинутой головой, он походил не столько на человека, чье тело способно разрушаться и подвержено тлению, сколько на высоко поднятую, неприступную статую, которая останется здесь навеки».

Тираническая власть у Андрича — синоним не только насилия, но и лжи:

«Когда власть испытывает потребность сулить своим гражданам мир и благоденствие посредством плакатов, надо быть настороже и ждать обратного» («Мост на Дрине»).

В «Травникской хронике» есть один эпизод. Местный визирь приглашает к себе на торжественный прием французского и австрийского консулов. Визирь принял их с достоинством и любезно. Было и неизбежное угощение: черный кофе, чубуки.

«Визирь рассказал консулам, что его заместитель Сулейман-паша перешел с боснийскими частями на прошлой неделе Дрину и уничтожил самый сильный и лучше всего организованный сербский отряд, который обучили и которым командовали «русские офицеры». (Эпизод относится к эпохе восстания сербов под водительством Кара-Георгия. А. Н.). Он выразил надежду, что после этой победы нет больше в Сербии русских, и что это вероятно начало конца всего восстания. Важна победа, сказал визирь, и вероятно близок час, когда в Сербии восстановятся порядок и тишина. Зная, что консулы, как добрые приятели и соседи радуются этому, он позвал их для того, чтобы разделить с ними радость по поводу хороших вестей».

А затем, по данному визирем знаку, в комнату быстрым шагом вошли слуги, расстелили цыновку, внесли корзины и стали вытряхивать из них на цыновку —

«отрубленные человеческие уши и носы в большом множестве, неопишемую массу бедного человеческого мяса, засоленную и почерневшую от свернувшейся крови. Холодный и отвратительный запах влажной соли и запекшейся крови распространился в комнате».

Оба консула, француз Давиль и австриец фон Митерер, храня интересы своих правительств, превозмогли себя и деревянными голами пробормотали визирю поздравления.

Встретясь на другой день, консулы «долго жали друг другу руки и без слов глядели один другому в глаза, как двое потерпевших кораблекрушение». Фон Митерер сообщил при этом своему коллеге, что турецкая победа в Сербии вранье, что захваченные «трофеи» следствие —

«обычной резни, которую озлобленные и разнузданные войска совершили над боснийскими крестьянами где-то возле Зворника во время какого-то церковного торжества».

Давиль спрашивал себя потом:

«Для чего эта ложь? Откуда эта напрасная, почти детская свирепость? Что означает их смех, что означает их плач? Что кроется за их молчанием? И как этот визирь со своими возвышенными понятиями и честный на взгляд Сулейман-паша и мудрый Тахир-бег могут вершить такие дела и даже присутствовать на таких зрелищах из какого-то другого, низшего и страшного мира? Каково их истинное лицо? Когда они лгут и когда говорят правду?»

Давиль так и не нашел ответа на мучившие его вопросы. Но сам автор — уже в другом своем произведении — как бы отвечает на них. В рассказе «Предание о слоне визиря», о его герое Джелалутдине-паше встречаются такие слова:

«Все, что он делает, он делает по непреодолимому побуждению и врожденной потребности судить, наказывать, мучить и убивать, а закон и го-

сударственные интересы служат для него лишь ширмой и удобным поводом. Знал это, вероятно, и великий визирь, но учреждениям и властям, которые доживают свой век и не находят в себе ни здоровых сил, ни средств для борьбы и обороны, нужны именно такие люди».

Злая, жестокая власть — это обреченная власть, это умирающая власть. Три с половиной века стоит в Выпшеграде на Дрине мост. С этим мостом связана история поколений — и Андрич нанизывает один рассказ на другой, начиная с прибытия в Выпшеград главного доверенного визиря по постройке моста Абид-аги и его жестокостей и кончая дискуссиями боснийской молодежи начала века и расправами австрийцев над сербами после объявления первой мировой войны

Австрийские саперы взрывают мост.

«Если здесь разрушают, то пусть в другом месте строят», — проносит-ся в голове у старого Али-Ходжи Мутевелича, — «существуют еще вероятно мирные края и разумные люди, которые помнят о Боге. Если Бог от-вратил свой взор от этого несчастного города на Дрине, то это не значит, что Он забыл весь мир и всю землю. Придет конец и тем, кто разрушает».

Так в последние минуты своей жизни думает старый Али-Ходжа, потому что и он умирает вместе с мостом. Придет конец неразумным, жестоким, злым, тем, кто разрушает. Если это не мировоззрение самого Андрича, то это, во всяком случае, надежда всех его персонажей из «второго» лагеря.

Власть и человек. На фоне этого — трагического у Андрича — противоречия протекает жизнь его героев.

«Травникская хроника» переносит нас в начало прошлого века. Правительство императора Наполеона, стремясь увеличить свое влияние в Турции, назначает своего консула в глухой, затерянный в боснийских горах городок Травник: к северу от Боснии расположены «Иллирийские провинции», где хозяйничают французы. Боясь французского соперничества, назначает своего консула в Травник и венский кабинет. Новость о предстоящем приезде дипломатов взбудоражила городок. Местные турки были —

«...обеспокоены и со злостью говорили о возможности приезда консулов. Недоверчивые ко всему, что идет из-за границы и наперед враждебные каждой новизне, турки в душе еще надеялись, что это может быть только дурные слухи, злое наваждение, что эти консулы могли бы и не приехать, а ежели напоследок и приедут, то и уйдут вместе с приведшими их злыми временами.

Христиане, как католики так и православные, напротив, радовались этим вестям и переносили их и передавали из уст в уста украдкой и шепотом, находя в них поводы для неопределенных надежд и видов на перемены. А перемены могут быть только к лучшему.

Естественно, что каждый из них смотрел на вещи своими глазами, что точки зрения часто были противоположными.

Католики, бывшие в большинстве, мечтали о влиятельном австрийском консуле, который принесет помощь и защиту мощного католического цесаря из Вены. Православные, малочисленные и в течение нескольких последних лет преследуемые из-за восстания в Сербии, не ожидали много ни от австрийского, ни от французского консулов, но видели в их приезде хороший знак и доказательство того, что турецкая власть слабеет и что приходят добрые и спасительные немирные времена. И тотчас добавляли, что конечно, 'без русского консула ничего не выйдет'.

И самые малочисленные, но бойкие евреи, сефардимы*) не могли при таких вестях полностью сохранить свою деловую молчаливость, которой научили их столетия, и их волновала мысль, что в Боснии может быть придет консул великого французского императора Наполеона, 'который к евреям хорош, как добрый отец'».

Консулы приезжают в Травник: влюбленный в Наполеона романтик и поэт (он никак не может закончить эпическую поэму об Александре Македонском), хороший знакомый Люсьена Бонапарта, Давиль с женой и тремя детьми. Талантливый, умный молодой делопроизводитель консульства Дефосе.

А от австрийцев полковник Иозеф фон Митерер, его жена фрау Анна-Мария и тринадцатилетняя дочка Агата.

Перед глазами консулов разворачивается жизнь — чуждая им, отталкивающая и страшная. По долгу службы они, представители соперничающих держав, должны быть врагами. Но восторженная и сентиментальная красавица фрау фон Митерер заводит возвышенный платонический роман с Дефосе. У Давилей умирает ребенок и на это горе по-человечески откликается, соучаствует в нем фон Митерер.

Да и сама жизнь в этом маленьком восточном городке, где они пребывали как бы в пустыне, толкает консулов на взаимное сближение. Этому велению жизни не может противостоять и сменивший фон Митерера на посту генерального консула подполковник фон Паулич — олицетворение служебной точности, военной корrekтности и холодного расчета. Но вот отгремела лейпцигская «битва народов», закатывается звезда Наполеона. Миссия Давиля в Боснии заканчивается. В нем же самом —

«происходило то же самое, что в это время переживалось тысячами французов, изнемогших на службе режиму, который в сущности уже давно потерпел поражение тем, что был вынужден требовать от людей больше того, что они могли дать».

*) Потомки евреев, изгнанных из Испании в 1391 и 1492 гг. Говорят на наречии средневекового испанского языка.

Вслед за Давилем готовится к отъезду и австриец фон Паулич. Эпизод: май 1814 года. Собрались на совещание травникские беги. Тема совещания: договориться, чтобы сообща восстать против невыносимого в своей жестокости визиря Али-Паши. Но зашел разговор и об уезжающих из Травника «гяурских» консулах. Говорит старец Хамди-бег:

«Подняли наши гяуры головы, как колос порожний. Одни держатся за полы французского, другие австрийского консула, третьи ожидают московского. Просто обезумела райя*) и осатанела. И вот, было и прошло. Поднялись цари и сломили Бунапарту. Консулы очистят Травник. Будут их еще вспоминать год-два. Дети на дворе будут играть в консулов и кавазов, сидя верхом на палочках, да и они забудут про них, как если б их никогда и не было. И все опять будет так, как по Божьей воле всегда было.

Хамди-бег запнулся, потому что ему изменяло дыхание, а остальные молчали в ожидании того, что бы еще мог старец сказать, и, куря, все наслаждались в доброй, победоносной тишине».

А ниже этой последней фразы в первом белградском издании «Хроники» стоит: «В Белграде, месяца апреля 1942 г.» Что мог думать Андрич, когда записывал последнюю фразу своей «Травникской хроники», сидя в уединенной квартире в оккупированной югославской столице? И не проступает ли в словах Хамди-бега горькая автотская ирония?

Любой тирании, любой несправедливой власти настанет свой черед: рано или поздно человек выйдет победителем. Но победителем во имя чего? Есть ли верное решение антиномии: человек — власть?

«Придет время, когда всякий ребенок будет книгу учить и грамоте знать; люди с одного края света на другой будут говорить и каждое слово слышать, но не смогут понять один другого. Усилятся одни люди, займут неслыханные блага, но пропадет в крови их богатство и ни ловкость, ни умение не помогут им. Другие обеднеют и изголодаются так, что свой язык будут есть с голоду и смерть призовут, чтобы умертвила их, но смерть будет глуха и медленна. А земля, сколько ни родит, — всякая еда отвратной станет от крови. Крест сам по себе потемнеет. Тогда придет человек, голый и босый, без посоха и сумы, ослепит все очи своей мудростью, силой и красотой и избавит людей от крови и силы и утешит всякую душу. И воцарится Третий из Троицы».

Так вещает «блаженный» старик — прорицатель Марко, бросивший и сыновей и дочерей и родное село, которого даже турки боялись тронуть пальцем. («Травникская хроника»).

Что есть от автора в этих неясных видениях, в этом предсказании царства Святого Духа? Этого мы не знаем.

*) Презрительное название христиан (тур.).

Но зато мы видим другое: на страницах «Моста на Дрине» Андрич устами свих героев ведет борьбу с марксистской историософией и предстает перед нами (применяя грубую терминологическую схему), как народник-идеалист, взывающий к свободе и справедливости.

Дискутирует — в эпоху балканской войны 1912 года, прелюдии к первой мировой войне — выпшеградская молодежь. Та патриотически и революционно настроенная боснийская молодежь, из рядов которой вышел и Андрич.

«Главным противником был говорливый и радикально настроенный Херак, на все смотревший и все критиковавший с точки зрения ортодоксального социализма».

Херак цитировал Каутского и Бебеля. Другому участнику дискуссии, Стиковичу, он представлялся «надоедливой мухой, от которой трудно избавиться».

«Вся эта чужеземная книжная мудрость, дорогой мой, — отвечает Стикович, — исчезает перед живым подъемом пробужденных национальных сил, в первую очередь, у сербов, а потом и у хорватов и словенцев, которые все стремятся к единой цели. События развиваются не согласно предвидениям немецких теоретиков, а идут в полном соответствии с глубоким смыслом нашей истории и нашего национального призвания. В духе призыва Кара-Георгия: «Пусть каждый убьет своего господина!» — социальные вопросы на Балканах решаются национальными освободительными движениями и войнами».

А другой молодой боснийский революционер Галус так мечтает вслух о будущем:

«Мы построим мосты над широкими реками и глубокими пропастями, новые, большие, прекрасные мосты, и не для того, чтобы связать чужие центры с покоренными областями, а чтобы спаять наши области между собой и наше государство со всем остальным миром. Нельзя сомневаться, что именно нам суждено создать то, к чему стремились до нас все поколения: государство, рожденное в свободе и основанное на справедливости — проявление Божьей мысли, воплощенной на земле».

«Золотая мечта» Стиковича и Галуса, Гаврилы Принципа и Иво Андрича сбылась в 1918 году, но не так, как они мечтали. Югославия в период между двумя войнами знала и ограничения свободы, и национальную рознь, и социальную несправедливость. Вот почему многие некоммунисты пошли в 1941 году за коммунистическими партизанами, ошибочно видя в них носителей «золотой мечты». Не избежал этого пути и Иво Андрич. В послевоенной Югославии он был одно время депутатом Скупщины, занимал пост председателя союза югославских писателей, но затем ушел: как передают, молча-

ливо протестуя своим уходом против нового правительственного зажима в литературе.

Произведений Андрича на современную тематику немного, они расплывчаты и бледны.

Есть у писателя повесть «Зеко» — одна из немногих вещей, не навеянных исторической Боснией. Место действия повести — оккупированный в минувшую войну Белград, а герой — тихий, пожилой, несчастливый в семейной жизни человек, по прозвищу Зеко («Зайчик»). Зеко помогает подпольной работе своих молодых родственников-коммунистов и в конце концов гибнет: спасаясь от преследования гестаповцев, тонет в Саве.

Но Зеко не коммунист, о коммунизме ничего толком не знает, а помогает своим молодым родственникам просто потому, что он, — муж алчной эгоистки и отец беспринципного негодяя, — видит в них хороших людей и патриотов.

Официальной критике повесть «Зеко» пришлось не по вкусу: ее встретили сдержанно.

Газета «Борба» по случаю присуждения Андричу нобелевской премии привела высказывания о творчестве писателя многочисленных коммунистических деятелей по линии культуры. Но вот что примечательно: ни в одном из этих высказываний не говорится о духовной связи Андрича с существующим в Югославии режимом. Такой связи нет. Будь она, ее-то уж, конечно, не преминули бы отметить. И еще бросается в глаза: официальные выражения радости югославской правительственной печати как-то сдержанны; это какое-то торжество «в сукнах».

Судьбу Пастернака Андрич, конечно, не разделил. Он первый югослав — нобелевский лауреат литературы. Да и режим Тито не собирается повторять идиотской ошибки (по самой меньшей мере) руководства КПСС. Но все это не меняет основного: у нынешних югославских властодержцев Андрич — не «свой человек».

«Государство, рожденное в свободе и основанное на справедливости — проявление Божьей мысли, воплощенной на земле», — говорит молодой Галус, сверстник, современник и единомышленник молодого Андрича. Писателю не отречься от слов своего героя, да он и не собирается отречься от них.

АЛЕКСАНДР БАХРАХ

О НИКОЛАЕ ОЦУПЕ

Четыре тома сочинений Николая Оцупа, недавно изданные посмертно*), для меня как бы отодвигают время и невольно рождают воспоминания, давно стертые и, казалось, безвозвратно утерянные.

Вспоминаю первую встречу с Оцупом в Берлине, почти сразу после того, как он покинул Советскую Россию и перешел на положение эмигранта. Я неясно помню обстоятельства нашего знакомства, не берусь сказать, кто именно нас познакомил, но вспоминаю, что несмотря на его природную замкнутость, дружеские отношения между нами завязались тогда очень скоро — как это и может происходить только в том возрасте, когда вся жизнь еще впереди.

Знакомство с Оцупом я тогда воспринял, как встречу — едва ли не первую — с тем литературным Петербургом, который, казалось, тонул в разбушевавшейся революционной стихии. Встречи с Оцупом и его рассказы о недавно пережитом были тем заманчивее, что он был окружен ореолом «близкого друга Гумилева», был активным членом нового, незадолго перед тем возрожденного «Цеха поэтов» и если не участником, то во всяком случае непосредственным свидетелем работы всех тех многочисленных, насаждавшихся Гумилевым и Замятиным литературных студий, которые как грибы после дождя произрастали в голодающем Петербурге.

В этот ранний период эмигрантской жизни, который позднее он называл периодом своего «нигилизма циничного», хотя ни нигилизма, ни циничности в Оцупе никогда не ощущалось, он был человеком весьма компанейским и жизнерадостным. С явным налетом эlegantности, внешней и внутренней, был он всегда очень аккуратен, всегда чистенько выбрит, какой-то лохотный, может быть, даже превеличенно вежливый и своей корректностью выделяющийся в литературной, склонной к богемности, среде. Любил щеголять воспоминаниями о тех своих счастливых студенческих годах, когда в Collège de France он слушал Бергсона, и память об этих надолго прон-

*) Николай Оцуп. «Жизнь и смерть», стихи, два тома; сборники статей: «Современники» и «Литературные очерки». Париж, 1961.

живших его лекциях он носил в себе, точно орденскую ленточку на лацкане пиджака. Неизменно, когда в дружеской беседе уже было исчерпано все, что касалось волнующей литературной злободневности, и разговор переходил на абстрактные темы, имя автора «Творческой эволюции» обязательно срывалось с уст Оцуца, словно одно упоминание этого имени было решающим аргументом, достаточным для того, чтобы сразить любых оппонентов. Собственно, Берсон и Гумилев (да будет правильно понято это неожиданное сопоставление) были теми двумя полюсами, между которыми простирался в те дни духовный мир Оцуца. И все же — несмотря на этот несколько по существу мальчишеский «бергсонизм», несмотря на то, что уже тогда (а ведь с той поры миновало без малого сорок лет) у Оцуца, в противовес всем его сверстникам и коллегам, неизменно возникало желание разрешать или хотя бы только обсуждать запутанные, «последние» метафизические вопросы, — если бы я теперь постарался мысленно восстановить его внешний облик, перед моими глазами встал бы молодой человек спортивного вида, в белых фланелевых брюках, с теннисной ракеткой в руке. При этом я отнюдь не настаиваю, что Оцуц когда-либо действительно увлекался этим видом спорта.

Одну сцену или, лучше сказать, один эпизод, сам по себе вполне неприметный, я вспоминаю сейчас особенно отчетливо. Близкие друзья тех моих дней — художник Пуни, впоследствии столь прославившийся, и его жена — устраивали в своем гостеприимном ателье очередную вечеринку. Для семейства Пуни всегда было правилом считать, что друзья их друзей — их собственные друзья, и пользуясь этим, я уговорил Оцуца сопровождать меня на «пунический» „Atelierfest“. Минуя лабиринт таинственных переходов и каких-то причудливых лестниц, мы взобрались на самый верх, где помещалось ателье художника. Необъятное ателье, своим внешним видом напоминавшее декорации к первому акту пуччиниевской «Ботемы», было уже переполнено. В одном из углов суетился Виктор Шкловский. Цитируя Стерна, он ожесточенно спорил с кем-то, кого-то ниспровергал, кого-то другого возвеличивал. Поодаль Пастернак, всегда кого-то чуждавшийся, словно напуганный обилием незнакомых ему лиц, обсуждал со своим издателем внешний вид своей новой книги, которая вот-вот должна была выйти. Заняв — нет, «оккупировав» — единственный диван, сидел Маяковский, в окружении четы Бриков и — если память мне не изменяет — Романа Якобсона, теперь слависта с мировым именем.

Много, вероятно, было выпито перед тем, как Маяковский приступил к чтению. Декламировал он свое нашумевшее «Солнце»:

Я крикну солнцу:

«Погоди!

послушай, златолобо,

чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!

Несмотря на камерность обстановки, Маяковский читал эстрадно и вызывающе. Словно всей своей монументальной фигурой и громом своего голоса он еще стремился подчеркнуть необычность своей «баллады». Маяковский кончил чтение, как и следовало ожидать, на лаврах. Очередь была за Оцупом. На короткое мгновение он задумался, привычно для него собрал морщины на лбу в какой-то волнистый бугорок и затем начал медленно и, как казалось после литавр Маяковского, негромко, почти безлично, повышая голос только к концу строк, скандировать стихи из своего «Града» (других печатных сборников у него тогда не было):

Нам, уцелевшим от пожара
В самой неслыханной стране,
Какое нам дело. Вздыхай гитара,
Почитаем стихи, зайдем ко мне.

Но если ты согласишься Энею,
Ожесточенному в морях
Я все еще любить умею
И я вздыхаю на пирах.

Люблю подруги синие очи,
Такой подруги, которой нет.
Люблю века, они короче
Наших невыносимых лет...

Я так пространно остановился на этом — собственно, вполне случайном — эпизоде, потому что мне он представляется весьма симптоматичным. В ателье у Пуни, конечно, не было «поединка» в прямом смысле. Но все же произошла знаменательная встреча двух линий русской поэзии. Тогда мне казалось, что столкнулись два мира; теперь я думаю, что встретились только два аспекта одного и того же мира. И если Маяковский своим чтением, не лишенным демагогических приемов, умел подавлять и прельщать аудиторию, то едва ли не намеренно Оцуп чуждался эфемерных успехов, слишком громких аплодисментов и слишком назойливых вызовов на «бис». А между тем, мне кажется несомненным, что даже тогда большинству слушателей не вполне внятные и прочитанные под сурдинку стихи Оцупа были ближе крикливой, хотя и очень талантливой плакатности Маяковского. Невольное и непредвиденное соревнование с Маяковским подчеркнуло это, и победителем оказался Оцуп, хотя в тот момент это, вероятно, было очень трудно осознать. Эта «победа»,

думается, досталась ему не столько в силу его личных поэтических заслуг, которые я отнюдь не намерен умалять, сколько, главным образом, потому, что можно было ясно ощутить, что Оцуп представляет именно то течение, которое неразрывно связано с большой дорогой русской поэзии.

Эта преемственность от классической русской поэзии сказалась у него не только в ранних — пускай еще не вполне самостоятельных — стихах, но и во всем его творчестве. И, в конце концов, ведь неважно, к какой школе причислял себя сам поэт. Несущественно, что до конца жизни он выступал паладином, неким «верным рыцарем» акмеизма, выступал даже тогда, когда самое это понятие утеряло всякий смысл, перестало что-либо значить и под него можно было подвести самые различные — чуть ли не друг друга взаимно исключаящие — поэтические теории. И еще менее существенно, что в последние годы перед смертью Оцуп — порой даже с некоторой агрессивностью — проповедовал то, что сам он именовал «персонализмом» и что было еще более зыбко, еще более расплывчато, еще менее оправдано, чем все те многочисленные «измы», которые на наших глазах так же быстро создавались, как быстро и бесследно таяли. Было значительно более важно — и, собственно, в этом и заключалось основное достоинство Оцупа, присущая ему черта — что он всегда и при всех обстоятельствах оставался поэтом, притом поэтом возвышенного склада (в лучшем значении этого понятия). Это свое призвание он иногда понимал даже слишком узко, слишком буквально, считая его неким подвижничеством. Те затаенные иронические ноты, которые еще проскальзывали в его более ранних стихах, постепенно им подавлялись, и на смену приходила, накатывалась, росла некая тревога, беспокойство за мир, за всех тех, кто окружал поэта. Это беспокойство передавалось в его стихах умышленной жестокостью, терпкостью звука, доходя в отдельных случаях до антимузыкальности, до парадоксального для поэта отрицания «звуков сладких», до какого-то бегства от той певучести, которая так прельщала большинство его сверстников. Поэтический дар казался ему наваждением:

Не говорите о поэзии,
Как говорят о пустяках —
Она приходит как возмездие,
Она — отчаянье и страх.

Сойдя с ума от одиночества,
Застонешь, муза тут как тут:
Поэзия — сестра пророчества,
Она при жизни вечный суд.

К какому периоду его деятельности стихи Оцупа не относились бы, неизменно их «пересекает иной стихии бесконечность». Эта же

стихия присутствует и в его самой основной, самой глубокой и по существу самой обычной из поэтических тем — теме о той великой удаче любви, которая в какой-то момент преобразила его. Без большого преувеличения можно утверждать, что все творчество зрелого Оцуа — вариации на тему о его всепоглощающей любви и уже с ней связаны — проходя, точно через фильтр, через эту основную тему — две другие его темы: тема спасения и тема России — России, без которой трудно и с которой страшно.

Молодость, а страшно поневоле...
Прокламации, нагайка, кнут...
За мечтами о земле и воле
Ночь... Ужасен там и краток суд...

Мчатся бесы, искрами мелькая,
Вьюга, кони дышат тяжело...
Но Волконская и Трубецкая —
И уже от сердца отлегло.

И такое же как то в кибитке
Чуждое лицо... Опять она...

«Опять она» — она везде, и нет без нее жизни. Этой встрече Оцуа посвятил многие сотни строк и, собственно, только о ней тот огромный «Дневник в стихах», сама величина которого, его многословность, служат главным и трудно преодолимым препятствием к тому, чтобы он мог дойти до читателя. Этот капитальный поэтический труд Оцуа, на который он потратил столько усилий, оказался полной цветущих и живописных оазисов многостраничной пустыней, — но все-таки пустыней, — и отыскать эти оазисы, проникнуть в них, у читателя нет времени. Он остановлен у порога потоком слов, дидактическим тоном лирического повествования. Зато два сборника, посмертно изданные под заглавием «Жизнь и смерть» — тусклым не всегда удачно составленные — дают отчетливое представление о самом главном в поэтическом наследии Оцуа: о его постоянной готовности вести борьбу со всем тем, что, по его представлению, служит препятствием к спасению мира, к собственному спасению, и, главное, к спасению тех или той, которые ему дороже мира.

Если вдуматься, то это высокое дон-кихотство Оцуа имеет трагический отблеск и было бы еще более трагично, если бы иной раз отсутствие простоты не затемняло смысла. Я говорил, что Оцуа всегда оставался поэтом «возвышенным» — поэтом высоких тем, высоких страстей, но вместе с тем была в нем известная взвинченность, которая невольно заставляет вспоминать слова Квинтилиана о том, что Эсхил был так возвышен, что это достоинство доходило у него до недостатка. Вот почему порой хочется, чтобы Оцуа — хоть

мимоходом — поговорил об окружающей повседневности, именно о том, что он с какого-то момента стал считать «пустяками». Хотелось бы, чтобы живая, ироническая нота его ранних стихов снова стала слышна и чтобы он не всегда витал в разряженной атмосфере запредельных высот, куда читателю не всегда легко за ним следовать. Хотелось бы всего этого именно потому, что «последняя нежность к земному», о которой он так хорошо писал в стихах, снабженных тютчевским эпитафием «о как на склоне наших лет», не должна — или хотя бы не всегда должна — сказываться в постоянном нажимании педалей. Думается мне, что если бы не это свойство — я не решаюсь назвать его «недостатком» — то Оцуп мог бы вырасти в подлинно большого поэта. Задатки к этому ему были несомненно даны.

И это тем более грустно, что Оцуп был не только талантливым поэтом, но и талантливым организатором и хорошим педагогом. Я помню, как в наши берлинские дни, едва приехав в этот незнакомый ему город, он сразу же стал собирать вокруг себя представителей более молодого поэтического поколения, пытался — пусть неудачно — создать некое подобие «студии», по примеру тех, которые с таким успехом работали в ставшем для него далеком Петербурге. А затем — уже много позже — в условиях необычайно трудных, не имея собственно ни материальной, ни моральной поддержки со стороны так называемой эмигрантской общечественности, он почти единолично взял на себя неблагоприятный труд издания литературных альманахов «Числа». Эти альманахи ставили своей основной задачей знакомить читателя с теми молодыми писателями и поэтами, у которых не было возможности печататься в ином месте. И надо сказать, что благодаря энергии Оцупа десять увесистых книжечек «Чисел» эту задачу с честью выполнили. «Числа» не только впервые ознакомили читателя с именами таких поэтов и прозаиков так называемого «незамеченного поколения», как, например, Поплавский, Штейгер, Фельзен, Кнут, Варшавский или Чиннов: без этих изящно изданных сборников не получило бы формы то поэтическое течение, которое условно называли «парижской школой» — далеко не однородной поэтической группировки, в творчестве представителей которой отражались и необычайность нашего времени, и ощущение великих перемен и катастроф, происходящих в мире, и отказ от готовых утешений. Для многих из сотрудников этих альманахов «Числа» оказались своего рода трамплином, благодаря «Числам» они добились литературного признания, в отдельных случаях очень значительного, и в этом огромная заслуга Оцупа.

Другой его большой личной заслугой было то, что почти на склоне своих дней он засел за работу над докторской диссертацией, защита которой была ему нужна, чтобы иметь возможность препода-

вать русский язык и литературу в прославленной парижской Ecole Normale. Диссертация эта была посвящена Гумилеву и, если судить по напечатанным из нее отрывкам, она была подлинно необычной. Она не была написана тем сухим и серым языком, который почему-то признан обязательным для докторских работ, была не без налета лиризма и — что было особенно ценно — исследование о творчестве Гумилева, о его поэтическом стиле шло параллельно с личными воспоминаниями о погибшем поэте.

Характеристика облика Николая Оцупа была бы неполной, если бы не было упомянуто о его критической и публицистической деятельности. Два изданных теперь тома его прозы не дают об этом точного представления, так как составлены они крайне неровно. Статьи, имеющие принципиальный характер, перемешаны со случайными рецензиями; воспоминания о некоторых значительных встречах с чисто полемическими заметками. Кроме того, отсутствие указания даты написания той или иной статьи или заметки делает невозможным объективную ее оценку. Но все же было бы несправедливо, если бы не были отмечены воспоминания об отроческих встречах Оцупа с Иннокентием Анненским, в которых выпукло и талантливо обрисована своеобразная и неповторимая царскосельская атмосфера предреволюционных лет, и ряд статей о Гумилеве, полных интересных наблюдений и мыслей, но, вместе с тем, вызывающих непреодолимое желание с Оцупом поспорить.

Жизнь Оцупа оборвалась внезапно и трагически, как трагичной бывает всякая внезапная смерть, как вдвойне трагичной бывает неожиданная смерть человека творческого труда, не досказавшего того, что ему сказать надлежало (или, точнее, чего мы, его современники, от него ждали).

И в связи с этим вспоминаются мне оцуповские строки, написанные чуть ли не тридцать лет тому назад и посвященные годовщине смерти одного из драгоценнейших русских поэтов:

Без проблеска надежды в агонии,
Когда кричать уже не стало сил,
Последний час Европы и России
Для Влока наступил.

И человека мы похоронили
И мир погас (не только в нем)
И равнодушные к его могиле
Трезвей и проще мы живем.

Но тень его печально-роковая
Сопровождает нас из года в год,
И все яснее предостерегая
О нашем жребии поет.

Менее всего я хочу делать какие-либо сравнения или сопоставления, потому что мне кажется, что в подавляющем большинстве случаев всякие литературные сравнения такого порядка не больше чем *petits jeux*. Но если верно, что уже сегодня мы мало-помалу становимся равнодушны не только к могиле поэта, но и к его литературному наследству, то будет не менее справедливо отметить, что и его стихи — как бы к ним ни относиться — «предостерегают нас о нашем жребии». Эта их особенность позволяет думать, что рано или поздно стихи Оцуа найдут отклик у широкого круга читателей, а не только среди профессиональных или полупрофессиональных любителей поэтического слова.

БОРИС ФИЛИПОВ

Страстное письмо с неверным адресом

...Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом.

...Мы не любим не сродное с нами: Леонтьев сам, конечно, был «вечно ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до преступности в исканиях, до великих посягновений (отношение его к христианству).

...С Достоевским и Толстым Леонтьев разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно их категории.

Из примечаний В. В. Розанова к письмам К. Леонтьева. («Русский Вестник», том 285, июнь 1903, стр. 431).

Мы, русские, ленивы и нелюбопытны, жаловался Пушкин. И верно. Чем иначе можно объяснить поразительное равнодушие к героической жизни и героическому творчеству одного из самых сильных умов и оригинальнейшего писателя русского — Константина Николаевича Леонтьева.

Длился прекрасный и прекраснодушный век искренней веры в абсолютную ценность личности человеческой. И вера это была укоренена не теми, кто считал всякую личность — отчасти божественной, ибо в ней почиет дыхание Божие, отражается лик Божий. Вера в абсолютную ценность личности человеческой, личности земной и плотяной, пришла из гуманистических книжек, из проповедей французского просвещения, из лекций кенигсбергского философа, из романсов и поэм романтиков и реалистов, из нравственных прописей европейского либерализма и социализма.

И так бездумно и ласково-поэтически — с Жорж Занд и Консидераном в руках, на упругом диване, после вечера с цыганами или споров на темы «мировой скорби», — так просто, наконец, выщелушивались из «абсолютной ценности человеческой личности» и индивидуализм, и идеи самоопределения народов, народовластия, прогресса, социализма. До конца мысль не шла, она лениво замирала и,

потягиваясь, дремала, дойдя до идеи рая земного — окончательного и бесповоротного устройства человечества на основах разума и благоволения. Фаланстеры ли Фурье или коммуна; общинное народопразство «кающихся дворян» или опирающееся на христиански-преображенную соборную личность государство славянофилов, — у всех была конечная Осанна, дальше которой лучше не идти, не додумываться, в которой сомневаться строго запрещено. Чистый и беспримесный хилиазм — только у большинства без Христа и личного бессмертия.

И вот появились немногие, посмевающие усомниться в окончательности, да и в желательности подобного Царства Божия на земле. Федор Тютчев и Федор Достоевский, Константин Леонтьев, Василий Розанов. Их мысли были не в масть эпохе. Одного окрестили, поэтом, лириком, другого — «жестоким талантом», последнего — доморощенной помесью реакционера с чем-то фрейдобразным. А Константина Николаевича Леонтьева просто замолчали. Долго его просто не замечали. 8 мая 1891 года он писал из Оптиной пустыни В. В. Розанову:

«Поверьте, не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый открываете меня, как Америку... Почему это так? Не знаю... По моему, это объясняется, с одной стороны, очень просто: мало обо мне писали другие»...¹⁾

13 июня того же года он опять пишет Розанову: «А главное, историческую мою гипотезу все старались обходить осторожным молчанием».²⁾ Потом с легкой руки Владимира Соловьева, о Леонтьеве заговорили в кругах, творивших так называемый «русский религиозно-философский ренессанс». Появились сборники его памяти, начали выходить тома его собрания сочинений (в 1912-1914 гг. — всего вышло 9 томов). Но широкой, подлинной известности не было. Слава не состоялась. Только некоторая часть «правых» литераторов извлекает иной раз на свет две-три более или менее перепутанные цитаты из Леонтьева, вернее — цитаты из книг, Леонтьева цитирующих.

*

Жизнь Леонтьева — материал для романтической повести. Творчество Леонтьева — его широко и страстно написанная автобиография. Будь то романы или повести, будь то его публицистика, или обрывки мыслей и наблюдений, будь то его письма, иногда превосходящие напряженной страстностью мысли и художнической отделкой лучшие страницы его повестей и «Византизма и славянства».

¹⁾ Письма В. В. Розанову. «Русский Вестник», т. 284, 1903, стр. 646.

²⁾ Там же, т. 285, 1903, стр. 169.

Сын помещика средней руки, замечательного, пожалуй, только удалением за буйство из гвардейского полка, Константин Николаевич Леонтьев родился в родовом сельце Кудинове Мещовского уезда Калужской губернии 13 января 1831 года. Если отец писателя ничем не выделялся из среды провинциального небогатого дворянства, то мать Леонтьева, властная, красивая «боярыня» из старого дворянского рода Карабановых, была рождена не для жизни в усадьбе помещика средней руки. И в сельце Кудинове, небольшом и небогатом, она создала особую атмосферу изящества, тишины и устойчивого красивого быта, которые навсегда запечатлелись в душе ее сына:

«Воспоминание об этом очаровательном материнском 'Эрмитаже' до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни)».

Гимназия, затем, в 1848 году, Ярославский лицей. Но из лицея, в том же году, Леонтьев переводится в Москву, на медицинский факультет университета. Врачом Леонтьев стал не по призванию, а по желанию матери и из-за ряда житейских обстоятельств. И врачом был он недолго. Но естествознание и медицина не прошли для него бесследно: когда сравниваешь, скажем, такого прославленного материалиста и объективиста, как Маркс, с нашим писателем и публицистом, — невольно думаешь: ну, какой же Маркс материалист! Ведь все его учение о прибавочной стоимости и эксплуатации — сплошное внесение элементов моральной оценки в научные построения, претендующие на холодную объективность. Не то у Леонтьева: жесткая, не по-русски жестокая ясность мысли, скальпель естественника — и никакой этики: даже какая-то враждебность ко всякой моральной оценке. В историческо-философских построениях Леонтьева то и дело примеры и сравнения из области болезней, физиологии, ботаники, зоологии, химии. Мышление отнюдь не метафизическое, а скорее естественно-научное, пластическое и резко-отчетливое. В письме 1891 года В. В. Розанову он жалуется, что немецкая и, вообще, классическая философия слишком систематично и настойчиво ведет его мысль, строптивую и сопротивляющуюся. Вот это водительство и насильственность чужой мысли, мало оставляющей на долю самостоятельной мысли читателя, и вызвали протест Леонтьева.

Не окончив университета, Леонтьев, с пятого курса, получив степень лекаря, определяется в полк батальонным врачом, и определяется в Крым, на войну. Время и место действия одной из луч-

ших повестей Леонтьева — автобиографической «Исповеди мужа» (1866) — как раз Крым времени Крымской войны. В Крыму писатель впервые отрывается от привычной и смертельно ему ненавистной обстановки среднерусской городской жизни и погружается в жизнь иную, экзотическую, резко отличную от «среднеевропейской» жизни.

«Так было сладко на душе... Страна вовсе новая, полудикая, живописная; холмы то зеленые, то печальные, на берегу широкого пролива; красивые армянские и греческие девушки. Встречи новые. Одинокие прогулки по скалам, по степи унылой, по набережной при полной луне зимой. Татарские бедные жилища... Воспоминания о страсти еще не потухшей, о матери далекой, о родине русской».

Мысли о родине русской только проясняются вдали от нее: так с горы утрачиваются детали пейзажа, но рельефно выделяется главное в нем. И, как и в Москве, — романы, романы, романы. Увлечения не слишком глубокие, но всегда бурные и страстные. Но не такие длительные, как пятилетний московский роман с Кононовой. В святая святых леонтьевской души женщины никогда не допускались. Внешне же писатель был весьма предупредителен к женщинам, даже покорен им. В письме к Розанову поучал: жена, мол, — шея, муж — голова. Шея вертит голову, но разумная шея делает это умело: делает вид, что вертится, мол, сама голова — по своему, головы, желанию. А все-таки — думает-то голова...

В Крыму Леонтьев долго усидеть не смог: потянуло в литературные центры. Писать начал он рано. В 1851 году написал комедию «Женитьба по любви» и понес ее Тургеневу: «Ваше произведение болезненное, но очень хорошее», — сказал начинающему автору Тургенев.³⁾ Вслед за этой комедией Леонтьев пишет ряд повестей и рассказов, опубликованных в «Московских Ведомостях» за 1851-1858 годы («Благодарность», «Ночь на пчельнике»), в «Отечественных Записках» времен Крымской войны («Лето на хуторе», и, позднее, «Сутки в ауле Биюк-Дорне») и «Библиотеке для Чтения» 1859 или 60 г. («Второй брак»). Вещи эти — согласно авторской воле — никогда переизданы не были:

«Все эти первые повести мои очень плохи, — писал в своем литературном завещании автор, — они по изложению слишком еще похожи на ненавистную, господствующую у нас школу...⁴⁾

Шесть месяцев проводит Леонтьев у крымского помещика Шатилова, получив отпуск с военной службы. У Шатилова начат роман «Подлипки», опубликованный осенью 1861 года в «Отечествен-

³⁾ «Мои дела с Тургеневым», Собр. соч., т. 8.

⁴⁾ Собр. соч., т. 1, стр. IX. «Ненавистная господствующая у нас школа» — гоголевская.

ных Записках». В «Подлипках» имя героя — Ладнев. Так же называет Леонтьев героя «Египетского голубя», повести уже прямо и откровенно автобиографической. В 1857 году писатель получает увольнение от службы, возвращается в Москву, хлопочет о месте: принадлежащая ему часть имения (Леонтьев не единственный сын) прокормить его не в состоянии. Два года живет он в имении баронессы Розен в Нижегородской губернии в качестве домашнего врача. Но тишина и размеренность жизни становятся для него несносными. Кудиново, родовое гнездо, затем — Петербург. Но Петербург — «Современника», Некрасова, Добролюбова, Чернышевского — отвратителен Леонтьеву. Он — явление в России своеобычное, глубоко нерусское. Никакой моральной сентиментальности. Никакой любви к человечеству вообще. Она и невозможна, эта любовь к неведомому человечеству, — возмущается Леонтьев: реально и крепко, действительно можно любить только близкого своего, да так и надо... Ведь только для себя и для своих кровных близких делает человек что-то ценное — ценное для культуры всемирной: то, что он делает «для человечества вообще», неизбежно плохо, малокровно, никому — тому же отвлеченному человечеству, в частности, — не нужно...

«Верно только одно, — точно — одно, одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений? На что эти младенчески болезненные мечты и восторги? День наш — век наш! И потому терпите и заботьтесь практически лишь о ближайших делах, а сердечно — лишь о ближних людях — именно о ближних, а не о всем человечестве.»⁵⁾

Леонтьев — единственный, может быть, в России подлинный человек Возрождения, с его эгоизмом, с его открытой душой к прямой красоте, а не поэтичности (то есть красоте косвенной, опосредствованной), с его жаждой утонченного, а зачастую и грубоватого сладострастия, с его неумностью к пестроте, яркости, диковинности — и это не в искусстве, а в самой жизни. Не эстетика отражений (т. е. искусства), а эстетика самой жизни. Поэтому несколько наивно звучат слова Н. Бердяева в его известной книге о Леонтьеве: «...эстетический вкус его не был безупречен. В нем не было настоящей утонченности западных эстетов. Его эстетическая культура не была достаточно высока»⁶⁾ и т. д. Здесь — явное смешение понятий «эстетики жизни» и «эстетики истории», как их понимал Леонтьев, — и эстетизма, даже эстетства, как пассивного восприятия образов отраженной красоты — образов искусства.

⁵⁾ «Наши новые христиане», 1880, Собр. соч., том 8, стр. 189.

⁶⁾ Н. Бердяев. Константин Леонтьев. Париж, 1926. стр. 172.

«Нет, не нравственная, но эстетическая сторона почти всех празднеств XIX века не хороша. Не душевный смысл их, а пластические формы ужасны!» — пишет Леонтьев Фету в 1889 году.⁷⁾ И в век, ораторствовавший: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — он писал:

«Игнат Лойола и Джон Нокс или сам Лютер, Петр Пустынник или Иоанн Гус, Папа Лев X и даже Александр Борджиа, испанский гранд или итальянский нищий и т. д. будут, как живые образы, как люди жизни, беспрестанно рассматриваемые, всегда интереснее (т. е. прекраснее, т. е. культурнее), чем все члены нынешних представительных собраний и чем все кабинетные труженики вместе взятые».⁸⁾

Это не могло не раздражать. С самого начала литературной деятельности Леонтьева его ругали, почти не читая. Когда вышел в 1864 году второй большой роман Леонтьева «В своем краю» («Отечественные Записки»), в «Современнике», как пишет автор в своем литературном завещании, —

«роман очень язвительно сравнен (был) с хрестоматией, в том смысле, что он будто бы весь слит из кусков Тургенева, Л. Толстого, Писемского и Григоровича. Критика, — замечает автор, — очень хороша, и роман, за грубость некоторых приемов, заслуживает строгого разбора... По мысли, конечно, он самобытен».⁹⁾

Но чаще всего о Леонтьеве просто молчали... А, вместе с тем, уже первые зрелые вещи К. Н. — «Подлипки» и «В своем краю» — написаны во многом по-новому, как до него никто не писал. Элементы импрессионизма, элементы «бессюжетности» и тонкой словесной живописи неоромантического склада, некоторая чрезмерность эротичности — при ненависти ко всему внешне грубому и неязвучному: для Леонтьева всякая простота хуже воровства...

В 1861 году Леонтьев совершенно неожиданно, никого об этом не извещая, отправляется в Феодосию и венчается там с красавицей гречанкой, полуграмотной и неумной, дочерью мелкого торговца-мещанина, Елизаветой Павловной Политовой. Изменяет он ей постоянно, влюбчивость Леонтьева чрезвычайна. Но Леонтьев не бросает жену никогда, терпеливо неся крест брака с женой-неовоной, женой, к тому же, вскоре сошедшей с ума. На брак Леонтьев всегда смотрел — с человеческой, житейской точки зрения — как на гибель всякой поэзии, всякой любви. Уже герой «Подлипок» восклицал:

«О, Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным как

⁷⁾ «Не кстати и кстати». См. собр. соч., том 7, стр. 485.

⁸⁾ Собр. соч., том 7, стр. 535.

⁹⁾ Собр. соч., том 1, стр. IX-X.

свежий осенний день?.. Эта светлая одинокая жизнь не лучше ли и душевного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?»

О прозе семейной жизни проповедует и Ладнев, герой «Египетского голубя». Только религия делает — и притом принудительной и тяжелой церковной санкцией — и только через таинство брака — семью прочной и незыблемой. В «Византизме и славянстве» автор недоумевает даже, как это можно говорить о природной и изначальной прочности русской семьи: мы, русские, вернее, великорусы, гораздо менее награждены семейным инстинктом, чем англичане, немцы, турки, даже наши же украинцы.

«Семья?.. Но что ж такое семья без религии? Что такое русская семья без христианства? Что такое, наконец, христианство в России без византийских основ и без византийских форм?»¹⁰⁾

Таким образом, только византийские формы, привитые к дичку русской анархической семьи, делают ее — и только через церковь — крепкой и принудительно-крепкой. . .

После брака, да еще после крестьянской реформы, Леонтьев окончательно остается без средств существования. Пришлось опять поступить на службу — на этот раз дипломатическую. В 1863 году К. Н. уезжает на о. Крит, секретарем консульства. Так начинается его жизнь на Востоке, привлекающем его пестротой и своеобразием быта, непохожестью на ненавистную ему Европу XIX века своей поэзией первобытной нетронутости и многонациональности. Леонтьев — романтик, и романтик европейского, нерусского склада. Он не видит красоты-выразительности. Его идеал — идеал пластической красоты. Не Рембрандт, а Рафаэль. Не Гоголь, а «многообразный, чувственный, воинственный, демонически-пышный гений Пушкина».¹¹⁾ Не «розовый христианин вселюбви» — Достоевский, а, скорее, «умный турецкий паша», хорошо понимающий, что —

«хорошие люди... нередко бывают хуже худых... Личная честность, вполне свободная, самоопределяющаяся нравственность могут лично же и нравиться, и внушать уважение, но в этих непрочных вещах нет ничего политического, организующего. Очень хорошие люди иногда ужасно вредят государству, если политическое воспитание их ложно, и Чичиковы, и городничие Гоголя несравненно полезнее их для целого»...¹²⁾

На Востоке Леонтьеву нравится все, вернее, почти все: и быт, и красочные обычаи, и яркие, живописные костюмы. Не нравится ему — как и герою его «Египетского голубя» Ладневу, — только семья. Не нравится она ему прозаической прочностью и незыбле-

¹⁰⁾ Собр. соч., том 5, стр. 119.

¹¹⁾ Собр. соч., том 8, стр. 177.

¹²⁾ «Византизм и славянство», Собр. соч., том 5, стр. 143.

мостью, первобытной простотой своей. Ладнев в «Египетском голубе» говорит:

«Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга, который довольствовался только тем, что изредка видел, как вдали ангел красоты отворял окно своей кельи, и до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гете, Альфреда де Мюссе, Пушкина и Фета».

Леонтьев — европеец-романтик. Он бежит из Европы «мещанско-либеральной», как бежали из нее Байрон в вымечтанную романтическую Грецию, Шатобриан — в не менее фантастические Средние века, как пушкинский Алеко — к оперно-балетным красочным цыганам. . .

Чем же привлекает Ладнева-Леонтьева Восток?

«... Дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть».¹³⁾

На Востоке Леонтьев находит и первобытную гомерическую поэзию младенчества, и сложное цветение своеобразного иерархического строя, турецкого феодализма и греческой православной строгой и культуросной церковной иерархии. На востоке написана и самая интересная его повесть из русской жизни — «Исповедь муча» (1866) —

«в высшей степени безнравственное, чувственное, языческое, дьявольское сочинение, тонко-развратное; ничего христианского в себе не имеющее, но смелое и хорошо написано; с искренним чувством глубоко развращенного сердца»,

— так характеризует эту свою вещь сам автор, уже будучи монахом. И прибавляет:

«Если бы успел приделать к нему эпилог, в котором, по крайней мере, объяснил бы вопрос с церковной точки зрения, в противоположность чистой этике (которую я и теперь, при всей искренности моей веры, мало уважаю), то еще было бы сносно. Но я бы просил в этом виде ее не печатать: грех! и грех большой! Именно потому, что написано хорошо и с чувством».¹⁴⁾

Уже эта повесть — яркий протест, вызов всем социальным устремлениям XIX века: воинствующий индивидуализм — совсем иной окраски, чем у Достоевского в «Записках из подполья», написанных почти одновременно, но столь же непримиримый; тот же

¹³⁾ «Египетский голубь». 1881, Собр. соч., том 3, стр. 308-309.

¹⁴⁾ Собр. соч., том 1, стр. X.

протест против дважды два четыре, против фетишизации здравого смысла.

На Востоке же написаны и повести «Из жизни христиан в Турции». На Востоке же задумана и пишется огромная эпопея — цикл из пяти (или еще большего числа) романов «Река времен». Романы эти должны были показать и излюбленную автором усадьбеную жизнь, и язвы, и пути России начиная с 1811 и по 1862 год. Криту, на котором Леонтьев пробыл около полугода, посвящены «Очерки Крита», «Хризо», «Хамад и Макалы». Но на Крите, где К. Н. пережил «медовый месяц своей службы», остаться не пришлось: Леонтьев (как и герой «Египетского голубя») ударил хлыстом французского консула за оскорбительные для России слова этого «несчастливого европейца». К. Н. отозвали в Константинополь, и через четыре месяца назначили секретарем консульства в Адрианополь. В 1867 году Леонтьев — вице-консул в Тульче. Там и начались первые симптомы сумасшествия жены, вероятно, из-за ревности: К. Н. постоянно изменял своей красивой простушке. В 1869 году Леонтьев — консул в Янине, с 1871 года — консул в Салониках. Жизнью своей на Востоке К. Н. доволен, считает, что лучшей службы не может и быть, только вот денег ему, привыкшему к барскому образу жизни, не хватает, он весь в долгах, как в шелках... Дипломату К. Губастову, своему приятелю по работе на Ближнем Востоке, он пишет деловито и ясно:

«Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя послушайте моих советов: 1) не откладывая, заведите себе любовницу простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно; 4) не радуйтесь вниманием франков; 5) гуляйте почаще на берегу Тунджи и вспоминайте меня; 6) пойдите когда-нибудь с кавасом к мечети Султан Баязета и устройте там на лужайке, около киоска, борьбу молодых турок, под звук барабана; это прелесть!» И в другом письме: «Не думайте, чтобы моя личная жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна». Жену он по-своему любит, но удивляется: «отчего же на брак не хотят смотреть, как на общественное тягло»; «брак же для женщины опасен физически, а для мужчины — скучен большей частью крайне»; «брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала».

На Востоке Леонтьев упивается эстетикой турецкой жизни, уважает, как хранителей византийского церковного идеала, греков — и презирает славян. Он считает, что балканские и западные славяне с их стремлением стать «средними европейцами» — взрывчатый материал для России, носительницы византийских охранительных начал. Эстетически же ему эти обезличенные европеизированные славяне просто омерзительны:

«Чобан-оглу (болгарин, врач, в повести «Египетский голубь», Б. Ф.) настолько стал европейцем, насколько нужно греку или болгарину, чтобы стать пош-

лее и, утратив оригинальность, не приобрести ничего того высшего, что может дать истинная образованность».

И «больной человек» — Турция, и «лоскутная империя» — Австро-Венгрия, — необходимы для того, чтобы сохранить мир и мировое будущее от распада, по крайней мере, необходимы для того, чтобы задержать процесс гниения мира, процесс «вторичного смещения». Всякое национально-освободительное движение в XIX веке неизбежно должно вылиться в те же формы «эгалитарно-обезличивающего прогресса», который должен погубить человечество. И в русском-то народе, в противовес славянофилам, Леонтьев не видит природно-привлекательных черт: ни семейственности, ни чувства родовой чести, ни рыцарства, ни устремленности к высокой духовной культуре. Одно делает русский народ, по мнению Леонтьева, пригодным, может быть, для той роли, которая возложена на него: задержать, насколько это возможно, процесс всеобщего «вторичного смещения». Это качество — сильное развитие в великорусском народе чувства государственности: «государство у нас всегда было сильнее, глубже, выработаннее не только аристократии, но и самой семьи».¹⁵⁾ На Востоке кристаллизуются и взгляды Леонтьева на исторический процесс, вырабатывается его «троединная формула процесса развития», блестяще изложенная позднее в лучших произведениях писателя — «Византизме и славянстве» (1875), и посмертном «Среднем европейце, как идеале и орудии всемирного разрушения».

На Востоке же пишет Леонтьев и большой роман из греческой жизни — «Одиссей Полихрониадес», роман рыхлый и скучноватый. Сам автор явно переоценивал его, называя своим лучшим творением. Авторская оценка не всегда справедлива.

В июле 1871 года, после сильнейшего приступа холеры, после очередного драматического увлечения (это мы знаем из писем к Розанову), в страхе смерти и загробной ответственности (а для Леонтьева христианство — не проповедь всеобщей, а прежде всего страха Божий и жажда личного спасения: «трансцендентальный эгоизм»), — К. Н. дает обет поступить в монахи, отправляется на Афон, к старцам. Сначала остается он там недолго, возвращается в Салоники, сжигает там многолетний труд свой — серию романов «Река времен».¹⁶⁾ Эта жертва Богу и все тот же страх смерти-уничтоже-

¹⁵⁾ «Византизм и славянство». Собр. соч., том 5, стр. 127.

¹⁶⁾ До сих пор считалось, что «Река времен» погибла для нас совсем. Однако в томе 22—24 «Литературного наследства», Москва, 1935, в примечаниях С. Н. Дурылина сказано, что неизданный роман «От осени до осени», составляющий пятое звено цикла «Река времен», уцелел. Дурылин приводит извлечение из этого романа. В примечаниях Дурылина указан еще один роман Леонтьева — «Две избранницы», первая часть которого обнаружена в журн. «Россия» за 1885 г., вторая часть сохранилась в рукописи, третья утеряна.

ния («ибо вера в Личного Бога давно далась мне гораздо легче, чем вера в мое собственное бессмертие», — как пишет он Розанову), снова приводят его в монастырь, на Афон. «Я поехал на Афон, чтобы попытаться стать настоящим православным». Пережитый Леонтьевым ужас «был в одно и то же время и духовный и телесный; одновременно и ужас греха и ужас смерти... Черта заветная была пройдена. Я стал бояться Бога и смерти». Это — в письмах. А вот из посмертных воспоминаний «Моя литературная судьба», со знаменательным эпиграфом на рукописи: „Ars longa, vita brevis“:

«На Афоне внутреннее состояние мое было ужасно; оно было гораздо хуже московского; я не хотел умирать, и не верил, что я буду еще жить, я думал, что все меня забыли и сам искал только забыть всех; но я со скрежетом зубов, а не с истинным смирением покорился этой мысли о забвении мира и смерти... Я не мирился с нею; я думал больше о спасении тела своего, чем о спасении души; только чтение духовных книг и беседы Иеронима и Макария (старцев афонских, В. Ф.) поднимали меня на те тяжкие, тернистые высоты христианства, на которых человек становится в силах хоть на минуту говорить себе: 'чем хуже, тем лучше: так угодно Богу; да будет воля Его'...»¹⁷⁾ «И если я смирился, то это никак не потому, что я в свой собственный раз ум стал меньше верить, а вообще в человеческий разум. Я нахожу теперь, что самый глубокий блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший... Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня; я нахожу, что Богу было угодно убить меня...»¹⁸⁾

Смирение? Или бунт против Бога, да еще в самой его утонченной форме? Гордыня?

«Мне скажут, что под этим церковным смирением моим скрыта непомерная житейская гордость, такая сатанинская гордость, которую трудно было бы и ожидать от того товарищеского добродушия, уживчивости, мягкости характера, за которые меня многие любят... А я скажу: да! В этих записках она даже и не скрыта — эта гордость, и кто любит меня, пусть любит меня со всеми моими пороками. Пусть любит меня и с этой моей самоуверенностью! Тем более, что я все-таки прав...»¹⁹⁾

Нелегко было Леонтьеву побороть этот дух самоудовлетворенной — в глубинах духа своего — самости. Он и не поборол его — пал в неравной борьбе. Монахи не были к нему строги. Они, как на Афоне, так, позднее, и в Оптиной пустыни, даже благословляли его на писательство:

«Знаете ли вы, — пишет он в письме к А. Александрову, — что я две самые лучшие свои вещи, роман и не-роман («Одиссея» и «Византизм и сла-

¹⁷⁾ «Литературное наследство», том 22-24, Москва, 1935, стр. 465.

¹⁸⁾ Там же, стр. 467.

¹⁹⁾ Там же, стр. 468.

вянство») написал после 1½ года общения с Афонскими монахами, чтения аскетических писателей и жесточайшей плотской борьбы с самим собою?»

Консульская карьера Леонтьева закончена. Он, после года на Афоне, уходит в отставку, поселяется в Константинополе, пытается уговорить своих афонских наставников постричь его в монахи, — в чем ему монахи, совершенно резонно, отказывают, — снова любит и увлекается, пишет и пытается убеждать Вронских, которые его не слушают, обращается не по адресу к своей эпохе, которая не понимает его, и к своим современникам, одержимым духом социальной справедливости и, поэтому, его не слушающим. «Страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом», как называет творчество и горячую проповедь Леонтьева единственный человек, сердечно пришедший к нему, увы, в самый последний год жизни К. Н. «Неоцененный и не о ж и д а н н ы й друг», — так именует молодого Розанова умирающий Леонтьев. Но это — после, это перед самым концом. А сейчас — одиночество, полунница, главное же — забытость, неприкаянность, ненужность никому в эпохе.

В 1874 году окончательно покидает Леонтьев Восток, и едет в Москву, затем в Кудиново, которое вскоре вынужден продать — долги одолели — разбогатевшему мужику. Наконец, — последнее пристанище — «консульский домик» вне ограды Оптиной пустыни, тайный постриг, ученичество у старца Амвросия. Первое посещение Оптиной пустыни — в 1874 году. Окончательное поселение в ней — в 1887 году. В промежутке — скитальчество, редактирование официального «Варшавского Дневника», в котором К. Н. числился официально лишь помощником редактора, работа в «Русском Вестнике» Каткова, которого не любил; да и Катков считал Леонтьева полубезумным баричем... Но и в Оптиной страсти не оставляют писателя, он, как видим из его записок, отнюдь не смирился... В консульском доме пустыни Леонтьев живет, — а он тайный монах, — с безумной женой, со старыми верными слугами, которых по-помещичьи любит, живет, сохраняя весь дорогой ему уклад усадебной жизни. И продолжает писать, часто подспудно. Написанная им для издания книга «Отец Климент Зедергольм. Иеромонах Оптиной пустыни» значительно менее интересна, чем обнаженные до предела его воспоминания «Моя литературная судьба» или такие же письма к Розанову. Но в Оптиной пустыни написана и такая замечательная книга, как «Анализ, стиль и веяние (о романах гр. Л. Толстого)», написанная тоже слишком рано, — это ведь первый, после Аполлона Григорьева, опыт создания русской эстетической и философской критики. В Оптиной же пишется и «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения». Теперь пессимизм Леонтьева принимает совсем уже черную окраску. Нет,

и русский монархизм и русское православие не задержат, не замедлят прихода всеобщего вторичного смещения, не задержат смерти. Национальный идеал для Леонтьева был всегда служебным, а верховной ценностью была идея религиозная или эстетико-культурная. Одно утешает его: испытав даже коммунизм, разочаровавшись в науке, как панацее от всех бед, человечество неизбежно придет к «сознанию своего практического бессилия», к «мужественному покаянию и смирению перед могуществом и правотою сердечной мистики и веры».²⁰⁾

Жесткий и даже жестокий в предельной честности и открытости мысли своей, мысли ни перед чем не останавливающейся, Леонтьев в жизни был добр, благодушен, жалостлив. В посмертно изданном отрывке «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе», он писал о —

«той любви к людям, о которой я никогда не проповедывал пером, представляя это другим, но искренним и горячим движениям которой я, кажется, никогда не был чужд. Близкие мои знают это».²¹⁾

Тяжелые лишения — и это для ни в чем не привыкшего отказывать себе человека; заброшенность и одиночество заставляют на минуту даже покачнуться гордыню леонтьевской самости:

«... хотя я очень самолюбив и даже иногда до крайности тщеславен (пишет он в «Моей литературной карьере»), но когда дело касается до моего ума и литературных способностей, то сознаюсь, в них-то я так уверен, что гордость моя уже мало и места оставляет тщеславию или жажде одобрения...»

Только в самые последние годы, когда я впервые почувствовал глубоко, что смерть моя уже наверное не за горами, я стал мелочнее и насчет литературы; я стал более прежнего дорожить моим положением литератора; прежде я дорожил больше мнением какого-то незримого гения чистой красоты, который парил вокруг меня в те часы, когда я думал, писал и перечитывал написанное мною; я больше чтил это незримое воплощение собственных критических вкусов моих, чем мнение того или другого писателя или редактора. Я знаю, как ошибочны и как еще чаще неискренни и расчетливы эти мнения. Теперь, когда внутренние силы стали слабеть в неравной и долгой борьбе, когда разнородные бури души моей износили преждевременно мою от рождения не сильную плоть, когда я, просыпаясь утром, каждый день говорю себе *memeto mori* и благодарю Бога за то, что я жив, и даже удивляюсь каждый день, что я жив... Теперь, когда мне нужны деньги не для того, чтобы дарить пятичервонные австрийские золотые на монисто какой-нибудь янинской шестнадцатилетней турчанке, не для того, чтобы с целой свитой скакать по горам и покупать жене обезьян и наряды,

²⁰⁾ Собр. соч., том 8, стр. 191.

²¹⁾ Собр. соч., том 9, стр. 12-13.

лишь бы только она не скучала и не мешала мне делать, что хочу... — но для того, чтобы сшить себе дешевые сапоги, чтобы купить жене калоши, чтобы голод, наконец, не выгнал меня и близких моих отовсюду, из монастыря... на какую-нибудь работу не по силам и вкусу... Теперь я смирился, если не в самомнении, то по крайней мере в том смысле, что сила солому ломит... и что прежним величавым удалением среди восточных декораций, прежней независимостью я уже ничего не сделаю... Я смирился литературно в том смысле, что иногда... даже (каюсь, каюсь и краснею от этого чувства...) я подобно другим желал бы быть членом обществ разных, принимать участие в юбилеях, в чтении публичных, над которыми я всю жизнь мою так смеялся и которые так презирал за то, что у одного лишь Тургенева находил наружность пригодную для публичной поэзии». ²²⁾

Но сразу же — вслед за минутной слабостью — не поддамся! А все-таки она вертится! И вновь отстаивает Леонтьев свой «триединый процесс развития», нацело, казалось бы, лишающий людей всякой свободы выбора, всякой возможности проявления своеволия, но приводящий автора к какой-то — логически непонятной — свободе. Как раз обратное Шигалеву: тот, «выходя из абсолютной свободы, кончал абсолютным деспотизмом», и это строго логически, — а Леонтьев, исходя из полнейшего деспотизма, прорывался к духовной свободе и даже своеволию. И при этом уговаривал себя: смиришь. Воля Провидения. И не смирился...

Так и умер он, никем непонятый, непризнанный, чужой всем. Умер монахом, но и на смертном одре бушевал, кричал, что умирать не хочет, не согласен... Умер он от воспаления легких 12 ноября 1891 года, шестидесяти лет от роду...

•

В чем же состоят эти воззрения Леонтьева на «триединый процесс развития» и его взгляды на «эстетику жизни и истории»?

«Увлекаясь то какой-то холодной и обманчивой тенью скучного, презренного всемирного блага, то одними племенными односторонними чувствами, мы можем неисцелимо и преждевременно расстроить организм нашего царства, могучий, но все-таки способный, как и все на свете, к болезни и даже разложению, хотя бы и медленному. Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий. Во всех положительных религиях, кроме огромной поэзии их, кроме их необычайно организующей мощи, есть еще нечто реальное, осязательное. В идее всеобщего блага реального нет ничего. Во всех мистических религиях люди согласны, по крайней мере, в исходном принципе... А общее благо, если только начать о нем думать (чего обыкновенно, говоря о благе и пользе, в наше время и не делают), что в

²²⁾ «Литературное наследство», т. 22-24, Москва, 1935, стр. 452-453.

нем окажется реального, возможного? Это самое сухое, ни к чему хорошему, даже ни к чему осязательному не ведущее отвлечение, и больше ничего. Один находит, что общее благо есть страдать и отдыхать попеременно и потом молиться Богу; другой находит, что общее благо это — то работать, то наслаждаться, всегда, — и ничему не верить идеальному; а третий — только наслаждаться всегда, и т. д. Как примирить, чтобы всем нам было полезно (т. е. приятно-полезно, а не поучительно-полезно)?.. Однообразно-настроенное и блаженное человечество — это призрак и вовсе даже не красивый, и не привлекательный»...²³⁾

Свести все противоречивые и противоположные человеческие устремления, волнения, желания к чему-то средне-статистическому — значит ничего не разрешить и никого не удовлетворить. Гетерогония человеческих воль и целей исконна и вековечна, да так и надо, это и создает движение в мире, создает саму жизнь. Но, может быть, можно реформировать общество, построив его на принципах здравого смысла? Если и не все будут удовлетворены — это невозможно! — то хотя бы здравые притязания окажутся не за бортом жизни? Но что такое сам-то «здравый смысл»?

«Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав, а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на Средние века как на безумие веры, а ХХI век не взглянет ли на нас, как на безумие положительности, здравого смысла и пользолубия?»²⁴⁾

За три года до этого Достоевский в «Записках из подполья» (1864) заявлял:

«Выгода! Что такое выгода? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что, если так случится, что человеческая выгода, иной раз, не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного?.. Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши выгоды это — благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, так что человек, который бы, например, явно и зазнамо пошел против всего этого реестра, был бы по-вашему... обскурант или совсем сумасшедший, так ли? Но ведь вот что удивительно: отчего это происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают?.. Беда бы не велика взять бы ее, эту выгоду, да и занести в список. Но в том-то и пагуба, что эта мудреная выгода ни в какую классификацию не попадает и ни в один список не умещается... Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы да-

²³⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., том 5, стр. 145-146.

²⁴⁾ «Исповедь мужа». 1867. Собр. соч., том 1, стр. 598.

же до сумасшествия, — вот это-то и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, ...от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чорту... Человеку надо — одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы не привела».

Леонтьев, отрицательно относившийся к Достоевскому и его «розовому христианству», высоко ценил «Записки из подполья», но воинствующий индивидуализм Достоевского был ему не по душе. Сам он пытался оставить в какой-то мере здравый смысл и выгоду на потребу практической жизни отдельного человека, выключая их из высших принципов своей историософии.

«Все, что я говорю, — пишет он в «Исповеди мужа», — не совсем согласно с философией здравого смысла... Для философии мироздания здравый смысл нигде не годится, но для философии жизни он одно спасение».²⁵⁾

Но и в социально-политической жизни целых народов и государств Леонтьев приемлет в известной мере здравый смысл и выгоду, как оценочный критерий и как побудительный жизненный импульс. Не приемлет он их только, как высший, всеобъемлющий критерий, тем более, как критерий всеобщий.

«Вы видите, я ничего не говорю о сочувствиях, о страданиях и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут. Откровенное обращение к интересам эгоистическим вернее. Если эгоизм государственного долга совпадает с преданиями, с привычными сочувствиями и т. п. вещами, очень высокими и важными (но не всегда политическими), тем лучше: можно верить бескорыстно сильной державы».²⁶⁾

Альтруизм, самопожертвование — все это приложимо только к отдельной человеческой личности, и то в плане религиозно-мистическом, в плане личного спасения, «трансцендентального эгоизма», ибо личность человеческая бессмертна и ее ждет воздаяние за гробом. Ну, а нация, государство — они-то не бессмертны, они живут свой век (1000-1200 лет максимум, как определяет Леонтьев), — для них, следовательно, в их практической жизни, критерий чисто эгоистический только и верен, и только он. В этом Леонтьев — прямой ученик Н. Я. Данилевского,²⁷⁾ зависимость от которого — в ряде по-

²⁵⁾ Собр. соч., том 1, стр. 608.

²⁶⁾ «Панславизм и греки». 1873. Собр. соч., том 5, стр. 13.

²⁷⁾ См. Н. Я. Данилевский, «Россия и Европа». Изд. 5-е, Спб., 1895, стр. 31-32: «Требование нравственного образа действия есть ничто иное, как требование самопожертвования. Самопожертвование есть высший нравственный закон... Но единственное основание для самопожертвования есть бессмертие, вечность внутренней сущности человека; ибо для того, чтобы строгий закон нравственности или самопожертвования не был нелепостью, заключающей в себе внутреннее противоречие, очевидно, необходимо, чтоб он вытекал из внутренней природы того, кто должен на его основании действовать, точно также, как и во всех природных или, что то же самое, божественных законах. Но если для человека все оканчивается здешней жизнью,

ложений своего учения — сам он охотно признавал. Эгоизм, как вполне законный стимул поведения государства и отдельной личности — в пределах ее чисто-животной жизни, — не может, однако, быть высшим мерилom оценки. Но он, эгоизм, хорош тем, что не позволяет ни личности, ни государству «заноситься», превозносить себя превыше всего; всякий эгоизм в глубине души сознает свою относительность, ограниченность другими личными и национальными, культурными и государственными эгоизмами, — и принужден прибегать — для оценки событий, поступков, творчества и поведения — к какому-то другому, высшему критерию. Поэтому для отдельной личности высочайшим мерилom является религия: страх смерти и ответа на Страшном суде; жажда личного спасения — «трансцендентальный эгоизм» (в чем и заключается и мистическая, и жизненная сущность христианства для Леонтьева). Но может ли служить это мерило всеобщим критерием оценки? Оценки исторического процесса, оценки государственной деятельности? Нет, не может — категорически отвечает Леонтьев. Да, религия, церковь — выше государства, как государство выше племени, народа. Но можно ли судить магометанина или мусульманское государство с точки зрения догм христианской морали, и наоборот? Можно ли судить неверующего так, как верующего? Нет, нельзя, — говорит Леонтьев. Религиозный критерий — критерий абсолютный и высший, но не самый широкий, не универсальный и не может быть таковым. Еще менее может быть таким критерием критерий национально-племенной. «Народ — тело Божие», — свидетельствует Достоевский устами Шатова.

«Племя, разумеется, — явление очень реальное, — усмехается Леонтьев. — Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все

то, без сомнения, и законы его деятельности не могут ни откуда иначе почерпаться, как из требований этой жизни, — из того, что составляет ее сущность, то-есть из требований временного спокойствия, счастья, благоденствия, в которых каждое существо находит конечную и даже единственно вообразимую цель своего бытия... Но государство и народ суть явления преходящие, существующие только во времени, и, следовательно, только на требования этого их временного существования могут основываться законы их деятельности, то-есть политики... Бентамовский принцип утилитарности, то-есть здравого понятия пользы, — вот закон внешней политики, закон отношений государства к государству. Тут нет места закону любви и самопожертвования...»

Сравни также мысли Достоевского, что без идеи Бога и бессмертия логическим следствием в отношениях людей будет каннибализм.

великие нации очень смешанной крови... Любить племя за племя — натяжка и ложь... Равенство лиц, равенство сословий, равенство (т. е. однообразие) провинций, равенство наций — это все один и тот же процесс; в сущности, все то же всеобщее равенство, всеобщая свобода, всеобщая приятная польза, всеобщее благо, всеобщая анархия, либо всеобщая мирная скука. Идея национальностей чисто племенных в том виде, в каком она является в XIX веке, есть идея, в сущности, вполне космополитическая, антигосударственная, противорелигиозная, имеющая в себе много разрушительной силы и ничего созидającego, наций культурой не обособляющая; ибо культура есть нечто иное, как своеобразие; а своеобразие ныне почти везде гибнет преимущественно от политической свободы. Индивидуализм губит индивидуальность людей, областей и наций». ²⁸⁾

Культура, т. е. своеобразие, своеобычность — вот критерий оценки. А это своеобычие является продуктом безудержного эгоизма, борьбы наций, классов, сословий, плодом многой крови и обилия страданий. И в основе своеобразия этого — свободная игра злых и добрых сил, лишенная моральной опеки всенивелирующего «здорового смысла» и «общественной выгоды», никогда с личной выгодой не совпадающей.

«Под словом культура я понимаю вовсе не какую попало цивилизацию, грамотность, индустриальную зрелость и т. п., а лишь цивилизацию свою по источнику, мировую по преемственности и влиянию. Под словом «своеобразная мировая культура» я разумею: целую свою собственную систему отвлеченных идей, религиозных, политических, юридических, философских, бытовых, художественных, экономических (необходимо прибавить, когда дело идет о нашем времени, — ибо нельзя же отвергать, что экономический вопрос везде теперь стоит на очереди и что та нация, или то государство, которому посчастливится захватить в свои могучие и охранительные руки это теребовое и ничем до поры до времени неотвратимое движение умов, станет на целые века во главе человечества и не только себя прославит неслыханно, но и предохранит множество драгоценных этому человечеству предметов и начал от насильственного разрушения»). ²⁹⁾

(Окончание следует)

²⁸⁾ «Византизм и славянство». 1875. Собр. соч., т. 5, стр. 147.

²⁹⁾ «Письма о восточных делах». 1882-83. Собр. соч., том 5, стр. 386-387.

ЛЕВ ШЕСТОВ

П Л А Т О Н

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «SOLA FIDE»

Ожесточенная и резкая полемика Аристотеля против Платона всем известна. Известно тоже, что центральным пунктом своих нападений на учителя Аристотель избрал учение Платона об идеях. Платон утверждал, что идеи имеют независимое трансцендентное существование, т. е. что поверх доступного обыкновенному познанию видимого мира, существует еще один невидимый, недоступный чувствам мир, и что этот мир постигается в моменты вдохновенного прозрения некоторыми людьми, и он, этот фантастический, с точки зрения обыкновенного сознания, мир и есть единственно реальный мир, в котором жила всегда душа до ее соединения с телом, и куда она вновь вернется, когда сбросит с себя оковы своего земного существования. Только в мире, прекрасном и совершенном, жизнь имеет смысл и значение, только он прекрасен и привлекателен, обыкновенный же мир возбуждает в прозревшем человеке лишь отвращение и презрение. Диалектика главным образом и направлена на то, чтобы разрушить привычные наши привязанности к тому, что привязанности не заслуживает. Отвращение к видимому миру, неудовлетворенность обычными его, даже лучшими благами, есть начало очищения, т. е. начало мудрости, ведущей к постижению истинного и вечного добра. Пока ты ценишь и любишь то, что считается ценным и хорошим большинством людей, пока ты гонишься за почестями, славой, блеском, богатством, за радостями

Печатаемые здесь главы о философии Платона входят в книгу Л. Шестова «Только верой», часть которой была издана на французском языке («Sola Fide», Luther et l'Eglise (traduit du russe par Sophie Sève) Presses Universitaires, Paris 1957); некоторые из глав этой книги в разное время появлялись и в русской зарубежной печати. Главы о Платоне (всего их шесть) не вошли во французское издание; не появлялись они и в русских журналах и печатаются нами впервые. Из-за недостатка места в этом альманахе мы печатаем три главы, в следующем будут даны три оставшиеся. (Ред.).

жизни — ты слепец, не подозревающий, что ты идешь прямым путем к пропасти, к вечной гибели. Задача философа состоит в том, чтобы обесценить в своих глазах и глазах близких людей все благо, чтобы сделать обычную жизнь постылой и противной, и поставить, как цель жизни, тоску по иному миру, где вечное добро сменяет преходящие и потому мало стоящие ценности, влекущие к себе ныне толпу людей, не знающих, что им нужно. В VII главе своего «Государства» Платон рассказывает, ставшую знаменитой, притчу о пещере. Мы все сидим в пещере, спиной к истинной и прекрасной жизни. Нам не видна действительность — мы видим только на стенах своей пещеры тени от действительных вещей. И мы так привыкли к сумраку своего мрачного обиталища, что яркий свет истины и реальности нам страшен. Как совы и другие ночные птицы, мы можем жить только во тьме. Свет ослепляет нас.

Это платоновское учение об идеях казалось более всего невыносимым Аристотелю; он, как я сказал, напал на своего учителя со всей беспощадностью убежденности, верующей в свою правоту. Он забыл даже благодарность, которая обязывает учеников. Истина прежде всего. Дружба должна склониться перед истиной. Даже наиболее горячие поклонники Аристотеля находят выпады его против Платона слишком резкими. Но, самое любопытное, опять-таки даже наиболее пылкие защитники Аристотеля должны были признать два обстоятельства. Во-первых, несмотря на свое резкое полемическое отношение к Платону, Аристотель все-таки в своей метафизике принужден был принять многое из учения об идеях. И второе — метафизика Аристотеля не более свободна от противоречий, чем метафизика Платона. А меж тем критика платоновских идей у Аристотеля всецело (как и всякая, впрочем, философская критика) основывается на выявлении противоречий разбираемого учения. Является вопрос: если взамен учения, отвергаемого, как противоречивое, приходится предложить другое учение, столь же противоречивое, то что этим достигается? И еще более интересный — а для нас особенно существенный вопрос — действительно ли Аристотель отверг учение Платона об идеях из-за замеченных им в этом учении противоречий? Если хотите, поставьте проблему более обще — позже все равно нам придется это сделать — действительно ли мы отворачиваемся от того или иного учения, потому что мы заметили в нем противоречия? Или решающим моментом тут является нечто иное?

Обращаю внимание на указанное соображение: аристотелево учение о форме и материи страдает не меньшими противоречиями, чем учение Платона об идеях, как истинных реальностях. Аристотель хочет думать, что единственной реальностью являются индивидуальные вещи. Но он не хочет уйти от Сократа и Платона. Он признает, что чувственное восприятие не может быть источником

познания, что познание направлено не на изменяющееся и преходящее, а на вечное и неизменное, что стало быть предметом познания является не частное, индивидуальное, т. е. единственно, по его мнению, реальное, а общее, т. е. по его учению на самом деле не существующее. Это противоречие проходит через всю систему метафизики Аристотеля. У него получается, что познание, т. е. высшее, относится к чему-то не реальному, и он так же мало может вывести свое реальное, т. е. единичные, индивидуальные вещи, из общих понятий, как и Платон видимый мир из своих невидимых идей. Оба они добиваются истинного, вечного познания, т. е. познания доказанного, обоснованного. Оба они презируют эмпирию и «мнение» (δόξα) и стремятся показать, вслед за Сократом, что людям не предоставлено думать, что им вздумается, что есть истинные основоположные суждения, и что первые из них, с необходимостью, не допускающей никаких возражений, выводятся из самоочевидных истин. И оба грешат одним: ни тот, ни другой не могут даже и приблизительно осуществить свою задачу. Вместо необходимости, ими обещанной, получается произвол. Они мечтали создать метафизику, подобную математике, где всякое положение последующее будет неизбежно вытекать из предыдущего, — но создали учения, раздираемые невыносимыми противоречиями.

Если можно говорить о единстве учения у Платона и Аристотеля, то только разве о единстве в намерениях. И Платон и Аристотель не выставляли напоказ собственных противоречий. Наоборот, каждый из них говорил тихим тоном, который исключал всякую мысль о возможности противоречий в его собственной системе. Но в самом ли деле они их не замечали? В самом ли деле люди такой великой проницательности, так хорошо умевшие уличать своих противников, не видели собственных недостатков? Не повторяется ли тут история евангельской притчи о сучке в чужом и бревне в своем глазу? Я думаю, что нет, что тут причина совсем другого порядка. После Платона и Аристотеля было еще много великих философов, и с каждым неизбежно повторялась та же история. Он замечал противоречия у своих противников и обличал их, а о своих молчал, как будто бы их совсем и не было. И даже сейчас, в наше время, повторяется то же. Философы страстно обличают друг друга в противоречиях, точно противоречие было бы смертным грехом, и точно когда-либо существовали философские учения, свободные от противоречий. Эта странная, возведенная в систему, недобросовестность философской критики никого не смущает. Все привыкли к ней, никто о ней не беспокоится, даже не говорит — как никто не говорит о принятой среди дипломатов заповеди: не говори правды. Я даже недавно прочел у одного признанного и очень ученого философа утверждение, что если в системе философа есть хоть одно противо-

речие — она уже теряет всякое значение. Но Аристотель, я убежден в том, не мог так думать. Он видел не только противоречия у Платона, но и свои собственные. Если же он выступал с резкой критикой учения своего великого предшественника, учителя и друга — то не потому, что его беспокоила противоречивость в утверждениях, а потому, что самые утверждения Платона были для него неприемлемы, мешали тому делу, которое он, правильно или неправильно, считал самым важным в жизни. Это тем очевиднее, что Аристотель спокойно и доверчиво щедрой рукой черпал у Платона, каждый раз, как только ему казалось, что созданное Платоном пригодится ему. Я, по поставленной себе задаче, не могу здесь останавливаться долго над выяснением того, чем Аристотель обязан Платону. Да и нужды в том нет: это без меня давно сделали другие. Как я уже говорил, считается общепризнанным, что Аристотель в своем учении о формах принял почти все учение Платона об идеях: отверг только положение о независимом их существовании (трансцендентность идей). Нам нужно себе выяснить, что именно в этом утверждении Платона так отталкивало Аристотеля. Недоказуемость и противоречивость не возмутила бы так нашего философа — это мне кажется несомненным. А затем, вот еще одно указание, которое отрицательным путем нас поведет к уяснению интересующей нас загадки.

Несколько лет тому назад очень известный немецкий ученый, принадлежащий к так называемой Марбургской школе, Натроп, выпустил большое исследование об идеях Платона. И — как это ни покажется странным — теперь, через две тысячи пятьсот лет после Платона, Натроп доказывает, что все нападки Аристотеля на Платона совершенно напрасны, ибо Платону никогда и в голову не приходило считать идеи трансцендентными реальностями. Хоть все и читали Платона, но никто до сих пор Платона не понимал, так как все на него глядели глазами Аристотеля. Аристотель же, хоть и проучился у Платона целых двадцать лет, не разобрал своего учителя, ибо по существу не способен был постигнуть его, как вообще догматики не могут постигнуть критицистов. Уже для Платона, утверждает Натроп, было ясно то, что сформулировал Кант: предметом нашего мышления не могут быть вещи, а только отношения. Но Аристотель, как догматик, наивно воображал, что знание есть знание о вещах. Ему потому и казалось, что только индивидуальные вещи действительны, а общие понятия не действительны. На самом деле общие понятия суть такие же категории нашего разума, как и индивидуальные вещи и к ним стало быть в такой же мере применим предикат бытия. У Натропа, как у последовательного кантианца, это значит, что предикат бытия есть только предикат, даваемый нашим сознанием, и стало быть ничего о существовании ап

sich не говорящий. Это Платон знал и это, только это он утверждал, но Аристотель, для ограниченного понимания которого предикат бытия мог быть приложим только к индивидуальным вещам, на основании того, что Платон считал идеи существующими, решил, что Платон их принимал тоже за индивидуальные и, разумеется, трансцендентные вещи. На самом деле ничего подобного Платон не утверждал. Для него идеи были только логическими формами, только методом научной обработки, только закономерностью, — а вопрос о трансцендентности их существования даже не ставился. Последующие читатели Платона, заплютютизированные Аристотелем, уже не читали своими глазами Платона. Они повторяли о великом философе то, что им показал Аристотель.

Такова основная мысль Натропа, которую он проводит через всю свою большую книгу с основательностью и терпением, свойственным немецким ученым. Насколько мне известно, однако, книга Натропа не произвела желаемого действия. Идеи Платона и теперь, как прежде, истолковываются так, как их истолковал Аристотель. У меня же лично получилось еще такое, добавочное, впечатление: несмотря на все озлобление Натропа по отношению к Аристотелю, Натроп все же является учеником и последователем не Платона, а Аристотеля, ненавистного ему Аристотеля. Если уж искать психологическое толкование того или иного понимания Платона, то ведь недалеко ходить и за психологией Натропа. О нем-то именно и можно сказать, что его философская мысль под влиянием Аристотеля и всех его преемников, вплоть до самого Канта, так оформилась, что самое существование трансцендентных сущностей кажется ему чудовищной несообразностью, смертным грехом. Он ценит, он видит в Платоне только то, чего не отверг Аристотель, что через Аристотеля стало достоянием средневековой, а затем и современной философской мысли. Только Аристотель имеет двойное преимущество перед Натропом (и если угодно, перед непосредственным учителем Натропа — Кантом): он первый восстал против фантастического элемента в философии — это одно, а другое, что он имел смелость открыто отметить и подвергнуть критике незаконные элементы в учении своего божественного учителя. Преимущества немалые, в особенности первое. Ему-то Аристотель и больше всего обязан своим тысячелетним влиянием. Благодаря Аристотелю — этого никто отрицать не станет — стала возможной современная наука, стал возможным сам Кант с его трансцендентальной дедукцией.

Повторяю, метафизика Аристотеля так же противоречива, как и метафизика Платона. Но ведь теория познания Канта, которая предъявила претензии на некогда принадлежавшие метафизике права, исполнена не меньших противоречий. Если и ей суждено было сыграть столь решающую роль в истории человеческой мысли, то вовсе не из-

за ее стройности и логической законченности. Я говорил, говорю и не устану это повторять: миф о существовании логически законченных, не заключающих в себе противоречий философских систем, нужно считать ушедшим в историю. Ибо логическая законченность это такой же идол, как Перун. Есть борода и усы из серебра и золота, но Бога нет. Заслуга (если это заслуга) Канта в том, что он надолго вытравил из философии элемент таинственности и сверхъестественности. Он, как и Аристотель, подвел сознание к «первоначальным» истинам, т. е. к истинам, без которых, по его мнению, наука невозможна, и эти истины стали стражами, задерживающими всякие попытки дальнейшего любознания. Что бы ни говорил Натроп, разница между критицизмом Канта и метафизикой Аристотеля куда менее значительна, чем разница между синтетическими идеями Канта и идеями Платона. Да это и сам Натроп фактически признает. Разбирая «Федона», он мимоходом, как будто бы даже не считая, что это может возбудить в ком-нибудь недоумение, позволяет себе утверждать, что содержание этого диалога не имеет никакого отношения к бессмертию души, и что если бы такая задача была у Платона, то ее нужно считать совершенно неудавшейся, ибо тезис о бессмертии души Сократу удается доказать лишь благодаря недозволенному логическому скачку. Так говорит Натроп о «Федоне» и других диалогах Платона, в которых поднимается и разбирается вопрос о бессмертии души. Для Натропа это метафизика, недозволенное — так же, как и учение Платона об анамнезисе, — а стало быть это не главное. Главное — это учение Платона о синтетических учениях *a priori*, то есть об идее, как методе, т. е. о науке, имеющей своим источником не действительность и не, упаси Боже, чувственные впечатления (сенсуализм — самое бранное слово в наше время), а «сознание вообще», а логическую закономерность, к которой потому можно приложить предикат бытия, что этот предикат и к индивидуальным вещам применяется лишь по указу того же «сознания вообще». Если Натроп разрешает Платону говорить о вечности, то лишь в одном очень условном смысле. Можно говорить о вечности во мгновении, т. е. о той вечности, которую Шлеймахер нашел у Спинозы и которая передалась по наследству современной протестантской теологии. Такая вечность была у Платона — этого Натроп не отрицает.

Нужно еще отметить, что хотя Натроп действительно впервые (вместе с Г. Когеном) решился подвергнуть Платона описанному выше духовному оскотлению, его дело было уже вполне подготовлено. Оно уже было даже закончено, если хотите, историей, — и именно в факте торжества Аристотеля над Платоном. Ибо отнять у Платона его идеи — значит отдать его под руку Аристотеля. Этого, до Натропа, историки философии, как известно, не делали. Но им это и не

нужно было. Хотя они, излагая философию Платона, излагали его учение о воспоминании, о бессмертии души, эросе, мании, о загробном суде и отводили соответственное место его идеям, но выходило, что идеи это то, от чего Платон, по существу, мог бы и отказаться, как мог бы он отказаться от своих мифов. Наука от этого нисколько бы не пострадала, — даже выиграла бы, — ибо наука «идеями» Платона не воспользовалась. Аристотель их раскритиковал, — а история почтительно выпроводила в соседнюю, определенно отмежеванную от философии область, в поэзию.

Кто не знает, что Платон был великим поэтом — и что добрая половина его философского багажа, стало быть, не может быть пропущена досмотрщиками философии. И самой главной контрабандой, конечно, являются идеи. Есть и другое, тоже опасное и недозволенное, — о чем сейчас будет речь, — но «идеи» стоят на первом плане. Как продукт поэтического творчества, они могут быть допущены — поэту дозволено нести какой угодно вздор. Но философ вправе представлять только доказанные истины. А в том, что такие истины существовали и существуют у человечества, сомневаться не дозволяется. И вот, во имя этих доказанных истин, прежние историки выпроваживали платоновские идеи в область поэзии. Натроп же истолковывает их в таком смысле, в каком они могли бы уже удовлетворять Канта и, без сомнения, не вызвали бы отпора у Аристотеля. А какие такие бывают доказанные истины, во имя которых история произнесла свой суд над Платоном, об этом у нас будет сейчас речь.



В платоновском «Федоне» читаем мы следующее:

Κινδυνεύουσι γάρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἀπτόμενοι φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτηδεύουσιν ἢ ἀποθνῆσκειν τε καὶ τεθνάναι. (Федон, 64 А).

Это значит, что те, которые всецело отдаются философии, скрывают от непосвященных, что они ничего другого не делают, как упражняются в умирании и смерти. Если вы заглянете в любой из современных учебников философии и поищите определения излагаемой в нем науки, вы найдете там что хотите, — но даже намек не найдете на то, что философия есть упражнение в смерти и умирании. Если вы станете по учебникам истории философии знакомиться с учением Платона, вы опять-таки узнаете многое, но от вас останется скрытым, что Платон давал философии вышеприведенное определение. Как до «Федона», так и теперь для огромного большинства людей эта тайна — даже после того, как Платон открыл ее людям — осталась тайной. Почему так случилось? Произведения Платона много читались, из них в особенности много читали «Федона». Но как прежде, так и сейчас не только большая публика, но и уче-

ные специалисты не знают, в чем была главная задача Платона. А меж тем в «Федоне» это признание повторяется два раза. Через несколько десятков страниц (Федон 80, E) Сократ опять утверждает, что, философствуя, душа упражняется в умирании. И ведь если угодно, весь «Федон» есть лишь развитие этой основной темы: философствовать — придвигаться к смерти, значит вырываться из видимой жизни и вступать в область вечной тайны, именуемой смертью. Это все читали, и ученые и неученые — и этому никто не поверил. Не даром в том же «Федоне» (Федон 69 E) Платон утверждает:

Τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπίστιον παρέχει

— толпа не верующая. Никто не согласится признать, что можно действительно, осязаемую жизнь променять на проблематическое упражнение в смерти. Кому и для чего оно нужно? Но если это так, если с одной стороны все дело философа сводится к притовлению к смерти и умиранию, с другой же стороны толпа, т. е. все люди, верят только тогда, когда их к вере принуждает очевидность или сила, равная очевидности, как быть философу, обращающемуся с речью к людям? Если он просто расскажет, что он знает или что он видел, ему не поверят: мы не видели, стало быть этого нет, ответят ему. Хуже: его проникновенности и его мудрости противопоставят обыкновенный житейский опыт, как равноправный, как единственно решающий. Платон был свидетелем того, как два человека толпы дерзнули бросить вызов мудрости Сократа. Они не посмотрели на то, что оракул признал Сократа мудрейшим из людей. Он не мудрец, а преступник, заявили они. Он не признает богов и развращает юношество. И Анит с Мелитом победили. Суд афинских граждан признал Сократа виновным и его подвергли самому позорному и страшному наказанию. Сила оказалась на стороне τῶν πολλῶν, той самой толпы, которая не верит, которая вольно ничего не признает, которая уступает только по принуждению.

Сократ это чувствовал и понимал задолго до возникновения его дела. Он знал, что он один и что против него все. И в его одинокой душе впервые зародилась мысль о возможности бороться с толпой особым оружием — диалектикой. Люди толпы владеют кулаком, владеют даже словом — они умеют говорить красноречиво, но доказывать они не умеют. И вот для самозащиты Сократ и выдумал особое искусство борьбы, спора — основным условием которого является предположение, что есть ряд непререкаемых, одинаковых для всех обязательных истин. В течении десятков лет Сократ ходил по площадям, базарам и другим общественным местам и убеждал людей только в одном: нет произвола в мире, над всем живым, не только над людьми, но и над богами стоит вечный, неизменный и умеющий постоять за себя закон. Уже, как я вскользь упоминал, в одном из ранних диалогов Платона, в «Эвтифроне», Сократ ставит с необык-

новенной остротой этот вопрос: потому ли добро хорошо, что его любят боги, или боги любят добро, потому что оно хорошо (Эвтифрон 10 а)¹⁾. И решает его во втором смысле. И богам произвол не разрешен, и они связаны в своей любви и в своей ненависти. В Апологии и в Ионе Сократ высказывает свое презрение к поэтам; они хоть видят и знают глубокомысленные вещи, но они знают их случайно: οὐ τέχνη... ἀλλὰ θεία μοίρα.²⁾ Они сами не понимают, т. е. не умеют объяснить и доказать того, о чем они говорят. Через все произведения Платона красной нитью проходит противопоставление ἐπιστήμη — знания и θεία μοίρα — т. е. вдохновение, божественное попечение (Федр 244 с; Целлер II-1, 498 примечание). Он против тех, у которых мудрость происходит не от умения, а от энтузиазма, как у людей, занимающихся теофанией (οὐ σοφία ποιεῖν ἢ ποιεῖν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες. Апология, 22 с. Целлер II-1, 498).

И хотя θεία μοίρα... ἀνευ νοῦ собственно значит по божественному вдохновению, но раз нет отчетливого понимания, Платон считает, что такая добродетель, такое знание ничтожно и приравнивает их к случаю. (Менон 100 а). Он ценит лишь ту добродетель, которую человек, как учитель, может передать людям. Для него поэтому добродетель и знание синонимы. В «Протагоре» Сократ заставляет признать своего противника, что толпа ошибается, полагая, что знание бессильно и не может властвовать³⁾. Знание есть прежде всего сила и самая могучая сила на земле. В своей защитительной речи он в ответ на обвинения Анита и Мелита гордо и уверенно говорит: что могут сделать мне Анит и Мелит. Привлечь к суду, оклеветать. Они могут даже добиться у суда моего осуждения, смертного мне приговора. Все это так, — но вреда они мне принести не могут. Ибо дурной человек никогда не может повредить хорошему.

В связи с этим находится и другое особенно поражающее своей смелостью и необычайностью для того времени (да и для нашего времени) положение: Сократ утверждает, что если выбирать, то лучше самому вынести несправедливость, чем быть несправедливым. Об этом говорится и в «Федоне», и в других произведениях Платона, но никогда Платону не удавалось с такой силой развить эту мысль, как в диалоге «Горгий»; Сократу противопоставлен противник такой огромной силы, что у иных по прочтении этого диалога является даже сомнение, можно ли считать победителем в состязании Сократа. Некоторые на этом основании даже отказываются

¹⁾ ἀρα τὸ βαῖον ὅτι βαῖον ἐστὶν φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν ἢ ὅτι φιλεῖται ὅσιόν ἐστιν.

²⁾ Не благодаря умению... но по божественному вдохновению (Ион 534 В; Целлер II-1; 498).

³⁾ Δοκεῖ δὲ τοῖς πολλοῖς περὶ ἐπιστήμης τοιοῦτόν τι, οὐκ ἰσχυρόν οὐδ' ἡγεμονικόν οὐδ' ἀρχικόν εἶναι. (Протагор 352 в: Мнение толпы о знании, что в нем нет никакой силы, никакой власти и никакого авторитета).

признавать Платона автором диалога. И точно, Калликл говорит с истинным вдохновением, — но мне кажется, что это именно и служит доказательством подлинности диалога. Платон чувствовал, что он берет на себя, выступая с таким утверждением. Нужно помнить, что одно дело в наше время, через две с половиной тысячи лет после Платона, повторять заученные фразы о преимуществе нравственной силы перед физической, другое дело впервые увидеть и высказать такую мысль. Не то, что наши современники больше проникли в нее и постигли ее. Я уверен, что и сейчас, как в древности, вы во всем мире найдете самое незначительное число людей, которые могли бы, положить руку на сердце, сказать, что они больше боятся быть несправедливыми, чем испытать несправедливость. Ибо трудно, бесконечно трудно выносить унижение, сознавать себя слабым и беспомощным, неумеющим защитить свою правоту и вместе с тем сохранить гордое сознание своего преимущества. Калликл об этом говорит бесподобно. Но именно потому, что Платон мог вложить в уста противника Сократа такую вдохновенную речь, можно судить о глубине источника, из которого вытекло творчество Платона. Ясно, что когда Калликл говорил, перед Платоном неотвязчиво стояла картина смерти Сократа. Да, Сократ, великий учитель, лучший и мудрейший из людей, беспомощно свалился под ударом ничтожных людшек, Анита и Мелита, как в наше время пал Пушкин, сраженный пулей никому не нужного Дантеса. Сократ говорил, что Анит и Мелит не могут ему повредить, что злой не опасен для доброго. Но Анит и Мелит живут, а Сократа отравили, как живодеры отравляют бродячих собак. Может быть, Сократ был неправ, может быть, все-таки Анит и Мелит были сильнее его? Для Платона это не был отвлеченный вопрос, для него это был вопрос жизни и смерти. Это даже не был для него и вопрос в том смысле, в каком принято понимать теперь это слово.

Со смертью Сократа душа Платона стала не той, что была прежде. Произошел какой-то внутренний сдвиг, после которого не так уже виделось, не так слышалось. То же небо, те же звезды, те же люди, но есть еще что-то, чего прежде не было видно и слышно. Что-то далекое, неясное, неосязаемое и невидимое, но властно притягивающее, приобрело загадочную власть над душой. Платон остался жить и после смерти Сократа — и жил еще очень долго, почти пятьдесят лет. Может быть под старость впечатление ослабело и сгладилось. Но навсегда осталось гложущее и мучительное чувство тоски и не удовлетворенности. И до конца жизни Платон продолжал настойчиво доказывать, что лучше претерпеть несправедливость, чем быть несправедливым.

*

Продолжал доказывать... Спрашивается, зачем были доказательства? Зачем было Платону так настойчиво добиваться признания своей истины? Разве недостаточно того, что истина есть истина? Разве недостаточно, что сам Сократ знал, что Анит и Мелит не могут повредить ему, разве нужно, чтобы и Мелит и Анит признали это? И, затем, разве это достижимо? Толпе свойственно неверие и его не преодолеешь, — пусть себе не верит, пусть торжествует в сознании своей силы. Но этого ни Сократ, как мы говорили выше, ни Платон и ни один из живших после них философов не умели вынести. Нам еще не раз придется говорить на эту тему, но сейчас особенно следует остановиться. Всем известно, какую колоссальную роль сыграли Сократ и Платон в истории европейской мысли. Без преувеличения можно сказать, что наша наука началась с Сократа. Он первый высказал и заставил людей принять то положение, что истина необъясненная и недоказанная не есть истина. Основа мира есть некая вечная, невидимая простому глазу, но доступная напряженной мысли гармоническая связь отношений. Может быть особенно удачно выражено это его убеждение в «Горгий»:

Φασὶ δ' οἱ σοφοί, ὡς Κἀλλίχλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιοσύνην, καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, ὡς ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. (Горгий, 507 е)

т. е. мудрецы утверждают, что земля и небо, боги и люди держатся дружбой, общностью и порядком, рассудительностью и справедливостью и потому все называется космосом-порядком, а не акосмией и аколасией, т. е. беспорядком и распущенностью. И еще через несколько строк прибавлено:

ἰσότης ἢ γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται (Горгий, 507 е)

т. е. большое значение имеет и меж богов и меж людей геометрическое равенство, т. е. идеальный порядок.

В этих немногих словах высказывается заветнейшая мысль Сократа и Платона. Если существует вечный, от начала мира установленный порядок, столь прочный и неизменный, что ни на земле, ни на небе, ни среди богов он не допускает отступлений — значит все наши силы должны быть направлены отнюдь не на то, чтобы осуществлять свои случайные и преходящие желания. Ибо порядок этот не есть нечто выдуманное, зародившееся в голове мудрого или глупого человека. Порядок есть всепобеждающая сила. Его можно игнорировать, можно не знать, — но уйти от него нельзя, как нельзя уйти от законов геометрии. Этот порядок — везде и во всем, в самой душе человека. Попробуйте вырваться из его власти: ваша борьба будет напрасна. И, наоборот, каждого даже самого невежественного человека путем простых вопросов можно постепенно под-

вести к тому месту, с которого и ему, доселе слепому, мгновенно откроется все величие и стройность основанного на неизменных принципах космоса. Он будет поражен и ослеплен дотоле невиданным чудным зрелищем и вместе с тем будет принужден признать, что вовсе не совсем для него ново это знание, что он уже однажды, в иной жизни, был приобщен ему, и только вступив на землю позабыл то лучшее, что было ему дано некогда в удел.

Великое искусство открывать этот невидимый мир гармонии открыли Платон с Сократом и назвали его диалектикой. Условием возможности диалектики очевидно является предположение об универсальности человеческого разума. То, что люди считали до Сократа источником познания — опыт, познания дать не может. Опыт, состоящий из чувственных восприятий, изменчив и непостоянен, как и сами чувственные восприятия. То, что сейчас кажется холодным, прежде казалось горячим, предметы вблизи квадратные издаleка кажутся круглыми, больному представляется горьким то, что здоровому кажется сладким. Уже предшественники Сократа вплоть до софистов чрезвычайно искусно доказывали ненадежность и непрочность знаний, основанных на чувственном опыте. Гераклит с его утверждением, что все течет, все постоянно изменяется, нет ничего равного себе, нельзя два раза выкупаться в одной реке (потом утверждали, что и один раз нельзя выкупаться в одной реке), и элеаты доставили Сократу и Платону превосходный материал для критики познания, основанного на чувственном опыте. Такое познание приводит именно к акосмии, к признанию невозможности стройной системы мироздания. Учение софистов есть совершенно законный вывод из предположения о том, что единственным источником познания является чувственный опыт. Но учение софистов было наиболее неприемлемым и ненавистным для Сократа. Ибо если софисты правы, в таком случае правы и Анит с Мелитом, и Сократ вполне заслуженно был подвергнут позорной казни. И гимн Калликла силе есть последнее слово человеческой мудрости. Тот в этом мире прав, кто правдой или неправдой добьется успеха. Геометрия знает порядок, но основы мироздания подрывают даже самую идею о порядке.

Что мог противопоставить Сократ видимой действительности и тем своим многочисленным противникам, которые, ссылаясь на эту действительность, порочили учение великого мудреца? Чем мог победить Сократ, чем мог соблазнить он душу многочисленных афинских юношей, искавших его духовного руководства? Ответ на этот вопрос представляет для нас исключительный интерес. Из всего предыдущего изложения, надеюсь, пока выступает ясно одно. Сократ очевидно был далеко не так не прав, когда утверждал, что нравственность и истинное знание есть одно и то же. Вы видите, что

все время его поиски идеала человека и идеала знания приводили его к одному месту. Источник как науки, так и морали — в космосе. Основная первая предпосылка, выражаясь современным языком, как возможности существования науки, так и возможности морали, есть предвечный порядок, господствующий как на небе, так и на земле, обязательный как для людей, так и для богов. И вторая предпосылка: человеку дано постичь этот порядок. Попробуйте отказаться от одного из этих допущений — и все дело Сократа и Платона рушится. Ясно, стало быть, что все силы патриархов философии должны быть направлены в сторону доказательств названных предпосылок. Именно доказательств — ибо их непосредственной очевидности никто не принимал. Наоборот, непосредственная очевидность была за утверждениями противоположными. Видимая действительность и прежде и теперь подтверждает правоту Аниита и Мелита, Калликла, софистов. Незыблемого порядка нет ни во внешнем мире, ни в мире моральном. Ведь в первом случайность обыкновенная вещь, во втором — удача, сила, хитрость, неразборчивость в средствах обеспечивают победу.

Сократ нашел, как известно, выход из этого трудного положения. Он первый среди философов ввел в употребление общее понятие, установил, что наше знание относится не к индивидуальному, а к общему. Он принял целиком критику эмпирического знания, представленную его предшественниками. Но эмпирическое знание и не есть знание. Тут речь может быть только о мнениях, и мнения, на самом деле, могут быть и бывают многообразными, ибо основываются на чувственных восприятиях. Но за пределами чувственного восприятия есть нечто общее, нечувственное, постигаемое только разумом. Это разумное есть предмет истинного знания. Мудрец ищет и находит только это. Метод нахождения этого общего был известный метод вопросов. Сократ, правда, все свое внимание сосредоточил на вопросах морали, а не чистой науки. Уже Платон, продолжая дело Сократа, применил его метод ко всем областям, возбуждавшим человеческую пылливость. И это не случайность, что наука взяла свое начало от этики, что впервые космос был открыт в человеческой душе, и лишь вслед за тем во внешнем мире.

Если следить за рассуждениями Сократа и Платона, то может показаться, что будто последовательность была иная. Сократ свои изыскания начинал обыкновенно с анализа простых и несложных внешних явлений и затем уже переходил к более сложным. Основной его вопрос, служивший конечной целью всех его диалогов — вопрос о сущности добра, большей частью был не исходным, а заключительным моментом его рассуждений. В начале беседы говорится о кузнецах, кормчих, врачах и их занятиях. В чем разница, спрашивает он, между поваром и врачом. И тот и другой заботятся

о нуждах тела. Но повар угождает телу, дает ему то, что телу приятно, врач — то, что телу полезно. На ряде таких примеров из повседневной жизни выясняется разница между пользой и удовольствием, а соответственно этому — между наукой и эмпирическим знанием. А это именно то, что Сократу или Платону и требовалось. Оказывается, что непосредственно человек не знает, что ему на самом деле нужно. О своих истинных нуждах может судить только тот, кто почерпнул сведения свои не из мутного источника эмпирии, а из чистого родника отвлеченного знания. Это первый шаг. Раз выяснено, что могут быть два источника познания, из которого первый дает лжезнание и только второй дает истину, у Сократа уже есть почва под ногами. Доступен ли Алкиту и Мелиту, Протагору и Горгию настоящий источник? Знают ли они, что такое знание? Что дает оно? Они думают, что оно дает только сведения. Но они так думают только по своему невежеству и своей ограниченности. Сократ «сведениями» не интересовался. Немножко больше, немножко меньше сведений — от этого жизнь человека не изменится. И Платон, хотя его интересы, в этом отношении, гораздо шире, чем интересы Сократа, никогда не отождествляет философии с наукой. Такое отождествление впервые вводится Аристотелем. Для Платона философия является еще таинством приобщения к иному миру идей, и философствовать значит упражняться в смерти и умирать.

Еще это значит стремиться к добру. О добре впервые заговорил Сократ. Он о науке, об «общем понятии» только потому заговорил, что это для него было этапом к добру. Повар угождает телу, врач лечит тело. А в области духа? Что делают софисты? Тоже угождают душе. Истинных нужд души они не знают. Они думают, что приятное и хорошее одно и то же. Не только не одно и то же, но прямо противоположное. Пусть Калликл как угодно красноречиво и вдохновенно говорит об ужасном положении и беспомощности человека, не умеющего защитить себя и друзей своих от несправедливости врагов — Сократа это не путает, как и Платона. Торжествующему Архелаю, путем убийств и других преступлений добившемуся власти и богатства, они не завидуют⁴⁾. Ему хорошо, — но он не хорош. Он получил то, что может дать повар, но если его повести к врачу, врач признает его безнадежно, неизлечимо больным самой ужасной болезнью, какая только может существовать на свете.

В этом важнейшее и наиболее замечательное открытие Сократа. Человеку нужно не счастье, не удача, — а добро. Счастье, удачу дает и отнимает случай, добро добывает себе только сам человек: его никто не может ни дать, ни отнять у человека. Что это так, в этом Сократу и Платону порукой был их разум, который ничего не

⁴⁾ Горгий, 471 а.

утверждает произвольно, который всякое свое положение может обосновать и доказать, который безошибочность своих утверждений выводит и демонстрирует именно тем, что никто из людей и богов — непременно богов тоже — не может избежать признания правоты его притязаний. Вот почему нужно всем доказывать — и Аниту и Мелиту, и Горгию и Протагору. Вот почему так важна диалектика, вот почему так важна наука. Сильны, конечно, Анит и Мелит — они убили Сократа. Но последняя победа не за ними — дурной человек никогда не может повредить хорошему. Дурной вредит только себе.

Г. КРУГОВОЙ

О жизненной драме Владимира Соловьева

Очень трудно в кратком, ограниченном размерах очерке дать более или менее удовлетворительную характеристику жизненной драмы великого русского философа, и поэтому само название этого очерка может показаться претенциозным и не совсем оправданным. Трудно разгадать тайные движущие силы внутренней жизни обычного среднего человека, до конца понять его, увидеть за повседневной маской его настоящее лицо, почувствовать и понять его подлинную личность. А ведь Соловьев не был обычным человеком в общепринятом значении этого слова. Еще при жизни своей он представлялся современникам загадкой, может быть одним из самых загадочных людей своего века.

Это и понятно. Владимир Соловьев обладал даром преодолевать рамки эмпирии, умел жить в другом, высшем измерении бытия, в его духовной стихии. Умел не только прикасаться к «мирам иным», но и проникать в них мистически-интуитивно. Естественно, что это делало его «странником» на земле, человеком, родившимся или слишком рано, или слишком поздно.

Но будучи странником на земле, он не оставался ей чуждым, хотя и был страшно одиноким, и как все большие и одинокие люди никогда не был до конца понят современниками ни как мыслитель, ни как человек. Уже в самом этом одиночестве заключается жизненная драма философа, которую он прикрывал шутками и над самим собой, и нередко над тем, чем он сам жил и во что верил.

Вся жизнь Соловьева определялась двумя основными стимулами деятельности: поиском истины и служением церкви, как вселенскому богочеловеческому организму. Оговоримся, что под поиском истины здесь подразумевается не просто упорное и кропотливое приобретение теоретической истины. Пережив в юности религиозный кризис, завершившийся преодолением атеизма и возвращением ко Христу, Соловьев уже никогда не сомневался в истине

христианства, которая, по его глубокому убеждению, не только не противоречит разуму, но существенно ему имманентна.

Кроме того Соловьев, будучи в своем мышлении представителем религиозной философии и христианского гнозиса в духе платоновской и неоплатонической традиции, интересуется не только гносеологической проблемой отношения познающего субъекта к познаваемому миру объектов (хотя и в этой области он проявил себя, как исключительно глубокий и оригинальный мыслитель), но прежде всего истиной о Боге, истиной о человеке, как органическом целом, и о их творческом взаимоотношении. Такую истину можно, пользуясь современной терминологией, назвать истиной экзистенциальной.

Поэтому искание истины осуществляется им в раскрытии и утверждении нравственного смысла бытия, в осуществлении целостной правды в мире, установлении Царства Божьего на земле, как высшей цели и смысла богочеловеческого процесса в истории.

Мы увидим ниже, насколько глубоко связана подобная постановка вопроса с русским теургическим религиозным переживанием, столь блестяще сформулированным Соловьевым в 1884 году в «Духовных основах жизни»:

«Религия не может быть только пассивным богопочитанием (θεοσεβεία) или богопоклонением (θεολατρεία), а должна стать активным богодействием (θεουργία), т. е. совместным действием Божества и человечества для пересоздания сего последнего из плотского или природного в духовное и божественное».¹⁾

Разумеется, на творческом пути Соловьева ожидали соблазны и срывы. Мистическое опущение Абсолютного и безусловного Бытия есть всегда причастие к сверхрациональному и неизречимому, адекватно невыразимому в понятиях, извлеченных из тварного мира. Западное средневековье очень чутко ощущало границы естественного разума и не искало рациональных доказательств для истин Откровения, в то же время не утверждая принципиального противоречия между истинами разума и веры.

Может быть, Соловьеву не доставало этой мудрой осторожности и его можно упрекнуть в диалектической рационализации истин Откровения, что не могло не придать его учению о всеединстве налета пантеизма; богочеловеческий же процесс трактуется им подчас несколько натуралистически. Это не могло не привести к тому, что Соловьев, оставаясь принципиально верным своей изначальной интуиции, признавая ее не противоречащей объективной истине, должен был пересматривать некоторые производные и гносеологичес-

¹⁾ Владимир Соловьев. Собрание сочинений. С.-Петербург. Т. 3, стр. 343.

кие положения. Он указывает в предисловии к первому тому перевода Платона:

«С нарастанием жизненного опыта, без всякой перемены в существе убеждений, я все более и более сомневался в полезности внешних замыслов, которым были отданы мои так называемые лучшие годы». ²⁾

В данном случае речь идет о разочаровании Соловьева в историко-философской утопии его теократического периода, в 90-х годах, и об усилении эсхатологических настроений. Несомненно, что отказ от первоначального теократического замысла, вместе с чувством приближающегося конца исторической эпохи, отразился на общем душевном состоянии Соловьева, и в известном смысле составляет часть жизненной драмы мыслителя. Поэтому он мог с полным правом отнести к себе сказанное им о Платоне: «Из своего жизненного испытания он вышел, хотя и не без славы, но без победы». ³⁾

Но неодержанная победа не относилась к области философии. В этой области мысль Соловьева оказала глубокое и плодотворное влияние на всю последующую русскую религиозную мысль, — достаточно вспомнить имена о. Сергия Булгакова, о. Павла Флоренского, братьев Трубецких, Франка, Карсавина и не в последней степени Бердяева и Лосского. Жизненная драма Соловьева касается не столько искания истины в указанном выше смысле, сколько области служения церкви, его взгляда на ее вселенскость и проблему воссоединения исторических церквей.

Правда, одновременно происходила и переоценка самим Соловьевым его взглядов на диалектическую эволюционность исторического процесса, и он сам говорит о своем учении о теократии, как о внешнем замысле, считая возможным отделять эту часть своих построений от своих основных убеждений, которые остались неизменными.

Следовательно Соловьев считал, что на основе его убеждений можно было создать иную систему философских взглядов, и то, что он эту систему пытался сформулировать, подтверждают пересмотр им этики, гносеологии, его работы по эстетике, наконец «Жизненная драма Платона» и «Три разговора».

В чем же состоит внутреннее ядро его убеждений, которым он остался верен до конца? Можно перечислить главные темы его творчества и попытаться установить, насколько они сохранились в последний период его философской деятельности. Такими темами являются: 1) учение о Богочеловечестве, 2) софиология, 3) учение о всеединстве и 4) взгляды на роль папства в историческом процессе.

²⁾ Цитирую по К. Мочульскому. Владимир Соловьев. Париж, 1951, стр. 214.

³⁾ В. Соловьев. Собрание сочинений. С.-Петербург. Т. 9, стр. 217.

С этой целью обратимся к последним его произведениям, главным образом к «Жизненной драме Платона» и «Трем разговорам». Выбор этот диктуется тем, что написаны они в последние годы жизни философа. Перед образом недалекой «бледной смерти», приближение которой Соловьев остро чувствовал, он стремится исполнить свой нравственный долг. Здесь он предельно ясен, и эти произведения — не только блестящие памятники русской философской мысли, но и его личное завещание, в котором он встает перед нами и как мыслитель, и как человек.



Конечно, между жизненной драмой Платона, как она интерпретировалась Соловьевым, и его собственной жизненной драмой нельзя ставить знака равенства, даже находя в них внешнее сходство. Христианину Соловьеву были известны истины, оставшиеся недоступными эллину Платону. Эрос Платона и не мог трансцендировать сферы творческого созерцания, потому что истина духовно-телесного бессмертия человека, его воскресения и преображения есть истина христианского откровения, а не философского умозрения, к которой можно прийти и на основе логических умозаключений, как иногда казалось Соловьеву. Платоновская теория любви поэтому должна была остаться «прекрасным махровым цветком без плода»⁴⁾, а Соловьев мог развить и докончить речь Диотимы в платоновском «Пире». Соловьеву не пришлось капитулировать перед «князем мира сего», и потому он никогда не написал своих «Законов».

Следовательно не в отказе от сущности своих идеалов состоит жизненная драма Соловьева. И если уж искать ей параллелей в древности, то она скорее приближается к жизненной драме Сократа, так мастерски описанной Соловьевым. Соловьев не испытал трагической судьбы Сократа, но подобно Сократу оказался отвергнутым и непонятым как консервативными «охранителями», так и современными ему «софистами» — «передовой» интеллигенцией 70-90-х годов.

Естественно, что для пророческого строя души Соловьева, для которого, как и для Платона, главным вопросом жизни был вопрос «быть или не быть правде на земле»⁵⁾, и философия для которого не исчерпывалась плодами труда в области искания теоретической истины, а была прежде всего «жизненной задачей», ощущение одиночества, ощущение того, что его деятельность оказывалась «гласом вопиющего в пустыне», не могло не привести к тому,

⁴⁾ Там же. Т. 9, стр. 236.

⁵⁾ Там же. Т. 9, стр. 216.

что жизнь его, как и Платона, оказалась «глубокой и сложной, все его существо обнимающей драмой».⁶⁾

Но если философия есть одна из основных жизненных задач человека, то только потому, что у самой философии есть своя «жизненная задача» — в свою очередь служить осмыслению и реализации главной цели: внесению в земную жизнь божественной истины, осуществлению правды на земле. Отсюда практическая задача философии, по мнению Соловьева, состоит в «оправдании веры отцов», т. е. в проверке ее истинности, в «оправдании добра», т. е. в доказательстве объективности и обязательности, как основного условия восстановления и реализации всеединства, преобразования человека и мира. Этому основному убеждению Соловьев остался верен всю жизнь. Вера должна стать реальной творческой и преобразующей силой, и такой она может быть только тогда, когда из слепой и бездумно «законопослушной» она превращается в силу сознательную и просветленную любовью.

Слепая вера естественна и понятна на примитивных стадиях развития человечества. Но на высших ступенях развития она не может не подвергнуться испытанию разумом, и если она пугливо прячется от такой проверки, предпочитает оставаться слепой и отстаивает это «право», то из движущей силы человеческого духа она становится препятствием, принимает формы фанатизма. Но это только значит, что подсознательно вера не убеждена в своей истинности. Фанатическая вера у образованного человека часто оказывается прикрытым неверием. Как раз в замаскированном атеизме обвиняет Соловьев консервативных «охранителей» — судей Сократа. Это — меткое психологическое наблюдение, если вспомнить определение Юнга, что «фанатизм есть сверхкомпенсированное сомнение». Тем самым фанатизм отвергает один из самых существенных и благодатных даров человека — разум.

Поэтому для Соловьева —

«исключительно фактическая слепая вера несообразна достоинству человека. Она более свойственна или бесам, которые веруют и трепещут, или животным бессловесным, которые, конечно, принимают закон своей жизни на веру, без размышлений, — без тоски, без думы роковой, — без напрасных, без пустых сомнений».⁷⁾

Такой веры не хочет от человека и сам Бог, ожидая от него сознательной просветленной веры и ответной любви, как свободно-го акта:

«Слепая и безотчетная религия обидна прежде всего для своего предмета, для самого божества, которое не этого требует от человека».⁸⁾

⁶⁾ Там же. Т. 9, стр. 197.

⁷⁾ Там же. Т. 9, стр. 199.

⁸⁾ Там же.

Таким образом подлинное отношение между Богом и человеком всегда является существенно обоюдным отношением между личностями. При этом оно принимает исключительно динамический и теургический характер. Человек оказывается ответственным не только за свое личное спасение, но и за спасение всего человечества и самого творения. Однако достичь этого он одними собственными силами не может, а только через свободное взаимодействие с Богом. Через воплощение Сына Божия Иисуса Христа, через Его искупительную жертву и воскресение человечество не только приобщается к богочеловеческому организму — Церкви, — но и сам исторический процесс становится процессом богочеловеческим.

«И в этом отношении дело идет о целом человеке, и истинное начало его восстановления есть начало духовно-телесное. Но как невозможно для божества духовно-телесно переродить человека, — это был бы путь химический, или какой другой, но не человеческий, — точно так же невозможно, чтобы человек из самого себя создал сверхчеловечность — это все равно, что самому поднять себя за волосы; ясно, что человек может стать божественным лишь действительною силою не становящегося, а вечно существующего божества, и что путь высшей любви, совершенно соединяющий мужское с женским, духовное с телесным, необходимо уже в самом начале есть соединение или взаимодействие божеского с человеческим, или есть процесс богочеловеческий.»⁹⁾

Учение о богочеловечестве является одной из основных тем философии Соловьева и проходит руководящим мотивом через все периоды его творчества. Мы говорим — одной из основных тем Соловьева, — потому что сама по себе она совсем не обязательно должна быть связана с темами Софии и всеединства. Это и понятно, поскольку учение о богочеловечестве является краеугольным камнем христианского вероучения, от него неотделимым, тогда как учения о Софии и всеединстве представляют собой всего навсего темы религиозно-философской метафизики, без которых можно обойтись. Например, Бердяев, ставя богочеловечество в центр своей философии, отвергал учение о всеединстве, как антиперсоналистическое, считая, впрочем, всеединство осуществимым в метастории, в Царстве Божием после конца феноменального мира объективации.

И очень важно установить роль этих двух тем ранней метафизики Соловьева в его последний эсхатологический период творчества. В своих главных произведениях последнего периода — «Красота в природе» (1889), «Общий смысл искусства» (1890), «Смысл любви» (1892-1894) — Соловьев не говорит прямо о Софии. Однако и здесь реализация красоты в мире и любви в человечестве оказы-

⁹⁾ Там же. Т. 9, стр. 234.

ваются глубоко софийными процессами, принимая при этом также во внимание всю двойственность и неясность в учении Соловьева о Софии, которые были унаследованы им от древнееврейского и раннехристианского гнозиса.

В космическом мире преодоление первичного хаоса и утверждение красоты оказывается делом космического духа, т. е. Софии, в согласии с душой мира. В сфере человеческой жизни — творящий в красоте Эрос осуществляет не только бессмертие человечества: само восстановление и преобразование духовно-телесной природы оказывается здесь существенно софийным, поскольку София есть не только полнота и средоточие идей тварного бытия, духовный центр мира, но и идеальное человечество. Поэтому богочеловеческий процесс совпадает с процессом софийным, Логос-Христос соединяется с Софией, и тем самым возрожденное человечество оказывается вселенской церковью.¹⁰⁾

Это все та же традиционная схема Соловьева. И в указанных процессах реализации красоты в мире и восстановления человечества, нетрудно заметить все те же космогонический и исторический процессы раннего периода творчества Соловьева. И как тогда, так и теперь оба процесса рассматриваются исключительно с точки зрения восстановления всеединства и соединения с Богом, как главного смысла всего бытия.

Однако, в последних произведениях философа замечается иная трактовка исторического процесса. Прежняя тема теократии в «Оправдании добра» только слегка затрагивается. Земная церковь уже трактуется, как «организованное благочестие»¹¹⁾, и за ней сохраняются функции высшего и направляющего духовного авторитета, к которому должно прислушиваться государство:

«С христианской точки зрения государство есть только часть в организации собирательного человека, — часть, обусловленная другою, высшей частью — церковью, от которой оно получает свое освящение и окончательное назначение — служить косвенным образом и в своей мирской области и своими средствами той абсолютной цели, которую прямо ставит церковь — приговлению человечества и всей земли к Царству Божию»¹²⁾.

Правда, теперь над «первосвятителем» и «царем» Соловьев ставит нравственный авторитет «пророка», но в общем тема теократии уже не занимает у него сколько-нибудь значительное место, а в последующих его трудах историософская тема не затрагивается им вовсе и заменяется антропологической темой «нового человека».

Что же произошло? Почему в поздних трудах Соловьев завер-

¹⁰⁾ Там же. Т. 7, стр. 416.

¹¹⁾ Там же. Т. 7, стр. 444 и 466.

¹²⁾ Там же. Т. 7, стр. 465.

шает развитие исторического процесса не историческим событием, полагающим начало Царству Божию на земле, хотя эта задача и подчеркивается в «Оправдании добра»¹³), а преображением человека, восстановлением изначальной целостности его природы, фактически входящим уже в метаисторию? Можем ли мы говорить здесь о принципиальном отказе Соловьева от своих установок — или только об их модификации?

Если внимательно продумать эти проблемы в их целостной взаимосвязи, окажется, что в этом периоде творчества Соловьева происходит не замена проблематики, но смещение удара с одного аспекта на другой, ибо в основе обеих тем лежит изначальная христианская проблема: тема всеобщего преображения и спасения. Поскольку же эта тема есть именно тема преображения плоти и мира, постольку она оказывается все той же темой Царства Божьего на земле.

Поэтому угасание теократической утопии у Соловьева никак не следует приписывать его разочарованию в «католической» идее Царства Божия. На самом деле идея преображения мира, как цели истории в форме установления Царства Божьего на земле, это отнюдь не существенно западная римско-католическая идея. Больше того, она выражает также искони русскую духовную установку, легко обнаруживаемую на заре русского христианства. Народный идеал Святой Руси, «Сказание о граде Китеже» — суть явления одного и того же культурно-исторического порядка. Это и есть та характерная черта, которая отличает русское религиозное переживание от его византийского образца и исторического первоисточника.

Византийская идея Москвы-Третьего Рима, между прочим, до конца отвергаемая Соловьевым, фактически, если и не официально, была побеждена градом Китежем, и именно эта изначальная идея русского сознания загромодила русскую мысль XIX века как в ее религиозной, так и в секулярной философии. И если считать Достоевского вершиной проявления русского духа, то как раз идея преображения мира, как установления Царства Божьего на земле, составляет содержание его величайших произведений. Достоевский, антикатолические настроения которого несомненны, оказался даже не чужд идее православной теократии, изложенной им в первой части «Братьев Карамазовых».

Ясно, что нет оснований говорить об отказе Соловьева от своих принципиальных установок, и он сам признавал, что в них «нет ничего противного объективной истине»¹⁴).

¹³) Там же. Т. 7, стр. 466.

¹⁴) Цитирую по К. Мочульскому. Владимир Соловьев. Стр. 215.

Мы видели выше, что и в последний период своего творчества Соловьев не отказался от своей интуиции всеединства и софиологии, и нет никакого основания усматривать в описании Соловьевым труда Антихриста («Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию») в его «Трех разговорах» осуждение его собственной концепции, как предприятия в духе Люцифера, — эта точка зрения была высказана протестантским богословом Фрицем Либ¹⁵).

Сходство здесь только внешнее. Всеединство Антихриста — всеединство без Христа и против Него. Оно не требует жертвы для самой истины (курсив Соловьева) и утверждает не универсальность человеческого духа, а его односторонность и ограниченность. Грядущий человек Антихриста оказывается «человеком беззакония», не ожидаемым Мессией, а самозванцем, что так остро почувствовали и христиане, и евреи. Его путь — не путь к свободе и жизни, а к духовному рабству и смерти. Философия Антихриста — прямая противоположность христианской философии Соловьева, и Соловьев, конечно, понимал это лучше, чем кто-либо иной.

То же можно сказать и о «теократии», установленной Антихристом. Конечно, «царство Антихриста есть диавольская пародия на вселенскую теократию. Это — теократия без Христа», — как верно отметил Мочульский. Но ведь эта «теократия» совсем не «свободная теократия» в духе Соловьева, требующая от ее последователей свободного служения Христу и Его Правде, а союз людей, видящих в ней возможность достижения своих личных эгоистических или корпоративных выгод, или же условия укрепления своей власти, иными словами жизни «во имя свое», а не во имя Христа.

Все это было предельно ясно для Соловьева и он прекрасно понимал, что в его «французских книгах» нет ничего противного объективной истине. Тем не менее Соловьев там же говорит, что связанные с этими книгами «субъективные настроения, те чувства и чаяния, с которыми я их писал, мною уже пережиты»¹⁶).

Соловьев приходит к мысли, что от искушения власти и смешения ценностей не гарантирована и земная церковь, ибо она состоит, если даже из благонамеренных, то все-таки слабых и несовершенных людей. В «Оправдании добра», в другом контексте, он и говорит об этом искушении:

«...имея ревность к деятельному приготовлению мира для пришествия Царства Божия, но не имея в разобщении и отчуждении от государства никаких способов для реализации своего духовного действия, церковь в лице своих властных представителей сама хватается за реальные орудия мир-

¹⁵) См. Fritz Lieb. Rußland unterwegs. Der russische Mensch zwischen Christentum und Kommunismus. Bern, 1945.

¹⁶) Цитирую по Мочульскому. Владимир Соловьев. Стр. 215.

ского действия, вмешивается во все земные дела и при несомненной чистоте и высоте первоначальной цели, все более и более о ней забывает в заботе о средствах, и если бы такому смещению дозволено было упрочиться, то церковь потеряла бы самое основание своего бытия»¹⁷⁾.

Итак дело не в цели, а в людях, в их склонности подчинять высшие ценности производным, поддаваться искушению зла. В общем, поздние взгляды Соловьева на естественное «добро» человеческой природы в современном ее состоянии овеяны скепсисом. В этом одна из причин, что в последний период своей жизни Соловьев признает за человеком лишь один вид свободного выбора: выбора на путях зла. Отсюда и смещение удара на тему антропологии.

Конечно, были и другие веские причины, которые понудили Соловьева исправлять свои взгляды. Следует сказать, что ранняя философия Соловьева может быть названа философией космического оптимизма. В ней отсутствует самостоятельная и активная сила зла, сознательно и свободно противопоставляющая себя добру и борющаяся с ним. Разумеется, в своих ранних произведениях Соловьев говорит о зле. Но реальность этого зла на фоне всеединого процесса, весьма относительна. Являясь результатом самоутверждения мировой души вне Бога, мир отпал от Него и оказался «во зле». Но зло это не нечто самостоятельное, а просто смещение в недолжном взаимоотношении составных частей вселенского организма. Весь космогонический и исторический процессы и составляют длительное, мучительное, но неуклонное восходящее движение к восстановлению утраченной целостности. Раздираемое противоречиями творение, сама мировая душа, все-таки шаг за шагом идет навстречу сияющей ему истине и благодати, навстречу нисходящему к падшему миру Логосу. Процесс этот оставался диалектически-эволюционным и ускорялся со степенью одухотворения и богопознания.

Это и понятно, ибо в теории всеединства Соловьева, согласно которой космос является вторым абсолютom, отражением в тварных идеях полноты божественных идей, идея реально действующего зла не находит обоснования. Поэтому Соловьев и не ставил вопроса о том, что существо, а особенно существо духовное, способное к познанию Бога, как абсолютного и безусловного Добра, может не желать воссоединения с ним, и что оно захочет бросить Ему вызов в гордом самоутверждении и повести с ним беспощадную борьбу, какой бы бессмысленной и безнадежной она в конечном счете ни оказалась. В подобном мышлении Соловьев оставался верен сократовской традиции.

История казалась поэтому Соловьеву неуклонным органичес-

¹⁷⁾ В. Соловьев. Собрание сочинений. Т. 7, стр. 467.

ким процессом изживания зла и осуществления Царства Божьего, божественной правды на земле, как завершения грандиозной космической эволюции, вселенского богочеловеческого процесса. В таком представлении истории теократия занимала свое естественное и логическое место. История могла быть полна срывов, но в ней не было места для подлинной трагедии.

В конце 80-х и в начале 90-х годов в мироощущении Соловьева начинается глубокий перелом. И как мыслитель, и как мистик он остро почувствовал наличие и действие в истории «безусловного зла», сознательно и упорно ведущего борьбу против Добра и Истины. История предстала перед ним не как триумфальное шествие добра и возрастающего богопознания, а как глубочайшая трагедия, в которой добро и истина часто оказываются побежденными злом и ложью.

Уже смерть Сократа явилась ярчайшим свидетельством силы зла в истории, и трагизм события усугублялся тем, что произошло оно не среди полудиких и варварских народов, а в культурном средоточии эллинского мира, в тех самых Афинах, которые Перикл назвал «средоточием просвещения Эллады».

«Трагизм не личный, не субъективный... Сократу, все равно, жить оставалось уже недолго. Трагизм — в том, что лучшая общественная среда во всем тогдашнем человечестве — Афины — не могла перенести простого, голого принципа правды; что общественная жизнь оказалась несовместимой с личной совестью; что раскрылась бездна чистого, беспримесного зла и поглотила праведника; что для правды смерть оказалась единственным уделом, а жизнь и действительность отошли к злу и лжи»¹⁸⁾.

Итак в истории, и именно в истории, кроме добра действует и борется с ним «чистое, беспримесное зло». Оно, прикрываясь маской добра, может извратить самое возвышенное учение и лжеучением обольстить людей. Оно же может использовать великую мечту человечества о Царстве Божьем на земле для установления сатанинской власти над миром. Это и есть реальное и активное зло, пользующееся слабостью людей и препятствующее диалектически-эволюционному развитию истории к Царству Божьему. Понятно поэтому, почему Соловьев так остро ощутил невозможность исторического осуществления «свободной теократии», как логического завершения исторического процесса.

Это, однако, не означало отказа от задачи осуществления Царства Божьего на земле. Только внимание философа переносится теперь не на исторические предпосылки его осуществления, а на самого человека, через которого это Царство и может быть внесено в мир. Отсюда его интерес к разрешению антропологической про-

¹⁸⁾ Там же. Т. 9, стр. 215-216.

блемы, связь которой с историческим процессом Соловьев неустанно подчеркивает. Но этот новый человек, преодолевающий разделение полов и восстанавливающий свою первичную целостность, оказывается по существу человеком метаистории, окончательно преображенного мира. В этом Соловьев близок к Бердяеву.

Таким образом, отказавшись от своего космического оптимизма, Соловьев не стал на путь метафизического пессимизма. В конечном счете Добро и Правда непобедимы. Зло препятствует воцарению на земле Царства Божьего, но не в состоянии его предотвратить. И Соловьевым поэтому не отрицается реальная объективность исторического процесса: меняется лишь его трактовка. Из диалектически-эволюционного он становится диалектически-эсхатологическим.

В этом значение «Трех разговоров» для понимания произведенного Соловьевым углубления историософской темы. Но «Три разговора» интересны и другой особенностью, а именно новым переосмыслением прежней темы «свободной теократии». Очень много писали о том, что воссоединение церквей в «Трех разговорах» происходит в конце истории, что только немногие верные принимают в нем участие, и что тем самым вся эта проблематика занимает в эсхатологическом мышлении Соловьева в общем незначительное место и только подчеркивает крушение его теократических настроений.

Это не так. Приводя все эти соображения, очень часто не обращают внимания на то, что второе пришествие Христа знаменует не окончательное преображение мира, а только первое воскресение святых и наступление тысячелетнего царства Христа и Его Церкви на преобращенной земле. Здесь Соловьев смело обращается к Апокалипсису Иоанна Богослова и говорит не о конце истории вообще, а о начале истории хилиастического царства, которое, согласно Апокалипсису, есть власть Христа и священства (Апок. 20, 6). Это придает, конечно, объединению церквей в «Трех разговорах» значение более чем символическое, хотя оно, разумеется, качественно отличается от предыдущей идеи «свободной теократии», мыслившейся в пределах настоящего исторического зона.

Таким образом хилиастическое царство есть историческое преддверие метаистории; оно и создает условия для восстановления целостного человека и для окончательного преображения мира.

Именно здесь Соловьев еще раз подтверждает свое убеждение в провиденциальной роли папства. Как известно первым, кто разоблачил Антихриста на соборе и погиб от руки лжепророка Аполлония, оказался глава православных — старец Иоанн. Но первое воскресение завершается свободным соединением церквей, также

по слову Иоанна, под водительством воскресшего папы Петра II. Соловьев так описывает акт воссоединения:

«И заговорил оживший старец Иоанн: «Ну, детушки, мы и не расстались. И вот что я скажу вам теперь: пора исполнить последнюю молитву Христову об учениках Его, чтобы они были едино, как Он сам с Отцом — едино. Так для этого единства Христова почтим, детушки, возлюбленного брата нашего Петра. Пускай напоследях пасет овец Христовых. Так-то, брат!» И он обнял Петра. Тут подошел профессор Паули: „Tu es Petrus!“, — обратился он к папе — „Jetzt ist es ja grundlich erwiesen und ausser jeden Zweifel gesetzt.“»¹⁹⁾

Последняя фраза дает нам очень точное представление о взгляде Соловьева и на вопрос объединения церквей, и на его отношение к папству. Первенство папы основательно доказано и не подлежит сомнению. Но даже если эта истина оказалась доказанной и не вызывающей сомнений лишь в конце одного исторического эона, перед вторым пришествием Христа и перед вступлением в новый эон, то это возможно только потому, что истина эта была действительна и раньше, только люди в силу различных обстоятельств не хотели признать ее.

Величественное явление Софии-Церкви завершает акт окончательного объединения церквей перед вхождением в тысячелетнее Царство Христа и его святых.

*

В этом кратком очерке, посвященном последнему периоду жизни и творчества Владимира Соловьева, мы пытались осветить причины его жизненной драмы. Соловьев не был просто теоретиком, философом-ученым. Чем-то пророческим веет от всей его личности. Как многие люди этого склада, он оказался непонятым современниками, но вся его богатая творческая жизнь была посвящена делу осуществления правды на земле, философской проповеди Царства Божьего и бескомпромиссной борьбе с надвигающимися на мир силами зла.

Этой борьбы он не успел окончить. Оставаясь верным своим основным убеждениям, в последние годы своей жизни он лихорадочно торопился свести их в новый синтез на новых гносеологических и метафизических основаниях. Этого труда он не успел окончить, а по оставшимся фрагментам невозможно предугадать, как выглядело бы окончательно новое здание его системы, насколько он сумел бы увязать свою софиологию, теорию всеединства и историософию с его новой автономной этикой и незавершенной гносеологией. Труд жизни остался незавершенным — и в этом может быть

¹⁹⁾ Там же. Т. 8, стр. 579-580.

состоит самая глубокая драма мыслителя. С положениями Соловьева можно соглашаться или не соглашаться. Но сегодня, когда силы зла, против которых он боролся и приближение которых он так чутко предвидел, стали страшной реальностью и разрушают те ценности, вне которых жизнь человека, как свободного и творческого существа, становится бессмысленной и невозможной, творческое наследие Соловьева приобретает особый непреходящий смысл.

Оно напоминает не только о том, что «В начале было Слово-Логос», но что Логос есть Альфа и Омега, Начало и Цель всего бытия и что только в приближении и причастии к Нему возможны свобода и достоинство человеческой личности.

СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ

КРИЗИС ОБЩЕНИЯ

В нашу эпоху больших скоростей все более преодолевается пространственная и временная разобщенность. От Нью-Йорка до Парижа теперь стало практически ближе, чем было от Берлина до Вены сто лет тому назад. О событиях, совершающихся в далеком Конго, в тот же день становится известным не только в столицах, но и провинциях стран Европы и Америки. Президенты и премьер-министры никогда, кажется, так часто не встречались, как в наш век реактивных самолетов. Научные конференции, литературные съезды, фестивали молодежи, спортивные олимпиады — все это, в международном масштабе, происходит чуть ли не каждый год. Радио и телевидение сделали возможным присутствие лиц и событий повсюду. Круг знакомых у большинства людей, особенно горожан, значительно расширился. Ибо работа в больших предприятиях и условия современной жизни заставляют входить в контакт со все большим количеством лиц.

Казалось бы, прежние технические преграды для общения настолько уменьшились, что должен был бы наступить расцвет общения. Однако, никогда еще человек не был внутренне столь одиноким, как в наш век масс.

Это может показаться парадоксом, ибо в нашем мире массовой продукции и массовой культуры одиночество становится все труднее осуществимым. Вся наша жизнь поневоле более «на виду», чем это было, скажем, в 19 веке, который психологически кончился с первой мировой войной.

В то же время одиночество в нашу эпоху стало невыносимее, чем прежде. Ибо нигде не чувствуешь себя более одиноким, чем на фоне чужой толпы. Одиночество всегда начинается с о т ч у ж д е н и я от мира, по крайней мере, от окружающей среды. Чуждость есть оборотная сторона обостренного чувства собственной индивидуальности, своей единственности.

Поэты давно уже с горечью констатировали, что человек потерял былую гармонию с природой, на лоне которой, по крайней мере по преданиям, он пребывал в «золотом веке».

Тютчев выразил эту дисгармонию в классическом стихотворении:

Откуда, как разлад возник
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море
И роищет мыслящий тростник.

Но этот разлад с природой — обратная сторона того факта, что человек, будучи, с одной стороны, частью природы, в то же время возвышается над нею, что он способен к преобразованию природы и к творчеству своего мира культуры. Человек не только приспосабливается к окружающей среде, но и творчески приспособляет ее к себе.

Подобно этому, возвышение над окружающей социальной средой является условием возможности прогресса. Кант давно усмотрел, что цена прогресса — нарушение гармонии, и Гегель говорил, что «противоречие ведет нас вперед».

Пока человек жил одной жизнью со своим племенем, он жил стадной жизнью, исключавшей возможность какого-либо прогресса. Лишь творческий почин отдельных лиц двигал человечество вперед, — в случае, если этот почин находил последователей и постепенно становился частью общего образа жизни.

Ребенок тоже рано или поздно нарушает семейную гармонию, уходит из-под опеки — сначала матери, затем отца, — и хочет утвердить свое «я» вне зависимости от нежных родительских пут. Тогда ребенок проходит через стадию известного «отчуждения» от родителей. Разумеется, идеальный случай заключается в том, чтобы выросший юноша восстановил гармонические отношения с родителями, но уже на основе не подчинения, а дружбы, скрепленной сыновней привязанностью.

Словом, пробуждению личности всегда сопутствует обостренное ощущение своей особенности, обретения своей свободы. А этот процесс неизбежно чреват временным, по крайней мере, отчуждением от окружающей человеческой среды.

Совсем иной характер носит, однако, кризис общения и ощущение отчуждения в наш массово-индустриальный век.

Если нормальное отчуждение есть негативный симптом становления личности, то тот род отчуждения, о котором мы будем говорить, является скорее симптомом утери личности, или, по крайней мере, понижения степени ее индивидуации.

Это самоотчуждение коренится в небывалой прежде стандартизации и бюрократизации почти всех аспектов социальной жизни, сопровождающих сверхиндустриализованную культуру. Человек все более втягивается в гигантские аппараты, которыми является большинство современных предприятий, и его труд, хотя и осво-

бождаемый от прежней материальной тяжести, дает все менее возможностей творческого самопроявления. Человек все более становится автоматически реагирующим объектом производимых над ним манипуляций, хотя манипуляции эти настолько анонимны, что при этом не производится прямого давления. Современная реклама, с ее методами воздействия на подсознание, — один из примеров такого манипулирования, в данном случае над подсознанием «потребителей».

Человеку слишком часто приходится играть роли, не соответствующие его индивидуальному своеобразию, вступать в контакты с чуждыми ему людьми; его время все более берется на учет, он имеет все менее возможностей подлинного индивидуального выбора. В наш век электронных машин и автоматизации, сама личность поневоле становится склонной к механизации и автоматизации.

Подлинное же общение невозможно на механическом, автоматическом базисе, оно может происходить лишь спонтанно, на основе свободного взаимодействия волей.

Верно, что никогда, как в наше время, не было таких возможностей расширения общения. Но это — именно расширение, за счет утери глубины. Круг общения расширился, но интенсивность его скорее уменьшилась. Современное общение носит более характер обмена информацией, и менее — характер подлинного общения, которое предполагает обмен идеями, эмоциональным опытом, родство или полярность душ. К сообщению информации способна и электронная машина, которая может выполнять эту функцию даже с гораздо большей скоростью (разумеется, машина эта должна быть предварительно «заряжена» человеком).

Но обмен информацией — наиболее безличная форма общения. Это же относится к социальной процедуре (формальная сторона собраний), которая создает лишь рамки для возможного общения.

Реальное общение предполагает два основных условия: общающаяся личность (а не только ее социальную перспективу) и наличие некоей хотя бы минимальной связи между общающимися личностями — общие интересы, стремление принадлежать к какому-то «мы» и т. д. Отсюда следует, что внутренне изолированная личность, а также личность, боящаяся быть собой, преисполнена стремлением к бегству от себя, неспособна к подлинному общению и не может его желать. Выполнение же социальной процедуры, — без наличия ее смысла и общесолидарной платформы, — является лишь карикатурой на подлинное общение.

Лишь творчески активная (или творчески воспринимающая) личность, обладающая волей к сверхличным ценностям, способна к подлинному общению. Это отнюдь не значит, что общение может происходить лишь между людьми возвышенного духа: нередко

пьяницы и вообще опустившиеся люди чрезвычайно склонны к общению. Но эта их общительность, большей частью — односторонняя и вызвана скорее желанием найти сочувственного слушателя, чем стремлением к своему «партнеру». Подлинное же общение — взаимолицезрение двух или нескольких «я». Болтливость отнюдь не равнозначна подлинной общительности. Обычно подобные, чересчур «общительные» люди заинтересованы более в том, чтобы представить себя лучше и значительнее, чем они есть на самом деле, а не в подлинном общении, предполагающем волю к самораскрытию.

Вообще, воля к самооправданию может стимулировать волю к самораскрытию, но одержимость манией самооправдания исключает возможность подлинного самораскрытия, предполагающего элемент суда над собой с точки зрения своей индивидуальной сущности. Откровенность еще не есть искренность, подлинное же общение возможно лишь при условии искренности. Ибо откровенность есть лишь тело самораскрытия, искренность — его душа.

Помимо воли к самораскрытию, общение предполагает и готовность войти в положение или состояние другого — волю к интуиции чужого «я», — иначе общение будет односторонним и может вылиться, как говорится, во взаимное или одностороннее излияние помоев.

Вообще говоря, общение имеет множество различных форм и аспектов.

Из них необходимо выделить общение семейное, содержащее в себе прообразы и потенции более сложных форм общения. В семейном общении даны три основных направления общения: вышестоящих с нижестоящими (отношение родителей к детям), нижестоящих к вышестоящим (детей к родителям), и отношение равенства (между мужем и женой, братьями и сестрами). Семейное общение носит одновременно коллективный и сугубо личный характер. Семья — прообраз и ячейка более сложных коллективов, нередко вступающих в конфликты с внутри-семейными отношениями. Недаром, когда хотят охарактеризовать слитность и спаянность коллективов, говорят, что это — как бы одна семья.

Семья есть как бы интимный коллективно-личный организм, в котором все члены интимно связаны между собой. Эта интимная близость имеет и свою оборотную сторону: семейные раздоры особенно болезненны, так как в них предметом нападок становятся самые интимные стороны личности, и в семье воочию видны все человеческие слабости, обыкновенно скрываемые в «свете».

Но становление личности неизбежно ослабляет связи с семьей, и даже самая любовная семейная опека не должна ощущаться, как

постылое бремя. Птенцам рано или поздно пора вылетать из насиженного теплого гнезда.

Общение на основе свободы может происходить в следующих категориях:

общение эротическое, понимаемое во всем широком диапазоне этого понятия — от случайных связей или эротически окрашенной дружбы до единства общей судьбы;

общение, основанное на личной дружбе, большей частью между лицами одного пола;

общение профессиональное (между лицами родственных профессий);

общение, основанное на превосходстве одной стороны (отношение ученика к мастеру, педагога к учащемуся);

общение, преследующее цель «убить время» («бутылочное», «карточное» и иные подобные виды общения).

Разумеется, помимо того, общение может происходить и в сугубо общественном плане — в виде участия в различных кружках, обществах, клубах, партиях и т. д. В этом «социальном» роде общения нет и не может быть глубины, присущей межличному общению. Но и назначение «социального» общения нормально бывает другое — отношение «сотрудничества», «соревнования», «репрезентации», когда в личности раскрывается не ее интимно-человеческая, а социальная сторона — то, что Юнг называет «персоной». Такого рода общение служит деловым и, главное, репрезентативным целям. Ибо хотя, объективно говоря, «быть» важнее, чем «казаться», каждый хочет не только быть, но и казаться.

Здесь личность, проецируя себя вовне, этим самым стремится дополнить узость чисто личных интересов и страстей выходом на широкую арену «чужого» мира — «выходом в свет». Ибо человек — не только неповторимое «я», но также и член общества, понимаемого во всей многоликости своих аспектов.

К составу личности принадлежит как интимно-личная, так и социальная сфера, в которую входит как стремление принадлежать к какому-то «мы», так и стремление противостоять тем или другим формам «мы». Включаясь в социальную сферу, человек преодолевает узость личного бытия и приобщается к социальному Космосу — то ли путем солидаризации, то ли путем борьбы.

В идеальном плане, личность и общество дополняют друг друга. Однако, от идеалов обыкновенно бывает далеко до действительности. И если в 19 веке социальная сфера была, вообще говоря, недостаточно развита, что соответствовало индивидуализму, как господствующей философии жизни той эпохи, то в 20 веке, с его быстрыми темпами индустриализации и развитием массовой культуры, социальная сфера грозит поглотить индивидуальное «я».

Параллельно этому, общение все более теряет свой межличный характер и заменяется «социальной процедурой».

Эта деперсонализация общения сказывается в ряде признаков: в слишком быстрой замене родительского авторитета авторитетом школы, в бюрократизации самой школы, где педагог все более становится обезличенным источником необходимой для выполнения программы информации, чем воспитателем юношества, в упадке личной дружбы, в вырождении литературных салонов и кружков, заменяемых слишком широкими и потому безличными профессиональными объединениями, в умирании искусства разговора, в замене традиционного гостеприимства обезличенными «приемами». Даже в эротической области бывшая индивидуальная романтика уступает место эротическому «партнерству».

Все эти явления характерны для массово-индустриальной культуры, когда мир оказывается чересчур переполненным, когда нет более цветения ярких индивидуальностей, — да и сам культ личного своеобразия становится трудно выполнимым и несоответствующим «духу эпохи». Высокие темпы работы и жизни и необходимость все более точного учета времени создают такие условия, при которых и на индивидуальную дружбу, и на индивидуальное гостеприимство не хватает времени. Все, что идет в глубину, а не «вперед», кажется потерей времени. Современный же человек имеет все менее времени для личности.

Место прежнего индивидуального общения все более занимают: деловая коллегиальность, обмен полезной информацией, групповая солидарность — более внешние и прагматические виды общения, чем личная дружба стиля 19 века.

Говоря в плане культуры, особенно прискорбно вымирание литературных и философских кружков и салонов, в которых, в интимно-дружеской обстановке, творчески обсуждались актуальные проблемы искусства, литературы, философии. Такие кружки (подобные кружкам Любомудров, собраниям у Мережковских или «башне» В. Иванова) играли роль как бы творческих культурных микроорганизмов, способных производить настоящие культурные мутации. Из интимных салонов живая мысль выходила затем на широкую общественную арену, нередко становясь движением, заражавшим широкие круги.

Подобные кружки могут зарождаться лишь спонтанно и предполагают наличие как воли к творчеству, так и сравнительно спокойной обстановки, в которой только и может происходить органическое рождение мысли.

Мысль рождается, в основном, конечно, в одиночестве. Некоторые мыслители-одиночки, вроде Ницше, вряд ли делились своими мыслями первоначально с кем-нибудь, перед тем как предать мысль

литературной гласности. Во всяком случае, без творческого общения с единомышленниками (или оппонентами, стоящими на родственной платформе мысли) вряд ли можно создать общественное или культурное движение.

Помимо того, эпистолярное наследие многих выдающихся умов свидетельствует о том, что они испытывали живую потребность делиться своими мыслями и своим эмоциональным опытом. Достаточно сослаться на переписку Толстого, Достоевского, на разговоры Гете с Эккерманом и т. д. Подобных примеров можно было бы привести сотни.

Обобщая, можно сказать, что упадок подлинного общения в нашу эпоху (несмотря на рост внешних форм общения) коренится в феномене с а м о о т ч у ж д е н и я. Самоотчуждение означает деперсонализацию личности. Современный человек более стремится «казаться» и «функционировать», чем собственно быть. Поэтому и общение приобретает все более показной, репрезентативный или процедурный характер. Человек должен прежде всего быть собой — обладать своей неповторимой индивидуальностью, нашедшей свое место в мире. И он должен найти свой предмет служения. Ибо по настоящему собой может быть лишь тот, кто ставит нечто выше себя. Истинный путь личности ведет, говоря словами блаженного Августина, «от внешнего — к внутреннему, и от внутреннего — к высшему». Это и означает путь творчества и служения.

Лишь нашедшая себя и свой идеал личность способна как к подлинному одиночеству, так и к подлинному общению. При отсутствии воли к творчеству и служению человек неизбежно отчуждается от самого себя и наполняется пустотой, ищущей и требующей заполнения любым содержанием. Экссессам «занятости» и погони за «удовольствиями» подвержены обычно люди, у которых в той или иной степени произошло отчуждение от самих себя. Такие люди преисполняются стремлением к бегству от себя — и это бегство может принимать тысячи форм, из которых «комплекс занятости» и стремление к саморассеянию являются самыми распространенными. Разъедаемость внутренней пустотой, проявляющей себя субъективно, как скука, является неизбежной Немезидой самоотчуждения.

Хорошо говорит на эту тему Эрих Фромм:

«Рядовой человек современности, несмотря на свою занятость и обилие форм саморассеяния, в глубине своей находится в состоянии депрессии. Депрессия же есть сгущенная скука. Этой скуки можно избежать двумя путями: или радикально, путем творчества, или стремясь избавиться от ее внешних симптомов. Этот последний путь характеризуется погоней за отвлечениями и удовольствиями. Рядовой современный человек ощущает депрессию и скуку, которые особенно чувствительно проявляются, когда он остается один или со своими близкими».

Фромм характеризует «самоотчужденного» человека, как потерявшего «контакт с самим собой». Но потеря контакта с собой неизбежно ведет к потере контакта с другими, сколько бы внешних знакомств не имел такой человек. Ибо одна из тайн общения заключается в умении давать себя. Но давать можно лишь то, что имеешь. Самоотчужденный же человек теряет свое самое главное достояние — свою личность. Отсюда и рождается даже повышенное стремление к внешним способам общения, в которых подлинное «я» человека не раскрывается, а маскируется социальными масками. Подобный психологический маскарад, где самые маски стандартизованы, все более становится самым популярным, — ибо наименее обязывающим, — видом общения.

Современное общение все более служит целям престижа («Смотрите, с кем я общаюсь!») и совместного «убийства времени», а не глубинному обмену эмоциональным и духовным опытом.

Да не поймут нас превратно: известная доля эксгибиционизма и еще более — отвлечения от житейских и деловых забот, даже от творческих стремлений, неизбежна, естественна и — мало того — всегда была одним из стимулов общения. Простой инстинкт самосохранения побуждает нас устанавливать не слишком глубокие контакты со множеством людей, с которыми мы встречаемся в свободные часы, наводить на себя какой-то психический грим. Нам приходится раскрывать в общении социальные аспекты своей личности, которые редко совпадают с ее сутью.

Дело идет об эксцессивном перевесе внешних форм общения над его смыслом. Общение не должно быть видом бегства от себя, а дополнением своего самобытия. Как, в идеальном плане, личность и общество должны дополнять друг друга, так отношение взаимодополнения должно существовать и между одиночеством и общением. Одиночество и общение — нормальные ритмы жизни человеческой личности.

Но деперсонализованная личность ощущает и свою душу, как нечто чуждое — и стремится избежать себя в других, что может давать лишь иллюзию преодоления гложущей внутренней пустоты. Ибо пустота, помноженная на другие пустоты, все равно остается пустотой. Общение становится тогда «близостью дальних», когда, по слову Гейдеггера, «каждый — другой, и никто — он сам».

«Не добро быть человеку одному». Всякое подлинное общение есть приобщение к человеческому Космосу, преодолевающее индивидуальную ограниченность. Без такого, хотя бы частичного приобщения, человек становится безнадежно закупоренным в своей неприкайной самости.

Особый вопрос — характер общения на Западе и в России (оставляя в стороне очевидную теперь провинциальность этого, ранее «зву-

чавшего», противопоставления). Одно из главных обвинений, выдвинутых славянофилами по адресу Запада, это обвинение в его «антидушевности»: на Западе общение людей, по их утверждениям, носило чересчур формальный, холодный характер. Еще Киреевский жаловался на «невыносимый холод» личных отношений на Западе. В противоположность этому, по утверждениям славянофилов, русский быт отличается «соборностью» — «единством в духе свободы». Общение между русскими, по мнению славянофилов, отличается большей человечностью, большей душевной теплотой, чем в чересчур рационализированном Западе. Этим идеям вторил Кейзерлинг, утверждавший, что русский народ — «единственный, сохранивший непосредственное отношение к душе ближнего».

Думается, что, применительно к дореволюционному времени, эта сравнительная характеристика, будучи освобожденной от продиктованных национализмом преувеличений, в какой-то степени приближалась к действительному положению вещей. Конечно, нужно сделать существенную оговорку, что традиционная западная сдержанность в общении между людьми (собственно, в северных странах), отнюдь не исключала сердечности с избранными близкими, и что эта сдержанность предохраняет от эксцессов общения, нередко ведущих, в порядке реакции, к ссорам и ненужным разрывам. Но, думается, славянофилы и Кейзерлинг правильно отметили большую глубину общения в русском быту.

Действительна ли эта картина теперь, после сорокалетней диктатуры советской власти? Думается, что искусственно-насильственное и настойчиво-систематическое насаждение «панполитизма» (подведение всего под политическую мерку) произвело ряд структурных изменений в русской душе, в том числе изменений в стиле и характере общения.

Эта политизация всех сфер жизни, изоляция СССР от остального мира, не говоря про эксцессы сталинского периода, с его культом и боязнью доноса, и вся насыщенная пропагандными фикциями атмосфера — все это никак не могло способствовать сохранению душевности и общительности. За «общение» с кем не надо в сталинское время можно было угодить в концлагерь.

Пусть теперь эта мрачная картина заметно изменилась в сторону большей бытовой свободы. Но социально-политическая маска, которой все еще нужно прикрываться, так сказать, выросла в лицо. Люди научились (и теперь, пожалуй, больше, чем при Сталине) с полным видом искренности повторять «своими словами» внушенное им свыше. Эта «интроскопия» пропаганды, эта ее внутренняя ассимиляция представляет, быть может, самое большое «достижение советской власти». Двоемыслие („doublethink“), о котором писал Орвелл, в Советском Союзе стало в значительной степени совершившимся фактом.

И, однако, опыт показывает, что достаточно советским людям перейти в условия реальной свободы, как эта, вросшая, казалось бы, маска, с легкостью снимается. Мало того, иностранцы, которые владеют прилично русским языком и умеют подходить к людям и которые посетили СССР в качестве туристов, свидетельствуют о многих откровенных разговорах с советскими людьми, или о достаточно откровенных намеках, которые ими делались. Несмотря на внешнюю серость советских условий жизни (если мерить западными условиями), многие такие иностранцы не только проникались глубокой симпатией к народу, но и уносили с собой любовь к нему.

Все это доказывает, что в русских людях остались и душевность и непосредственность в общении, и ряд других исконных русских черт, которые режиму удалось подавить, но не выкорчевать. А «свобода души», о которой говорил Пастернак, теперь важнее всех других свобод.

Раны, нанесенные русской душевности, несомненны, но полагать, что народ превратился чуть ли не в «роботов», было бы чудовищной клеветой.

Во всяком случае, думается, кризис общения налицо как на Западе, так и на Востоке, хотя формы его довольно различны.

Думается также, что корни этого кризиса — не только в условиях, создаваемых нашим веком массовой индустриализации и массовой психологией (а на Востоке — массовой диктатуры), а прежде всего в упадке религиозного сознания. Ибо только чувство своей связи с Абсолютным является условием христианского отношения к ближним. Любовь к человеку вне любви к Богу неизбежно скудеет и может даже вырождаться в человеконенавистничество.

Но это уже — особая тема. Цель же данной статьи — указать, иногда поневоле ощупью, на наличие и признаки кризиса общения в наш век кризисов.

Б. МАРТИНО

Социально-политические идеи христианской демократии

Ответ на вопрос, что противостоит коммунистическим идеям в западном мире (а этот вопрос приходится слышать в наши дни очень часто), по необходимости не может быть односложным. Вполне понятно, что западные страны, возглавляющие часть мира, которую теперь нередко называют «свободным миром», объединяет прежде всего идея свободы, — но само слово «свобода» уже предполагает наличие разнообразия идей и представлений, несводимых к однозначному, краткому их определению. Да и общее понятие свободы, допускающее различные и противоречивые ее толкования, вряд ли способно удовлетворить требовательное любопытство спрашивающих, желающих чаще всего знать, как же конкретно раскрывается эта идея в общественно-политической жизни западных стран.

В этой статье я ограничиваюсь, если можно так сказать, только частью ответа и лишь в отношении Западной Европы. О Соединенных Штатах Америки надо говорить отдельно: в этой стране, созданной выходцами из Европы, по-своему переплавившими на новом континенте европейские традиции, коммунизму противостоит особый идейный мир, далеко не всегда и не сразу понятный европейцу. В США образовались свои идейные традиции, в которых, на европейский взгляд, произошло перемещение привычных понятий: консерваторами, например, там называют собственно либералов, а либералами чуть ли не социалистов. Это затрудняет для неамериканцев понимание своеобразного уклада и мира идей, создавших прочный, основанный на идее свободы, «американский образ жизни» и требует объяснений, выходящих за рамки данной статьи.

В Западной Европе после войны достаточно четко определились три идеологических лагеря: либерализма, социализма и христианской демократии. Наиболее значительным из них является

лагерь христианской демократии: ему после второй мировой войны принадлежала ведущая роль в восстановлении и укреплении жизни большинства стран Западной Европы. Партии христианских демократов все это время находились у власти в Италии и Западной Германии, в коалиции с другими партиями в Австрии, Бельгии и Голландии и руководили политической и экономической жизнью этих стран. Во Франции собственно христианско-демократических партий нет, но возникшее после войны Народно-Республиканское Движение (MRP) по своей идеологии близко к христианской демократии; де-Голль и созданное им движение тоже близки миру ее идей.

Успехи западноевропейских стран в ликвидации последствий самой разрушительной в истории Европы войны и в быстром поднятии уровня жизни населения этих стран, естественно привлекают внимание к идейному содержанию христианско-демократического движения. Это, в свою очередь, требует ознакомления прежде всего с основными социально-политическими идеями католической церкви. На это есть свои причины. Одна из них — та, что христианско-демократическое движение преобладает в странах с католическим населением; исключение составляет Западная Германия, где большое участие в этом движении принимают и протестанты. Другая причина — та, что католическая мысль интенсивнее и более собранно занимается социально-политическими вопросами. У протестантов есть свои священники и ученые, занимающиеся этими же вопросами и протестантские церкви тоже вносят свой вклад в формирование мировоззрения христианско-демократического движения, как и в практическое его осуществление. Но уже в силу различия организационной структуры католической и протестантской церквей, обозрение социально-политических идей протестантизма представляет собой большую трудность, тогда как основы социально-политических идей католицизма без особого труда можно увидеть в ряде документов Ватикана.

Следует также учитывать, что несмотря на богословские различия этих церквей, общее направление, линии развития и дух социально-политических идей у них, — например, в Западной Германии, — во многом совпадают или тесно соприкасаются друг с другом. Поэтому ознакомление с социальными идеями католической церкви может дать достаточное представление об общем идейном характере христианско-демократического движения. И в данной статье, имеющей чисто информационную задачу, мы остановимся лишь на социально-политических идеях католической церкви.

КАТОЛИЦИЗМ И СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Католическая церковь с давних времен своей истории не чуждалась вопросов разработки социально-политических идей. Например, еще в XIII веке Фома Аквинский учил, что человеческие законы могут иметь силу лишь постольку, поскольку они согласны с законами божественными и что люди обязаны восставать против государей, издающих законы противоречащие божественным. В Средние века католическая церковь пыталась по-своему разрешить проблему кредита: так как христианам было запрещено давать деньги в рост, церковь брала банковские операции под свой контроль и создавала ломбарды („Mont de piété“).

В XIX веке появились католические мыслители, работавшие в области социально-политических идей. В 1815 году, в Мюнхене, Франц фон Баадер написал книгу «О вызванной французской революцией потребности новой и более тесной связи религии с политикой»; в этой книге он впервые употребил термин — «христианско-социальный».

В сороковых годах прошлого столетия, — в то самое время, когда К. Маркс писал свой «Коммунистический манифест», — в Германии зародилось католическое рабочее движение. В 1846 году священник Кольлинг основал «Общество католических подмастерий», первую ячейку этого движения, которое вскоре распространилось по всей стране. Оно было горячо поддержано архиепископом Майнцским фон Кетелером, который переписывался по этому поводу с Бисмарком и Лассалем, выступал в защиту его в проповедях и распространял идею создания производственных рабочих кооперативов.

В семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века католические депутаты принимали большое участие в работе германского Рейхстага в части создания трудового и социального законодательства, в котором, как известно, Германия далеко опередила многие другие страны.

Однако, систематическое изложение социально-политических идей католической церкви началось только с появлением так называемых социальных энциклик римских пап. 15 мая 1891 года папа Лев XIII издал первую такую энциклику — «Рерум новарум»^{*)}. В то время — время расцвета капиталистического хозяйства — эта энциклика была документом почти революционным: папа осуждал в ней эгоизм и жестокосердие работодателей, которые «безмерно эксплуатируют рабочих и поступают с ними не как с людьми, но как

^{*)} Энциклики римских пап получают свое название по первым словам их основного текста.

с вещами». Он требовал ограничения рабочего времени, запрещения работы по воскресеньям, защиты женского и детского труда и справедливой заработной платы.

Развивая мысль о справедливой заработной плате, Лев XIII писал в энциклике, что государство с помощью законодательства должно способствовать распространению собственности на низшие классы населения. Папа подчеркивал, что обладание собственностью является правом человека, которое не может оспариваться ни государством, ни обществом. Поэтому полная социализация собственности ограничила бы свободу рабочего и принесла бы ему больше вреда, чем пользы, — в связи с этим в энциклике отмечается, что между трудом и капиталом существует не столько противоречие интересов, сколько тесная взаимосвязанность и взаимозависимость. Нравственное учение церкви указывает при этом на путь разрешения конфликтов: государство, как страж общественного блага, обязано вмешиваться во взаимоотношения между трудом и капиталом, когда справедливость нарушается. Государство должно заняться прежде всего общественно-слабыми группами населения и защитить их от давления общественно-сильных групп. Тут Лев XIII подошел к наиболее революционному по понятиям того времени моменту: он благословил объединение рабочих в профессиональные организации, предлагая как рабочим, так и работодателям объединяться в союзы сословий и стремиться к разрешению социального вопроса. Наконец, он требовал введения коллективных договоров на предприятиях. Упомянул он и об участии рабочих в прибылях — то и другое тогда тоже было революционным требованием.

Энциклика «Рерум новарум» как бы подвела итог и «идеологическую базу» под то, что уже проводилось в то время в католической социальной политике в Германии, и вызвала изумление и даже замешательство в других странах. Правительство «Его апостольского величества» императора Австро-Венгрии, например, запретило опубликование этой энциклики; в Соединенных Штатах Америки «большая» печать о ней просто промолчала.

«КВАДРАГЕЗИМО АННО» И «МАТЕР ЭТ МАГИСТРА»

«Рерум новарум» послужила фундаментом для работ многих католических ученых; она оказала также большое влияние на социально-политическую практику европейских стран в первые десятилетия нашего века. Этим работам и переменам в общественной жизни подвела итог вторая социальная энциклика — «Квадрагезимо анно», изданная 15 мая 1931 года папой Пием XI, в которой уже был учтен опыт большевизма в России и фашизма в Италии.

Энциклика «Квадрагезимо анно» повторяет ряд положений «Рерум новарум»: в ней подчеркивается, что собственность должна служить как личному, так и общему благу, отмечается взаимосвязанность труда и капитала, подтверждается требование о депролетаризации рабочих и о справедливой заработной плате. Вместе с тем, в ней впервые упоминается о возможности социализации частной собственности, правда, в осторожной форме: в энциклике говорится, что некоторые области производства благ могут передаваться в собственность государства, если связанное с этим производством влияние нельзя доверять частным лицам, не подвергая опасности общее благо.

Основная тема «Квадрагезимо анно» — общественное устройство. Указывая на раздробление общества под влиянием индивидуалистического либерализма, энциклика требует преодоления образовавшегося классового общества путем создания нового «сословного строя». Папа Пий XI призывал к обновлению общества и экономической деятельности в духе христианства, отмечая, что для этого надо добиться реформирования как господствующих убеждений, так и существующего положения.

В энциклике заявляется: «Справедливый общественный строй требует наличия множества членов общественного организма, объединенных крепкой связью единства. Силу этой связи создают, с одной стороны, блага, производимые — или службы, исполняемые — людьми, принадлежащими к одному сословию, как работодателей, таких и рабочих, а с другой стороны общее благо, к которому стремятся и которому служат все сословия, каждое в своей области».

Этим папа Пий XI отнюдь не хотел санкционировать корпоративное устройство государства, установленное в фашистской Италии за четыре года до появления энциклики «Квадрагезимо анно» (в 1927 году была опубликована «Карта ди лаворо» Муссолини, о корпоративном строе). Между католическим пониманием сословного государства и фашистским корпоративизмом есть существенная разница.

В «Квадрагезимо анно» говорится: «Учение Льва XIII о форме государственного правления (Лев XIII был первым из пап, признавшим, что республиканская форма правления приемлема и для католика. Б. М.) относится также и к сословиям или сословным организациям: люди совершенно свободны в выборе их формы по своему желанию, лишь бы были удовлетворены требования справедливости и общего блага». Тем самым, по католическому пониманию, сословные организации должны возникать «снизу», как свободные общественные организации, — фашистские «корпорации» создавались «сверху», по приказу государства, что устраняло свободу выбора и деятельности людей. Поэтому в «Квадрагезимо анно» фашистское

корпоративное государство было охарактеризовано, как полная противоположность сословному строю, — это не замедлило вызвать недовольство Муссолини и преследования со стороны фашистов деятельности католических организаций.

Энциклика «Квадрагезимо анно» ввела в католическое социально-политическое учение новое понятие: принцип субсидиарности, очень существенный для понимания католических взглядов на взаимоотношения общества и составляющих его членов. Согласно этому принципу, общество должно предоставлять своим членам возможность делать все то, что они в состоянии делать сами, на свою собственную ответственность и своими силами. Самодеятельность отдельных личностей и, далее, общественных групп не может подменяться или отменяться большими общественными группами и, на самом верху, государством. И только в том случае, если отдельные члены общества или общественные группы не в силах справиться со стоящими перед ними трудностями, на помощь им приходят большие общественные группы или государство. Таким путем, по принципу субсидиарности, охраняется личность, общественные группы и территориальные формирования, т. е. все общество от возможности поглощения всесильным государством.

Пий XI в «Квадрагезимо анно» решительно высказался против даже умеренного социализма: в энциклике категорически подчеркивается, что нельзя быть одновременно хорошим католиком и социалистом. Этот протест против социализма, указывается в энциклике, вызван идеологией социализма, не содержащей духовной ценности и главной своей задачей видящей лишь повышение материального уровня жизни населения.

Папа Пий XII не издавал энциклик по социальному вопросу, но не раз высказывался по этому поводу. Так, 1 июня 1941 года он заявил, что «высшее назначение собственности есть обеспечение всех необходимыми благами. Если же частная собственность принимает формы, делающие это обеспечение невозможным, то тогда общество имеет право ограничить эту собственность настолько, чтобы обеспечение всех было достигнуто».

11 марта 1945 года, выступая перед рабочими, Пий XII сказал, что церковь ничего не имеет против социализации частной собственности, если соблюдаются следующие условия: если нет другого выхода для обеспечения общих интересов, следовательно, лишь в случае действительной необходимости; социализация не должна производиться насильственным путем; за социализированное имущество должно быть уплачено справедливое возмещение.

В 1961 году папа Иоанн XXIII издал третью социальную энциклику — «Матер эт магистра», повторяющую основные положения «Рерум новарум» и «Квадрагезимо анно» и призывающую людей

применить католическое учение к современным условиям. Папа выступает в ней в защиту экономически слабых слоев населения, требует участия рабочих в прибылях и в управлении предприятиями, вместе с тем по-прежнему осуждая социализм, как «исключительно мирское воззрение». Он требует строгого государственного контроля над нарушениями равновесия в экономической жизни, одновременно указывая, что государство должно избегать возможности ущемления частной инициативы: подавление ее привело бы к государственному дирижизму, тогда как совершенно свободная игра экономических сил, с другой стороны, ведет к эксплуатации и беспринципности. В энциклике подчеркивается, что в современных условиях во всей хозяйственной деятельности, при развитии разных форм обобществления жизни, самое важное — это обеспечение свободы действия каждой личности.

Папа вновь подтверждает требование о справедливой заработной плате, дающей возможность трудящимся достойно жить, осуждает роскошь, расходы на вооружение и траты, служащие целям лишь поддержания национального престижа. В энциклике уделено внимание нуждам сельского хозяйства; рассматривается также и вопрос о помощи слабо развитым странам: папа осуждает все виды неоколониализма и предупреждает против того, чтобы слабо развитым странам оказывалась лишь материальная помощь.

Папские социально-политические энциклики послужили основой для трудов многих католических ученых, на которых в рамках этой статьи не приходится останавливаться. Наиболее известными из этих ученых можно считать: в социально-экономической области немецкого ученого Генриха Пеша, в социально-политической — тоже немецкого ученого Нейль Брейнинга, и в области социально-философской — француза Жака Маритена.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО

В энциклике «Квадрагезимо анно» говорится: «Человек создан Богом, с расположением к общественной жизни, для того, чтобы в обществе и подчиняясь Богом установленному общественному авторитету, он мог развиваться во всем богатстве данных ему Богом способностей, во славу Божию, и честно исполняя свое призвание, осуществлять как свое временное, так и свое вечное счастье».

Для понимания этой весьма сжатой, концентрированной формулы необходимо помнить, что католическая церковь всегда стояла на позициях естественного права. Воззрения древнегреческой философии о наличии известных неписанных божественных законов, с которыми должны согласовываться законы человеческие, у блажен-

ного Августина воплотились в следующую формулу: «Естественное право есть отпечаток вечного закона в человеческом духе». Семьсот лет тому назад Фома Аквинский, работая над установлением системы католического богословия, исходил, в частности, из основ естественного права. Он писал:

„Quaelibet persona singularis comparatur ad totam communitatem sicut pars ad totum. Homo non ordinatur ad communitatem politicam secundam se totum et secundam omnia sua“.

В свободном изложении это можно перевести так: в качестве члена общества, человеческая личность является частью общества, как большего организма, — однако человек входит в общество не всем своим существом и не всем тем, что ему принадлежит. Целеустремленность его личностной жизни возвышает эту жизнь над временным обществом, в котором он нуждается в своей земной жизни.

Между этими мыслями и определением смысла существования человека, данным в «Квадрагезимо анно», как видим, есть прямая связь. Право человека в рамках общества — это право осуществлять свое земное счастье, право творить и любить, стремясь к вечному счастью, к спасению души. Спасение души — это его естественное право и оно никем не может быть отнято. Однако, это право находится под угрозой с разных сторон: со стороны предпринимателей-эксплуататоров, как и со стороны тоталитарных государств, — и папские энциклики отражают заботу церкви об ограждении естественных прав человека от отчуждения их посторонними силами.

Лев XIII в «Рерум новарум» писал: «Человек старше государства, семья тоже старше государства, поэтому некоторые их права от государства зависеть не могут». Эта точка зрения нашла прямое отражение не только в программах христианско-демократического движения, но и в государственных конституциях. Так, в параграфе шестом конституции Федеративной Республики Германии (Западная Германия), созданной главным образом представителями христианско-демократического движения, говорится: «Уход за детьми и их воспитание являются естественным правом родителей и их первой обязанностью». Это подчеркивает, что родители имеют больше прав на детей, чем государство, и всякая попытка изменить это положение была бы нарушением конституции, отражающей естественные права человека.

Естественное право отражается и в принципе субсидиарности, о котором уже упоминалось выше. Можно еще вспомнить, что разрабатывая свое учение об обществе и государстве, католические ученые дополняли его также принципом солидарности. Если принцип субсидиарности устанавливает, что общество и государство обязаны сохранять максимальную автономию составляющих их частей, прибегая к вмешательству в деятельность более мелких общественных

групп только тогда, когда последним нужна помощь, то принцип солидарности гласит, что жизнь общества и государства основывается на сотрудничестве составляющих их национальных, социальных и бытовых групп.

Идея солидарности была выдвинута в свое время в противовес идее классовой борьбы и тщательно разрабатывалась католическими учеными, особенно в Австрии и Германии. Еще до первой мировой войны профессор Майнцского университета патер Генрих Пеш (умер в 1926 г.) начал публиковать свой большой труд о «Христианском солидаризме». Однако, в последнее время сам термин «солидаризм» был признан неудачным и хотя он был принят как в социальном учении церкви, так и некоторыми католическими учеными, в оформлении идей христианско-демократического движения он отражения не получил.

КАТОЛИЦИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

К демократии современные католические мыслители относятся положительно: они считают, что демократический образ правления в данных условиях предоставляет наилучшие возможности для гармонизации прав человека и потребностей государственной жизни. Демократический строй рассматривается ими, и как наиболее эффективный для сохранения единства нации, основанного на связи частей, составляющих народ данного государства; этот строй они считают наилучшим также для перекрытия пропасти, разделяющей государство и общество.

При этом католические ученые не проходят мимо недостатков демократии, указывая на изменения, которым подвергался парламентарный строй за время своего существования. Они отмечают, в частности, такое явление: развитие деятельности политических партий привело к тому, что, хотя в конституциях государств о них либо вообще не упоминается, либо упоминается только мельком, на деле парламент и вся политическая жизнь в демократических странах оказались в руках не народа, как это должно было бы быть, а в руках партий — и в конечном счете в руках аппарата этих партий. Это, конечно, является нарушением основного принципа демократии и часто приводит к злоупотреблениям и неудовлетворительному функционированию всей системы управления государством.

Католическая мысль и здесь не ограничивается только критикой, а вносит свои предложения для реформирования создавшегося положения. Так, известный католический ученый Монтези предложил провести следующие меры для оздоровления партийно-политической жизни; 1. Обязать партии сохранять внутрипартийную демо-

кратию; 2. Запретить оказание давления на депутатов внутри фракций; 3. Выдвижение кандидатов в депутаты производить только на открытых собраниях членов партии; 4. Учредить съезды избирателей, на которых депутаты должны регулярно отчетываться в своей деятельности; 5. Все сведения об источниках средств партий и их расходовании должны быть доступны для общества; 6. Запретить финансовую поддержку партиям из государственных средств, в том числе и в виде налоговых облегчений для партийных издательств; 7. Запретить партиям вести хозяйственную деятельность в виде участия в работе или контроле предприятий, кроме издательств; 8. Запретить распределение государственных должностей по партийному признаку; 9. Запретить незаконные поправки членам партий, путем хлопот за них в государственных учреждениях и судах.

Относясь к демократическому строю положительно и не отрицая необходимости существования политических партий, католическая мысль отмечает, что усиление значения партий и тот факт, что огромное большинство населения в общественно-политической жизни участия не принимает, привели к атомизации общества, к потере ощущения единства общества и нации. Однако, преодоление атомизации общества и восстановление единства католическая мысль видит только на путях построения сословного государства, о котором уже упоминалось, и которое своего практического осуществления пока не получило.

КАТОЛИЦИЗМ И СОБСТВЕННОСТЬ

В своих социальных энцикликах, как мы видели, католическая церковь решительно утверждает тезис о частной собственности, как о естественном праве человека на обладание ею. В энцикликах приводится много доводов о необходимости института частной собственности: вызывая заинтересованность собственника, частная собственность повышает эффективность хозяйственной деятельности; порядок в хозяйстве возможен только тогда, когда точно известно, что кому принадлежит; мир и порядок в общественной жизни возможны только при условии, когда права каждого на его собственность твердо определены; достоинство человека, как образа и подобия Божия, требует, чтобы он имел возможность свободно пользоваться благами земли; при лишении частной собственности, человек превращается в раба; наконец, человек может исполнять свой долг перед семьей и перед самим собой только в том случае, если он чем-то обладает и не должен полагаться всецело на других.

Однако, частная собственность утверждается католической церковью с весьма существенной оговоркой. Еще Фома Аквинский го-

ворил, что человек должен рассматривать вещи не как собственность, но как общее благо, — папа Лев XIII повторил это в «Рерум новарум». В другом месте Фома Аквинский говорил: «Частное приобретение добра дозволено, а употребление его для общего блага обязательно». На этом основывается католическое учение о «социальной ипотеке» частной собственности: она должна служить не только тому, кто ею обладает, но также и другим людям, всему народному хозяйству.

Принцип этот, конечно, чужд либеральным воззрениям. Но в программах христианско-демократического движения и в основанных на них конституциях государств он находит практическое применение. Например, параграф 14 конституции Федеративной Республики Германии гласит: «Собственность обязывает. Ее назначение — служить одновременно благу всех людей».

В отношении общественной собственности католическая церковь постепенно пришла к осторожному согласию с возможностью социализация имущества, в некоторых случаях; она соглашается, что общественная собственность уместна там, где общество является подлинным объединением личностей, связанных между собой нравственными побуждениями, не подавляющими личность, а развивающими ее.

Следует заметить, что папские энциклики все же не имеют силы догматов, поэтому в социально-политическом учении католической церкви возможны различные толкования. Среди католических мыслителей есть разные мнения по тем или иным вопросам, — термин, например, «левый католик», в отношении к некоторым из них, стал довольно обычным. Другой пример: в двадцатых годах между австрийским и немецким (в частности, рейнским) епископатами шел ожесточенный спор: австрийцы были сторонниками социализации имущества, немцы отстаивали частное предпринимательство. В первые годы после мировой войны западногерманское христианско-демократическое движение было значительно «левее», чем теперь, его программа предусматривала, в частности, социализацию некоторых отраслей промышленности и банковского дела, — в настоящее время, оставив мысль о социализации имущества, это движение больше настаивает на увеличении частной собственности в руках менее обеспеченных слоев населения, т. е. прежде всего рабочих и служащих.

С другой стороны, если внимательно познакомиться с текстом лекций прелата Муллера, изданных под названием «Христианин и социальный вопрос» (Вюрцбург 1949, 1953), то мы увидим, что этот автор главный упор делает на привлечении к движению христианской демократии рабочих и даже социалистов. Любопытно, что он пишет: «Невозможно даже представить себе, как пошла бы история,

если бы Карл Маркс вступил в союз с христианством». Одно из его главных утверждений: «Основной принцип экономики — социальная справедливость, а справедливость требует, чтобы каждый получил то, что ему полагается и делал то, что он может делать», — это, в сущности, знакомая формула, выражена лишь другими словами: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Вместе с тем, патер Муллер (член сената в Баварии) остается строго на базе папских энциклик и католического богословия.

Различие мнений в католических воззрениях на социально-политические задачи не мешает тому, что эти воззрения сохраняют единство устремлений и находят свое отражение в практической деятельности христианско-демократического движения. В формировании взглядов этого движения, как уже отмечалось, участвуют представители и других христианских вероисповеданий. И если выше говорилось только о католическом социально-политическом учении, то лишь потому, что оно позволяет в сжатом виде показать общее и наиболее существенное для этих взглядов, оказавших огромное влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Западной Европы после второй мировой войны.

Н. ОТРАДИН

Вокруг разоружения и вооружения

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

Прошлая зима выдалась трудная: давно небывалые заносы, ураганы, наводнения, снежные обвалы, засыпавшие, например, в Чили тысячи человек, — природа будто не хочет отставать от беспокойной политической жизни и действует с нами в унисон. Задержалась и весна: в марте еще были морозы, сыпал снег, даже в Сицилии, где его редко видят и в январе.

Руководителям советской политики, впрочем, законы природы не писаны: они и в марте вели себя, уподобляясь изменчивому майскому ветерку. В марте, как известно, в Женеве открылась еще одна конференция по разоружению, — или посвященная вообще вопросам разоружения, или по поводу подготовки к обсуждению этих вопросов, или с целью выяснения возможности их обсуждения, а может быть, даже и с целью выяснения возможности самого разоружения. Точно сказать нельзя: официальное название мало что говорит; конференций таких было много; еще больше ведется разговоров на эту тему, но насколько все это относится к действительным намерениям разоружаться или вооружаться — это особый вопрос. О нем и будет идти дальше речь.

В этом вопросе, как и во многих других, советские руководители и ведут себя, подобно майскому ветерку. Так вели они себя и в марте в Женеве. Сначала они потребовали, чтобы туда явились главы правительств; потом сделали вид, что согласны обсуждать даже требования о международном контроле, затем повернули на 180°, взяли согласие назад и вернулись к заведомо неприемлемым предложениям. Но потом опять смягчились, стараясь создать впечатление, что хотя ни на какой сговор они не идут, все же «двери для дальнейших переговоров оставляют открытыми», как говорится на дипломатическом языке, ставшем ныне особенно изворотливым.

И еще одна встреча, на этот раз «на уровне министров», окончилась ничем. Конференция, по образцу многих предыдущих, превратилась в долгую, толку от которой ждать не приходится. Но могла

ли встреча в Женеве и быть другой? И возлагались ли на нее кем-либо надежды, несмотря на богатый опыт таких же встреч и конференций в эти годы?

На первый вопрос пока можно ответить только отрицательно. На второй — положительно.

Отвечая на второй вопрос положительно, тотчас же сталкиваясь с таким обстоятельством: определенно можно говорить только о западных странах. Вероятнее всего, что и в Советском Союзе у кого-то были надежды на очередную конференцию по разоружению, но чем они вызывались, на чем основывались и как далеко простирались, остается в сущности неизвестным. По советской прессе судить об этом нелегко, а других источников, именно для данного случая, у нас нет. Можно предполагать, можно быть убежденным, что надеющиеся были и есть, но подкрепить свое убеждение нечем: сведений нет.

В этом состоит главное различие в возможности оценки общественного мнения на Западе и в Советском Союзе. В последнем известно только мнение «партии и правительства», — на Западе к нашим услугам сведения о реакции правительственных кругов, комментарии политических обозревателей, отклики журналистов, непосредственно населения. Эти сведения позволяют составлять полную картину о надеждах одних и пессимизме других, — в Советском Союзе все скрыто плотным занавесом деклараций о «единодушной и всенародной» поддержке населением любых действий «партии и правительства». Не приходится и сравнивать, ибо перед нами разные явления: в одном случае настроения и мнения различных кругов, в другом только «руководства».

На Западе довольно многие надеялись на встречу в Женеве, как многие надеются и на то, что договориться с Советским Союзом все же можно. Состав надеющихся здесь пестр, как пестры и причины надежд, поэтому поневоле необходимо прибегать к обобщениям и схематизации, выбирая преобладающие линии настроений. Отдельным лицам и в правительственных кругах западных стран продолжает казаться, что можно не только сохранять статус-кво, но и добиваться реальных соглашений, позволяющих хотя бы незначительно, по крохам, укреплять шансы мира. Оппозиционные партии часто и «из принципа», — потому, что им надо быть в оппозиции, — делают вид, что они верят в возможность договориться с советскими руководителями. Вместе с тем как в правительственных кругах, так и в оппозиционных многие надеются на договоренность не по одним соображениям партийной политики и упорно ищут возможностей для «сближения точек зрения», подчас сознавая их диаметрально противоположность и практическую бесплодность своих усилий.

Наконец, не теряет надежд и часть западной «беспартийной ин-

теллигенции» и «простых людей», если пользоваться советской терминологией. Эти настроения и дают мозаичную картину достаточно общего желания не обострять и без того напряженное состояние международных отношений и стараться его смягчать, не захлопывая окончательно «дверь для дальнейших переговоров», в смутной надежде, что когда-то добиться упрочения мира все-таки удастся.

ПОДПОЧВА ЗАПАДНЫХ НАДЕЖД

Настроения эти — результат не только свойственного людям всегда и в любых условиях инстинктивного желания последнего проблеска надежды не утратить. Подпочву их надо искать глубже. Далеко не всегда правы здесь и мы, русские, постоянно обвиняющие Запад в оппортунизме и соглашательстве, в попытках примирения со злом, в желании откупиться от него за чужой счет и т. п. Сколько бы не было в этих обвинениях правды, так как все эти явления на Западе есть, объяснять одними ими «примиренческие» настроения нельзя. И для выяснения их психологической подкладки неминуемо надо обращаться как к особенностям времени, так и к конкретному состоянию вещей, как оно складывается на Западе.

В качестве явной причины примиренческих настроений, и не только западных, можно указать на страх перед перспективой третьей мировой войны, с применением ядерного оружия. Здесь комментарии не нужны. Но за этой явной, легко видимой причиной есть и другая: сознание, или ощущение бессмысленности не только возможной войны, но и вообще политики, определяемой прежде всего состязанием между двумя блоками. Само это состязание представляется людям нелепым, неоправданным, в нынешних условиях неправомерным, — а это не может не рождать надежд, что в конце концов бессмыслица будет осознана и потому преодолена.

Одна из характерных черт нынешних западных настроений, на которую часто указывают, это отсутствие живого интереса в широких кругах населения к политике, что может создавать впечатление как бы массовой политической усталости. Так ли это, об этом речь будет дальше, пока можно ограничиться тем, что эта «усталость» отчасти объясняется ликвидацией в Западной Европе тоталитарных движений, старавшихся ополитизировать все области жизни и вызвавших вторую мировую войну, потребовавшую от населения многих стран огромных усилий и напряжения. Запад тоталитаризм у себя преодолел и его население вопросы политической жизни естественно тотчас же отодвинуло на второй план. Надо, однако, подчеркивать более глубокую причину этого явления: ощущение изменения общего положения в мире, а поэтому и изменения задач как внутренней, так и международной политики, для которых

состязание двух блоков представляется неоправданным и как бы посторонним, ненужным в новое состояние вторжением.

В отношении внутренних дел следует прежде всего отметить, что подавляющее большинство населения западных стран, тем более передовых, свой нынешний общественный строй принимает и желания к радикальному его изменению не обнаруживает. Большинство считает его, очевидно, наилучшим в данных условиях для обеспечения своих стремлений к материальному благополучию и сохранению человеческих прав.

Удачного названия этому строю не придумано, — как всегда, об этом позаботится история. Однако, называть его капиталистическим, как делают это коммунисты, оснований нет. В нем сохраняются черты классического капитализма — частная собственность на средства производства, частное предпринимательство и т. д., — в то же время он вобрал в себя и сделал неотъемлемо своими столько типично социалистических черт, считавшихся прежде осуществимыми только при социализме, что называть его капиталистическим невозможно.

Современный демократический строй — это живой, развивающийся строй, допускающий и устранение недостатков, и совершенствование своих слагаемых, и видоизменение их. Он не отлит по готовым догмам: это проявление постоянных усилий по приспособлению общественных форм к требованиям жизни в данных условиях, к возможности осуществления ее естественных стремлений в современной обстановке. С одной стороны, это не стихийно сложившаяся общественная формация: в образовании этого строя проявлены и продолжают проявляться огромные и организованные сознательные усилия; с другой стороны, он не устраняет и возможности проявления стихийных сил. В нем отражаются две особенности современного развития: движение от органических форм к организованным и стремление оградить автономность «законных» органических форм жизни от возможности полного поглощения их организованными формами.

Западный общественный строй привыкли считать слишком рационалистическим, подчиненным будто бы целиком «здравому смыслу». Однако, в этом отношении социалистический строй, в странах коммунистического блока, должен был бы далеко опережать Запад: он тем более проникнут рационализмом и тем более, казалось бы, отвечает эпохе, с ее стремлением к организованным формам. Рассчитанный как бы математически, в теории он, может показаться — торжество разума и организации. Но то, что происходит в «лагере социализма», об этом отнюдь не свидетельствует. Теоретически скованное детерминизмом, социалистическое «торжество разума» практически оказывается подавлением и разумных, и свободных, в том числе стихийных стремлений человека. Свобода действий со-

храняется в царстве социализма лишь за «руководством», — она поэтому на деле оказывается произволом. А в результате, в свободном соревновании с демократическим строем, коммунистическое «царство разума» не опережает Запад, а неизменно от него отстает.

Западные социалисты, включая марксистов, это учли и отказались от многих обязательных для социализма догм. Отказались они и от такой фундаментальной для них догмы, как неперемненное «обобществление средств производства». На Западе «экспроприаторов экспроприируют» не по Марксу и Ленину: в соответствии с потребностями современной жизни, их попросту облагают высокими налогами, оставляя все же им такую долю дохода, которая не лишала бы их заинтересованности в своей предпринимательской деятельности. Таким образом создалась новая, не капиталистическая и более справедливая, форма распределения национального дохода, распространяемая на всех: от «акул капитализма» до мелких торговцев, высокооплачиваемых рабочих, служащих, лиц свободных профессий — и этим каждому, в меру его способностей, обеспечивается возможность осуществления его стремлений. Стимул к живому, заинтересованному участию в общественной жизни сохраняется для всех.

Вряд ли кто считает современный западный строй идеальным, и не только потому, что идеального строя вообще не может быть: его недостатки скрыть нельзя, их можно лишь стараться непрестанно устранять. Тем не менее строй этот, видимо, наиболее отвечает современным умонастроениям, почему он и признается большинством населения, которое коммунисты на свою сторону привлечь не в состоянии даже там, где они имеют большие и неплохо организованные компартии (Италия, Франция). Преимущества демократического строя слишком очевидны и западное население легко их замечает, например, при простом сравнении положения в двух частях Германии: если в ее западной части никто не голодает, магазины завалены товарами и никого в ней не сажают даже за насмешки над Аденауэром, то в советской зоне и картошку отпускают по карточкам, а за малейшую критику Ульбрихта людей хватают и волюют в тюрьму. Поэтому коммунисты и разгородили Берлин стеной и отгородили свою зону колючей проволокой и минными полями: западное население не должно видеть воочию преимуществ своей жизни, а население советской зоны не должно ими соблазняться. Но «шило в мешке» утаить нельзя.

Население западных стран своим общественным строем удовлетворено в достаточной мере, может быть, даже большей, чем та, при которой мы вообще способны удовлетворяться тем или иным строем. Почему же в таком случае оно должно проявлять повышенный интерес к политике? Не является ли взгляд, что все население должно обязательно принимать участие в политической жизни, типичным

«пережитком прошлого»? Большинство населения во все времена участия в политической жизни не принимало, находя другие, более интересные для себя занятия, — почему же нужно требовать, чтобы оно изменило это свое поведение?

Кроме того, утверждение, что масса населения интереса к политике не проявляет, не совсем верно. Каждый заинтересован, например, в таких важных вопросах внутренней политики, как воспитание и образование детей, вопросы жилищных дел, заработной платы, налогового обложения, рыночных цен и т. д. И миллионы людей на Западе, через политические партии, профсоюзы, различные общества, прессу, собрания в школе или в местных советах ежедневно принимают участие в их обсуждении и решении.

Следовательно, говорить в данном случае можно не об отсутствии у широких кругов населения вообще интереса к политике, не о «массовой политической усталости», а о том, что требование об обязательном наличии повышенного интереса к политике, да еще в каких-то особых формах, несостоятельно. Если большинство населения своим положением удовлетворено и радикально менять его нужды не видит, то оно, естественно, будет проявлять интерес к политике ровно настолько, насколько кажется ему необходимым и там, где это непосредственно касается его. Повышенный интерес, наоборот, говорил бы о нездоровом состоянии, о том, что большинство наличной политикой недовольно и хотело бы ее изменить. Однако, недовольство на Западе обычно, и часто в резкой форме, проявляют отдельные политические деятели, журналисты и т. д., большинство же присоединяется к ним лишь в исключительных случаях.

Это, конечно, не значит, что демократический принцип «большинство всегда право» остается неизбывным: большинство может катастрофически ошибаться, как ошиблось оно, например, в Германии в тяжелые времена Веймарской республики, проголосовав за Гитлера. Не способно оно и распознавать болезни строя, как и лечить их. Но общее отношение большинства к своему строю, в свободных условиях, остается ярким показателем его прочности или непрочности. И то, что большинство западного населения принимает свой демократический строй, обеспечивает этому строю прочность, позволяющую выдерживать большие испытания.

Западный строй каждому предоставляет широкую свободу действий для осуществления своих личных стремлений и влечений, без принуждения, чтобы этот каждый непременно был «политически сознательным». В Советском Союзе от населения требуют, чтобы оно было «политически сознательным»; в этой «сознательности» его ежедневно натаскивают на собраниях, в политкружках, в школе, через прессу, радио, театр, кино, телевидение: участие буквально всех в политической жизни там считается обязательным. Но известно, что из этого получается; известно и то, что это лишь злая пар-

для на участие в политической жизни. И нужно это только для того, чтобы население думало не по-своему, а так, как это требуется «партии и правительству» и по мере своих сил и сверх сил помогало «руководству».

Некоторым людям на Западе «политическая инертность» населения кажется опасной, а коммунистам она внушает надежду: многие из них, видимо, еще полагают, что «несознательную массу» не так трудно повести за собой. Ошибочность этого взгляда опровергнута, в сущности, еще в России: если однажды в России массу и удалось «повести за собой», то, во-первых, для этого нужно было особое стечение обстоятельств. «Во-вторых», пожалуй, еще красноречивее: однажды массу удалось обмануть, — но потом, для управления ею и принуждения участвовать в коммунистической перестройке, пришлось прибегать к таким террористическим методам подавления этой же массы и затрачивать такие колоссальные усилия, что условий, которые добровольно принимались бы населением, создать так и не удалось. На Западе же, где масса живет в принимаемых ею условиях, к коммунистическим призывам она остается иммунной.

Все эти соображения о западном строе и отношении к нему населения необходимы, чтобы видеть, почему большинство западного населения относится к коммунистическим притязаниям, не столько как к непрошенным, сколько как к неоправданным и неприложимым к современному порядку вещей, в особенности же неприложимым к своему, западному порядку. К «своим» коммунистам оно относится чаще всего, как к людям лишь другого мнения, хотя иногда и видит в них «агентов Москвы». О коммунистических порядках в Советском Союзе оно может даже думать, что, возможно, эти порядки подходят русским, с их не совсем понятной «славянской душой» (так думают не одни «простые люди», но и многие западные политики, ученые), но допустить, чтобы такие же порядки были введены на Западе — это категорически отвергается. И западное население надеется, что коммунисты должны будут в конце концов это понять и прекратить свои притязания, — отсюда рождается надежда на возможность стовора, хотя бы в будущем, которое может прийти если не сегодня, то завтра.

Нам приходится мириться с этими настроениями и быть довольными уже тем, что западное население прочно держится за свой порядок. Требовать, чтобы оно было более «политически сознательным» и отчетливо понимало, что для преодоления коммунистической угрозы одного отстаивания своего может оказаться мало, невозможно: масса не может заниматься, например, изучением теории и практики коммунизма, который остается для нее все же слишком отвлекающим явлением. Хорошо и то, если достаточно отчетливо понимать будут хотя бы только те, от кого зависит непосредственное принятие политических решений: западные политические деятели.

НОВОЕ СОСТОЯНИЕ МИРА

Скоро будет полвека, как Ленин объявил империализм «последним этапом капитализма». С тех пор утекли океаны воды, произошли огромные изменения, капитализм и ленинского времени давно приказал долго жить, — коммунисты между тем все еще верят (или делают вид, что верят), что капитализм продолжает «загнивать», «разлагаться», безнадежно застряв в «последней стадии». Слова «империализм» и «империалисты» остаются излюбленными в их лексиконе и примелькались до того, что вряд ли они еще кого трогают, по крайней мере на Западе.

Иначе и не может быть. Если в Советском Союзе людей десятилетиями подвергают тотальной обработке, с детского возраста приучая видеть вещи только в коммунистическом свете и они поневоле что-то впитывают от этого «света», то подвергнуть такой же обработке западное население коммунистам не дано. Западное население видит, что колониальные империи распались, империалистических поползновений Запад питать не может, — наоборот, Запад вынужден теперь тратить миллиарды долларов на помощь недавно освобожденным бывшим колониальным странам. Каждый взрослый человек в ряде западных стран ежегодно выкладывает из своего кармана несколько десятков долларов на эту помощь — и ожидать, чтобы он при этом не замечал изменений, было бы в высшей степени странно. И если коммунисты уверяют, что это не так, что все в принципе осталось прежним и что главное зло в мире все-таки «империалисты», то людям ничего не остается, как разве только удивляться коммунистическому упорству.

Коммунисты, по Ленину, первую мировую войну считали «войной за передел мира и рынки сбыта». Алданов в своем последнем романе «Самоубийство» с гораздо большим основанием писал, что для возникновения войны экономических причин не было и что вызвана она была скорее нелепой погоней некоторых политиков Германии и Австро-Венгрии за «престижем». Так это или не так, для нашей темы не имеет значения, — для нее, однако, имеет значение то, что коммунисты продолжают утверждать (правда, в последние годы без прежней настойчивости), что войны между «империалистами» неизбежны и что «капиталисты» неспособны организовать отношения в мире так, чтобы не было побоищ из-за рынков или запасов сырья.

Когда-то эти представления могли казаться верными, — сейчас они утратили значение. В мире остается конкуренция, погоня за рынками, — но ведь дело не в самой «борьбе за рынки», а в ее формах. И если она укладывается в такие, например, формы, как «Европейское объединение угля и стали», «Европейское экономическое сообщество» и т. д., то это коренным образом меняет сущность борьбы,

переводя ее в разряд согласованного соревнования, состязания как бы по договору, не имеющего ничего общего с вооруженными захватами и войнами. Новые формы к империализму относить невозможно, хотя в них и остается, например, конкуренция между национальными промышленностями.

Специальные организации заняты в наше время учетом запасов сырья во всем мире, потребностей отдельных стран и возможности снабжения их из других, высокоразвитых стран; они следят за финансовым состоянием, распределяют кредиты, займы и т. д. Эта деятельность приняла характер общемировой, когда решающими становятся не те или иные стремления отдельных государств, а соображения общего развития, сохранение порядка в мире, устранение нищеты в отсталых странах, необходимая забота об общем благосостоянии. И нет сомнения, что эти усилия были бы еще более энергичными и давали бы больший эффект, если бы дело не осложнялось разделением мира на два блока и борьбой между ними, порожденной претензиями коммунистов на то, что только они могут перестроить отношения на земле на благо и радость всех народов.

Никто не знает, какие формы может принять в будущем борьба между великими державами за свое влияние, кажущаяся нам еще естественной, так как она диктуется потребностью выхода энергии, мощью этих держав. Что коммунисты в данном случае «покорны общему закону», доказывает факт соперничества за первенство в мировом коммунистическом движении между советскими и китайскими коммунистами: Советский Союз и Китай претендуют на первую роль уже потому, что оба они — великие державы. Однако, видя западный путь развития, можно допускать, что народы справятся и с таким «естественным» явлением, как стремление великих держав к первенству, которое в настоящее время остается актуальным главным образом из-за борьбы коммунизма за свое господство над миром.

Не заглядывая далеко в будущее, для нашего времени можно констатировать, что империалистическая фаза развития осталась позади. Для империализма нет почвы: в мире не осталось незанятых мест; за всеми народами одинаково признается право на независимое существование и против этого права никто не может идти. Коммунисты свои захваты поэтому принуждены рядить в пропагандные одежды «освобождения от капитализма» и хотя бы на словах признавать независимость захваченных ими стран. Но коммунистической пропаганде не верят и с основанием считают, что именно коммунисты являются «последней стадией капитализма», так как они пытаются создать мировую коммунистическую империю. И многие факты, в особенности же такие неотразимые, как подавление танками революции в Венгрии в 1956 году или вооруженный захват китайскими коммунистами Тибета, подтверждают эти обвинения.

В отношении Запада предположить, что какое-либо государство попыталось бы теперь силой оружия захватить и присоединить к себе ту или иную страну, стало невозможным. И хотя процесс перестройки отношений в мире идет отнюдь не так идиллически, как изображается иногда в популярных брошюрах, по существу это ничего не меняет: остановить его нельзя. Наибольшие затруднения встречаются во вновь освобождаемых странах, например, таких, как Конго, в странах с отсталой экономикой, — коммунисты и направляют главные усилия на эти районы, надеясь прийти к своей победе над миром обходным путем. Эти их усилия лишь затрудняют перестройку отношений и обостряют общее положение, вместе с тем не принося коммунистам решающих успехов.

В передовых западных странах тоже, конечно, далеко не все благополучно, в них есть и опасные настроения, более или менее скрытые очаги всевозможных социальных и политических эпидемий. К ним, в частности, можно отнести национализм, когда он переходит в нацизм, остатки реваншистских настроений и т. д. Пока они остаются в приглушенном, латентном состоянии, опасности они не представляют и в достаточно здоровом демократическом климате справляться с ними не трудно. Но при изменении климата, — при резком, например, ухудшении положения в западных странах или еще большем обострении угрозы их существованию, — они могут ожить и выступить под флагом, скажем, спасителей своих стран, как это недавно случилось во Франции с военными-экстремистами, противившимися освобождению Алжира. Коммунисты поэтому, затрудняя процесс реорганизации отношений и обостряя общее положение, практически помогают возможности возрождения именно этих сил, хотя они и уверяют, что остаются революционерами и идут «против реакции». По старинке, по ленински-сталински уверенные в том, что для коммунизма все средства хороши и поэтому стараясь вызвать побольше хаоса, коммунисты сплошь и рядом роют ямы людям народам без различия.

Западному населению эти коммунистические действия, как правило, остаются непонятными. Зачем ухудшать положение, если, казалось бы, его можно улучшить и если средства и желание для этого есть? Зачем создавать новые и новые конфликты или раздувать возникшие, если все, как будто, хотят мира? И если коммунисты все равно добиться своего не могут? Судя по-своему, западные люди стараются встать на место коммунистов, чтобы понять — и все-таки отказываются понимать, почему, как им кажется, коммунисты поступают вопреки здравому рассудку.

Эти западные недоумения можно, конечно, расценивать, как «обывательские», выражаемые людьми, плохо «политически подкованными». Но пренебрежительное отношение к «обывательщине» —

тоже одна из «отрыжек прошлого». Как явление массовое и неизбывное, она имеет все права на существование, а кроме того, не так-то подчас легко бывает провести границу между «обывательщиной» и «политической подкованностью»: взгляды первой часто оказываются житейской, а то и жизненной мудростью, а взгляды второй — захолустной провинциальностью. Тем более, если «обыватели» (между прочим, хорошее русское слово, вокруг которого нагородили столько нелепости) верно ощущают дух времени.

В данном случае это так и есть. Население западных стран, и не разбираясь в политических тонкостях, верно ощущает, что новое состояние мира не только допускает, но и требует устранения из международной практики методов насилия, войн, опасного соперничества между странами. Оно видит, что любые конфликты при нынешнем состоянии можно и надо устранять мирными средствами, что задачей сейчас является не борьба за рынки или за первенство, а новая организация жизни всего мирового общежития народов. И оно уверено, что, как и в вопросах внутренней политики, эта задача может успешно решаться именно на путях организации, методами и средствами, которыми народы реально располагают, если эти средства и методы будут служить преобразовательным, а не разрушительным целям.

На Западе, как и в Советском Союзе, тоже есть «реалисты», которым многое в этих ощущениях представляется нетрезвыми, романтическими «бессмысленными мечтаниями». Известно, однако, что «реалисты» слишком часто ошибались, принимая за «бессмысленные мечтания» то, что не только стучалось, но и ломилось в дверь, оказываясь новой силой истории. Отвергаемая и заглушаемая «реалистами», она уродовалась, деформировалась, и все-таки вырывалась на арену, но нередко в виде силы уже надломленной — и верх одерживала не она и не «реалисты», оказавшиеся неспособными распознать реальность «бессмысленных мечтаний», а наиболее безответственные, экстремистские элементы новых сил. Так примерно получилось и у нас в России в последние сто лет, когда преобразовательный процесс в ней, блестяще начатый реформами Александра II, потом был скомкан — и на плечах стремившихся к преобразованиям сил в нашу историю неожиданно ворвался большевизм.

Настроения, широко разлитые на Западе (они отличаются, между прочим, значительную часть западной молодежи, настроения которой, насколько можно судить, разнясь по форме, по существу во многом идентичны настроениям советской молодежи), видимо, можно рассматривать, как отражение стихийных сил, влекущихся к положительной, преобразовательной деятельности и противопоставляющих себя как силам разрушения, так и «реальным политикам», если они не прислушиваются к «голосу времени». И это, очевидно, наиболее творческие силы нынешнего и завтрашнего дня истории.

Они тоже питают надежды на возможность мирной договоренности, — однако, не столько с коммунистами, сколько собственно с Советским Союзом. Если многие западные политики полагают, что коммунисты силой вещей будут вынуждены отказаться от агрессивной политики и перейти к более стоворчивой, если в массе населения надежды на договоренность объясняются неясным мнением, что коммунисты в конце концов поймут бессмысленность своих притязаний, то здесь мы имеем несколько другой вид практически таких же надежд. Их отличает одно: они имеют в виду не столько коммунистов, сколько само время, независимо от коммунистов и антикоммунистов толкающее народы от неоправданного состязания между двумя блоками, от войн и междоусобиц к общей работе по организации мира в соответствии с изменившимся его состоянием.

ПОКЛОННИКИ ГОЛОЙ СИЛЫ

Преобладание антивоенных настроений, казалось бы, возможность новой мировой войны должно было бы исключать. Для возникновения ее нет ни почвы, ни действительных причин: она отвергается и особенностями современного развития, и принимающими это развитие преобладающими настроениями. Чтобы вспыхнула новая мировая война, понадобилось бы появление новых движений, подобных фашизму и нацизму, — но и для этого почвы ни сейчас, ни по крайней мере в обозримое впереди время, тоже нет.

Коммунисты сколько угодно могут говорить о «западных империалистах» или «поджигателях войны»: они не в состоянии убедить западное население, что это не пропагандные фантомы, призраки, оживить которые нельзя, а реальность, которая может привести к войне. Так как это не реальная, а ложная, выдуманная причина, в нее верят, и то относительно, в зависимости от собственных потреб, лишь в бывших колониальных и экономически отсталых странах. Но что бы в этих странах ни происходило и как бы ни старались коммунисты использовать их для своего обходного движения, судьба мира еще остается в руках Запада и Советского Союза и от них зависит, быть ли войне и как будет развиваться дальше история.

Население Советского Союза тоже боится войны и не хочет ее. Но оно не свободно от подозрений по адресу Запада в том, что он готовит против Советского Союза войну и в удобный момент не прочь на него напасть. Причина этих подозрений, очевидно, отчасти кроется в памяти о гитлеровском нашествии, но главным образом она — от влияния коммунистической пропаганды и отсутствия достаточной информации о западных настроениях.

Устранить эти подозрения — трудная задача. Повод к ним не-

редко дает сам Запад, например, речью какого-нибудь генерала, вообразившего себя политиком и считающего, что его выступление послужит миру, тогда как оно немедленно подхватывается мастерами пропагандных дел в ЦК КПСС и раздувается в еще одно доказательство «поджигательских намерений Запада». В Советском Союзе, кроме того, трудно поверить, что разглагольствования, скажем, лорда Монтгомери, однажды заявившего, что Аденауэра надо было бы отравить, выходки «красного капиталиста» Сайруса Итона и других таких же чудаков — это только разновидность модного снобизма, экстравагантность, в политических делах не принимаемая всерьез. При полной свободе слова и печати на Западе столько говорится и пишется, что коммунисты легко черпают из этого моря потребные им «доказательства»; не затрудняются они и тем, чтобы перевернуть, исказить, истолковать сказанное на свой лад, либо даже выдумать то, что вообще не было сказано. В составлении такой «информации» иногда проявляется большое искусство, но правда в ней о действительном положении вещей либо вообще отсутствует, либо подается в препарированном виде, потребном коммунистам.

На Западе иногда и в ответственных кругах возникают дискуссии, настораживающие внимание, например, о возможности превентивной войны. Но и они остаются в области не военных намерений, а только разговоров, раздражающих советских руководителей, но вместе с тем и охлаждающих их. Можно, конечно, допустить, что коммунисты в конце концов истощат терпение каких-то влиятельных западных политических групп и те все же решатся на войну, вопреки антивоенным настроениям. Но и в этом гипотетическом случае действительными виновниками войны были бы коммунисты.

В этом есть ключ к нынешнему тягостному и затянувшемуся кризису. В мире нет больше ни Гитлера, ни Муссолини, ни японских милитаристов, — но есть коммунизм, отнюдь не утрачивающий своей агрессивности и олицетворяющий собой угрозу третьей мировой войны. И как бы не старались коммунисты свое лицо присвоить другим, поджигателями возможной войны остаются только они, точнее — возглавление коммунистического движения. И здесь ничего не могут изменить любые теории и верования, независимо от того, считать ли их живыми и актуальными или устаревшими и давно несостоятельными.

Наличие этой агрессивной силы создает своего рода парадокс: в мире преобладают антивоенные настроения, но они не исключают возможности войны. Настроения остаются настроениями, они заставляют вести бесконечные переговоры, но факта угрозы со стороны коммунизма они не устраняют. И ответственные политические круги Запада вынуждены считаться не только с антивоенными настроениями, но в первую очередь с этим неопровержимым фактом.

За сорок лет коммунисты сделали все возможное, чтобы состояние мира определяли не тенденции общего развития и связанные с ними преобладающие настроения, а прежде всего голая сила. Если не творцом, то завершителем создания «политики силы» был Сталин, искренне веривший, что с папой римским можно не считаться, так как у него нет ни одной дивизии. Иначе говоря, антивоенные настроения могут преобладать, но не они должны влиять на создавшуюся обстановку, а тот, кто обладает наибольшей силой, в виде, например, абсолютного оружия, которое, если верить Хрущеву, коммунисты уже имеют. Задаче достижения в первую очередь физического, силового превосходства над Западом подчинена и новая программа КПСС, этого общества поклонников голой силы.

Нынешний глава компартии и правительства Советского Союза свою политику называет политикой «мирного сосуществования государств с различными общественными системами». Но многое ли изменилось бы, если бы он назвал ее политикой «немирного сосуществования»? Отрицание в первом слове снято только потому, что коммунисты тоже видят преобладание антивоенных настроений и стараются подладиться к ним. При всех удобных и неудобных случаях они говорят о своем миролюбии, о том, что они против войны, но принципиального отказа от нее они не допускают. Коммунисты не отказываются ни от гонки вооружений, ни от тезиса о «справедливых» или «освободительных войнах» — и ничто не помешает им следующую войну, если она вспыхнет, назвать «отечественной» или «освободительной», в зависимости от своих потребностей.

Борьба внутри КПСС между «догматиками», «ревизионистами», «ленинцами» пока ничего в коммунистической деятельности существенно не меняет. От идеи «мировой революции» коммунисты не отходят, — и в свой «моральный кодекс» (в новой программе КПСС) они не забыли включить «непримиримость к врагам коммунизма», т. е. ко всем, кто не с коммунистами (скрытая форма приказа «убий»). Отровергающая попытку выдать коммунистическую мораль за общечеловеческую, в которой первая заповедь — «не убий»). Причем, дело здесь даже не в том, верят ли коммунисты в свои идеи, остались ли еще у них в партии действительно идейно убежденные люди: для правящего слоя в Советском Союзе «дело коммунизма», независимо от веры в него, стало экзистенцией, основой и смыслом деятельности входящих в этот слой лиц, — так, как на Западе у многих смыслом жизни является, скажем, производство мыла. Коммунизм для них — профессия, главное занятие, и если его у них отнять, они окажутся не только безработными: они потеряют занимаемое ими одно из ведущих в мире мест. Ради своего положения они и действуют.

РАЗОРУЖЕНИЕ И ВООРУЖЕНИЕ

В этой обстановке и ведутся переговоры о разоружении, хотя коммунистические стремления, казалось бы, отвергают их. Но они стали неизбежными. И не потому, что накопление вооружений само по себе может привести к войне: в наши дни пушки не могут начать стрелять сами, разве лишь в непредвиденном случае какой-либо оплошности, допущенной низовыми исполнителями. Но и в этом случае ответственные круги обоих блоков скорее всего примут меры, чтобы нечаянную вспышку локализовать или прекратить: войны боится и коммунистическая сторона, хотя она и не перестает грозить, что она готова, например, стереть с лица земли одну или другую страну. Но это пока только провокационные угрозы, запугивание, чтобы воздействовать на противника, заставить его остановиться или даже в одном или другом вопросе капитулировать, так как в возможность своей победы в войне коммунисты в действительности не верят. Жонглирование коммунистов ракетно-ядерным оружием заставляет Запад на угрозы отвечать угрозами, это накаляет атмосферу до предела, за которым смягчение напряжения становится необходимым, — тогда начинаются еще одни переговоры.

Так как война преобладающими настроениями отвергается, вопрос разоружения стал как бы одним из условий борьбы на арене ведущейся коммунистами войны нервов, которая получила название «холодной войны». В ней обе стороны должны стараться не проиграть. И обе должны демонстрировать свою приверженность к миру, — разница в том, что одна сторона действительно хочет мира, договоренности, компромисса, тогда как другая хочет во что бы то ни стало добиться своей победы.

Есть и еще одна существенная причина: вооружения тяжелым бременем ложатся на плечи народов, о чем много говорят и на той, и на другой стороне. Но желание сократить расходы на вооружение остается платоническим: состояние «не мир, не война» сохраняется благодаря равновесию в вооружениях и ни одна сторона не может рисковать тем, что уровень ее вооружений мог бы оказаться низким, чем у другой стороны. Кроме того, коммунистам, при их умонастроениях, может даже казаться выгодным, что Запад должен продолжать тратить огромные средства на вооружение: сокращение расходов на эту цель позволило бы еще больше поднять уровень жизни населения западных стран и больше тратить на помощь отсталым странам. Это коммунистам нежелательно: экономического состязания с Западом, что бы они ни говорили, коммунисты не поддерживают; вместе с тем свое население они могут держать на сниженном пайке, почему им тратить огромные суммы на вооружение легче, чем Западу. И они недавно подтвердили это, неожиданно повы-

сив цены на ряд основных продуктов питания на 25%, мотивировав эту меру именно высокими расходами на вооружение.

Пропорциональное сокращение вооружений могло бы сохранить равновесие на более низком уровне, но оно немыслимо без строго действующей системы международного контроля. А это как раз тот пункт, который коммунисты стараются всячески обойти.

Хрущев многократно повторял, что допустить международный контроль на территории Советского Союза — все равно, что пустить постороннего в свою спальню. Но это — откровенная демагогия, она так и расценивается на Западе и даже в нейтральных странах: при серьезности сложившегося положения ссылки на «спальню» не выдерживают критики. Они могут лишь подтверждать, что коммунистам есть что скрывать и скрывать это они хотят всеми силами, чтобы, в частности, обманным путем приобрести себе преимущество.

Отказ от международного контроля произвел плохое впечатление на мировое общественное мнение. Тогда советские руководители несколько изменили позицию и сделали вид, что согласны на контроль, — однако, только над разоружением, а не вообще над вооружениями: контролю должно подлежать лишь то, что назначено к сокращению. Конечно, на этот слишком прозрачный маневр другая сторона согласиться не могла.

Пропагандным маневром являются и планы Хрущева о «всеобщем постепенном разоружении». Хрущев хорошо знает, что Запад не может их принять: они тоже требуют международного контроля, отвергаемого коммунистами. Принять «всеобщее разоружение» без контроля — значит поверить коммунистам на слово, — на такой риск идти невозможно. Коммунисты много раз доказывали, с какой легкостью отказываются они от своих слов; только в прошлом году, после того, как они и Запад в течение трех лет воздерживались от испытаний ядерного оружия и вели переговоры о контроле над испытаниями, коммунисты вдруг произвели целую серию испытаний на Новой Земле, включая взрыв бомбы более чем в 50 мегатонн. Это всюду вызвало бурю возмущения, в Москву полетели сотни протестов, но дело уже было сделано.

Правительства западных стран не могут действовать так, они находятся под контролем парламента, общественного мнения, почему они должны добиваться гарантий, а не словесных уверений в чистоте и честности намерений другой стороны. Коммунисты это знают — и превращают переговоры в длительное испытание нервов, вероятно, отчасти и в надежде на то, что измотанный таким способом противник может допустить оплошность, ошибку, которой они воспользуются. При этом они еще обвиняют другую сторону в том, что она проявляет мало гибкости, мало выдвигает «конструктивных предложений», тогда как коммунисты неустанно стараются донять

противника своими «конструкциями»: коммунистам ничего не стоит выхватывать их из рукава, как фокуснику в цирке. У Запада же цирковые возможности очень ограничены: ему приходится заниматься не столько цирковыми упражнениями, сколько пытаться склонить другую сторону к серьезному соглашению.

Тем не менее, западные политические обозреватели все же бывают довольны и бесплодными в смысле действительного разоружения конференциями. Некоторые из них считают, что и мартовская встреча министров иностранных дел трех держав (США, Англии и СССР) в Женеве не была совсем бесполезной: она позволила еще раз подчеркнуть границы, за которые советской стороне лучше не переходить. У советских руководителей не должно оставаться сомнений на тот счет, что лучше перейти к разоружению, чем продолжать вооружаться, — и это уже считается плюсом.

Может быть, в создавшихся условиях для убеждения в этом советских руководителей в самом деле необходимо прибегать к таким конференциям, с участием представителей нейтральных государств, которые тоже должны видеть, что для возможности разоружения делается все, что можно. Но и в этом случае название и содержание «конференции по разоружению» ее названию не соответствуют. Как бы ни старалась западная сторона убедить противника, что разоружение необходимо и какие бы даже уступки она не делала, от этого до действительного разоружения еще далеко.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время переговоров в Женеве о разоружении в газетах промелькнули сообщения о работе советских и американских ученых над изготовлением нового, еще более страшного оружия, чем атомные и водородные бомбы. Теперь пишут уже о «лучевом оружии», слухи о котором смутно носились в воздухе и раньше. И хотя газетным сообщениям верить трудно, они могут быть основательными: не секрет, что ученые той и другой стороны неустанно работают над изобретением новых видов оружия, которые, конечно, никому ничего утешительного сказать не могут.

Здесь, однако, мы сталкиваемся с таким на первый взгляд странным фактом. Гонка вооружений, работа над еще более страшным оружием, конечно, вызывают у населения страх, возмущение, протесты. Но они остаются как бы на поверхности. Чувства будто притупились до того, что люди не способны испытывать подлинный страх и соответственно реагировать при известии о самых апокалиптических видах оружия. Человечество будто лишь терпеливо ждет, когда кто-то, утерев окончательно рассудок, повергнет на головы сотен миллионов людей испепеляющий огонь — тогда будет конец. Будто замерло и чувство самосохранения. И не все ли равно,

немного больше страха, немного меньше? Тысячи атомных бомб или сотни «лучевых пушек»?

Но тут перед нами не странность, не безразличие и не поверхность чувств, а их глубина. Нельзя путать до бесконечности: нагромождение ужасов, как известно, в конце концов не путает, а отвращает. Нельзя бесконечно играть в нелепую игру «построения коммунизма», создания коммунистического рая на земле, да еще с помощью апокалиптических средств: игра не увлекает, ужасы не пугают — и люди попросту отворачиваются, чувствуя, что это совсем не то, что нужно, а нечто постороннее и бессмысленное, в чем лучше не участвовать и чего, пожалуй, даже лучше не знать. Они отходят в сторону, на другую, свою дорогу, — в частности, и от официальной «политики».

В этом и состоит глубинный смысл происходящего. Коммунисты-профессионалы остаются в одиночестве. Там, где население подчинено им, оно подчиняется только по злой необходимости — и если бы не было этого зла, оно давно шло бы другой дорогой.

В этом же и единственный верный источник надежды.

Все сказанное выше в части настроений и положения на Западе, — конечно, ни в коей мере не попытка апологии Запада, у которого есть много своих недостатков, хотя и перекрываемых достоинствами его строя. Это попытка лишь посмотреть на положение вещей так, как оно есть в действительности, без того, чтобы видеть его через те или другие очки. «Запад» — нельзя даже сказать, что это один путь: это возможность разных путей, но идущих в наши дни в одном направлении в том смысле, что они отвергают войну. Практически «Запад» в нынешней опасной обстановке — это предложение населению на другой стороне: давайте работать вместе. И если в этой статье не раз встречалось слово «противник», то в советском населении большинство на Западе своего противника не видит. Значит, нет и причин, почему предложение следовало бы отвергать.

Надеяться надо на одно: на то, что живые силы России сумеют ответить на западное предложение согласием. Тогда политическая погода изменится и разоружение перестанет быть неразрешимым вопросом: тогда некому и незачем будет народы пугать.

Д. ШУБ

ЛЕНИН И МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ

В одной из своих речей на 22 съезде КПСС Хрущев сказал:

«С трибуны 22 съезда мы заявляем, что чистота марксистско-ленинского учения, непримиримость ко всякого рода извращениям его великих принципов являются законом для нашей партии... В верности великому учению марксизма-ленинизма, в связи с народом — основа всех наших побед в прошлом, настоящем и будущем, залог торжества коммунизма».

А «Правда» 14 ноября 1961 года писала:

«Марксистско-ленинское учение всесильно, потому что оно верно. Это могущественное духовное оружие пролетариата в его борьбе за освобождение от капиталистического рабства, за преобразование мира на основе действительной свободы и социалистического братства».

Так называемый «марксизм-ленинизм» выдумал Сталин в своей борьбе против Троцкого: Ленин не создал никакой выдержанной теории. В одно время он говорил одно, в другое время другое и очень часто себе противоречил. Как увидим ниже, Ленин ни одной новой мысли в марксистскую теорию не внес.

Знаменитый русский ученый экономист, профессор Михаил Иванович Туган-Барановский, автор многочисленных книг и брошюр, вышедших до революции в России и переведенных на многие языки, в конце 19 и в начале 20 столетия был одним из самых выдающихся легальных марксистов в России. Потом он отошел от марксизма, но остался до конца дней своих демократом и умеренным социалистом. В 1903 году он говорил Н. В. Валентинову, автору книги «Мои встречи с Лениным», о Ленине, с которым вместе сотрудничал в разных марксистских журналах и которого хорошо знал:

«Я не буду касаться Ленина, как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своем месте, но экономист, теоретик, исследователь — он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Фурье, ни остальных французских утопистов. История развития экономической на-

уки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенз, ни даже Листа. Он не прочитал ни Менгера, ни Вем-Баверка, ни одной книги, критиковавших теорию трудовой стоимости Маркса... Он сознательно отвертывается от них, боясь, что они просверлят дыру в теории Маркса. Говорят о его книге «Развитие капитализма в России», но ведь она слаба, лишена настоящего исторического фона, полна грубых промахов и пробелов».

Другой выдающийся экономист и философ П. Б. Струве, один из первых русских легальных марксистов, тоже в течение ряда лет сотрудничал с Лениным в марксистских журналах и сборниках и хорошо знал его. Как и Туган-Барановский, Струве в начале столетия постепенно отошел от марксизма. В 1907 году он назвал ленинский большевизм «черносотенным социализмом».

Знаменитый русский философ Н. А. Бердяев — тоже бывший видный марксист и не менее, чем Туган-Барановский и Струве, понимавший толк в марксизме, — писал о ленинском марксизме:

«Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере грядущей русской революции, были за народовольцев, которые сосредоточились исключительно на свержении самодержавной монархии и в этом отношении были гораздо менее предшественниками Ленина, чем Ткачев... Очень решительно и резко уже в 80-е годы полемизировал против Ткачева основатель русского марксизма и социал-демократии Г. В. Плеханов. Это один из основных мотивов его книги «Наши разногласия». Полемика Плеханова с Ткачевым представляет большой интерес, потому что она звучит совсем так, как будто Плеханов полемизирует с Лениным и большевиками, в то время, как их еще не существовало. Плеханов восстает, главным образом, против идеи захвата власти революционной социалистической партией. Он считает такой захват власти величайшим несчастьем, чреватым грядущей реакцией». (Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма». Париж, 1955 г., стр. 60).

В своей последней книге Бердяев писал:

«Ленин философски и культурно был реакционер, человек страшно отсталый, он не был даже на высоте диалектики Маркса, прошедшей через германский идеализм». (Бердяев. «Самопознание». Париж, стр. 161).

Не только бывшие марксисты, но и основоположник русского марксизма Г. В. Плеханов, которого сам Ленин считал крупнейшим теоретиком марксизма во всем мире, в 1906 году, когда они еще были в одной партии, писал:

«Ленин с самого начала был скорее бланкистом, чем марксистом. Свою бланкистскую контрабанду он проносил под флагом самой строгой марксистской ортодоксии». (Г. Плеханов. Заметки публициста «Современная жизнь». Москва, декабрь 1906.).

Ленин фактически отказывался от марксизма каждый раз, когда ему нужно было оправдать свою политику и тактику. А теперешнее партийное руководство говорит:

«Для того, чтобы предупредить возможность появления нового Сталина, необходимо вернуться к чистому учению марксизма-ленинизма».

В одной из своих речей Хрущев говорил, что при жизни Ленина «Центральный комитет являлся настоящим выразителем коллективного руководства партии и страны». Ленин действительно не принимал репрессивных мер против тех членов ЦК, которые с ним в чем-нибудь не соглашались. Но в большевистской партии с первого дня ее существования не было даже намека на какую-либо демократию. С самого начала Ленин представлял себе партию не иначе, как тайную, строго конспиративную организацию, построенную по военному образцу. Центральный комитет должен руководить всей работой и постоянно стоять на страже, чтобы не допускать в партии никаких оппозиций или «уклонов» от марксистского учения в ленинской формулировке. Об этом еще после второго съезда Российской социал-демократической рабочей партии в 1903 году, когда произошел раскол на большевиков и меньшевиков, Троцкий, бывший делегатом на этом съезде, писал:

«Товарищ Ленин проявляет явную волю к власти. Осадное положение в партии, на котором так настаивает Ленин, требует твердой власти, железной руки... И товарищ Ленин пришел к заключению, что этой железной рукой является он сам и только он сам... Для Ленина хорошие члены партии — это те, которые принимают его 'план'. Плохие те, которые не согласны с теми или иными деталями его 'плана'. Их нужно воспитать? Нет, — подавить, ослабить, уничтожить, устранить... Ленин пришел к энергичному выводу, что для того, чтобы сделать работу успешной, необходимо устранить все мешающие элементы и поставить их в такое положение, где они не могли бы вредить партии. Другими словами, для благополучия партии необходимо установить в ней режим 'осадного положения' с диктатором во главе». (Троцкий. «Наши политические задачи». Женева, 1904 г. стр. 95, 96, 97).

В том же году Г. В. Плеханов в № 70 «Искры» писал о Ленине:

«Ленин объявил социалистическую интеллигенцию демиургом (верховным разумом) социалистической революции, а самого себя и своих верных беспрекословных последователей — социалистической интеллигенцией по преимуществу, так сказать, сверхинтеллигенцией. Всех 'несогласно-мыслящих' он обвиняет в анархическом индивидуализме и в борьбе с ними апеллирует к той самой массе, которая в его теории играет роль пассивной материи. У Ленина народная масса служит, главным образом, для того, чтобы пугать и 'покорять под ножи' всякого — внутреннего и внешнего врага и супостата... Но предположим, что Ленин повременит с объявлением вне закона меньшевиков. Он оставит право на жизнь меньшевистской оппозиции. Но его терпимость не пойдет дальше Щедринаского принципа: 'Оппозиция не вредна, если она не вредит!'»

При Ленине никогда никакой демократии и свободы мнений в партии большевиков не было. Ленин сам решал, кто должен быть

в ЦК и в Политбюро, и те коммунисты, которые резко критиковали его политику и требовали реформ, не только устранялись от партийного руководства, но и снимались с ответственных должностей, которые они занимали в партии или в правительстве. При такой системе только и мог появиться Сталин.

Далее приводятся некоторые из многочисленных высказываний Ленина в разные периоды его деятельности, — из них легко можно увидеть, что проповедовал Ленин до захвата власти в России и как он противоречил своим проповедям после того, как стал диктатором. Эти высказывания позволяют видеть, чему в действительности служила работа Ленина и что можно было бы называть «ленинизмом».

ЧТО ПРОПОВЕДОВАЛ ЛЕНИН ДО РЕВОЛЮЦИИ

«В России нет выборного правления. Правят те, кто искуснее подставляет ножку, кто лжет и клеветает, льстит и заискивает. Правят тайком, народ не знает, какие законы готовятся, какие войны собираются вести, какие новые налоги вводятся, каких чиновников и за что награждают, каких смещают.

Вот почему рабочие и неимущие крестьяне должны, не боясь преследований, не страшась никаких угроз и насилий врага, не смущаясь первыми неудачами, выступить на решительную борьбу за свободу всего русского народа и потребовать прежде всего созыва народных представителей. Пусть народ сам выберет по всей России своих депутатов. Пусть эти депутаты составят верховное собрание, которое учредит выборное правление на Руси, освободит народ от крепостной зависимости перед чиновниками и полицией, обеспечит народу право свободных сходов, свободной речи и свободной печати». («К деревенской бедноте», Сочинения, т. 6, стр. 334-345).

«Всякий согласится, вероятно, что „широкий демократический принцип“ включает в себя два следующих необходимых условия: во-первых, полную гласность и, во-вторых, выборность всех функций. Без гласности смешно было бы говорить о демократизме, и притом такой гласности, которая не ограничилась бы членами организации. . . Никто не назовет демократической организацией такую, которая закрыта от всех не членом покровом тайны». (Сочинения, т. 5, стр. 445).

«Свобода народа обеспечена лишь тогда, когда народ действительно устраивает без всякой помехи союзы, собрания, ведет газеты, выбирает и сменяет сам всех должностных лиц государства, которым поручается проведение законов в жизнь и управление на основании законов. Следовательно, свобода народа обеспечена лишь тогда полностью и на самом деле, когда вся власть в государстве полностью и на самом деле принадлежит народу. Это совершенно очевидно» (Сочинения, т. 10, стр. 52).

«Во-первых, мы требуем немедленного и безусловного признания законом свободы сходов, свободы печати, амнистии всех „политиков“ и всех сектантов. Пока этого не сделано, всякие слова о терпимости, о свободе вероисповедания останутся жалкой игрой и недостойной ложью. Пока не объявлена свобода

сходок, слова и печати — до тех пор не исчезнет позорная русская инквизиция, травящая исповедание неказенной веры, неказенных мнений, неказенных учений.

Во-вторых, мы требуем созыва Всенародного Учредительного Собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления... Пока не создано всенародное собрание депутатов — до тех пор ложью и ложью будут всякие слова о доверии обществу. До тех пор не ослабнет революционная борьба русского рабочего класса с русским самодержавием». (Сочинения, т. 6, стр. 312-317).

«Представителем рабочих может быть только свободный рабочий союз, охватывающий много фабрик и много городов. Фабричное представительство, представительство рабочих на каждой отдельной фабрике не может удовлетворять рабочих даже на Западе, даже в свободных государствах... А свободные рабочие союзы мыслимы только при политической свободе, при условии неприкосновенности личности, свободы сходок и собраний, свободы выборов депутатов в народное собрание.

Без политической свободы всякие формы рабочего представительства останутся жалким обманом, пролетариат останется по-прежнему в тюрьме без света, воздуха и простора, необходимых ему для борьбы за свое полное освобождение». (Сочинения, том 6-й, стр. 470).

«Миллионы рабочих не могут объединиться вместе, если правительство запрещает всякие сходки, всякие рабочие газеты, всякие выборы рабочих депутатов. Чтобы объединиться, надо иметь право устраивать всякие союзы, надо иметь свободу союзов, надо иметь политическую свободу. Политическая свобода не избавит рабочий народ сразу от нищеты, но она даст рабочим оружие для борьбы с нищетой. Нет другого средства для борьбы с нищетой, кроме соединения самих рабочих. Нет возможности соединиться миллионам народа, если нет политической свободы». (Сочинения, т. 6, стр. 335).

Партийные историки утверждают, что уже в 1905-07 годы Ленин «держал курс на развязывание народной революции и превращение буржуазно-демократической революции в социалистическую революцию». Это явная неправда. В брошюре «Две тактики» Ленин в 1905 году писал:

«Как непосредственные интересы пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные цели социализма требуют возможно более полной политической свободы... Осуществление демократической республики в России возможно лишь в результате победоносного восстания, органом которого явится Временное революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов, Учредительное Собрание, действительно выражающее волю народа...»

Марксизм давно порвал с бреднями народников и анархистов, будто можно, например, России миновать капиталистическое развитие, выскочить из капитализма или перескочить через него каким-нибудь путем, кроме пути

классовой борьбы на почве и в пределах этого самого капитализма... Реакционная мысль искать спасения рабочему классу в чем бы то ни было, кроме дальнейшего развития капитализма. В таких странах, как Россия, рабочий класс страдает не столько от капитализма, сколько от недостатка развития капитализма. Рабочий класс безусловно заинтересован поэтому в самом широком, самом свободном, самом быстром развитии капитализма... Буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату. В известном смысле буржуазная революция более выгодна пролетариату, чем буржуазии. Мы, марксисты, должны знать, что нет и не может быть другого пути к настоящей свободе пролетариата и крестьянства, как путь буржуазной свободы и буржуазного прогресса...

Тот, кто хочет идти другим путем, минуя политическую демократию, должен неминуемо прийти к реакционным выводам как в экономическом, так и в политическом смысле» (Сочинения, т. 9, 4 изд., стр. 33, 34, 93).

Не только в 1905-1907 гг., но даже в апреле 1917 года, уже после падения самодержавия, Ленин все еще не считал возможным немедленное введение социализма в России. В своем «прощальном письме» к цюрихским социалистам Ленин, накануне своего отъезда в Россию, писал:

«Россия — крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. В России не может непосредственно и немедленно победить социализм» (Сочинения, т. 20, 2 изд. стр. 69).

В ЭПОХУ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

«Россия теперь самая свободная страна в мире», — сказал Ленин на совещании большевиков, членов Всероссийской конференции советов 17 (4) апреля 1917 года (Сочинения, т. 24, стр. 4).

«Такой свободы, как в России, сейчас нигде нет», — сказал Ленин 27 апреля 1917 года на петроградской общегородской конференции большевиков (напечатано в «Правде» 8 мая [25 апреля ст. ст.] 1917 г. Сочинения, т. 24, стр. 119).

«В России теперь демократическая республика, управляемая свободным соглашением политических партий, свободно агитирующих в народе», — писал Ленин 10 июля [27 июня] 1917 года в «Правде» (Сочинения, т. 25, стр. 112).

6 сентября 1917 года Ленин писал:

«После свержения царской власти государственная власть перешла в руки первого Временного правительства... Пользуясь свободой, народ начал организовываться самостоятельно. Главной организацией рабочих и крестьян, которые составляют подавляющее большинство населения России, были Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эти Советы стали образовываться уже во время Февральской революции и через несколько недель

после нее в большинстве крупных городов России и во многих уездах все сознательные люди рабочего класса и крестьянства были объединены Советами. Советы выбирались вполне свободно. Советы были настоящими организациями громадного большинства народа... В Советах меньшая часть депутатов была на стороне революционных рабочих партии большевиков, которые требовали передачи всей государственной власти в руки Советов. Большая же часть депутатов в Советах была на стороне партии социал-демократов-меньшевиков и эсеров, которые были против передачи власти Советам. (Сочинения, т. 25, стр. 209).

«В свободной стране управляют народом только те, кто им самим выбран для этого. При выборах народ делится на партии, и обыкновенно каждый класс населения составляет свою отдельную партию, напр., помещики, капиталисты, крестьяне, рабочие составляют отдельные партии. Поэтому управление народом в свободных странах происходит посредством открытой борьбы партий и свободного соглашения их между собой» (Сентябрь 1917 г., статья «Уроки революции». Сочинения т. 20, 3 изд., стр. 69).

«Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалования к обычной заработной плате рабочего, эти простые и само собой понятные демократические предприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму».

Так писал Ленин в августе-сентябре 1917 года в книге «Государство и революция». (т. 21, 3 изд. Сочинений, стр. 399). Это восхваление им свободы, которой «нигде нет» кроме России, и «свободного соглашения политических партий» со стороны Ленина было только «данью времени». На самом деле он уже тогда думал о захвате власти большевиками, подавлении свободы и о полнейшей ликвидации всех других партий, кроме своей собственной.

ПРОТИВ МИРА — ЗА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ

Партийные историки говорят, что гражданская война в России была навязана советской власти контрреволюционерами и иностранными империалистами, но это опять-таки явная неправда. Еще в 1914 году Ленин писал:

«Лозунг наш — гражданская война. Все это чистейшие софизмы, будто сей лозунг неподходящий и так далее. Мы не можем ее сделать, но мы ее проповедуем и в этом направлении работаем» (Сочинения, т. 35, 4 изд., стр. 129).

«Превращение современной империалистической войны в гражданскую войну есть единственный правильный пролетарский лозунг... Долой поповски-сентиментальные взгляды о мире во что бы то ни стало. Поднимем знамя гражданской войны!» (Сочинения, т. 21, 4 изд., стр. 24).

«Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это — обывательский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть: гражданская война... Мы

не можем ни 'обещать' гражданской войны, ни декретировать ее, но вести работу — при надобности и очень долгую — в этом направлении мы обязаны» (Сочинения, т. 35, 4 изд., стр. 122).

21 января 1918 года Ленин в своей речи на третьем Всероссийском съезде советов сказал:

«На все обвинения нас в гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло. Первое правительство в мире, которое о гражданской войне говорит открыто, — есть правительство рабочих, крестьянских и солдатских масс. Да, мы начали и ведем войну против эксплуататоров» (Сочинения, т. 26, 4 изд., стр. 419).

4 июня 1918 года Ленин писал:

«Не сошедший с ума социалист или анархист, как угодно называйте, не может решиться сказать перед любым собранием, что можно прийти к социализму без гражданской войны... Социализм не может наступить иначе, как через гражданскую войну... А здесь на большевиков обрушиваются за гражданскую войну. Это значит переходить на сторону контрреволюционной буржуазии, какими бы лозунгами при этом ни прикрывались» (Сочинения, т. 27, 4 изд., стр. 405).

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ

ДЕМОКРАТИЯ И СВОБОДА

«Мы всегда говорили, что Учредительное собрание является лозунгом помещиков, монархистов, всей русской буржуазии во главе с Милюковым, который продает Россию направо и налево — кто даст подороже. Американская «республика» душит рабочий класс. Теперь все узнали, что такое демократическая республика. Теперь ясно для всех, что может существовать либо победивший империализм, либо советская власть — середины нет» («Правда», 22 ноября 1918 г.).

«Господа оппортунисты, в том числе и каутскианцы, учат народ: пролетарии должны сначала завоевать большинство посредством общего избирательного права, потом получить, на основании такого голосования большинства, государственную власть и затем уже на этой основе «последовательной» (ныне говорят «чистой») демократии, организовать социализм. А мы говорим: пролетариат должен сначала низвергнуть буржуазию и завоевать себе государственную власть, а потом эту государственную власть, то есть диктатуру пролетариата, использовать, как орудие своего класса, в целях приобретения сочувствия большинства трудящихся» (Сочинения, т. 24, 3 изд., стр. 539).

«Всякая свобода, если она не подчиняется интересам освобождения труда от гнета капитала, есть обман... Свобода собраний для капиталистов — это величайшее преступление против трудящихся, это есть свобода собраний для контрреволюционеров... Свобода собраний, по конституции Англии и Северо-Американских Соединенных Штатов, есть обман, потому что связывает ру-

ки у трудящихся масс на все время перехода к социализму» (Речь 19 мая 1921 г., Сочинения, т. 24, 2 изд., стр. 290, 292).

7 апреля 1920 года Ленин в своей речи на III Всероссийском съезде профсоюзов в Москве сказал:

«Речи о равенстве, свободе и демократии в нынешней обстановке — чепуха... Я уже в 1918 году указывал на необходимость единоличия, необходимости признания диктаторских полномочий одного лица с точки зрения проведения советской идеи. Все фразы о равноправии — вздор» (Сочинения, т. 30, 4 изд., стр. 472-476).

Советскую власть Ленин назвал диктатурой пролетариата или диктатурой рабочих и крестьян. На самом же деле с самого начала это была диктатура даже не компартии, а центрального комитета, которая быстро превратилась в диктатуру Политбюро и над партией, и над пролетариатом, и над всем народом.

В статье «Удержат ли большевики власть?» Ленин накануне октябрьского переворота писал:

«Россией после революции 1905 г. правили 130 тысяч помещиков. Почему не смогут править Россией 240 тысяч большевиков?»

Но, во-первых, неверно, что Россией после 1905 года правили 130 тысяч помещиков, а во-вторых, Ленин тем самым признал, что он с самого начала представлял себе «диктатуру пролетариата», как господство его партии над народом.

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА И ДИКТАТУРА ОДНОГО ЛИЦА

«Чтобы уничтожить классы, нужен период диктатуры одного класса, именно того из угнетенных классов, который способен не только свергнуть эксплуататоров, не только подавить беспощадно их сопротивление, но и порвать идейно со всей буржуазно-демократической идеологией, со всем мещанским фразерством насчет свободы и равенства вообще» (Соч. т. 24, 2 изд., стр. 315).

«Что такое диктатура пролетариата? Это есть война, и гораздо более жестокая, более продолжительная и упорная, чем любая из бывших когда бы то ни было войн» (Сочинения, т. 27, стр. 70).

«Диктатура пролетариата означает свержение буржуазии одним классом, пролетариатом, и притом именно его революционным авангардом. Требовать, чтобы предварительно этот авангард приобрел себе большинство народа путем голосования в буржуазные парламенты, буржуазные Учредилки (Учредительное Собрание) и прочее, т. е. путем голосования при существовании наемного рабства, при существовании эксплуататоров, под их гнетом, при существовании частной собственности на средства производства, требовать этого или предполагать это — значит на деле совершенно покидать точку зрения диктатуры пролетариата и переходить фактически на точку зрения буржуазной диктатуры...

Диктатура пролетариата означает сознание необходимости подавить насилием сопротивление эксплуататоров, готовность, умение, решимость сделать это...

Диктатура пролетариата и советская власть означает ясное сознание необходимости разбить, сломать вдребезги, буржуазный (хотя бы и республиканский-демократический) государственный аппарат, суды, бюрократию, гражданскую и военную, и так далее.

Без соединения легальной работы с нелегальной, легальных организаций с нелегальными не может быть и речи о действительно революционной партии пролетариата ни в Германии, ни в Швейцарии, ни в Италии, ни во Франции, ни в Америке» (Сочинения, т. 20, часть 2, изд. 1926 г., стр. 391, 393, 394).

«Диктатура пролетариата в России повлекла за собой такие жертвы, такую нужду и такие лишения для господствующего класса, для пролетариата, каких никогда не знала история и весьма вероятно, что и во всякой иной стране дело пойдет точно так же» (Сочинения, т. 24, 2 изд., стр. 458).

«Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами о народовласти, Учредилке, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего 19-го века, тот безнадежный идиот» (Сочинения, т. 24, 2 изд., стр. 436).

СОВЕТСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Это, однако, не мешало Ленину называть свою диктатуру пролетариата «самой совершенной демократией в мире». Он писал:

«Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в миллион раз демократичнее всякой буржуазной республики. Не заметить этого мог только либо сознательный прислужник буржуазии, либо человек совершенно политически мертвый, не видящий живой жизни из-за пыльных бумажных книг, пропитанный насковзь буржуазно-демократическими предрассудками и тем превращающий себя, объективно, в лакея буржуазии» (Сочинения, т. 23, 2 изд., стр. 350).

«Мы говорим буржуазии: „Вы эксплуататоры и лицемеры, говорите о демократии, и в то же время ставя на каждом шагу тысячи препоны участию угнетенных масс в политике. Мы ловим вас на слове и требуем, в интересах этих масс, расширения вашей буржуазной демократии, дабы подготовить массы к революции для свержения вас, эксплуататоров. И если вы, эксплуататоры, попытаетесь оказать сопротивление нашей пролетарской революции, мы вас подавим беспощадно, мы вас сделаем бесправными; мало того: мы не дадим вам хлеба, ибо в нашей пролетарской республике эксплуататоры будут лишены огня и воды» (Сочинения, т. 23, 2 изд., стр. 375-376).

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

«В настоящий момент парламент ни в коем случае не может явиться для коммунистов ареной борьбы за реформы, за улучшение положения рабочего

класса, как это бывало в известные моменты прошлой эпохи. Центр тяжести политической жизни полностью и окончательно перенесен за пределы парламента. . . Непосредственная историческая задача рабочего класса состоит в том, чтобы вырвать эти аппараты из рук господствующих классов, сломать их, уничтожить и создать на их месте новые органы пролетарской власти. На смену старому приспособленческому парламентаризму приходит новый парламентаризм, который является одним из орудий уничтожения парламентаризма вообще.

Буржуазные парламенты, которые составляют один из важных аппаратов государственной машины буржуазии, не могут быть завоеваны, как не могут быть завоеваны пролетариатом буржуазные государства вообще. Задачи пролетариата состоят в том, чтобы взорвать государственную машину буржуазии, разрушить ее, а вместе с нею — парламентские учреждения, будь то республиканские или конституционно-монархические.

Коммунизм отрицает возможность длительного завоевания парламентов: он ставит своей целью разрушение парламентаризма. Поэтому речь может идти лишь об использовании буржуазных государственных учреждений с целью их разрушения. В этом и только в этом смысле можно ставить вопрос» (Сочинения, т. 25, 2 изд., стр. 580-581).

«В тех странах, где у власти стоит еще буржуазия, или контрреволюционная социал-демократия, коммунистические партии должны научиться планомерно сочетать легальную работу с нелегальной, при этом легальная работа должна всегда находиться под фактическим контролем нелегальной партии» (Сочинения, т. 25, 2 изд., стр. 571).

«Что диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов, об этом говорит непререкаемый опыт истории. . . Решительно никакого противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц нет. . . Как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч воле одного» (Сочинения, т. 27, 4 изд., стр. 238-239).

«Советский социалистический демократизм единоличию и диктатуре несколько не противоречит. Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим» (Сочинения, т. 17, 2 изд., стр. 89).

Все эти идеи Сталин взял у Ленина. При Ленине и в соответствии с его учением стало возможным, чтобы один человек сосредоточил в своих руках всю власть над аппаратом и полный контроль над государственной машиной. Сталин только развил на свой манер эту диктатуру, продолжая ленинскую традицию. Его диктатура приняла только более жестокие формы.

МАССОВЫЙ ТЕРРОР, ЗАЛОЖНИЧЕСТВО И КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ

В своей брошюре «О продовольственном налоге», написанной в апреле 1921 года, Ленин писал:

«Пускай Мартовы, Черновы и беспартийные мещане, подобные им, бьют себя в грудь и восклицают: 'Хвалю Тебя, Господи, за то, что я не похож на них', что 'я не признавал и не признаю террора'». Эти дурачки не признают террора, ибо они выбрали себе роль лакействующих пособников белогвардейщины по части одурачения рабочих и крестьян. Эсеры и меньшевики не признают террора, ибо они исполняют свою роль подведения масс под флаг социализма под белогвардейский террор... Пускай лакействующие пособники белогвардейского террора восхваляют себя за отрицание ими всякого террора. А мы будем говорить тяжелую, но несомненную правду: в странах, переживающих неслыханный кризис, распад старых связей, обострение классовой борьбы после империалистической войны 1914-1918 годов — таковы все страны мира, — без террора обойтись нельзя — вопреки лицемерам и фразерам» (Сочинения, т. 32, стр. 335).

«На днях я прочел в 20-й книжке «Коммунистического Интернационала» статью товарища Ракоши о новой книжке Отто Бауэра, у которого мы все когда-то учились, но который после войны, как и Каутский, стал жалким мещанином. Он теперь пишет:

„Вот они (большевики) отступают к капитализму: мы всегда говорили: — революция буржуазная'. Меньшевики и эсеры, которые все такие вещи проповедуют, удивляются, когда мы говорим, что мы за такие вещи будем расстреливать. Они изумляются, а ведь вопрос ясен: когда армия отступает, то тут нужна дисциплина во сто раз бóльшая, чем при наступлении... И когда меньшевик говорит: „Вы теперь отступаете, а я всегда был за отступление, я с вами согласен, я ваш человек, давайте отступать вместе', то мы ему на это говорим: „За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а Бог знает, что такое'. Они никак не могут понять и говорят: „Какие у этих людей диктаторские замашки'. Действительно, такая проповедь, которую изрекают и Отто Бауэр, и руководители Второго и Второго с половиной Интернационалов, и меньшевики, и эсеры, составляет их собственную натуру: „Революция зашла далеко. Мы везде говорили то, что ты сейчас говоришь. Позволь нам еще раз это повторить'. А мы на это отвечаем: „Позвольте поставить вас за это к стенке»» (Сочинения, т. 22, стр. 239-240).

«Суд должен не устранить террор, обещать это было бы самообманом или обманом, а обеспечить и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» (Сочинения, т. 27, 2 изд., стр. 296).

Телеграмма Ленина Е. Б. Бош (9 августа 1918 года):

«Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать усиленную охрану из отборно надежных людей, провести беспощадный массовый террор против

кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города. Экспедицию пустите в ход. Телеграфируйте об исполнении» (Сочинения, т. 29, 2 изд., стр. 489).

Письмо Зиновьеву от 26 июня 1918 года:

«Только сегодня мы услыхали в ЦК., что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не вы лично, а питерские цекисты и пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-можно!» (Сочинения, т. 35, 4 изд., стр. 275).

Телеграмма Нижегородскому совету от 9 августа 1918 года:

«В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Надо тотчас повести массовый террор, расстрелять и вывести сотни проститутток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления. Надо действовать во всю; массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных» (Сочинения, т. 35, 4 изд., стр. 286).

Надо ли добавлять, что для Ленина «кулаки», «белогвардейцы», «попы», «меньшевики» — это вообще все, сопротивлявшиеся большевизму, в том числе и рабочие, и крестьяне, и даже некоторые коммунисты? Ленин ввел действительно всенародный террор, против всего народа, который и был унаследован и усовершенствован Сталиным.

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

«Мы никогда не скрывали, что наша революция только начало, что она приведет к победоносному концу только тогда, когда мы весь свет зажжем таким же огнем революции» (Сочинения, т. 25, 2 изд., стр. 49).

«Теперь ясно для всех, что может существовать либо победивший империализм, либо советская власть — середины нет» (Сочинения, т. 23, 2 изд., стр. 228).

«Мы живем не только в государстве, но и в системе государств, и существование Советской республики рядом с империалистическими государствами продолжительное время немислимо. В конце концов, либо одно, либо другое победит. А пока это наступит, ряд самых ужасных столкновений между Советской республикой и буржуазными государствами неизбежен» (Сочинения, т. 16, 1 изд., стр. 102).

«Пока остаются капитализм и социализм, мы мирно жить не можем: либо тот, либо другой в конце концов победит: либо по Советской республике будут петь панихиды, либо по мировому капитализму» (Сочинения, т. 25, 2 изд., стр. 412).

«Практическая коммунистическая политика — есть использование вражды между капиталистическими странами, натравливая их друг с другом» (Сочинения, т. 25, 2 изд., стр. 502).

«Мы все время знали и не забудем, что наше дело есть международное дело, и пока во всех государствах — и в том числе в самых богатых и цивилизованных — не совершится переворота, до тех пор наша победа есть только половина победы или, может быть, меньше» (Речь 16 ноября 1920 г., Сочинения, т. 20, часть 2, изд. 1926 г., стр. 431).

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

На публичных собраниях и в партийной печати Ленин выступал как проворный марксист и противник единоличного террора и всяких «вспышкопускательств», но в частных разговорах и в тесном кругу близких ему людей он говорил совсем другое. Известный социолог проф. К. М. Тахтарев, принимавший в 90 годах активное участие в социал-демократическом движении и друживший с Лениным, после смерти Ленина рассказал о разговоре с последним, еще в эпоху «Искры». Говорили о П. Б. Струве. Ленин в «Искре» называл тогда Струве «изменником» и «ренегатом».

«Я не считал это название подходящим для определения Струве, — пишет Тахтарев. — ... Я обратил внимание Владимира Ильича на возможные последствия подобного клеймения Струве. Я сказал ему: — А что, если кто-либо из рабочих, фанатически преданных делу, под влиянием травли Струве на страницах 'Искры', вдруг решится расправиться с ним или даже убьет его, как изменника и ренегата? — Его надо убить, — ответил мне Владимир Ильич» (Тахтарев, Ленин и социал-демократическое движение. «Былое», Ленинград, № 24, стр. 22).

Позже Ленин, на партийном суде над ним в апреле 1907 года, сказал:

«Нельзя писать про товарищей по партии таким языком, который систематически сеет в рабочих массах ненависть, отвращение, презрение и т. п. к несогласно мыслящим. Можно и должно писать именно таким языком про отколовшуюся организацию... Я умышленно и рассчитано вносил смуту в ряды той части петербургского пролетариата, которая шла за отколовшимися накануне выборов меньшевиками, и я всегда буду поступать таким образом при расколе» (Сочинения, т. 12, 4 изд., стр. 382-383).

В конспиративном письме от 3(16) октября 1905 года Ленин писал из Женевы членам Боевого комитета большевиков в Петербурге:

«Я с ужасом, ей-Богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят полгода и ни одной не сделали!... Идите к молодежи и основывайте дружины везде и повсюду и у студентов, и у рабочих особенно и т. д. Пусть они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т. д. Не требуйте никаких формальностей, наплюйте вы, Бога ради, все 'функции права' и привилегии ко всем чертям... Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие нападение

на банк для конфискации средств для восстания... Пусть каждый отряд сам учится, хотя бы на избиении городских: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч» (Сочинения, т. 8, 3 изд., стр. 326).

В книжке «Детская болезнь коммунизма» Ленин в 1920 году писал:

«Надо уметь приносить всякие жертвы, преодолевать величайшие препятствия, чтобы систематически, упорно, настойчиво, терпеливо пропагандировать и агитировать как раз в тех учреждениях, обществах, союзах, хотя бы самых что ни на есть реакционных, где только есть пролетарская или полупролетарская масса...»

Надо уметь пойти на все и всякие жертвы, даже — в случае надобности — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу» (Сочинения, т. 17, 2 изд., стр. 144-145).

В 1908 году в статье «Аграрный вопрос и социал-демократия» Ленин презрительно издевался над программой социалистов-революционеров за то, что в ней говорилось о социализации земли. Ленин назвал эту программу «авантюристической» и «ненаучной». А в ноябре 1917 года Ленин, как известно, выбросил свою марксистскую аграрную программу и без всяких церемоний взял аграрную программу у социалистов-революционеров, над которой он более десяти лет издевался, называя ее «авантюристической» и «ненаучной». В этом Ленин сам признался. Он писал:

«В самый момент октябрьского переворота мы заключили не формальный, но очень важный (и очень успешный) политический блок с мелкобуржуазным крестьянством, приняв целиком, без единого изменения, эсеровскую аграрную программу, т. е. заключили несомненный компромисс, чтобы доказать крестьянам, что мы не хотим майоризирования их, а соглашения с ними» (Сочинения, т. 17, 2 изд., стр. 160-161).

«Девять десятых крестьянской массы в течение нескольких недель перешли на нашу сторону, потому что мы приняли не нашу, а эсеровскую программу и осуществили ее на практике» (Сочинения, т. 32, 4 изд., стр. 451).

Таким образом Ленин признавал, что он победил не с помощью марксизма, но потому, что отказался от него.

СОЦИАЛИЗМ В ГОРОДЕ — СОЦИАЛИЗМ В ДЕРЕВНЕ

Тотчас же после захвата большевиками власти, Ленин начал свои «социалистические» эксперименты, хотя до этого уверял, что Россия не может сразу «перескочить в социализм». Троцкий в книге «О Ленине» рассказывает, как Ленин в первый период в Смольном на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что «через полгода у нас

будет социализм и мы станем могущественным государством». «Левые эсеры, — пишет Троцкий, — и не только они одни, поднимали недоумевающие головы, переглядывались вопросительно, но молчали. Это была, со стороны Ленина, система внушения и Ленин верил в то, что говорил», — добавляет Троцкий. (Л. Троцкий. «О Ленине», Госиздат, Москва, 1924, стр. 112).

Действительно, в письме к петроградским рабочим, напечатанном 24 мая 1918 года в «Правде», Ленин писал:

«Наша революция подошла вплотную, конкретно, практически к задачам осуществления социализма».

В декабре 1918 года на чрезвычайном съезде Советов, выступая по вопросу о деревенских «комитетах бедноты», Ленин сказал: стр. 112).

«Мы сделали этим гигантский всемирно-исторический шаг, который не сделан еще ни в одном из самых демократических республиканских государств. Деревенская беднота, сплываясь со своими вождями, с городскими рабочими, дает только теперь окончательный и прочный фундамент действительного социалистического строительства. Это величайший переворот, который в такое короткое время привел нас к социализму в деревне».

Итак, социализм есть уже и в городе, и в деревне. Почему же не мог потом утверждать Сталин, что и при нем был «построен социализм»?

Но уже в марте 1919 года на восьмом съезде Ленин говорил:

«Насилие по отношению к среднему крестьянству представляет из себя величайший вред. Это — слой многочисленный, многомиллионный. Даже в Европе, где нигде он не достигает такой силы, где гигантски развита техника и культура, городская жизнь, железные дороги, где всего легче было бы думать об этом — никто, ни один из самых революционных социалистов не предлагал насильственных мер по отношению к среднему крестьянству» (Сочинения, т. 29, 4 изд., стр. 187).

Через два года, в речи на десятом съезде компартии, в 1921 году, Ленин сказал, противореча прежним своим утверждениям:

«В материальном, экономическом и производственном смысле мы еще в преддверии социализма не находимся».

А еще через год, в 1922 году, в статье «Заметки публициста», Ленин писал:

«Мы не доделали даже фундамента социалистической экономики... Надо это отчетливо сознать и открыто признать, ибо нет ничего опаснее иллюзий и головокружения, особенно на больших высотах» (Сочинения, т. 27, 2 изд., стр. 201).

Захватив власть в 1917 году, Ленин только надеялся, что ему удастся удержать власть в России до того момента, когда произой-

дет мировая революция. Он был уверен, что она произойдет очень скоро. Но этого не случилось. И в речи на III конгрессе Коминтерна, 5 июля 1921 года, Ленин признал:

«Когда мы начинали в свое время международную революцию, мы делали это не из убеждения, что мы можем предвидеть ее развитие, но потому, что целый ряд обстоятельств побуждал нас начать эту революцию. Мы думали: либо международная революция придет нам на помощь и тогда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем делать нашу скромную революционную работу в сознании, что в случае поражения, мы все же послужим делу революции и что наш опыт пойдет на пользу другим революциям. Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа пролетарской революции в России невозможна... Но в действительности, движение шло не так прямолинейно, как мы этого ожидали. В других крупных, капиталистически наиболее развитых странах революция еще до сих пор не наступила» (Сочинения, т. 26, 2 изд. стр. 451).

В 1921 году Ленин признал, что советская власть была чудом. Чудом был октябрьский переворот, чудом был исход войны с Польшей, чудом было то, что русский крестьянин и рабочий могли эти три года все перенести. Причем же тогда здесь марксизм?

Когда Ленин увидел, что мировая коммунистическая революция не приходит, что русские крестьяне, солдаты и матросы недовольны коммунистическим режимом и бунтуют, он объявил НЭП.

В речи на десятом съезде партии в марте 1921 года Ленин сказал:

«Мы должны постараться удовлетворить требования крестьян, которые недовольны, которые недовольны и законно недовольны и не могут быть довольны. Мы должны им сказать: „Да, такое положение не может держаться дальше“...»

Мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямо, что крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно, что оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля его выразилась определенно. Это воля громадных масс трудящегося населения. Мы должны с этим считаться, и мы достаточно трезвые политики, чтобы говорить прямо: давайте нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать» (Сочинения, т. 26, 2 изд., стр. 238, 239, 240, 241).

Через год, в 1922 году, Ленин писал:

«С колхозами много наглумили... Надо опираться на единоличного крестьянина... Крестьяне социалистами не являются и строить социалистические планы так, как если бы они были социалистами, значит строить на песке... Наши средства насилия по отношению к крестьянству делу не помогут... Старательный крестьянин должен быть центральной фигурой нашего хозяйственного подъема».

А за год до своей смерти, 4 января 1923 года, Ленин писал:

«Никоим образом нельзя понимать это так, будто мы должны нести сразу чисто и узко коммунистические идеи в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, губительно для коммунизма».

В последней статье, написанной Лениным в марте 1923 года, за девять месяцев до смерти, он признавал:

«У нас, можно сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не понято, не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено опытом, не закреплено и т. д. . . Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежедневно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем, или на то, что у нас сколько-нибудь значительное количество элементов для построения действительного нового аппарата, действительно заслуживающего названия социалистического, советского и тому подобное» (Сочинения, т. 27, 2 изд., стр. 406-407).

*

Мы видели, что Ленин отказывался от своего марксизма, когда ему было выгодно или нужно было оправдать свою политику и тактику. В этом смысле Сталин был учеником Ленина, несмотря на то, что сталинская эпоха во многом отличалась от ленинской. При Ленине, например, не расстреливали руководителей и активных деятелей партии, которые с Лениным не соглашались. При Сталине несогласных со Сталиным расстреливали. Ленин не объявлял предателями и фашистскими агентами вождей Красной армии, — Сталин объявлял. Ленин никого не заставлял боготворить его и поклоняться ему, как это делал Сталин. Ленин строго осуждал всякое проявление антисемитизма, — Сталин в последние годы открыто вел антисемитскую политику. Ленин ввел НЭП, частичную свободу торговли и этим дал возможность крестьянству и всему населению свободнее вздохнуть. Сталин отменил НЭП и насильно загнал крестьян в колхозы.

Но то, что именно Сталин стал наследником Ленина и что именно из ленинизма вышел сталинизм, не было случайностью. Главной идеей Ленина и ленинизма была идея диктатуры, то есть правительственной власти, неограниченной никакими законами и не контролируемой народом. К этой идее, в зависимости от обстоятельств, подгонялось все «учение марксизма-ленинизма» и соответственно «построение социализма», как теперь подгоняется и «построение коммунизма».

Диктатура длительное время без террора не может удержаться. И это Ленин научил коммунистов (и не только коммунистов, но и фашистов, а позже и нацистов), как незначительное меньшинство

путем военного заговора может захватить власть в стране и удержать ее при помощи обмана, террора и подавления всех гражданских свобод.

К чему привела бы ленинская новая экономическая политика, если бы Ленина через год после введения НЭП'а не разбил паралич, конечно, нельзя знать. Сталин отменил НЭП и, несмотря на предостережения Ленина, загнал крестьян в колхозы. Хрущев же и компания фактически продолжают политику Сталина по отношению к крестьянству, как и его внешнюю политику. В 1930 году правый коммунист С. Сырцов в своей брошюре «О наших успехах, недостатках и задачах» писал, что то, что коммунисты называют опытом, на самом деле представляет собой проявление самоуверенности людей, не знающих, что они творят:

«Они действуют по правилу: попробуем, что из этого выйдет и если жизнь ударит нас по лбу, то убедимся, что надо было делать иначе». (С. Сырцов, «О наших успехах, недостатках и задачах», Москва, 1930 г., стр. 36).

Так было в 20-х годах при Ленине, в 30-х и 40-х годах при Сталине и так происходит теперь при Хрущеве.

А международная коммунистическая революция, которую Ленин предсказывал в 1917 году, надеясь, что она окончательно обеспечит все победы советской власти, не пришла и через сорок четыре года. И нет никаких оснований думать, что она наступит еще через сорок лет, ибо развитие современного общества идет совершенно по другим путям. Не по тем, которые предсказывал Ленин. Марксизм-ленинизм уже потому не может претендовать на научность и служить «путеводной звездой», что из идейного наследства Ленина можно черпать самые противоположные выводы. А сама идея ленинского коммунизма — вредная иллюзия, которая уже давно изжита рабочим классом всех наиболее развитых промышленных стран.

Высшей целью социализма все выдающиеся социалистические мыслители всего мира, включая Маркса и Энгельса, всегда считали гуманитарный идеал полного духовного развития личности всех граждан и полное удовлетворение их материальных нужд.

Коммунистические вожди утверждают, что они тоже социалисты и демократы и стремятся к победе свободы, равенства и братства. Но коммунистические теоретики до сих пор не объяснили нам, каким образом можно прийти к торжеству демократии при помощи диктатуры и деспотизма, к действительной свободе при помощи закрепощения человеческой личности и всего народа, и к братству при помощи уничтожения инакомыслящих.

Переписка И. С. Шмелева и Томаса Манна

ПУБЛИКАЦИЯ Ю. А. КУТЫРИНОЙ

Томас Манн в течение многих лет был в переписке с И. С. Шмелевым. Лично они познакомились в Париже, в моей более чем скромной квартире на улице Шевер, против дворца Инвалидов и гробницы Наполеона I, весной 1924 года. Выехав из России в январе 1923 года, Иван Сергеевич и Ольга Александровна Шмелевы жили у меня, их племянницы, уже целый год.

Томас Манн так описывает это свое посещение в воспоминаниях о парижских встречах (в журнале „Die Neue Rundschau“, 1924):

«Мы направляемся к Ивану Шмелеву, русскому писателю и страдальцу, написавшему «Солнце мертвых», этот кошмарный, но окутанный поэтическим блеском документ той эпохи, когда красные благодетели «вымели Крым железной метлой».

Из пышного парижского отеля с паркетом, устланным пушистыми коврами, попадаем в самую крайнюю нужду, в жилище «бедных людей» на улице Шевер, — три комнаты с кухней, дышащие убожеством, скудостью...

Я потрясен, сижу у импровизированного рабочего стола и смотрю на изборожденное морщинами, измученное лицо с седой бородой; в него глубоко врезались те ужасы, о которых можно прочесть в романе «Солнце мертвых», если на то хватит смелости. Смотрю на это лицо, — оно принадлежит пятидесятилетнему, но выглядит на пятнадцать лет старше.

Мое потрясение переходит в стыд, когда он говорит, что меня, своего сверстника, он находит молодым и сильным.

В нем есть что-то возбужденное и даже страшное.

Его книга. Я восхищаюсь ею; он дарит мне ее. Вздвинуто и медленно он вписывает в нее то, что ловкий и изворотливый язык Запада ему подсказывает, — что-то о *grande admiration* и *les plus sinceres sentiments*, и свое имя по-французски.

Не приходится говорить о том, что должны были перенести эти люди физически; какие ужасы они видели своими глазами. Но последним состраданием, последним благоговением пронизывает нас лишь представление об их идейном бедствии, о том дьявольском уничтожении и искоренении революционного идеализма, которым преисполнен был каждый мыслящий русский и который был затоптан в грязь переживанием бесчеловечно-скотской действительности. Невозможно отделаться от горчайшего скептицизма, от кровавой насмешки над *febris revolutionis* молокососов, которая сказывается на некоторых страницах «Солнца мертвых»...

Томас Манн прислал И. С. Шмелеву свой портрет с надписью: «Ивану Шмелеву с выражением моего высокого уважения и восхищения». Иван Сергеевич посылает ему в ответ свою «Неупиваемую чашу».

Томас Манн пишет по поводу присылки книги:

Ароза, Вальдсанаториум.
26. 5. 26.

Глубокоуважаемый господин Шмелев,

Сердечно благодарю за присылку Вашего прекрасного произведения «Неупиваемая чаша», чтение которого восполнило для меня самым благоприятным образом Ваш портрет, как поэта.

Я, как и моя жена, глубоко взволнован чистотой и грустью Вашего произведения, которое хоть и малó по своему размеру, но так богато по содержанию и как в любви, так и в гневе находится на высоте русского эпоса, оставаясь в то же время глубоко личным произведением. Что меня больше всего тронуло — это Ваше чувство к благородству искусства, которое выражено трогательно и проникновенно.

Надеемся, что Вам, как и Вашей семье, благоприятствует хорошая погода на берегу моря.

Я приехал сюда с моей женой, которой немного нездоровилось, но ей теперь, к счастью, лучше. Мы часто с удовольствием вспоминаем о нашем свидании с Вами. Я говорю об этом с чувством большой симпатии в моей маленькой книжке, в которой рассказываю моим соотечественникам о моих впечатлениях в Париже во время пребывания там в январе.

Примите уверения в моем чувстве дружбы и глубокого уважения к Вам.

Томас Манн.*)

В 1928 году И. С. Шмелев обратился к Томасу Манну с откры-

*) Письма Т. Манна, публикуемые здесь, написаны по-немецки, но посылались одновременно с переводом на русский язык свояченицы Т. Манна Кэте Розенберг, которая перевела на немецкий ряд произведений И. С. Шмелева. (Ред.)

тым письмом по поводу распродажи в Берлине русских художественных сокровищ:*)

Дорогой Томас Манн,

к Вам, наиболее чуткому и совестливому из германских писателей, обращаюсь я с этим словом глубокого возмущения и негодования на то, что может случиться непоправимо позорное для Вашей родины, тяжкое и страшное — для моей. Обращаюсь с надеждой, что, узнав все и проверив Вашей совестью, Вы почувствуете «святое беспокойство», великую тревогу за человеческое, ту тревогу, которую еще недавно умел высоко ценить мир в творениях литературы, в частности — в творениях русского и германского гения и сердца. Обращаюсь во имя великих наших Учителей, имена которых еще и в наше время для нас священные.

Дело идет о постыднейшем, против чего давно бы должен восстать весь культурный мир, и что не тревожит совести этого «всего мира». Дело идет о бесчестии, которое падет на весь германский народ, если от его имени не раздастся властный и сдерживающий голос.

Выразитель духа Вашего народа, как ответственный писатель, как представитель чести и совести народа, Вы, я верю, не можете допустить спокойно, чтобы Ваша страна стала поприщем, — сильнее сказать, разбойничьим майданом, где без зазрения совести и громогласно могут распродаваться ценнейшие из сокровищ, собранные веками и силами России, украденные у нее насильниками и воровски доставленные на германский «рынок»! На глазах всего мира Германию хотят сделать местом распродажи украденного у целого народа духовного богатства, укрывательницей награбленного, попутчицей разбою, посредником грабителей и воров.

Страна Гете и Шиллера, страна великих мыслителей, великих правоведов, ученых, художников, моралистов... — эта страна в наше сомнительное время как бы готова показать всему свету, что она разрывает с ними, что она отвергает право, отрицает честь, принимает легко — бесчестие.

Узнайте дело — и Вы не допустите постыдства: я знаю это. Вы — чуткий, Вы за право Правды. Вы можете не позволить, Вы можете властно сказать «нельзя»! И Вас услышат.

Что случилось? Я не буду говорить от себя. Я приведу слова благороднейшего немца, только что напечатанные в русской газете «Возрождение», в Париже, — слова из телеграммы крупного германского промышленника, Артура Геннига, отправленной г. президенту Гинденбургу:

«6 и 7 ноября у Лейпке в Берлине состоится распродажа принадлежащих всему русскому народу невосстановимых художественных со-

*) В 20-е годы, по решению советского правительства, за границей было продано много картин и драгоценностей из Эрмитажа и других национальных сокровищниц. (Ред.)

кровищ. Правительства других культурных государств поступили разумно, отклонили предложения об устройстве в их странах такого расхищения русского национального имущества, расхищения, глубоко оскорбляющего всю национальную Россию. Германии суждено на глазах всего цивилизованного мира принять на себя такое поругание. Все мыслящие немцы должны самым резким образом протестовать против таких действий, вследствие чего я прошу Вас, господин Президент, принять все зависящие меры к тому, чтобы запретить позорящие весь германский народ действия».

Мне нечего и добавить к этим словам. Помогите же остановить падение чести в мире. Кому же и охранять честь и правду, как не писателям, выразителям мировой совести, — так мы, русские, по крайней мере, полагали до сего дня. И кому же удерживать родину от позора перед человечеством, как не выразителям ее духа, ее славным писателям, и из них — Вам, одному из славнейших... Вы хорошо знаете и чтите великих наших Достоевского и Толстого, о них Вы много писали и рассказывали Европе, и Вы можете знать, можете представить себе, что бы они теперь сказали, если бы могли еще говорить! Впрочем, они уже давно сказали, и так ярко и властно сказали о чести и бесчестии, о зле и добре, о праве и неправде, что повторять излишне.

Скажите же, прикажите же, дорогой Томас Манн — и Вас услышат в Германии. Услышат и в целом мире, — а это очень теперь не лишне. Скажите громко и властно, и Ваш голос останется в нашем сердце, как голос чести, как голос долга, как знамение великой духовной связи между народами.

С дружеским приветом и искренним уважением к Вам

Ив. Шмелев.

Октябрь, 1928 г.

Ланды.

Томас Манн ответил следующим письмом:

Дорогой и сердечно уважаемый Иван Шмелев!

Я только что вернулся из поездки — серия лекций, — в которую должен был отправиться как раз в момент получения от Кэте Розенберг Вашего «открытого письма», в котором Вы так выразительно высказываетесь о только-что прошедшем аукционе предметов русского искусства у Лепке в Берлине. Этот Ваш столь сильный призыв меня тогда очень задел, но что я мог сделать? Это было накануне аукциона, воспрепятствовать ему посредством моего выступления в печати практически было безнадежно. Кроме того, в тот момент у меня совершенно отсутствовало ясное понимание всего дела, которое позволило бы мне поднять мой голос, не говоря уже о том, что во время очень утомительной и расписанной по часам лекционной поездки я не имел даже и физической возможности ничего написать. Аукцион произошел и по факту объявить, что теперь, зная в чем дело, мне, как немцу, за него стыдно, было бы делом напрасным. Какая бессмыслица и какое не-



У больного И. С. Шмелева (лежит на шезлонге).
На скамье: Б. К. Зайцев (справа) и Ив. Новгород-Северский.



Б. ПИЛЬНЯК

(К стр. 325-344)



И. БАБЕЛЬ



М. ЗОЩЕНКО

Худ. Ю. Анненков

приличное отсутствие логики с обеих сторон! Коммунистическая Россия продает национализированные ценности иностранному капиталу, Германия, где понятие частной собственности еще очень священо, позволяет у себя, несмотря на это, продавать отобранные у собственников ценности. Что Вы хотите: *Les affaires sont affaires*, это положение выше всего отвратительно, внедуховно, по ту сторону добра и зла...

Всего Вам доброго, мы с женой желаем Вам здоровья и плодотворной работы и часто с радостью и благодарностью вспоминаем нашу встречу с Вами.

Сердечно преданный Вам
Томас Манн.

14 ноября 1929 года Томас Манн сердечно поблагодарил И. С. Шмелева за поздравление по случаю присуждения ему Нобелевской премии.

Привожу отрывок письма Томаса Манна от 4 января 1931 года в ответ на посылку И. С. Шмелевым своей книги «Любовь в Крыму» (под этим заголовком вышла в Германии повесть «Под горами»):

«Сердечно благодарю Вас за милую память и выражающий ее подарок. Восторг, который я чувствовал, читая Ваш рассказ, воскресил во мне старые дни: был этот восторг тот же самый, с которым я читал двадцать лет тому назад впервые Тургенева, — даже в том же самом внешнем виде и в том же издательстве «Реклама», явилась тогда передо мной «Первая любовь» и «Весенние волны», но «Любовь в Крыму» пробуждает воспоминание не только своим мастерством, не только русским характером этого мастерства, но и другими, более интимными качествами. Какая красивая, чистая и пестрая, живо-жизненная картина души, природы и света; с какими же чувствами Вы должны теперь читать это! Ваша надпись на это намекает».

Копия ответа И. С. Шмелева на это письмо сохранилась, а оригинал, как и всех других писем к Томасу Манну, погиб в Германии во время войны.

9 rue de Rossignol Sèvres

12 января 1931 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Томас Манн,

у меня нет слов выразить Вам чувства радости и признательности, которые испытал я, всматриваясь в чудесные строчки Вашего письма ко мне. Добрая Кэте Розенберг облегчила мне возможность разобрать тонкую Вашу «готику», без слов говорящую об изысканности и глубине духа Вашего. Простите, что я русским моим письмом ставлю Вас в затруднение, но милая Екатерина Германовна переведет Вам то, что я никак не сумел бы передать Вам на языке для меня чужом. Свое я могу говорить только по-своему.

Вы сделали меня счастливым. Это вторичное Ваше «посещение», та-

кое же незабвенное, как то, далекое, в пасмурный день январский в Париже Я глубоко рад, что моя книжечка о прекрасном Крыме вызвала в Вас чувства, когда-то, давно пережитые Вами при чтении благоуханных творений «певца любви», — нашего славного Тургенева. Это для меня честь, и ею обязан я Вам, певцу страдания и любви, и всем великим, учившим творить прекрасное.

Светлые чувства вызвала в Вас моя маленькая «Любовь в Крыму», — в Вас, одном из сильнейших в чудном искусстве Слова. Через это еще и еще ясней вскрывается для меня та сила-чудо, что именуется глухо — художественное слово. Воистину, искусство объединяет мир, открывает и миру, как он прекрасен и как он страшен, как он и высок, и низок, и свят, и грешен. Наше искусство «искушает» человека, манит, чарует снами, вызывает восторг перед возможным и недостижимым, трепет перед падением, надежду на возрождение. Мы творим, и творя показываем людям наш мир, нашей душой очищенный, — мир мечты. Какое высокое и какое ответственное призвание!

Я рад, что Вы, тонкий, глубокий мастер, всегда так бережно выбирающий материал, работаете теперь над новым материалом, огромным, древним, библейски-мифологическим. Сколько цветов чудесных расцвело в далеком прошлом! Собраны и засушены они. Да. Но сколько же меду в них. Вы отыщете этот древний благоуханный мед, золотистогустой и пряный, — и целебный! Найдете и подадите миру прекрасное, человеческое, вечное, овевленное дуновением Божества. «Иосиф в Египте»?.. Лучшего и найти нельзя по драматизму, извивам чувств, по нежному лиризму, по высокой любви к родному. Дай Бог Вам силы его увенчать победоносно!

Вы пишете о Гете. Новая о нем книга, которую Вы напишете, — а вы напишете — без сомнения достойно, будет как раз по времени.

Трудно время наше, темное, а поминки по Светлом возносят дух. В шаткое ныне время, когда лучшие чувства меркнут, будем освещаться вечным, отыскивать в светлом детстве забытые радости, учиться дышать восторгом. Мир скучает, — слишком он стал «умен», — мир звереет, мир забывает о Любви. Мир разучился радоваться... «Герман и Доротея», «Страдания юного Вертера»... Это не «сантименты»: это — забытое, это — прекрасное, светлое чувство человека. Душа мира отравлена «вещами», «умом земным», как бы «обмефистофелилась», обывла все разлагать и тлеть, искажать и осмеивать. Да, дерзания... Но это — ничтожное дерзание и — трусость: верить тому и в то, что могу постигнуть умом. Грошевое дерзание! Добровольное — и пошленькое — рабство. Выше всего поставить... человека. Этим-то и удовлетвориться?! Ну, не велико поле. И незаметно снижаемся, чтобы дойти до... зверя! Мир как будто «обмефистофелился». Выгучился творить соблазны и продавать душу призракам. Мир растерян, и в отчаянии готов ценнейшее отдавать за мираж-случайность, злобным умом подсуну-

тый. Чудесный, уносящий душу лиризм иссяк. О Боге — ныне смешно и думать: сами — боги! И только избранные еще тоскуют, еще взывают. Ныне особенно труден долг подлинного писателя: вести на «священную дорогу». Эта дорога — Божья, — в душе писателя. Он ее чувствует совестью и Божиим даром. И хранит в тайниках души до пылающего мгновения творчества. И кому же, дорогой Томас Манн, как не Вам, столь ответственному перед «души велением», — писать о Гете?! Я мечтал бы, с трепетом, писать о нашем Пушкине. И доказал бы, не взирая на множество книг о нем, что «веленью Божью» был он послушен. Пушкин был не только поэтом: он был пророком, как и Достоевский. И Гете, всеобщий Гете, — был и есть, — пророк. И его «Фауста» особенно страшно читать ныне. Это — давнее откровение, разлитое в народах, гением собранное: «постигни». Вот и Пушкин: не даром Достоевский свою речь на открытии памятника Пушкину закончил «Пророком» Пушкина:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился...

В этом «Пророке», что ни слово — заповедь писателю, его скрижаль.

Вы напишете о Гете. Скажете свое, новое. И как я был бы счастлив, если бы суждено было мне прочесть Ваше о Гете, хотя бы в прекрасном переводе на наш язык.

Еще раз благодарю Вас, дорогой Томас Манн, за ласку, которой Вы осветили мою душу. Спасибо Вам, крепкое русское спасибо! «Спасибо» значит спаси Вас Бог. Желаю Вам здоровья, благоденствия, «лета Господня благоприятного», как поется в молитве на Новый Год, — у меня под этим заглавием должны бы выйти две книги, когда закончу свои «праздники», из которых написал уже двадцать очерков, — и сил духовных.

Благоволите передать почтительнейший привет мой и низкий поклон, с пожеланием светлых дней, глубокочтимой супруге Вашей,

Крепко жму Вашу руку

И. Шмелев.

Последнее письмо Томаса Манна относится к рассказу И. С. Шмелева «На пеньках»:

Мюнхен, 13.XI.32.

Глубокоуважаемый г. Шмелев.

Вы меня обрадовали в высшей степени и оказали большую честь тем, что прислали мне немецкое издание Вашего последнего произведения. Сердечно благодарю Вас и позволяю себе сказать Вам, что чтение этого произведения меня полностью укрепило в моем восхищении перед силой Вашего художественного таланта и тонкостью Вашего дарования, и мое восхищение перед Вами еще больше возросло.

Я все еще нахожусь под впечатлением Вашего произведения, будучи потрясен теми страданиями и той тоской об ушедшем мире, которы-

ми полны Ваши произведения, и которые звучат повсюду в Вашей книге, о том мире, который является для Вас глубоко человеческим, и оказался затертым бесчеловечными силами.

Я в качестве нерусского человека, который хотя много обязан русскому творчеству, но по своей душевной «формации» принадлежит скорее к Западной Европе, не могу и не имею права иметь суждение по поводу нынешней России и того громадного социального опыта, который эта страна предприняла. Время покажет, или опровергнет, жизнеспособность и право на будущее этого нового общественного и государственного строя. Мы должны также посмотреть, каковы будут те культурные, художественные и поэтические достижения, которые создаст этот новый мир.

Во всяком случае одно несомненно, что те человеческие и духовные страдания, которые принес с собой этот новый строй, имеют полное право найти свое отражение в искусстве.

Уже в Вашем «Солнце мертвых», и в Ваших последующих произведениях, мы всегда будем находить истинное и потрясающее отражение этих страданий. Это — большая слава, быть может мрачная, скажут люди; но эта слава освещена счастьем Вашей первой половины жизни, и память об этом счастье будет всегда достаточно сильна, чтобы «осветить» изнутри, как Вы об этом рассказали в Вашем прекрасном рассказе.

Дорогой г. Шмелев, я не видел Вас больше после нашего парижского свидания, но время от времени я слышу о Вас через кухню моей жены, Кэте Розенберг; то мужество и та непоколебимая продуктивность в Вашей работе, с которой Вы несете Ваш крест — Вашу судьбу, занимают мое внимание и вызывают чувство большой симпатии и глубокого уважения к Вам.

Моя жена и я шлем Вам сердечные пожелания всего хорошего, желаем Вам доброго здоровья и радости творчества, и надеемся Вас скоро лично увидеть. Очень возможно, что наш путь приведет нас в этом году в Париж. Было бы очень приятно, если бы и вы были в это время в Париже.

Примите уверение в моем глубоком уважении к Вам

Ваш Томас Манн.

ЮРИЙ АННЕНКОВ

Борис Пильняк, Исаак Бабель и Михаил Зощенко

1

С Борисом Пильняком я познакомился в 1918 году, в Москве, и постоянно встречался с ним в Советском Союзе, до осени 1924 года, когда я уехал за границу.

В сохранившихся обрывках моего московского дневника от 1924 года имеется следующая пометка (датированная 25 мая):

«Почти всю ночь просидел в пивной с Борисом Пильняком. Он печален, подавлен. Замучили семейные обстоятельства: жена не дает развода или что-то подобное. Говорит, что привык жить в тихой Коломне. В больших городах никогда не жил. Московская сутолока мешает работе и выбивает из колеи. Тоскует по детям. Прочел мне только что законченный рассказ «Ледоход». Рассказ прекрасный, и, как всегда у Пильняка, искусно разорван на куски и столь же искусно представляет собой одно целое. Тема — Батько Махно — разработана крепко. В одной из глав говорится о кабаке, в котором бывали русские писатели: Куприн, Бунин, кто-то еще и Пильняк. . .

В пивной, где мы сидели, на стене надпись:

Граждан посетителей просят на пол окурков не бросат.

Гражданин заведывающий заведением страдает штрафами.

Пол засыпан окурками. Пепельниц нет. . .

Я рассказал Пильняку о состоявшемся в Академии наук вечере памяти Стасова. Пильняк спросил:

— А кто такой был этот Стасов? . .

Вчера я сдал последние рисунки к «Дневнику Жан'а Сухова». Текст, слегка приведенный в порядок Пильняком (хотя синтаксические и орфографические ошибки остались нетронутыми), написан неким Суховым, вернее — Уховым, коломенским недоучкой и лоботрясом. Рисунки же выполнены моей женой, которая до того никогда в жизни не рисовала. Я рассказывал ей, как и что надо изобразить, и она, смеясь, рисовала

это с ребяческим неумением. Этого обстоятельства не знает даже сам Пильняк: я скрыл от него. Если книга появится, то она будет чем-то вроде литературного таможенника Руссо.

Издатель Дневника, Н. З. Хилминский, заболел почками, перевезен в больницу. Выход книги сомнителен».

У меня в Париже хранятся типографские оттиски всех (22) рисунков для этой вещи: клише были уже сделаны, но книга из печати не вышла. Очень жаль. Пильняк сделал единственную в своем роде попытку опубликовать простой «человеческий» документ затерянного провинциала, отнюдь не мечтавшего увидеть свой дневник (1913 г.) напечатанным: образчик человеческой пошлятины, не имевшей примеров в литературе. О таких провинциальных пошляках написаны многие тома, но их собственные рукописи никогда не опубликовались. На двух или трех рисунках есть фразы, взятые из «Дневника». Так, на заглавной странице, с изображением пронзенного стрелой сердца, написано:

«Что было раз и вновь едва ли повторится!!

Дневник

Jean Сухова

Коломна, 1913.

О дайте сердцу тосковать,

Оно мечтать, грустить устало!?

Страницы моего дневника являются дорогим букетом безхитростных, но всегда ароматных, чудных непосредственностью воспоминаний.

Мой девиз: Прощай мое вчера — скорее к неизведанному завтра.

Не нужно мне слова участия!

Не нужно, не нужно мне проблесков счастья!

Оставь и дозвожь мне мечтать о БЫЛОМ!»

На пылающем сердце — надпись:

Egeni Л.

и стихи:

Посвящается Жене Ларцевой

Ты хочешь знать чьи это глазки

Всегда так пламенно горят

Они мне светют во мраке ночи

Итак прочти все буквы в ряд.

Пусть жизнь твоя течет струею

Усыпана тысячами цветов

Пусть навсегда живет с тобою

Надежда, Вера и Любовь!

Лиловенький цветочек

Испанской красоты

Зелененький листочек
Ах как вы хороши!!!
Что в альбом тебе писать
Право я не знаю
Разве счастья пожелать
От души желаю.

25 июня 1913 года».

Еще одна страница: фотографическая открытка тех лет, изображающая полураздетую молодую женщину в рубашке и кружевных штанишках, зашнуровывающую ботинок. Надпись от руки:

«О Божество!!!
О женщина!!!
tre — пикантно...
Jean»

Другая открытка: мужская рука, пожимающая женскую руку, в рамке из цветов. Надпись:

«На память.
Голубые Ваши глаза
А мне ротик Ваш tre cher
Люблю страстно, точно в сказке
Я боюсь лишь Votre mere.

Ж. С...ъ»

Рисунок, изображающий девушку гимназического возраста. Надпись:

«Ж. Л.
Женичка, Женичка
Как Вы хороши!
Любит Вас Ванечка
Ото всей души!!!!?»

Последняя из сохранившихся у меня страниц «Дневника»:

«Товарищ! Верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
И на обломках самовластья
Напишет наши имена!

А. Пушкин — Чаадаеву».

И — приписка Jean'a Сухова: «Здорово!!!»

Это все, что у меня осталось от суховского произведения, а в книге должно было быть около ста двадцати страниц текста (прозы, не поэзии).

Суховский дневник ни в коем случае не был выдумкой Пильняка: он показывал мне оригинал с его неподражаемым почерком

и «старой» орфографией. Желая издать его, Пильняк поступал, как «искатель правды», а не как писатель.

— Это фотографический портрет Сухова (Ухова), а не портрет, написанный с него художником, — говорил Пильняк.

Но книга должна была появиться под именем Пильняка:

Борис Пильняк

Дневник Jean'a Сухова

— так как под именем Сухова никто не соглашался ее издать.

•

Трактирные ночи случались у нас довольно часто. Немец по своему происхождению (его настоящая фамилия — Воган), Пильняк был русейшим писателем. Он не интересовался ни социальными, ни политическими проблемами, он подходил вплотную к жизни, к революции, к голоду — на улице, в трактире, в деревне, и из увиденного делал свои художественные выжимки. Именно — выжимки. Он сжимал виденное, сжимал его все крепче, пока каплями слов не вытекала на бумагу его сгущенная сущность.

«Холодные сумерки наступают землю, — те осенние сумерки, когда небо снежно и зимне, и сумерки к рассвету должны рассыпаться снегом. Земля безмолвна и черна. Степь. Чернозем. Чем дальше в степь, тем выше скirdы, тем ниже избы, тем реже поселки. Из степи — по ограбленной пустыне — из черной щели между небом и степью — дует зимний ветер. Шелестит в степи чуть слышно былье после скошенных трав, ржей и пшениц. Вскоре поднимется стеклянная луна. Если поволокуются тучи, будет снег, а не изморозь... Степь. Пустота. Холод. Голод. Днем над степью поднимается сонное солнце. В весенней тишине летают над ограбленными полями вороны стаи. Курятся избы редких селений синим серебряным дымком, — тоскливые избы. Ночью падает снег, земля встречает утро зимою, но вместе со снегом идет тепло, и опять осень. Идет дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми хлопьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь...

В степи лежит курган... Когда-то около убили человека, и на могильном камне кто-то начертил неумелыми буквами:

— Я был, кто ты есть, —

Но и ты будешь то, что я есть.

Бескрайнюю степь, курган, все занесло снегом, и от надписи на могильном камне осталось два слова:

— Я был...

Это — из романа «Голый год».

Или — поезд и его вагоны-теплушки:

«Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз, — люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки... Люди едут

неделями. Все эти люди давно уже потеряли различие между ночью и днем, между грязью и чистотой, научились спать стоя, сидя, вися. В теплушке вдоль и поперек в несколько ярусов настланы нары, и на нарах, под нарами, на полу, на полках, во всех щелях, сидя, стоя, лежа, притихли люди... Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Ночью в теплушке темно, двери и люки закрыты. В теплушке холодно, в щели дует ветер. Кто-то храпит, кто-то чешется, теплушка скрипит, как старый рыдван. Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул над ними и его ноги стали у шеи первого. И все же двигаются... Человек, у которого, должно быть, изъедены легкие, инстинктивно жмется к двери, и около него, отодвинув дверь, люди, мужчины и женщины, отправляют естественные свои потребности, свисая над ползучими шпалами или приседая...

Я вспомнил об этом пыльном поезде «№ пятьдесят седьмой смешанный» в 1936 году, когда вышло в свет «Возвращение из СССР» Андре Жида, где тоже говорится о поезде:

«От имени Союза советских писателей, Михаил Кольцов предоставил в наше распоряжение специальный, весьма комфортабельный вагон. Сверх всякого ожидания, мы, шестеро, расположились в нем с нашим спутником-переводчиком. Кроме наших купе с кушетками, в вагоне был также салон, в котором нам сервировали кушанье. Лучше не могло быть. Но что нам очень не понравилось, это невозможность общения с другими пассажирами поезда. В конце концов мы добились, чтобы двери нашего вагона открыли, и сразу же мы вошли в контакт с нашими очаровательными соседями. То была группа комсомольцев. Их вагон был совершенно узок; в нем было несносно жарко в тот день, скученные там вплотную один к другому, комсомольцы положительно задыхались; это было очаровательно... Сразу же завязался оживленный разговор. Но так как в их вагоне дышать было нечем, мы пригласили десяток из них в наш вагон, где вечер продлился с песнями и даже с народными танцами, насколько размеры нашего салона это позволили».

Десять лет спустя, в 1946 году, когда мне пришлось принять участие в создании французского фильма «Пасторальная симфония», по роману Андре Жида, я познакомился с этим писателем в кинематографической студии и даже успел сделать с него там (незаконченный) портретный набросок. Разговорившись о «Возвращении из СССР» и, в частности, о вышеописанном поезде, я сказал, что приехавшему во Францию советскому писателю Союз французских писателей вряд ли смог бы предоставить отдельный вагон с салоном, в котором Сергей Лифарь мог бы репетировать свои балеты. Я сказал также, что духота и теснота в комсомольском вагоне могли показаться «очаровательными» Андре Жиду и его спутникам потому, что они имели возможность тотчас же вернуться в свой «салон», но что та же теснота и духота вряд ли нравились комсомольцам. Кроме того, я спросил: если комсомольцы, пассажиры

привилегированные, были, как сардинки, набиты в слишком узком и душном вагоне, то в каких условиях ехали в том же поезде беспартийные советские граждане? И я рассказал Жиду о пильняковских страницах.

— Да, — признался Жид, — в другие вагоны нас так и не пустили. Но я вполне доверяю Пильняку.

Пильняковский поезд и его теплушки — тоже из «Голого года»: чистокровный, страшный Пильняк. От этого страшного необходимо было, конечно, избавить «нашу счастливую советскую действительность», показывая ее иностранному писателю.



В 1933 году Борис Пильняк провел несколько дней в Париже, где был очень тепло встречен французской литературной средой, так как к тому времени успели уже выйти из печати, на французском языке, наиболее сильные из его вещей: «Голый год» (изд. Галлимара, Париж, 1922 г.), «Красное дерево» (изд. Европа, Париж, 1928 г.), «Волга впадает в Каспийское море» (изд. Каррефур, Париж, 1931 г.) и другие.

Я виделся с Пильняком ежедневно — у меня, на улице Буало, в ресторанчиках за обедом, в кафе на Монпарнассе... Если Пильняк не знал, кто такой был Стасов, то он был очень хорошо знаком с произведениями Буало, и, помню, как-то целый вечер говорили о них в моем садике. Впрочем, разговор шел не только о писаниях Буало, но также о его парике, или — вернее — вообще о париках времени Людовика XIV. Эти парики Пильняк называл «кустарниками на голове» (что вполне соответствовало действительности).

— Судя по колкому сарказму Буало, — сказал Пильняк, — его кустарник состоял главным образом из крапивы.

Мы много говорили о русской литературе — об Алексее Ремизове, о Евгении Замятине, о Константине Федине, которые тоже сживали в моем садике, о Леониде Леонове, о Михаиле Зощенко. . .

Замятин писал о Пильняке:

«Среди московской литературной молодежи Пильняк — старший (он начал печататься еще до февральской революции) и пока — самый заметный. Он явно посеян А. Белым, но, как всякой достаточно сильной творческой особе — ему хочется поскорее перерезать пуповину, почему в посвящении к последней своей повести он пишет: Ремизову — мастеру, у которого я был подмастерьем; это — только инстинктивная защита от Белого.

Ценно у Пильняка, конечно, не то, что глину для лепки он берет не иначе как из ям, вырытых революцией, и не его двухцветная публицистика, но то, что для своего материала он ищет новой формы и работает одновременно над живописью и над архитектурой слова; это — у немногих.

В композиционной технике Пильняка есть очень свое и новое — это постоянное пользование приемом смещения плоскостей. Одна сюжетная плоскость — внезапно, разорванно — сменяется у него другой, иногда по несколько раз на одной странице. Прием этот применялся и раньше — в виде постоянного чередования двух или нескольких сюжетных нитей (Анна плюс Вронский, Кити плюс Левин и т. д.), но ни у кого — с такой частотой колебаний, как у Пильняка: с постоянного тока — Пильняк перешел на переменный, с двух-трехфазного — на многофазный. Удачнее всего это в одной из первых его повестей (Иван да Марья).

В последних вещах Пильняка — интересна попытка дать композицию без героев: задача, параллельная Толлеровскому *Massenmensch*. Поставить в фокусе толпу, массу — можно, так же как можно стены отливать из бетонной массы вместо того, чтобы складывать из отдельных кирпичей. Но для отливки бетонных стен — нужен каркас. А у Пильняка никогда не бывает каркаса, у него сюжеты — пока еще простейшего беспозвоночного типа, его повесть или роман, как дождевого червя, всегда можно разрезать на куски — и каждый кусок, без особого огорчения, поползет своей дорогой. Вот почему пока не удалась ему попытка сконструировать бессюжетно-безгеройную повесть (Третья столица): как автор не подчеркивает героев нет — а повесть все-таки оказывается не из бетона, а из кирпичей, не из человеческой массы, а из людей.

Языка нашей эпохи — быстрого и острого, как код — Пильняк, кажется, еще не услышал: в его вещах, особенно последних — синтаксис карамзинский, зыбучие пески периодов. Читать их вслух мог бы только воздушный насос: никакого человеческого дыхания не хватит. Может быть, чтобы укрепить эту периодическую топь, автор прибегает к разным эпатажным типографским трюкам — которые после таких же трюков у Белого едва ли кого эпатируют. Я помню: один современный дирижер в городе Пензе рассаживал оркестрантов разными этакими ромбиками, ступеньками и полукругами... чтобы сыграть попури из Демона. Но ведь у Пильняка — не попури, у него есть слова, есть оригинальный композиционный прием — и пензенство его вещи только портит...»



Для того, чтобы напомнить об аналогиях и традициях, установившихся в советской действительности, я приведу заметку, посвященную Борису Пильняку в «Малой Советской Энциклопедии» от 1930 года:

«Пильняк, современный писатель. Приобрел известность повестью «Голый год» (1922), где он изобразил по преимуществу обреченных людей, классы общества, которые Октябрьская революция смела с лица земли. Самую революцию он понял не как интернациональное движение рабочего класса, а как движение национальное, и толковал ее в славянофильском народническом духе. Особенности его творчества, в котором чувствуется влияние А. Белого, — отсутствие стройной композиции и фабулы, отрывистое, беспорядочное

изложение. Политическая беспринципность этого представителя буржуазной интеллигенции резко сказалась в его повести «Красное дерево», обывательски тенденциозно искажающей происходящее в СССР социалистическое строительство, издание этой повести за границей вызвало возмущение всей советской общественности».

История, как мы видим, повторяется с точнейшим однообразием. Меняются только имена героев: сегодня — Пильняк, завтра — Замятин, послезавтра — Бабель, потом — Пастернак и сколько еще других имен.

В той же энциклопедии, на год раньше или годом позже, Пильняка упрекали в том, что «сочувствуя жертвам строительства», он одновременно как бы опорочивал строительство, давая понять, что можно было бы обойтись без жертв.

Впрочем, уже в 1924 году П. С. Коган, президент Академии художеств (Москва), писал о Пильняке, не отрицая, что он «в короткое время завоевал громкую известность»:

«Писатель нервный, писатель беспорядочных, моментальных снимков, художник каких-то бьющих в глаза мельканий, Пильняк обращен к прошлому скорее, чем к будущему. Его взору открыты не столько кожаные куртки, люди со стальной волей, без колебаний идущие к цели, сколько искалеченные остатки прошлого, раздавленные беспощадным колесом истории, обломки знатных фамилий, потерпевшие крушение интеллигенты, неврастеники и алкоголики, ищущие спасения в угаре мистических и половых одурений» (Советская культура, изд. «Известий ЦИК и ВЦИК», Москва 1924).

Впоследствии имя Пильняка исчезло из Советской энциклопедии.

•

Борис Пильняк уезжал из Парижа в Америку.

— Ненадолго, — сказал он мне, — скоро в Коломну.

— Не торопитесь, — ответил я.

Пильняк уезжал на новом трансатлантическом пароходе «Нормандия», только что побившем все прежние рекорды скорости. Этим успехом «Нормандия» была обязана аквадинамической линии киля, изобретенной русским инженером-кораблестроителем Юркевичем, личным другом Евгения Замятина, у которого я раз или два встретился с Юркевичем. Меня очень интересовала «Нормандия» и я поехал провожать Пильняка в Гавр. Пароход, по тому времени, имел, действительно, весьма величественный вид, и мы стали его осматривать во всех доступных нам подробностях. Аквадинамического киля, конечно, мы не видели. Но чрезвычайный комфорт кают, роскошь салонов, простор палуб произвели на нас очень сильное впечатление. Одна неожиданная деталь нас особенно удивила: салоны были очень мастерски расписаны... русским художником Александром Яковлевым. Осмотр парохода и, в особенности, яковлевских фресок, зата-

нулся довольно надолго, — когда я взглянул на часы, то вспомнил, что в эти минуты «Нормандия» должна была уже отчаливать от пристани. Поцеловавшись с Пильняком, я едва успел выбежать из рушейшей «Нормандии» на пристань Нормандии подлинной.

Я с пристани, Пильняк с парохода помахали друг другу руками. Так мы расстались навсегда.

Зная, что Пильняк непременно вернется в Советский Союз, и потому неуверенный в его дальнейшей судьбе, я все же никак не мог тогда подумать, что мой друг, честнейший Пильняк, будет расстрелян в качестве японского шпиона (!).

2

С кем я был более близок — с Борисом Пильняком или с Исааком Бабелем? Мне трудно на это ответить. Во всяком случае, несмотря на очень тесную дружбу, я и с тем и с другим остался на «вы». С Бабелем, как это ни странно, я познакомился только в Париже, в 1925 году, как-то вечером у Ильи Эренбурга, то ли за чаепитием, то ли за винопитием.

В противоположность многим русским писателям и поэтам нашего времени, часто мрачневшим, Бабель был неизменно весел, смешлив, молод. Мы целыми днями блуждали по Парижу, развлекались на бульварных ярмарках, кувыркались на качелях, стреляли — почти без промахов — в гипсовые трубочки и, конечно, толкались на Монпарнассе.

Вскоре же после нашей встречи у Эренбурга, Бабель стал одним из самых частых моих гостей «завсегдатаев». Придет на улицу Буало, позвонит и спросит в приоткрытую дверь:

— Разрешите заглянуть к старосветским помещикам?

Старосветские помещики, то есть моя жена и я, всегда бывали рады появлению Бабеля. Его жена, Евгения Борисовна, женщина чрезвычайно высокой культуры, постоянно занятая семейными заботами, приходила значительно реже, чем ее муж. Наши беседы почти всегда заканчивались прогулками.

— Пойдем, посмотрим? — спрашивал Бабель.

В Париже всегда есть что посмотреть. Бабель в особенности интересовался живописью, а вернисажи художественных выставок устраивались в Париже по два, по три раза в неделю. Я много раз бывал с Бабелем на выставках и даже в музеях. О живописи Бабель говорил со мной гораздо чаще, чем о литературе. В живописи его интересовали главным образом французский импрессионизм и истоки беспредметного абстрактного искусства. Импрессионизм привлекал Бабеля своей интимностью, непринужденностью, уютностью.

— Импрессионизм, — сказал он однажды, беседуя о Ренуаре, — это что-то такое успокоительно-пестренькое!

Эти слова меня удивили неожиданной правдивостью определения, даже с технической стороны. И не только по отношению к Ренуару: посмотрим на холсты Клода Монэ, Дега, Писсаро, Сислея, Берты Моризо, или их последователей — Сера, Синьяка, Вюяра, Боннара, до нашего Пуни включительно.

*

Выдержки из текста, посвященного Бабелю в «Советской энциклопедии»:

«Бабель, Исаак Эммануилович (р. 1894), сын одесского торговца. Первые рассказы Б. появились в 1917, но расцвет его литературной деятельности падает на 1923-1924. Творчество Б. очень невелико по объему, основной жанр его новеллы «Одесские рассказы» (сюда же относится киносценарий «Беня Крик» и пьеса «Закат»), сб. «Конармия» — впечатления от похода, сделанного Бабелем в 1920 г. с армией Буденного, и автобиографические рассказы «История моей голубятни». Выходец из еврейской мелкой буржуазии, придавленной царским режимом, Б. в своем творчестве дал своеобразный вариант мелкобуржуазного восприятия революции. Эстет с повышенным интересом ко всем красочным проявлениям человеческой личности, склонный к абстрактному интеллигентскому гуманизму и романтизму, влачащий через всю жизнь и творчество мучительное ощущение своей интеллигентской слабости, Б., преклоняясь перед революционной героикой, видит в революции все же глав. обр. стихию и принимает ее не без страха. В его изображениях конармейцев-буденовцев, как и одесских налетчиков, восхищение и ужас перед силой и стихийной удалой подернуты скептической иронией интеллигента, что создает оригинальную смесь героики с юмором...

Классовая действительность разбивает романтические настроения; отсюда — недоумение Б. перед пролетарской революцией и скептицизм. Основной смысл революции и ее движущие силы ему неясны...

Стремясь сблизить некоторое расстояние между собой и тягостной действительностью, грозящей растоптать его личность, Б. отходит и от общественности, идет по пути индивидуализма... Однако было бы глубокой несправедливостью к писателю и одновременно искажением фактов представлять произведение Б. пародией на действительность».

Так писалось в самом начале тридцатых годов.

Несколько раньше, в 1925 году, довольно популярный тогда литературный критик Г. Лелевич писал в своей книге «На литературном посту»:

«Никто не передал еще так в художественной литературе буденовцев и их героизм, с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским, казацким духом. Ни малейшей идеализации! Напротив, сплошь

и рядом — тонкая усмешка, и в то же время впечатление огромной революционной мощи. Чего стоит, например, рассказ «Соль», этот безусловный шедевр... Как бы там ни было, фрагменты из книги «Конармия» останутся навсегда ярким образцом действительности, а не мнимой революционной литературой».

«Следует, однако, оговориться, — писал там же Г. Лелевич, — что пока еще рано признать Бабеля пролетарским писателем».

Что касается самого Буденного, командира «Первой конной», то он придерживался гораздо более определенного мнения о «Конармии» Бабеля и даже опубликовал в журнале «Октябрь» двухстраничную статью, где, обрушиваясь на Бабеля, с гневом объявлял, что даже название книги — «Конармия» — есть название спекулятивное, и что вся эта книга — не что иное, как «небылица, грязь, ложь, вонюче-бабье-бабелевские пикантности».

Мнения, как полагается, расходятся. Лично я перечитал «Конармию» (и «Историю моей голубятни») по крайней мере раза три, как и «Гольф год» Пильняка.

*

Среди множества писем Бабеля, сохранившихся у меня, приведу здесь (в хронологическом порядке) лишь немногие из них, так как часто они служили только назначению места, дня и часа наших свиданий.

Пример:

«31. XII. 27.

Дорогой Юрий Павлович.

Итак — мы с Членовым ¹⁾ у Вас сегодня. Прилагаем ассигнации.

Ваш И. Бабель».

Или:

«20. I. 28.

Дорогие соотечественники,

В понедельник я у Вас буду, в воскресенье тоже постараюсь прийти. Напоминаю о том, что завтра в 6 ч. вечера к нам придут некоторые советские граждане. Если сможете урвать часок — приходите.

Ваш И. Бабель».

Дальше:

«1. III. 28.

Дорогая чета,

Как Вам известно, я хворал. Теперь оправляюсь. Только на роже остались следы лихорадки — гнуснейшего вида прыщи. В воскресенье припаду к Вашим стопам.

¹⁾ Юрисконсульт советского полпредства в Париже. Ликвидирован в период сталинских «чисток».

Получил от актеров телеграмму о том, что генеральная репетиция прошла с успехом²⁾. Телеграмма составлена в бурных выражениях — но я не доверяю и хорошо делаю.

Ваш И. Бабель».

«2. VI. 28.

Дорогой Юрий Павлович. Мы с Евг. Борис. завтра утром хотим уехать в Бретань на 3—4 дня, подыскать себе домишко на лето. Сосинский может на это время достать для нас очень хороший Ситроен за цену: 250 фр. за три дня, 300 фр. за четыре дня. Он и сам поедет с нами. Комбинация заманчивая и недорогая. Не желаете ли присоединиться к нам? Сосинский зайдет ко мне сегодня за ответом в 7 ч. вечера. Если хотите, приходите и вы. Я твердо решил ехать. Ничего дешевле не придумаешь, да и с Сосинским³⁾ ехать удобно — если поломка какая приключится, он починит. Итак, жду Вас. Пламенный, нежнейший привет Валентине Ивановне.

Ваш И. Бабель».

«Париж, 28. VI. 28.

Дорогой Юрий Павлович. Целую неделю ждал от Вас письма. Отчаявшись получить его, я принял приглашение одного замечательного француза приехать к нему погостить. Выезжаю туда (в Нарбонн — чудесное, говорят, место) завтра, пробуду там дня четыре, а потом, друг мой, надо ехать к маме в Брюссель. В Брюсселе я тоже пробуду недолго и тогда бы можно дернуть к морю. Но вы-то как долго останетесь в Saint Mare? Как Вам там живется? Работаете ли? Напишите мне, не откладывая, для того, чтобы я мог сообразить — застану ли я Вас еще в Saint Mare после поездки моей в Брюссель. Черт Вас дернул так долго молчать. Вместо Нарбонн я поехал бы к Вам!.. Но теперь отказаться нельзя, за мной пришлют автомобиль и пр. . .

В Париже жара и лето в цвету. Душа просит моря и солнца, но такое время настало для нас, что душу что ни день надо осаживать. Будьте веселы и безмятежны. Е. Б. кланяется от бела лица до сырой земли.

Ваш И. Бабель».

Однако, в Бельгии Бабелю пришлось пробыть значительно дольше, чем он предполагал: с 4 июля до 25 августа. Из Брюсселя он и «дернул к морю», но только не ко мне в Saint-Mare, а к Северному морю, откуда я и получил следующее письмо:

²⁾ Пьеса Бабеля «Закат».

³⁾ Вл. Бр. Сосинский, литературный критик и писатель: «Улыбка на затылке», «Срубленная ель», «Устирсин» и др. Печатался в зарубежных сборниках «4+1», «Кочевье». Работал в Париже, в советском торгпредстве. Принимал участие в редактировании издания „La vie économique de Soviètes“.

«14. VIII. 28.

St. Idesbald, Belgique.

Дорогие собратья. Обосновались всем семейством на берегу Северного моря в un petit trou, pas trop cher, в 25 км. от Остендэ. Погода все время самая что ни на есть несоответствующая — холодище и ветрило, свистящий ветер, как в пьесах Ибсена, — но теперь стало подходящее, чего и Вам желаю. Пробудем в этой ублюдочной стране до 25/VIII, после какового срока надеемся прижать к нашим сердцам Ваши... как бы сказать, груди... .

И. Бабель.

Да, это Вам не тропики! Привет.

Е. Бабель».

Через месяц Бабель вернулся в Советский Союз. Вот две открытки, присланные оттуда:

«Киев, 28. X. 28.

Милые друзья мои. ОЧЕННО превосходно живу в Киеве. Правда, квартира отведенная мне лишена всяких удобств, и другой, более требовательный человек — роптал бы, но доброго состояния моего духа никому, даже Буденному, поколебать не удастся. Пишу эту цидулку для того, чтобы сказать Вам, что я с благодарным счастливым чувством вспоминаю наши посиделки. Скоро напишу подробнее.

Ваш И. Бабель.

Адрес: Киев, Главн. почтамт, до востреб.»

«23. III. 29.

Из курной избенки на окраине Киева — меня понесло в Ростов, оттуда в Кисловодск. Что дальше со мной будет — не знаю, пустился во все тяжкие. Пойду сегодня в духан, съем шашлык и выпью красного вина за Ваше здоровье.

Будьте веселы, здоровы, благополучны.

Любящий Вас И. Б.»

В начале 1931 года Бабель снова во Франции, в одном из отдаленных парижских предместий. Оттуда — письмо:

«26. III. 31.

Дорогие и непоколебимые члены родных профсоюзов. Приехал на два дня в город и не успел зайти ни к Вам, ни в полпредство... Я думаю, что никакого бесчестья не будет, если Ю. П. (неизвестно почему сидящий в Париже, в то время, как в России идет стройка и люди, бодрясь, лазают по лесам) позвонит. Я приеду дня через три и припаду к Вам — очень приятно видеть Ваши лица, озаренные жаждой строительства и, вообще, неопределенной какой-то жаждой!..

И. Б.».

Вскоре Бабель приехал опять в Париж, но с середины 1932 года в наших встречах произошел довольно долгий перерыв.

Неожиданная записка Бабеля:

«14. X. 32.

Дорогие соотечественники. Я исчез, п. ч. у меня множество забот. Приходите к нам, пожалуйста, в воскресенье часов в девять вечера. Очень будем Вас ждать.

Ваш И. Бабель».

Наши встречи вновь стали еженедельными или еще более частыми. Впрочем, случались и небольшие перерывы. В настроении Бабеля, за истекшие месяцы, произошла значительная перемена. Правда, он продолжал говорить балагурным языком, но темы бесед стали другими. Последнее пребывание в Советском Союзе и все возраставшее там подчинение творчества требованиям и инструкциям власти окончательно разочаровали Бабеля. Писательство в рамках казенной советской идеологии становилось для него все более нестерпимым, а как жить без этого — он не знал.

В письме от 11. XI. 32 Бабель признался мне:

«*Mon très cher ami*. По глупости моей я живу худо. Меня терзают нудными приемами, требованиями выступать и сочинять дурацкие статьи. Сего числа я рассвирепел и решил в ближайшие два дня стать свободным гражданином. Пишу об этом потому, что очень хочу Вас видеть и никак не могу дорваться до хороших людей. В понедельник уговоримся о том, когда нам встретиться.

Ваш И. Бабель».

Мы встретились. Разговор был исключительно на тему: как быть?

— У меня семья: жена, дочь, — говорил Бабель, — я люблю их и должен кормить их. Но я не хочу ни в коем случае, чтобы они вернулись в советчину. Они должны жить здесь на свободе. А я? Остаться тоже здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов? Но, ведь, у него нет детей! Возвращаться в нашу пролетарскую революцию? Революция! Ищи-свищи ее! Пролетариат? Пролетариат пролетел, как дырявая пролетка, поломав колеса! И остался без колес. Теперь, братец, напирают Центральные Комитеты, которые будут почище: им колеса не нужны, у них колеса заменены пулеметами! Все остальное ясно и не требует комментариев, как говорится в хорошем обществе... Стать таксистом я, может быть, и не стану, хотя экзамен на право управлять машиной я, как вам известно, уже давным давно выдержал *). Здешний таксист гораздо свободнее, чем советский ректор университета... Шофером или нет, но свободным гражданином я стану...

*) Это верно. У меня сохраняется письмо Бабеля от 11. V. 28 года, где он говорит, что у него «в среду экзамен и надо бы повторить все пройденное».

Письмо от 18. I. 33 года:

«Дорогой Ю. П. Очень сожалею, что не застали меня. Давайте условимся так — *sauf contre-ordre*: я приду к Вам в понедельник часов в 4-5. Если захотите — сделаем *balade*.

В. И. огромный поклон.

Ваш И. Б.»

«*Balade*» мы совершили в моей машине и, конечно, натолкнулись на ярмарочные палатки, карусели, качели; стреляли из ружей, смотрели в бродячем цирке полуголых акробатов, слушали пластинки Мистангет и Мориса Шевалье. . .

— *Balade* должна продолжаться! — твердо заявил Бабель, — крышка! Одной Франции мне уже недостаточно, а других стран я еще толком не знаю! Пора!

Письмо от 11. III. 33:

«Дорогой Ю. П.

На улице стоит проклятый мороз и не дает работать, сплю плохо, а работать надо не только для души, но и для заработка, который, как известно, на чужой стороне дается трудно. Я надеюсь, что через несколько дней плохая моя жизнь кончится, и мы ознаменуем с Вами начало новой, хорошей. Как только сие случится — прибегу к Вам, надо думать, в середине будущей недели. В. И. кланяется несчетно раз.

Ваш И. Б.»

В середине следующей недели Бабель, действительно, забежал ко мне, но его хорошая жизнь еще не началась, что, тем не менее, не помешало нам хорошо пообедать в маленьком ресторанчике, поспорить о литературе и даже сходить в кинематограф. «Хорошая» жизнь пришла месяца через полтора; я получил от Бабеля записку из Рима (20. V. 33):

«Дорогой Юрий Павлович.

От Рима у меня головокружение. Ну и город. . .

Кланяюсь

Ваш И. Б.»

Италия, конечно, чудо. И далеко не только один Рим. За Римом последовали другие чудеса: Сиенна, Флоренция. Но хорошая жизнь, как писал Бабель, «на чужой стороне дается трудно». Истощив свои карманы, Бабель довольно скоро вернулся в Париж. Был август. Я жил тогда в Бретани, куда Бабель написал мне:

24. VIII. 1933.

«Дорогой, *mon très cher*, Ю. П.

Странный вызов в Москву. Еду в самых драматических обстоятельствах, без денег, в долгах. Возможно, что до отъезда не придется увидеться. Невыразимо жалею об этом.

Живите без меня хорошо. Не забывайте без меня Евгении Борисовны. Целую Вас. Рад, что еду в Москву. Все остальное горько и смутно. Напишу по приезду.

Всем сердцем любящий Вас И. Б».

Это пребывание Бабеля в Париже и вообще за границей оказалось последним, как и приведенное выше письмо ко мне: я больше никогда не получил от него ни одной строчки.

3

Однажды, в одну из наших парижских бесед на литературные темы, я спросил Бабеля, кого из современных советских писателей он считает наиболее интересным? Бабель вдруг расхохотался и произнес:

— Зоценку.

Затем, совершенно серьезно и даже с оттенком раскаяния, добавил:

— Я совсем не потому засмеялся, что назвал имя Зоценки, а потому, что в моей памяти сразу всплыли некоторые вещицы Зоценки: это они вызвали мой смех. . .

Мне чрезвычайно приятно вернуться сейчас на несколько минут в те годы (1919-1924), когда я встречался с Зоценкой, юным, талантливым, своеобразным и мужественным писателем.

Наши встречи происходили больше всего в петербургском «Доме искусств», «главном штабе» литературной и художественной жизни нашей бывшей столицы. Впрочем, было бы неправильным сказать, что мы там «встречались»: мы проводили там время. Мы часто приходили туда в два часа пополудни и уходили в два часа пополуночи. Художники появлялись в «Доме искусств» гораздо реже. Я, Николай Радлов, Мстислав Добужинский, Владимир Лебедев и Казимир Малевич были, пожалуй, исключениями. Но писательская «семья» была в те годы, действительно, семьей. Я этого никогда не наблюдал до революции и не видел за границей. Собрания, собрания, собрания. То здесь, то там. Каждый день -- где-нибудь все вместе. Доклады, конференции, прения, чтения, смех, рутань, снова смех, иногда — отчаянные споры, о Сервантесе, о сыпняке, о Достоевском, о холере, о жареных цыплятах. . . да, да: о жареных цыплятах. Я помню, как Зоценко сказал однажды, что жареные цыплята научились, по-видимому, здорово летать, так, что их теперь нигде не поймаешь. Меньше всего говорили на политические темы, несмотря на переживаемый «исторический момент». Помню, как Зоценко произнес чуть ли не целую речь о значении в нашей жизни женских чулок, даже шерстяных и заштопанных, а также — подвязок, и попросил одну из студий «Дома искусств» доказать это на примере, «при-

подняв юбочку доверху». Молоденькая студийка засмеялась и убежала из комнаты. Замятин потребовал, чтобы Зоценко немедленно привел ее и при всех извинился перед ней. Зоценко выбежал в коридор и, вернувшись со студийкой, торжественно встал перед ней на колени, скользнув рукой по ее чулку...

Активный член молодой писательской группы «Серапионовы братья», основанной, как он говорил, их «путеводителем», Евгением Замятиным, Зоценко, скромный и даже застенчивый (несмотря на редкие вспышки, вроде только что рассказанной мною), невысокого роста, никогда не расстававшийся с живописной табакеркой времен Екатерины Великой, сразу же выделился из этой группы своим редким и едким литературным остроумием и очень быстро привлек к себе внимание читателей. Независимо от этого, Зоценко пользовался большим успехом у женщин и был всегда окружен молодыми девушками из интеллигентской среды. Зоценко смущенно говорил, что им, вероятно, больше всего нравится его табакерка. Опрятно одетый, коротко подстриженный и всегда чисто выбритый, Зоценко никак не походил на представителя писательской богемы, его можно было скорее принять за молодого служащего в каком-нибудь административном ведомстве.

Тихий, мало разговорчивый, Зоценко был полон внутренних противоречий. Если произведения Зоценки непременно вызывали у читателя смех, то самого Зоценку это весьма удивляло. Как-то раз, в разговоре со мной, он признался, что этот читательский смех его глубоко огорчает, так как в его вещах, за словесным, формальным юмором скрывается трагическая сущность сегодняшней советской действительности. Больше того: он говорил, что в его передаче, помимо его воли, именно трагическая или, по меньшей мере, печальная сторона жизни становится комической и вызывает смех, вместо слез, ужаса или отвращения.

Зоценко писал, что в его рассказах —

«нет ни капли выдумки. Здесь все — голая правда. Я решительно ничего не добавил от себя. Письма рабочих корреспондентов, официальные документы и газетные заметки послужили мне материалом. Мне кажется, что именно сейчас существует много людей, которые довольно презрительно относятся к выдумке и писательской фантазии. Им хочется увидеть настоящую, подлинную жизнь, а не ту, которую подают с гарниром писатели».

И Зоценко утверждал, что в его рассказах — «нет писателя» и «нет писательской беллетристики».

Евгений Замятин, «путеводитель», относился к Зоценко с большим доверием. Уже в 1929 году, говоря о Серапионовых братьях, Замятин писал:

«Родившаяся от петербургского Дома искусств группа Серапионовых братьев — сперва была встречена с колокольным звоном. Но теперь — лавро-

вейшие статьи о них сменились чуть что не статьями уголовного кодекса: по новейшим данным оказывается, что у этих писателей — ломаного гроша за душой нет, что они — волки в овечьей шкуре и у них — неприятие революции. Серапионовы братья — не Моцарты, конечно, но Сальери есть и у них, и все это, разумеется, чистейший сальеризм: писателей, враждебных революции, в России сейчас нет — их выдумали, чтобы не было очень скучно. А поводом послужило то, что эти писатели не считают революцию чахоточной барышней, которую нужно оберегать от малейшего сквозняка.

Впрочем Серапионовы братья — вовсе не братья: отцы у них разные; и это никакая не школа и даже не направление: какое же направление, когда одни правят на восток, а другие на запад? Это просто встреча в вагоне случайных попутчиков: от литературных традиций вместе им ехать до первой узловой станции...

Зощенко — за одним столом с Никитиным и Всеволодом Ивановым: они обедают одним и тем же — узорчатыми, хитро расписанными пряниками из слов. Но никакого кувырканья, как у Никитина, никакой прожорливой неразборчивости, как у Всеволода Иванова — у Зощенки нет. Из всей петербургской литературной молодежи Зощенко один владеет безошибочно народным говором и формой сказа (так же, как из москвичей — Леонов)... Такое — сразу точное и законченное — мастерство всегда заставляет бояться, что автор нашел для себя свой *un petit verre*. Но превосходные, еще не печатавшиеся литературные пародии Зощенки и его небольшая повесть Аполлон и Тамара, построенная на острой грани между сентиментальностью и пародией на сентиментальность — дают основание думать, что диапазон автора может быть шире сказа...

Надежды Замятина полностью оправдались, и слава Зощенки разрасталась с каждым днем. Но вполне заслуженно разрастаясь, она все определеннее выдвигала в его творчестве на первый план элементы сатиры и юмора. Для меня Зощенко, как писатель, являлся своего рода новым первичным Чеховым: Чехонте. Несмотря на разницу в эпохах, родство Зощенко с Чехонте мне кажется очевидным.

Особенно требовательный к себе, Зощенко должен был, в конце концов, примириться с таким пониманием своего творчества и, в 1927 году (когда я уже жил за границей) он написал статью «о себе, о критиках и о своей работе» в несколько компромиссной форме.

«Относительно моей литературной работы, — писал он, — сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Критики не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона или коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена.

Обо мне критики обычно говорили, как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка.

Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип, тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы, я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

Вот, в литературе существует так называемый социальный заказ. Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель — заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся.

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это, действительно, высокая литература, а вот мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это не верно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подраспределения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот повесть для потомства.

Правда, по внешней форме, повесть моя ближе подходит к образам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их, лично для меня, одинакова.

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

Вот отчего, так казалось бы резко, делится моя работа на две части.

Но критика обманута внешними признаками.

А беда вся в том, что последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб не возиться со мной, загоняют меня чуть ли не в репортеры.

Но я опять-таки не протестую.

Я только хочу сделать одно признание. Может быть оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, не подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысится во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно заменяю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора, и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого может быть и нет сейчас, но который должен бы существовать, если бы он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...

Еще я хотел сказать о языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть какому-нибудь современнику Пушкина также трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть единственный человек в русской литературе, который понял это — Виктор Шкловский. Он укоротил фразу. Он ввел воздух в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал тоже самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным.

Может быть поэтому у меня много читателей».

Эта статья Зоценки весьма показательна. И именно потому, что Зоценко является подлинным пролетарским писателем, а не чиновником антипролетарской коммунистической партии, народившей новое богатое мещанство, — именно потому Зоценко становилось все труднее и труднее работать. В сороковых годах он подвергся неизбежной в таких случаях участи: был исключен из Союза писателей СССР и его произведения были запрещены к печати. В советском понимании свободы подобные случаи, как уже говорилось, мотивируются чрезвычайно просто:

«Постановлением ЦК ВКП(б) от 14. VIII 1946 года о журналах Звезда и Ленинград, были подвергнуты критике рассказ Зоценко Приключение обезьяны (1946) и повесть Перед восходом солнца (1943)» (Сов. энциклопедия, 1959 г.).

Только и всего, ничего больше. Вывод напрашивается сам собой. Михаил Зоценко умер в 1958 году.

А. В. БЕЛЬГАРД

ПЕЧАТЬ И РАСПУТИН

Хотя я никогда в моей жизни не встречался с Распутиным и ни прямо, ни косвенно не имел с ним никогда никакого дела, тем не менее он сыграл значительную роль в моей жизни.

Вернувшись как-то в Петербург из Тверской губернии, куда я ездил на земское собрание, я нашел у себя записку председателя Совета министров П. А. Столыпина, который просил меня, сейчас же по возвращении, приехать к нему по срочному делу.

Когда я приехал, П. А. Столыпин прочитал мне письмо государя. На маленьком листе почтовой бумаги, в виде частной записки, государь в самых решительных выражениях писал, что ему наконец надоела газетная травля Распутина, что никому не может быть дано право вмешиваться в его, государя, личную жизнь и что он требует, чтобы этому был положен конец и чтобы газетам раз навсегда было запрещено писать что-либо о Распутине.

Прочитав записку государя, Столыпин обратился ко мне с вопросом: «Что же делать?» — Я ответил, что прежде всего необходимо доложить государю, что с отменой предварительной цензуры и в особенности после исключения из Устава той статьи закона, которая ранее предоставляла министру внутренних дел право запрещать газетам касаться тех или иных вопросов, указанное высочайшее повеление исполнено быть не может и что с установлением ответственности печати по суду, даже если бы в газетных статьях о Распутине заключались признаки преступления, мы лишены возможности помешать частичному распространению этих газет, так как арест на газеты может быть наложен только после выпуска их из типографии, а потому известное количество номеров все же всегда успевает разойтись. Единственное, что, по моему мнению, можно было бы сделать в данном случае, это путем личного авторитета председателя Совета министров и министра внутренних дел, постараться повлиять на редакторов серьезных газет, которые в сущности только и могут попасть на глаза государю, чтобы они временно воздержались от помещения статей и заметок, касающихся Распу-

тина, мотивируя это хотя бы необходимостью, по возможности, не волновать общественное мнение во время прохождения через законодательные учреждения внесенных правительством важных законопроектов. Столыпин с этим согласился и мы сейчас же составили список тех редакторов, на которых можно было положиться, что они не подведут разглашением конфиденциального разговора, после чего Столыпин распределил между нами выполнение этого плана.

На долю Столыпина в числе других газет пришлось «Новое Время», в котором брат Петра Аркадьевича состоял постоянным сотрудником, а на мою долю, в числе прочих, — газета «Речь».

Объясняться мне пришлось с И. В. Гессеном. Как сейчас помню, он ответил мне почти дословно, что в сущности они совершенно не интересуются Распутиным и охотно готовы были бы о нем забыть, но, разумеется, только при одном неременном условии, чтобы он сам чего-нибудь не выкинул, потому что газета, которая должна давать надлежащую информацию, не будет в состоянии этого замолчать.

Всего труднее оказался для меня разговор с издателем самого в то время консервативного журнала «Гражданин», князем Мещерским. Хотя мы оба бывшие правоведы, я с ним почти не был знаком, так как он был значительно старше меня. Он был болен и поэтому мне пришлось поехать к нему. Откладывать было невозможно потому, что именно он в целом ряде своих «Дневников», печатавшихся в «Гражданине», очень резко нападал на Распутина, и были даже некоторые основания предполагать, что именно эти «Дневники» особенно раздражали государя.

Главное затруднение в данном случае, как это выяснилось уже из первых слов моего разговора с князем Мещерским, заключалось в том, что он в то время был крайне недоброжелательно настроен к Столыпину, кажется, из-за внесенного правительством в Государственную Думу проекта земской реформы в Северо-Западном крае.

В общем, однако же, все обошлось благополучно и в конце концов Мещерский дал мне необходимое обещание.

Распутин вел себя затем тихо, и газеты о нем молчали, а Столыпин рассказал мне при ближайшем моем докладе, что он совершенно откровенно доложил обо всем государю и что государь сказал ему, что он вполне понимает создавшееся положение и нередко сам даже думал, в каких тяжелых условиях должен иногда находиться теперь начальник Главного управления по делам печати.

После этого прошло сравнительно много времени. Одни события сменялись другими. В Киеве был предательски убит Столыпин, а на его место был назначен Макаров.

Лично для меня это имело значение, потому что с предполагавшимся после киевских торжеств уходом Столыпина, как я это знал от него самого, должна была быть связана перемена и моей службы, но, очевидно, суждено было иначе. Назначенный на место Столыпина министром внутренних дел А. А. Макаров просил меня остаться, а я был так удручен смертью Столыпина, что у меня как-то не было достаточно энергии, чтобы что-либо предпринять для перемены моего служебного положения.

А. А. Макарова я знал очень давно. Мы почти одновременно начинали нашу службу — я в качестве кандидата на судебные должности при прокуроре Петербургской судебной палаты Н. В. Муравьеве, а он в качестве кандидата на судебные должности при председателе Петербургского окружного суда А. А. Кузьминском. Впоследствии мы встретились с Макаровым в Москве, где он был прокурором окружного суда, и наконец снова в Петербурге, когда он, уже при Столыпине, с должности прокурора Саратовской судебной палаты был назначен товарищем министра внутренних дел.

У А. А. Макарова было много достоинств, но были и большие недостатки. Между прочим, он очень плохо разбирался в людях, не любил и боялся брать что-либо на свою личную ответственность и совершенно не умел выходить из сколько-нибудь необычного положения, самое же главное, он положительно не был в состоянии надлежащим образом, с достоинством, говорить с государем.

Вскоре после вступления Макарова в должность министра, в московской газете «Русское Слово» снова появилась очень резкая статья о Распутине.

Докладывая Макарову об этой статье, я, само собой разумеется, упомянул об указанном мною выше письме государя и о том, что было по этому поводу предпринято Столыпиным. Думал ли Макаров в это время о чем-либо другом, я не знаю, но он как-то не придал этому обстоятельству никакого значения.

Государь нзходил в это время в Ялте, а вскоре после его возвращения Макаров показал мне, на моем очередном докладе, только что полученную им от государя записку еще более резкого содержания. Я уже раз приказал, — писал государь, — чтобы была наконец раз навсегда прекращена травля Распутина и я требую, чтобы мое приказание было исполнено. Прочитав эту записку, Макаров очень сухо добавил: «Я передаю вам это приказание государя для исполнения».

На это я ответил, что я мог бы исполнить это высочайшее повеление лишь в тех пределах, как это было сделано при Столыпине, но что авторитет начальника Главного управления по делам печати представляется для этого недостаточным и что напрасно он хочет переложить в данном случае всю ответственность на меня, ибо даже в самые строгие времена цензуры министры внутренних дел не счи-

тали себя свободными от обязанности личного воздействия на печать.

Выслушав меня, Макаров, в совершенно не свойственном ему резком тоне, сказал: «Я ничего об этом не знаю и знать не хочу. Вы — начальник Главного управления по делам печати, и я передаю вам это высочайшее повеление для исполнения. Во всяком случае это высочайшее повеление должно быть исполнено. Кстати, прошу вас составить, для доклада государю, подробную записку о том, какие у правительства имеются средства для воздействия на печать».

Ни словом не обмолвившись более со мной по этому поводу, Макаров, без моего ведома, в тот же день послал телеграмму Московскому генерал-губернатору с предписанием «принять решительные меры к недопущению печатания в газетах каких-либо статей или заметок о Распутине». Генерал-губернатор передал эту телеграмму для исполнения градоначальнику, градоначальник — приставам, пристава — окологородным надзирателям, а окологородные надзиратели составили по тексту телеграммы подписки и пошли по редакциям газет объявлять под эти подписки последовавшее со стороны министра распоряжение.

Конечно, телеграф немедленно известил об этом Петербург и на другой же день во всех газетах появились самые резкие статьи о «возмутительном» превышении министром внутренних дел пределов предоставленной ему власти, причем во всех этих заметках упоминалось, конечно, имя Распутина, а в вечерних газетах сообщалось уже, что по этому поводу внесен запрос в Государственной Думе.

Появление этих заметок совпало как раз с днем доклада министра внутренних дел у государя.

Когда я на следующий день приехал к Макарову и с некоторым невольным укором по поводу происшедшего передал ему составленную мною записку для государя, Макаров, небрежно просматривая эту записку и не глядя на меня, как-то процедил сквозь зубы: «Скажите, а вы ничего не имели бы против назначения в Сенат?» — По правде сказать, в ту минуту это меня возмутило. — «Если бы я прочел о назначении меня сенатором в газетах, как это случилось незадолго перед тем с товарищем министра иностранных дел Чарыковым, — ответил я Макарову, — то я немедленно же подал бы прошение об увольнении меня от службы». — «Это почему?», — спросил Макаров. «Потому, — ответил я, — что, как вы знаете, я помимо должности начальника Главного управления по делам печати, состою еще председателем комиссии по народному образованию по выборам Петербургской Городской Думы, а эта последняя должность, по закону, не совместима со званием сенатора. Между тем, эту выборную должность я принял не самовольно и не только с

разрешения, но даже с известным понуждением со стороны Столыпина и с согласия государя. При этом перед моими выборами оппозиция в Городской Думе как раз указывала, что, состоя на службе, я легко могу получить новое назначение и комиссия, ведающая школьным делом города Петербурга, снова останется без председателя, тогда как такие смены председателя этой комиссии крайне нежелательны. Поэтому, раз я согласился баллотироваться и принял эту выборную должность, я считаю себя обязанным оставаться на этом посту по крайней мере до истечения срока моих полномочий, а потому и прошу, во всяком случае, если вы намерены докладывать государю о назначении меня сенатором, доложить и это обстоятельство».

Совершенно для меня неожиданно, Макаров, все также не поднимая на меня глаз, сказал: «Я уже докладывал о вашем назначении в сенат государю». — «И что же на это сказал государь,» — спросил я. «Государь изъявил на это согласие, добавив, что это уже давно было вам обещано».

Я на это сказал Макарову, что в таком случае мой сегодняшний доклад, по-видимому, можно считать исчерпанным. Макаров меня не задерживал и мы довольно сухо простились.

Очевидно, Макаров все же исполнил мою просьбу, потому что высочайший приказ о назначении меня сенатором был отредактирован следующим необычным образом: «Такой-то назначается к присутствованию в правительствующем Сенате, с освобождением его от присутствия в правительствующем Сенате на время состояния его в должности председателя комиссии по народному образованию по выборам Петербургской Городской Думы».

С момента фактического решения моей участи до окончательного назначения меня сенатором прошло, кажется, около двух месяцев. Я продолжал по-прежнему исполнять мои обязанности и за это время произошло еще одно характерное и не лишнее интереса событие. Как-то, уже к концу служебных занятий, ко мне в Главное управление по делам печати приехал, после предварительного предупреждения по телефону, из Царского Села, где в то время жил государь, обер-прокурор Святейшего Синода В. К. Саблер.

Начав с того, что он приехал ко мне по личному приказанию государя, Саблер объяснил, что в издававшемся в то время в Петербурге юмористическом журнале «Сатирикон» появилось занимавшее всю последнюю страницу обложки объявление о том, что один из ближайших номеров этого журнала будет целиком посвящен Распутину.

По словам Саблера, государь поручил ему «просить» меня от его имени сделать так, чтобы этот номер не появился. При этом государь, якобы, добавил, что он знает, что если я захочу, то я могу

это сделать, но что об обращении ко мне государя я ни в каком случае не должен докладывать министру Макарову.

С тяжелым чувством выслушав слова Саблера, в которых чувствовался как бы прямой по отношению ко мне укор государя в неисполнении его желания о прекращении газетной травли Распутина, я невольно остановился на вопросе о том, что же мне все-таки делать.

«Сатирикон» принадлежал в то время Аверченко и лично с ним у меня были не плохие отношения. Хотя цензура печатных произведений была уже в то время отменена, но по действовавшим тогда правилам она еще была сохранена для рисунков и иллюстраций. Мне, как начальнику Главного управления по делам печати, цензурой заниматься, конечно, не приходилось, но часто я принужден был входить в обсуждение обычно крайне спешных перед выходом журнала претензий редакции «Сатирикона» на слишком суровое отношение цензора. Обыкновенно ко мне приходил в этих случаях сам Аверченко. Положение осложнялось тем, что по закону цензура, в сущности, имела право исключать только такие рисунки, в которых можно было усмотреть признаки какого-либо преступления, предусмотренного законом. Поэтому некоторые рисунки, к которым, действительно, уж никак нельзя было придаться, волею-неволей приходилось разрешать. Относительно же других, хотя, строго говоря, в них тоже не было ничего явно преступного, я обыкновенно просто убеждал Аверченко не настаивать на их разрешении, потому что ни в художественном отношении, ни в отношении юмора они этого совершенно не заслуживали, а, между тем, они действительно имели задорный и вызывающий характер. Аверченко обычно этому покорялся, а один раз как-то даже сказал, что как это ни странно, он иногда приходит ко мне в самом раздраженном настроении, а уходит совершенно успокоенным, хотя и не добившись того, чего хотел.

Совершенно искренне заявив Саблеру, что я не имею никакой надежды на возможность исполнить желание государя, я все же решил пригласить к себе Аверченко и попробовать с ним поговорить, хотя сознаюсь, что у меня действительно было очень мало уверенности в успехе предпринятого мною шага.

Разговор с Аверченко я начал с того, что я, чего в то время еще никто не знал, не состою уже больше начальником Главного управления по делам печати, так как уже получил другое назначение, а потому наш разговор в данном случае должен иметь чисто частный характер, но что для меня, по некоторым причинам совершенно личного свойства, было бы в высшей степени важно,

чтобы он отказался от напечатания и выпуска предположенного им специального номера, посвященного Распутину.

Задумавшись ненадолго, Аверченко ответил: «Вы так ставите вопрос, что я не могу вам отказать, как бы это не было мне трудно, но одно, чего я не могу сделать, это остановить очередное объявление о предположенном выпуске Распутинского номера, которое должно появиться сегодня, так как для этого пришлось бы перепечатать обложку, а это по техническим причинам совершенно невозможно, но я вам определенно обещаю, что Распутинский номер не появится».

Должен сознаться, что я настолько не ожидал такого ответа, что лишь довольно бессвязно и сконфуженно поблагодарил Аверченко за исполнение моей просьбы.

В тот же вечер я послал в Царское всеподданейшую записку о том, что, за недостатком времени, я не имел возможности остановить появившееся сегодня в журнале «Сатирикон» повторное объявление о выпуске специального номера, посвященного Распутину, но что самый номер не появится, причем, после некоторого колебания, перед словами «не появится», я сделал вставку: «согласно желанию Вашего Императорского Величества».

Записку эту я послал с ведома Саблера; мне, конечно, не нужно говорить, что никто кроме Себлера ничего об этом не знал.

Вл. ГЕССЕН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Отец мой, Иосиф Владимирович Гессен, был видным адвокатом, членом второй Государственной Думы, редактором известного юридического журнала «Право» и главного органа конституционных демократов (кадет) газеты «Речь».

По четвергам в нашей квартире происходили редакционные заседания «Права». Членами редакции были виднейшие юристы — профессора петербургского университета Л. И. Петражицкий, М. Я. Пергамент, А. И. Каминка, Б. Э. Нольде. Последний занимал большой пост в министерстве иностранных дел; после Февральской революции, во Временном правительстве, он был товарищем министра при П. Н. Миллюкове. Никогда не забуду смех этого блестящего юриста-дипломата, доносившийся из кабинета до детской комнаты.

В составе редакции был и В. Д. Набоков. За свою статью «Кровавая баня», появившуюся в «Праве», о еврейском погроме в Кишиневе, Набоков был лишен камергерского звания и устранен от преподавания в аристократическом Училище правоведения.

Из самых ранних впечатлений сохранился в памяти арест отца. Было мне тогда года три-четыре. Спал я в одной комнате с братом, который был моложе меня на один год.

Нас неожиданно разбудили среди ночи; в комнату вошел отец. Он поцеловал нас и вышел. Мать была взволнована, а мы, конечно, не имели ни малейшего представления, что случилось.

Об этом аресте упоминает Витте. Воспоминания его были изданы впервые отцом в Берлине и теперь переизданы в трех томах в Советском Союзе.

Касаясь конституционно-демократической партии, Витте пишет:

«После вступления мною в должность председателя Совета министров, т. е. в течение ближайших дней после 17 октября, был у меня И. В. Гессен. Это был один из деятелей этой партии, особенно в смысле публицистическом...

Ранее я его знал, так как он служил в министерстве юстиции при Муравьеве, а затем он был замешан в политическое дело и при министре внутренних дел князе Святополк-Мирском вместе с Милюковым угодил в тюрьму. Тогда жена его, которую я не знал, обратилась ко мне, прося выручить ее мужа, и вследствие моего вмешательства он был освобожден. Так вот этот Гессен явился ко мне, чтобы узнать, как я буду относиться к партии кадетов». ¹⁾

В другом месте своих «Воспоминаний» Витте дает такую характеристику моего отца:

«Он на меня произвел впечатление умного и знающего человека, говорил о наших, всем культурным людям известных беспорядках и в особенности о том, как Муравьев совершенно обезобразил судебные учреждения, но никакой пользы от этих разговоров я не извлек». ²⁾

Учились мы в передовой школе Петербурга — Выборгском коммерческом училище. Называлось оно так, потому что помещалось на Выборгской стороне и было примечательно совместным обучением. Таких училищ было в Петербурге всего два: наше и школа Шидловского.

Среди учеников нашего училища были дети выдающихся политических деятелей: дочь Милюкова, сыновья Струве, дети лидера эсеров Виктора Чернова. Дочь его, Вера, была в одном классе со мной. Другой ученицей нашего класса была дочь Троцкого — Нина Бронштейн. Внешне она очень напоминала отца. Училась она плохо и после Октябрьской революции ушла из школы.

Я сидел на одной скамье с сыном П. Б. Струве Львом, который умер молодым в эмиграции.

После революции посещение уроков Закона Божия стало обязательным. Но этим новшеством воспользовался только один ученик: другой сын Струве, Константин, постригшийся позже, в эмиграции, в монахи.

По воскресеньям у нас, на Малой Конюшенной, были «журфиксы». На этих приемах бывали выдающиеся люди — писатели, артисты, художники, политические деятели.

Особенно мне запомнился Александр Николаевич Бенуа, постоянно бывавший у нас в доме со своей очаровательной женой Анной Карловной. В гостиниой, кстати сказать, висели его прелестные акварели с видами Петербурга.

Частым гостем был также молодой композитор Сергей Прокофьев, звезда которого только-только восходила. Он охотно садился за рояль и исполнял свое новое произведение. Критики он никакой

¹⁾ С. Ю. Витте — Воспоминания. М. 1960 г., т. III, стр. 221.

²⁾ С. Ю. Витте — Воспоминания. М. 1960 г., т. II, стр. 373.

не терпел и часто вступал в споры с В. Г. Каратыгиным, видным рецензентом «Речи».

В последний раз видели мы Прокофьева в эмиграции, в Берлине. Года теперь не помню. Думаю, что это было незадолго до возвращения композитора в Советский Союз. В Берлине он давал концерт и остановился у нас.

С выступлением этим произошел небольшой инцидент. Прокофьев не доверял своему импрессарию и потребовал уплаты гонорара до концерта.

Требование это не было выполнено и Сергей Сергеевич отказался ехать туда, где он должен был выступать. После бесконечных переговоров по телефону, — импрессарию заклинал Прокофьева и обещал уплатить гонорар до начала концерта, — композитор согласился.

Поехали мы в такси. Подъехали — у входа стоит импрессарию со своим секретарем. Прокофьев отказывается выходить из такси, пока не получит обещанного гонорара. А концерт уже должен начаться и в публике, среди которой было много представителей газет, волнение.

Импрессарию и секретарь бегают вокруг такси, умоляют Прокофьева сменить гнев на милость и клянутся всем святым, что композитор получит свой гонорар. Сергей Сергеевич повторяет одно: сначала деньги. . .

В конце концов пришлось вмешаться отцу и убедить Прокофьева выступить, во избежание недовольства печати. Концерт начался с получасовым опозданием, когда часть возмущенных критиков уже покинула зал.

На следующий день печать очень неодобрительно отозвалась о поведении знаменитого композитора. Но Прокофьев был прав: денег от импрессарию он так и не получил.

Запомнился мне удивительный почерк Прокофьева. Он пользовался только десятиричным *i*, и у него был очень острый и красивый почерк. После революции, когда *i* было упразднено, композитор сохранил свое правописание и упорно его придерживался.

На одном из приемов во время первой мировой войны, вероятно в 1915 или 1916 году, были у нас на Малой Конюшенной Сергей Есенин и Николай Клюев. Пришли они в крестьянских поддевках, подстриженные в скобку. Народу у нас в тот вечер было много и поэты читали свои стихи. Вспоминаю, что стихи Клюева понравились мне тогда больше стихов Есенина.

Среди постоянных посетителей был и Корней Чуковский, сотрудничавший в газете отца «Речь». Помню, когда разразилась пер-

вая мировая война, в Петербурге, переименованном тогда в Петроград, был устроен какой-то уличный сбор. Брат и я получили кружку и отправились собирать пожертвования. К концу дня мы попали в редакцию «Речи», на улице Жуковского. В кабинете отца был Чуковский. В руках он держал английский журнал, который назывался „Rossia“.

Чуковский показал нам журнал и обещал опустить в нашу кружку рубль, если мы правильно прочтем название журнала. Как мы ни изоцплялись, сделать этого нам не удалось и рубля мы от Чуковского так и не получили. Над нами сжалился отец. Он сказал, что опустит в кружку рубль, если мы откажемся от дальнейшего сбора и вернемся домой.

В квартире на Малой Конюшенной у нас было два телефона. Один стоял в кабинете отца и не значился в телефонной книге, другой — в маленькой комнате около столовой. Номер этого телефона я запомнил: 36-20. Другой испарился из памяти. Помню только, что номер был пятизначным.

Телефон тесно связан в моей памяти с процессом Бейлиса, который происходил в Киеве. Приговор по этому громкому делу был вынесен днем и в газеты попал только на следующий день.

Накануне вечером у нас беспрерывно звонил телефон. Незнакомые люди спрашивались о приговоре. Отец поручил брату и мне подходить к телефону и ограничиваться одним словом — «оправдан».

В редакции «Речи» отец проводил часть дня и ночи. Он уходил из дома в 3 часа, вечером возвращался домой и в 12 часов ночи снова ехал в редакцию, где оставался до 2 часов утра.

По ночам отец ездил в редакцию на извозчике. Это было хорошо известно департаменту полиции. И каждую ночь за извозчиком отца следовал агент департамента в пролетке. Он следил, едет ли отец действительно на улицу Жуковского, где помещалась редакция, или на какое-нибудь тайное собрание. Отец привык к этой слежке и не обращал на нее никакого внимания.

Злую шутку над сыщиками проделал один из главных репортеров «Речи» Лев Моисеевич Клячко, писавший под псевдонимом «Львов». Как-то он заметил за собою слежку, и принялся объезжать на извозчике петербургские рестораны. В каждом он задерживался на полчаса, выпивал рюмку водки и закусывал пирожком. Сыщик от него не отставал: он ждал Клячко у каждого ресторана и отчаянно мерз в своей пролетке. Было это ранней весной и в Петербурге стояла холодная погода.

Объезд ресторанов начался часов в 8 вечера и окончился в 2 часа ночи. Как рассказывали, из последнего ресторана Клячко выз-

вал по телефону какого-то черносотенного генерала, велел поднять его с постели и сообщил ему, что на кладбище генералу приготовили место. После этого репортер вернулся домой.

Кстати, этот Клячко претендовал быть преемником Бловица, — знаменитого репортера, умудрившегося во время Берлинского конгресса 1878 года спрятаться под столом, за которым происходило обсуждение мирного договора, и опубликовать в лондонском «Таймсе» содержание исторического документа до его подписания.

Клячко-Львов был знаменит своими связями в «сферах». Он проникал во все министерства, был знаком со всеми министрами и доставлял газете сенсационные сообщения. Благодаря этим связям Львов, совершенно бескорыстно, успешно облегчал положение своих единоверцев. Его день начинался с приема посетителей, почти исключительно евреев, и главным образом именно по вопросам правожительства. Просителей, по мере того, как слава росла, набиралось все больше, ежедневно до 20-30 человек.

В эмиграции отец написал статью памяти Клячко.

«Он бравировал, — писал отец, — сверхестественной проницательностью и развязностью и смутить его было невозможно ничем. Кокетливо он подчеркивал свое политическое невежество: если какое-нибудь сообщение вызывало сомнение в достоверности, он ссылался на свою неспособность выдумать: „я ровно ничего не понимаю в том, что имярек мне продиктовал“.

Звание у Клячко было довольно неожиданное: помощник провизора — он и вправду никакого отношения к аптекарской профессии фактически не имел. Так как среди репортеров было еще три таких же фармацевта, то Набоков, однажды, за редакционным обедом спросил: „Никак не пойму, почему у нас столько помощников провизора?“ „А понимаете ли вы, — огрызнулся Клячко, что такое правожительство? Не понимаете? Ну, в том-то и дело.“ А дело было в том, что это звание давало евреям правожительство вне черты оседлости, — правда лишь под условием занятия своей профессией, но на фактические отступления администрация частенько смотрела (умела смотреть) сквозь пальцы».

Из России мы уехали в феврале 1919 года. Несколько месяцев перед отъездом жили не дома. Отцу каждый день грозил арест и мы переехали в Царское село.

Затем одному из друзей отца удалось за деньги получить от Чека разрешение на выезд и мы совершенно официально переехали финляндскую границу. Ехали через Белоостров. Брату и мне уезжать очень не хотелось. Мы любили наше училище и было тяжело расставаться с товарищами, как ни убеждал нас отец, что уезжаем только на короткое время.

Надеждам этим не суждено было сбыться.

В эмиграции наши «журфиксы» возобновились в Берлине, где отец редактировал газету «Руль». В начале двадцатых годов Берлин был центром российской эмиграции и кто только не побывал на приемах в нашем доме.

Неизгладимое впечатление оставила встреча с московскими «художниками»: Станиславским, Качаловым, Германовой, Массалитиновым и другими. Очень частым гостем была у нас Ольга Гзовская, постоянно приходившая с Влад. Гайдаровым, подвизавшимся в кино. Гайдаров был необыкновенно красив, но большого артистического таланта не имел.

Гзовская с Гайдаровым часто изображали у нас митинг коммунистического интернационала. Он был председателем на митинге, а она — исключительно даровитая артистка — представляла по очереди ораторов всех национальностей. Выступал на митинге и негр, произносивший речь на каком-то непонятном языке и переговаривавшийся с президиумом, т. е. с Гайдаровым, по-русски с явным еврейским акцентом. Затем выяснялось, что «негр» был вымазанным черной ваксой евреем.

Вспоминаю также необыкновенно талантливого Южного, создателя и директора театра «Синяя птица», рассказывавшего очень забавные истории.

Была у нас в доме и прославленная Анна Павлова, приезжавшая на гастроли в Берлин, а Сергей Дягилев привел своего самого способного ученика, Лифаря, начинавшего делать головокружительную карьеру.

Кроме артистов отца посещали, конечно, все приезжавшие в Берлин писатели. Помню Бунина, возвращавшегося из Стокгольма после получения Нобелевской премии. Он на день остановился в Берлине, обедал у нас и страшно возмущался немецкими таможенными чиновниками, учинившими ему на границе очень строгий осмотр.

Перед отъездом Алексея Толстого из Берлина в Париж, в нашей квартире состоялся в его пользу и находившегося тогда тоже в Берлине Бориса Пильняка большой вечер, на котором писатели читали свои произведения.

Приходили к отцу и видные политические деятели. У нас всегда появлялся А. И. Гучков, когда наезжал из Парижа в Берлин. Однажды, когда он ехал к нам на обед, к нему, в вагоне подземной железной дороги, подошел какой-то эмигрант-офицер и ударил его по лицу: он «мстил» за царицу Александру Федоровну. Черносотенцы обвиняли Гучкова, занимавшего пост военного министра в первом составе Временного правительства, в авторстве «Приказа № 1», к которому он, кстати сказать, не имел никакого отношения.

Обладавший крепкими нервами Гучков приехал прямо к нам,

спокойно пообедал и только после рассказал об этом происшествии.

В Берлине посетил нас также Бурцев, считавший себя после памятного разоблачения провокатора Азефа прямым наследником Шерлока Холмса. Из Парижа он приехал специально для того, чтобы расследовать дело о таинственном похищении генерала Кутепова. Явился Бурцев к нам прямо с вокзала, потому что его не пустили в гостиницу: кроме зубной щетки у него не было никакого багажа.

Вспоминается юбилейный банкет хора донских казаков Сергея Жарова. Устроен он был по случаю тысячного выступления хора и состоялся в большом зале где-то около Потсдамер-плац.

После оглашения бесчисленных приветствий, выступил Сергей Жаров. Он рассказал о первых выступлениях хора в Германии, которые состоялись вскоре после мировой войны. Немцы восхищались хором, но чувствовали непреодолимый страх перед казаками. В каждом хористе они видели Козьму Крючкова, прославленного казака, изображавшегося на лубках с пикой, на которой болталось несколько немецких трупов.

Страх этот, рассказал Жаров, был причиной ряда неожиданных инцидентов. Так, совершая турне по Германии, Донской хор приехал в маленький городок, где должен был состояться концерт. Каково же было удивление Жарова, когда на вокзале он заметил представителей всех городских властей во главе с бюргермейстером и полицеймейстером. После знакомства, городской голова отозвал Жарова в сторону и сделал ему предупреждение:

— Я распорядился закрыть по случаю вашего приезда все магазины в городе. Если ваши казаки попробуют грабить, им не поздоровится.

Жаров поспешил заверить бюргермейстера, что хористы настроены очень мирно и никого грабить или обижать не собираются.

В феврале 1922 года впервые приехал из Парижа в Берлин П. Н. Милюков, собиравшийся выступить с докладом по случаю пятой годовщины февральской революции. Берлин в тот момент был одним из центров русской эмиграции и приезд Милюкова явился большим событием.

Отношения Милюкова с отцом в эмиграции заметно испортились. Никакой связи они не поддерживали. В Париже выходили «Последние новости» под редакцией Милюкова, а в Берлине — «Руль», главным редактором которого был отец, при близком участии в газете В. Д. Набокова и проф. А. И. Каминки. «Последние новости» занимали позицию левее «Руля».

Разошелся с Милюковым и Набоков.

Примирение состоялось в Берлине. На нем настояли друзья отца, в квартире которых остановился Милюков. Первым восстановил свои личные отношения с Милюковым отец, уговоривший последовать своему примеру и В. Д. Набокова.

В день выступления Милюкова в Берлин приехал из Риги редактор газеты «Сегодня» М. И. Ганфман и остановился у нас.

Выступление Милюкова должно было состояться в одном из лучших залов Берлина, в Филармонии, вмещавшем несколько сот человек. Все билеты на доклад были за несколько дней проданы.

В целях особой предосторожности, из опасения выступлений крайних реакционных элементов, была предупреждена полиция и в первых рядах сидело несколько детективов в штатском.

По бокам трибуны были расположены места для почетных гостей. На трибуну вело несколько ступенек. Перед ней был узкий проход, который вел в артистическую. За проходом были места для публики.

Свой почетный билет отец уступил М. И. Ганфману и сел вместе с матерью во втором ряду. У меня было место в седьмом или восьмом ряду.

Как полагается всякому русскому начинанию в эмиграции, доклад начался с большим опозданием.

В зале не было ни одного незанятого стула. Вдоль стен стояли люди, не получившие мест.

Докладчика выслушали с большим вниманием. Окончив говорить, Милюков предупредил аудиторию, что после 15-минутного перерыва будет отвечать на вопросы, предложил подавать их в письменном виде и стал сходить с трибуны.

И в тот же момент раздался выстрел. На трибуне стоял человек, размахивавший револьвером и кричавший какие-то бессвязные слова: «Мсть за царицу Александру Федоровну!» «Мсть за царскую семью!..» Выкрикивая это, он продолжал стрелять куда попало.

В страхе за отца, я вскочил со своего места и хотел побежать вперед, посмотреть, что с родителями. Но не тут-то было: стулья были опрокинуты. Части публики удалось выскочить из зала, другие легли на пол. Все это были, очевидно, люди, пережившие гражданскую войну, они знали, что самое безопасное — лечь плашмя на пол.

Я кое-как пробрался вперед и увидел, что стреляют не один, а два человека. Один был на трибуне, другой стоял в проходе. Издали я увидел высокую фигуру Набокова, боровшегося с одним из убийц. Видел, как он свалил преступника на землю и как другой стрелял ему в спину почти в упор.

Почему их сразу не схватила полиция, сидевшая в первых рядах, непонятно. Возможно, что немцы просто растерялись.

Они спохватились, когда Набоков уже был мертв. Убийц задержали, надели на них наручники. Я стоял рядом с одним из этих господ, когда к ним подошел кто-то из публики и сказал, что они убили не Милокова, а Набокова. В ответ он услышал:

— Нам это совершенно безразлично.

Затем я вошел в артистическую. Там на полу лежало тело В. Д. Набокова. Посередине комнаты стоял невредимый Милуков, рядом с ним несколько легко раненых из публики. Меня особенно поразило выражение лица Милукова: он был спокоен и на лице — улыбка.

Я подумал, что человек это особенный, у него действительно нет нервов или они какие-то железные. И мне припомнился рассказ отца, постоянно поражавшегося хладнокровием П. Н. Милукова.

У Милукова было трое детей — два сына и дочь. Младшего сына он любил больше остальных и этот сын пошел добровольцем в первую мировую войну. Он окончил военное училище и был отправлен на фронт в офицерском чине.

Каждую ночь газеты получали от военного командования списки павших за день в боях офицеров. Отец имел обыкновение просматривать эти списки и как-то, к ужасу своему, заметил среди убитых имя сына Милукова. Самого Милукова в тот момент в редакции не было, но его ждали с минуты на минуту.

Не зная, как поступить, отец решил посоветоваться со своим коллегой, редактором «Современного слова» М. И. Ганфманом. Газета эта была изданием «Речи» для провинции и печаталась в той же типографии.

Привести в исполнение свое намерение отцу не удалось. Не успел в кабинет войти Ганфман, как в редакции появился Милуков. Он подошел к конторке, на которой лежал список убитых офицеров, бегло его просмотрел и увидел свою фамилию.

Эту страшную новость, рассказывал отец, Милуков принял совершенно спокойно. На следующий день он, как ни в чем не бывало, выступал в Государственной Думе.

Убийцы Набокова оказались бывшими русскими офицерами: Шабельский-Борк и Таборицкий. В Берлине они были шоферами.

Мне довелось быть на их процессе в Берлине. Держали они себя на суде вызывающе и были приговорены к 20 годам каторги. Но просидели они недолго: через несколько лет были помилованы президентом Гинденбургом и играли затем какую-то роль при Гитлере. Изображали «вождей» русской эмиграции.

Еще одна маленькая, но характерная подробность. На следующий день после убийства, камеры преступников были завалены цветами. У Шабельского и Таборицкого было, очевидно, много поклонников и поклонниц в рядах берлинской эмиграции.

На следующий день после убийства Набокова в городе распространились слухи о готовящемся покушении на отца. Поводом к этим слухам явилось такое происшествие: одна из знакомых нашей семьи, возвращаясь после покупок домой, села отдохнуть на скамейке. Рядом с ней уселись двое молодых на вид мужчин. Оказались они русскими. Не подозревая, что рядом с ними сидит соотечественница, они принялись прославлять поступок Шабельского и Таборицкого и один сказал: «А теперь очередь за Гессеном. . .»

Знакомая помчалась домой и подняла тревогу. Вопреки желанию отца, отнесшегося к этим слухам с большим хладнокровием, подслушанный разговор был доведен до сведения полиции.

Напуганный убийством В. Д. Набокова, берлинский полицейспрезидиум решил принять все меры предосторожности. За домом, где мы жили, и за редакцией «Руля», помещавшегося в здании крупнейшего издательства Ульшштейн, была установлена слежка. Кроме того, отцу было выдано разрешение на право ношения оружия. Полиция настойчиво рекомендовала отцу немедленно купить револьвер.

Отец не последовал этому совету. Разрешение так и осталось лежать у него в кармане. Когда-то отец не только носил револьвер постоянно при себе, но держал палец на курке. Было это в Петербурге, когда участились нападения черносотенцев. Но и тогда он говорил, что никогда не решится воспользоваться револьвером, по причине своей крайней близорукости. Близорукость у него действительно была очень сильная и, во избежание чрезмерного напряжения глаз, отцу было запрещено носить такой силы очки, которые полностью отвечали бы этому недостатку зрения.

Слежка за нашим домом и редакцией «Руля» продолжалась дней десять. У нашего дома ничего подозрительного обнаружено не было, а у входа в редакцию полиция обратила внимание на каких-то подозрительных субъектов. К удивлению полиции, оказались они вовсе не черной сотней, а . . . коммунистами. Позднее выяснилось, что коммунисты не собирались устраивать покушения на отца, а вели слежку за посетителями «Руля». В газете тогда появлялись сенсационные сведения о берлинском торгпредстве и коммунисты решили, что кто-то из работников торгпредства поставляет сведения «белогвардейцам». Этого «предателя» они намеревались поймать и устроили слежку за редакцией «Руля».

Попытка покушения на отца была организована пять лет спу-

стя. В 1927 году в зарубежной православной церкви, в связи с кончиной всероссийского патриарха Тихона, произошел раскол. Первым поднял бунт против Москвы известный митрополит Анастасий, возглавивший впоследствии заграничный синод. Назначенный преемником Антонию митрополит Евлогий тоже отпал от Москвы и перешел в юрисдикцию вселенского патриарха.

Отец писал в своих «Воспоминаниях»:

«Само собою разумеется, что газета не могла закрывать глаза на церковную смуту, сильно волновавшую беженскую колонию. После напечатания нескольких статей — может быть излишне страстных — в редакцию явилось два незнакомца, и когда я вышел к ним в приемную, один обратился с каким-то невнятным вопросом. Я переспросил, а он крикнул: — Э! Да что тут разговаривать! — одной рукой сильно толкнул меня, другой — ударил палкой. Я упал, а секретарша, стоявшая позади, закатила ему пощечину. Он было бросился на нее, но компаньон удержал: — Даму бить нельзя!

Оба уселись, требуя вызова полиции, которая через несколько минут и явилась и составила протокол. Вызванный на другой день в полицейский-президиум, я привел в совершенное недоумение чиновника, который никак не мог понять, почему я уклоняюсь от принесения жалобы на обидчиков, которым только и хотелось парадировать на суде, чтобы попасть в большие забияки».

Инцидент этот имел место за несколько недель до празднования в Берлине десятой годовщины Февральской революции. На вечере этом собирався выступить отец.

После нападения в редакции, друзья всячески пытались отговорить отца от этого намерения, но попытки их не увенчались успехом. Отец категорически отказался отменить свое выступление из-за хулиганской выходки черносотенцев: он считал это для себя совершенно неприемлемым.

Жили мы тогда против городской оперы. Окна нашей квартиры выходили на боковой фасад театра. Посередине улицы были посажены деревья и стояли скамейки.

В день доклада, вечером, я вызвал по телефону такси, которое должно было доставить нас туда, где происходило торжество.

Не знаю, волновался ли в тот вечер отец, но у меня душа не была спокойна. Поэтому, когда автомобиль подъехал к дому, я условился с братом, что он первым сойдет вниз и посмотрит, не поджидают ли отца хулиганы у дверей нашего дома.

Опасения мои оказались напрасными. Мы сошли вниз и сели в такси. Ехать нам предстояло минут десять. Сперва свернуть на Бисмаркштрассе, затем ехать по Таунцинштрассе и т. д. к дому, который находился между Виттенберг и Ноллендорфплац.

Тут произошло неожиданное: когда наше такси, проехав всего несколько метров, свернуло на Бисмаркштрассе, мы заметили на

углу освещенный автомобиль. В нем сидело четверо молодых с дубинами в руках. Автомобиль погнался за нами. Он то обгонял нас, то отставал. Когда хулиганы проезжали мимо или намеренно замедляли ход, чтобы пропустить нас вперед, они грозили из окна палками.

Что было делать? Сказать шоферу, что за нами погоня, невозможно. Он решил бы, что имеет дело с сумасшедшими. Для иностранца, незнакомого с нравами эмиграции, это было слишком неправдоподобно.

Я знал, что в зале, где отец собирался выступить, находилась полиция. Следовательно, нужно было во что бы то ни стало добраться до зала.

Уличное движение в Берлине уже тогда регулировалось красными и зелеными огнями. На перекрестке каких-то улиц наш автомобиль остановился. Преследовавшая машина была где-то позади.

Увидев на мостовой полицейского, я открыл дверцу и вылез из автомобиля. Как раз в этот момент машина с хулиганами подъехала к перекрестку и тоже остановилась.

Я указал на нее полицейскому и сказал, что машина эта нас преследует. Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, подошел к машине с хулиганами, что-то им сказал, затем вернулся и спросил меня, куда мы едем.

Я ему назвал адрес. Полицейский меня «успокоил»:

— Если что-нибудь с вами случится, вы увидите еще в пути другие полицейские посты.

— Заметили ли вы номер автомобиля? — спросил я у полицейского.

Этого сделать он не догадался. Очевидно, мой собеседник был еще неопытным служакой или же просто с недоверием отнесся к моим утверждениям, что за нами погоня.

Пока я разговаривал с полицейским, хулиганы пустили свой автомобиль в ход и скрылись из вида.

Мы благополучно добрались до зала, но не встретили в пути обещанных полицейских подкреплений.

В зале действительно находилась предупрежденная друзьями отца полиция. На этот раз берлинский полицейпрезидиум был представлен начальниками «русского отдела». Этот отдел, как оказалось, был разделен на две части: одна часть ведала коммунистами, другая черносотенцами. Оба детектива, возглавлявшие эти подотделы, прекрасно говорили по-русски.

«Заведующий» черносотенцами был здоровенным мужчиной очень спортивного вида; его коллега, которому была поручена за-

щита от коммунистов, оказался маленьким тщедушным человеком.

Услышав рассказ об очередной выходке черносотенцев, хорошо знавший их чиновник полициипрезидиума выразил уверенность, что они не преминут появиться на доклад, и сделают все возможное, чтобы его сорвать.

Предположения полицейского оправдались. Минут через двадцать после начала доклада, двери зала шумно открылись и появилось несколько бравых молодых людей. Уселись они вместе, в одном из последних рядов, и за несколько минут до перерыва раздалось уже всем оскомину набившие выкрики с проклятиями по адресу «революционеров» и с прославлением царицы Александры Федоровны.

Полиция заставила их замолчать, в перерыве вывела из зала и подвергла допросу. Не знаю, растерялись ли эти молодцы, но тут же сознались, что участвовали в погоне за отцом. В свое оправдание добавили, что преследовали весьма «мирную» цель: хотели напугать отца и заставить его отказаться от выступления.

Полиция предложила им воздержаться в будущем от подобного рода «мирных» выходов и предупредила, что, в случае повторения, они будут немедленно высланы из Германии.

Вторая часть доклада прошла спокойно. По окончании собрания полиция наотрез отказалась отпустить отца домой без охраны. Немцы были убеждены, что черносотенцы будут поджидать отца у дома и попытаются его избить. Поэтому домой мы возвращались в двух машинах: в передней ехали четыре полицейских в штатском, а в нашей машине ехал «заведующий» монархистами.

Опасения полиции оказались правильными: у нашего подъезда стоял здоровенный молодчик с поднятым воротником пальто. Полицейский комиссар тотчас же опознал в нем своего «старого знакомого». В сторонке стояло несколько его коллег.

Неожиданное появление полицейских явно нарушило их планы. Тем не менее, стоявший у дома молодчик не тронулся с места. Полицейский потребовал у него документы. Они оказались в полном порядке. Для ареста не было причин и его отпустили на все четыре стороны.

Много месяцев спустя стал известен задуманный черносотенцами план, как «избавиться» от отца. Они решили «случайно» переехать его на автомобиле при переходе улицы. Такси в их распоряжении было много, потому что среди шоферов было не мало русских.

«ТИХИЕ ЗОРИ». Борис Зайцев. Изд. Товарищества Зарубежных Писателей. Мюнхен, 1961.

В связи с исполнившимся в прошлом году восьмидесятилетием и шестидесятилетием литературной деятельности Бориса Константиновича Зайцева вышла его книга «Тихие зори», в ней — ряд рассказов, написанных в разное время. За свою литературную деятельность Б. К. написал, если не ошибаюсь, 25 книг. Эта небольшая книга не может, конечно, дать полного представления о его творчестве, но подбор рассказов в ней не случаен и внимательно читая ее видишь, чем проникнуто все творчество писателя. Со спокойной мудростью глубоко верующего человека говорит он о том, как надо принимать жизнь со всеми ее радостями и горестями. «Бог дал нам страдания для неизвестных целей. Не нам их понимать. Мы можем лишь любить».

В рассказах, собранных в этой книге, Б. К. говорит о долгом пути, который прошел — от молодости на Арбате в Москве до Булони на Сене, под Парижем. И уже название книги — «Тихие зори», в наше время всяких житейских и политических бурь является знаменательным: в этих рассказах Б. К., как и во всем его творчестве, нет резких выкриков, нет злобы. Хотя — не о себе самом говорит он, а о том, что видел вокруг себя, что его привлекало, что часто заслоняло тяжелую действительность и позволяло проникать в «иной мир», в котором он черпал вдохновение и радость. «Сердце немеет и лежит распростертое, оно открыто любви, прошлое, настоящее и будущее в нем переплетаются, встанет нежная радость о минувшем».

Умудренный опытом жизни, Б. К. соединил в своей книге двенадцать рассказов — как двенадцать месяцев, поделив их на четыре времени года: полная жизнь — детство, юность, зрелость, старость. Но в книге нет автобиографического замысла. Б. К. пишет о событиях не своей жизни: он пишет вообще о жизни, к которой Б. К. умеет быть благожелательным, снисходительным, во всем отыскивая доступную взору долю неземного света. Какой мудростью дышит рассказ «Сердце Авраамия» в наши дни, когда в мире царит вражда, ненависть, когда у людей, как у Авраамия — «косматое сердце»! И как чудесно уходит от Авраамия это «тяжелое, косматое» сердце, что отнимало у него радость жизни:

силой молитвы дается ему сердце, полное любви, «Богородицей Умиление Сердец», перед иконой которой он молился.

В жутком рассказе «Авдотья-смерть» дан образ жестокой бабы, избивающей свою старую беспомощную мать и проклинающей своего малолетнего сына. Но во всем ее облике и в ее жизни — то тяжелое, что заставляет Лизу, дочь бывшей помещицы, молиться за нее и видеть потом, как —

«фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег, и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка (которых Авдотья черствостью своей загубила, Л. Р.) вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут».

Обе жертвы уводят ее с собой в мир иной. В образе молящейся в зимнюю стужу Лизы, муж которой погиб на фронте, автор как бы призывает понять и эту жестокую, измученную тяжестью жизни «Авдотью-смерть».

Яркой чертой в творчестве Б. К. проходит его любовь к Италии, к ее радостному восприятию жизни. Италия в книге — в образе художника Рафаэля: кажется, что об Италии говорит он, рисуя этот образ Рафаэля, — «И может быть сама жизнь его — каждый ее миг — есть хвала, вышний фимиам Творцу, наделившему его великими дарами».

Поток жизни бурлит у Б. К. на любимой его улице Москвы — Арбате. Он называет ее «улицей Святого Николая»: три церкви на ней посвящены этому святому — Николы Плотника, Николы на Песках и Николы Явленного. О том, что пережила эта улица в наш век, говорит он:

«Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат... Ты и шумел, и веселился, богател и безобразничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные... холоду нагнали по домам, тифом, голодом, казнями пронесли по жителям твоим».

Но и тут ищет Б. К. умиротворения:

«Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанные, столь поруганные... Слезы же прими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзающими и голодай с голодными. Но не гаси себя, и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства».

В то, что все бури, проходящие по Руси, как по Арбату, пройдут, верит Зайцев:

«И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных... благословит путь твой и в метель жизненную проведет».

И в эмиграции, среди тяжелых переживаний и чужих лиц, не покидает Б. К. егоприятие жизни. Не могут мелочи жизни, трудности ее угасить его звезду:

«Я видел ее в России, в счастье и беде, сквозь ветви притыкинских лип и из колодца двора Лубянки. Видел ее в Провансе, близ пустынного монасты-

ря Торонэ, где в лесу сохранилась тропинка, по которой св. Бернард ездил на осле в аббатство. В Париже я ее потерял. Но вот в глухой утренний час она явилась мне над Булонью».

На некрасивой улице Булони видит Б. К. свою звезду. Ему понятен ее знак, его не могли исказить ни война, ни ужасы революции и тревоги беженства:

«В небе тоже идет свое действо... они так же плывут, по тем же неизбывным законам, видя малую нашу жизнь, так же непостижимо прекрасные».

Не случайно поставлен в конце книги рассказ «Разговор с Зинаидой», — Зинаида с ее неуемной удалью и добротой, с ее отчаянной храбростью и бурной жизнью, в аду войны, революции и междуусобицы. Что-то пророческое чудится мне в ее облике. Точно Зинаида, как сама судьба России, — и должна эта судьба закончиться, как кончается книга Бориса Константиновича, словами Апостола: «Поглощена смерть победою».

Лидия Рыднина

«БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ. АД». Перевод Бориса Зайцева. Изд. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1961.

Старая испытанная любовь к Италии вылилась у Б. К. Зайцева в переводе первой части «Божественной комедии». Понадобилось не мало лет для чеканки каждой строчки, каждого слова. И многолетняя любовь и многолетний труд себя оправдали. Нужно, действительно, любить, знать и чувствовать Италию, чтобы так показать ее, приблизить и заставить других полюбить ее.

Достаточно точный перевод всегда труден, если не недоступен. Тем более, если это касается поэзии, и в особенности если это — Данте!

Последний по времени перевод «Божественной комедии» на русский язык М. Лозинского, как и оригинал, — рифмованный, но он очень труден для чтения. Прекрасный перевод в прозе Деламина на французский близок к тексту, но он грешит тем, что в нем теряется музыка терцин Данте, из-за отсутствия ритма. Б. Зайцев избрал другой путь: его перевод — ритмическая проза. Слова самые простые русские, но порядок, звучание и дыхание этих слов ближе всего к оригиналу. В качестве примера можно привести перевод слова «bolgia» словом «лог», а не «ров», как в других переводах (Bolgia буквально — мешок, иносказательно — ров, канава, где заключены грешники в «Аду». См. Примечания, песнь 18).

В предисловии к переводу автор говорит, что ему хотелось передать «первозданную простоту и строгость дантовской речи». Это предисловие само по себе замечательно: как каждый большой художник, Б. Зайцев не ограничивается в нем объяснением своего замысла и своего труда, но раскрывает само явление «Божественной комедии». Он пишет, что это творение —

«стоящее над человечеством уже шесть веков, полно необычайного очарования, волшебной силы, влекущей новых и новых читателей... исследователей, переводчиков, полемистов... О комедии читали с церковных кафедр средневековой Италии и Италии Ренессанса; десятки людей отдавали жизнь на ее комментирование, сменялись целые направления в ее понимании, сотни изданий выходили в свет, сотни переводов на всевозможные языки... для многих, особенно в Италии, эта поэма — нечто вроде Евангелия...»

Б. Зайцев изучил биографию великого изгнанника и прочел не мало работ известных дантоведов, — это дало ему возможность, в сжатом очерке, привести яркую характеристику создателя поэмы, изложить факты и соображения о ее написании. В конце книги даны интересные **Примечания с комментариями к каждой главе «Ада».**

Все, что касается Данте и его поэмы, пишет Б. Зайцев, полно неисчерпаемого и нестаряющегося интереса. Но он прибавляет:

«Мне всегда казалось, что главная сила Комедии, главное ее очарование — само Слово. Говорят, что образы Ада иссечены ярко, до галлюцинации. Потому, де, он и лучшая часть поэмы. На мой взгляд, во-первых, Чистилище не уступает, а превосходит Ад обаянием своим, святостью и нежной легкостью очертаний... И, во-вторых, по поводу Ада: при всей изобразительности деталей, в нем также слово, его своеобычность, сама манера произнесения этих удивительных стихов, перевешивает все. Не будем забывать, что в Аду сплошь и рядом не изображаются, а просто называются вещи, люди, идеи. Вспоминая Ад в целом, мы прежде всего вспоминаем не фигуры, людей или положения (как в великом романе, напр., драме, трагедии), а самый голос написавшего, замогильно величественный тон произведения и его внутренний колорит... Слово и тон Комедии — единственны в мировой литературе. По силе и первозданности выражения можно их равнять лишь с Библией».

О. Можайская

«НА ПАРНАСЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА». Сергей Маковский. Изд. ЦОПЭ, Мюнхен, 1962.

Книга Сергея Маковского — это книга личных воспоминаний и личных оценок. Совершенно поэтому естественно, что она вызовет, и уже вызвала, различные отклики. Иначе и быть не может: один относится к Владимиру Соловьеву так, а другой иначе. Один переоценивает Блока и недооценивает Анненского, а другой переоценивает Анненского и недооценивает Блока. Так всегда было, так и будет.

Не приходится, поэтому, полемизировать с автором воспоминаний, находя его суждения субъективными и не соответствующими своим. И что это, вообще, значит — «объективное суждение» или «объективное мнение», когда дело касается человека, т. е. высказывающего суждение субъекта, а не электронной, для такого случая, слава Богу, еще не построенной машины? Кроме того, если бы все точки зрения совпадали и все суждения были бы одинаковыми, это, наверное, многое бы упростило, но и превратило бы жизнь в смертельную скуку.

Книга С. Маковского, может быть, не так даже ценна высказывания-

ми — всегда смелыми и оригинальными, — автора о творчестве тех, с кем сталкивала его судьба, во время, главным образом, редактирования им журнала «Аполлон» (в этой книге автор пишет о Владимире Соловьеве, Константине Случевском, Зинаиде Гиппиус, Иннокентии Анненском, Александре Блоке, Иване Коневском, Николае Гумилеве, Василии Комаровском, Сергее Волконском, Мстиславе Добужинском, Александре Трубникове, Дмитрие Стеллецком, Николае Евреинове и Владимире Поле, — в дополнение к тем, о ком он писал в книге «Портреты современников», вышедшей в 1955 году в издательстве имени Чехова). Во всяком случае, может быть и такой взгляд. Главная же ее ценность — в том, что она всем своим содержанием показывает, как велико значение расцвета русского искусства, русской философии, русской литературы, происходившего в начале этого века, — и как этот расцвет был сорван, скомкан, до основания выкорчеван «великим октябрём», после чего только те, кто смог укрыться за границу, еще продолжали — и продолжают — творить в традициях великой русской культуры.

С. Маковский пишет:

«Серебряный век, мятежный, богоищущий, бредивший красотой, и ныне не забыт. Голоса его выразителей до сих пор звучат, хотя и по-иному, чем звучали тогда, после почти полувековой вражды в России к тому, что увлекало нас в предреволюционные годы, пусть противоречиво и часто болезненно-упадочно. И это — лучшее указание, что традиция продолжается. Она и оплодотворит новую — не марксистскую, не бездуховно-рабскую Россию».

Невозможно даже бегло остановиться на каждой из глав книги в короткой рецензии, но нельзя, по-моему, и не отметить первой блестящей главы, посвященной «Религиозно-философским собраниям» 1901-1902 годов, оказавшихся центром, настоящим солнцем духовно пробуждавшейся, творческой России. В сущности, уже одна эта глава дает достаточную картину того, что бушевало и прорывалось, что жгло и «пытало дух» русской культурно-религиозной элиты того времени. Автор замечает в этой главе:

«Жутко представить себе сейчас, до чего беспощадно расправилась история с намечавшимся в России ренессансом духовной культуры: прошло каких-нибудь десять лет после манифеста 1905 года, и большевизм все традиционное вырвал с корнем, русская религиозная идея была загнана в подполье, откуда изредка только услышишь слабый ее голос».

В книге много ценных биографических данных, относящихся к описанным в ней лицам, — большинство этих данных появляется в печати впервые и будет встречено с интересом и благодарностью всеми, кто как здесь, так и в России интересуется русской культурой и ее изучает.

Полемику могут вызвать такие суждения автора, как, например, его оценка поэзии Блока. Но опять же — значение книги не в этом. Кроме того, автор разбирает поэзию Блока больше с внешней, формальной стороны, что никак не может умалять того, что можно назвать «явлением

Блока», — в частности, безусловного факта, что автор «Незнакомки» и «На поле Куликовом» продолжает оставаться самым известным и самым любимым поэтом серебряного века, и не только в России, но и за границей.

Отметим, наконец, что книга «На пороге серебряного века» уже вызвала большой интерес среди профессоров и студентов иностранных университетов, занимающихся изучением русской культуры.

К. Померанцев

THE PENGUIN BOOK OF RUSSIAN VERSE. Introduced and edited by D. Obolensky. With plain prose translations of each poem. Penguin Books. London, 1962. (**КНИГА РУССКОЙ ПОЭЗИИ.** С вступлением и под редакцией Д. Оболенского. Издательство «Пингвин». Лондон, 1962).

Взросший интерес к русским делам и рост числа иностранцев, знающих русский язык достаточно хорошо, чтобы свободно читать по-русски, находят в последние годы отражение в новом для издательского дела на Западе начинании: в издании книг на русском языке, предназначенных в основном для иностранного читателя. Конечно, и в прошлом — и в 19, и в 20 веках — за границей выходили книги на русском языке. Но они выпускались либо эмигрантскими издательствами, либо же иностранными издательствами, стремившимися удовлетворить спрос на русскую книгу среди эмигрантов или в самой России. Такую цель преследовало недавно, в частности, и Чеховское издательство.

Книги же, выпускаемые по-русски, но предназначенные в первую очередь для нерусского читателя, были в прошлом большой редкостью. Что касается, в частности, Англии, то, пожалуй, единственным примером в этой области следует считать антологию русской поэзии (Oxford Book of Russian Verse), составленную в 20-х годах английским писателем Морисом Бэрингом с помощью кн. Святополк-Мирского. Бэринг был влюблен в Россию и во все русское, свободно читал по-русски и перевел ряд стихотворений Пушкина, Лермонтова и А. Толстого на английский. Но его познания в области русской поэзии все же носили очень любительский характер и, несмотря на квалифицированную помощь со стороны Мирского, его антология большого объективного значения не имеет.

Совсем иное дело выпущенная сейчас в известном издательстве «Пингвин» антология русской поэзии под редакцией профессора оксфордского университета Д. Оболенского. Характерно для нынешнего этапа изучения русских дел в Англии прежде всего то, что книга издана именно «Пингвином» — издательством, занимающимся выпуском исключительно дешевых книг, предназначенных для массового читателя. Антология вышла в рамках поэтической библиотечки издательства, более

ранные выпуски которой преподносили английскому читателю французскую, немецкую, итальянскую и испанскую поэзию. Таким образом, появление антологии русской поэзии можно считать признаком того, что русский язык занял в сознании англичан место наравне с другими главными европейскими языками. Это — огромный культурно-исторический сдвиг.

Правда, в отличие, скажем от трехтомного издания сочинений Б. Пастернака, только что вышедшего в Соединенных Штатах*), лондонская антология содержит английский прозаический подстрочник отдельных стихотворений (типографско-техническое решение задачи совмещения текста с подстрочником решена в антологии очень остроумно). Таким образом, книга имеет в виду читателя, знающего русский язык, но все же нуждающегося в помощи со стороны. Антология Бэринга такого подстрочника не имела. В этом — еще одно преимущество, для такого читателя, сборника Оболенского по сравнению с антологией Бэринга.

Вообще же преимущества антологии Оболенского, во-первых, в том, что составлена она безупречно. В нее вошли отрывки или целые стихотворения всех главных периодов истории русской поэзии — начиная от «Слова о полку Игореве» и четырех духовных стихов московского периода и кончая поэзией наших дней, как советской так и зарубежной. Во-вторых, весь аппарат книги — превосходен. Оглавление содержит краткие характеристики отдельных поэтов и биографические справки о них. Введение представляет собой сжатую, но мастерски поданную историю русской поэзии. К нему примыкает заметка об особенностях русского стихосложения. Подбор авторов и стихотворений — превосходный.

Если книга попадет в руки советского читателя, то для него представят особый интерес зарубежные и запрещенные или полузапрещенные в Советском Союзе поэты — Гумилев, Ходасевич, Георгий Иванов, Вячеслав Иванов; отчасти — Цветаева, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Клюев, Бунин.

Английский перевод текстов не претендует на поэтические красоты. Но это — перевод одновременно точный и умный: качества, далеко не всегда уживающиеся друг с другом в переводной литературе.

В. Франк

«ИЗ РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ».

Н. С. Арсеньев. Изд. «Посев». Франкфурт/Майн, 1959.

«Хороша старина, да и Бог с ней!» Это восклицание Тургенева нельзя отнести ко всякой старине. И уж во всяком случае к той, которой по-

*) Об этом издании будет помещена статья в следующей книге «Мостов».

священа книга Н. С. Арсеньева. Книга достойна всяческого внимания со стороны непредубежденного и даже предубежденного читателя.

Старина Н. С. Арсеньева — это драгоценное наследие русского народа, старина — сокровище, старина — живой принцип. И она возродится, не в порядке мелочного реставраторства, а как живая потребность истосковавшихся по культуре русских людей.

«Огромное очарование русской культуры» Н. С. Арсеньев видит в органическом синтезе своего и чужого, в сочетании динамики и традиции. Живое церковное предание — семейное и народное и вместе сверхнародное, соединяется на вершинах культурной жизни с раскрытостью духовной — навстречу всем тем веяниям красоты, честным исканиям научной и философской, а также религиозной мысли, которые приходят с Запада.

В этом глубоко и страстно пережитом культурном опыте замечательно то, что не было в нем ни слепого преклонения перед собственным прошлым, ни слепого преклонения перед новинками западной мысли. Кроме русской культуры было, конечно, и русское бескультурье, но не о нем идет речь у Н. С. Арсеньева.

Рассеянными по России центрами дворянско-народной культуры были дворянские гнезда, — усадьбы, — то с великолепными дворцами, то, гораздо чаще, с простыми, непритязательными, но уютными домами, парками и библиотеками. Эти усадьбы и библиотеки для Н. С. Арсеньева вовсе не предмет академического исследования — это одна из сторон его биографии. Н. С. Арсеньев — не исследователь, он свидетель, взволнованный, субъективный и достоверный.

«Помню скромный деревянный усадебный дом в имении моей бабушки, Натальи Юрьевны Арсеньевой, рожденной Долгорукой, в сельце Красном Новосельского уезда. Помню этот беспритязательный уютный домик с террасой и обширный красненский парк. Но как хороша была его библиотека в высоких застекленных шкафах простого орехового дерева. Целый мир французской старой культуры 17-го и 18-го века раскрывался здесь в этих чудных старинных изданиях в кожаных с золотыми тиснениями переплетах, мир французских классиков — Мольера, Расина, Корнеля, особенно же религиозной культуры старой Франции: Боссюэт, Фенелон, Массильон, Бурдалу, Паскаль; мир французской мемуарной литературы, как 17 в., так и позднейших времен» (стр. 131).

«Энциклопедистов, Вольтера и Руссо, — прибавляет Н. С. Арсеньев, — не было, мои предки, собиравшие эту библиотеку, были убежденно религиозными людьми».

Что же, были они просто офранцузившимися барами? Н. С. Арсеньев сам и очень резко ставит вопрос о народности усадебной культуры:

«Не есть ли эта культура искусственный оазис, оранжерейный цветок среди безбрежной степи этой дикой стихии, не имевший в ней корней и потому обреченный на гибель?» (стр. 145).

Нет. Преданья семейной старины, семейная жизнь, укорененная в старорусской традиции, живая связь с церковью и ее деятелями — все это заставляет видеть в усадебной культуре почвенную кражистую силу, а не экзотический цветок.

При чтении Н. С. Арсеньева совершенно ясно становится, что русская духовная жизнь началась не с Фейербаха и Чернышевского. Была у нас не одна интеллигенция, а две: одна пошла от Гельвеция и Фейербаха, а другая от святых отец, в том числе и в русской земле просиявших, от французской религиозной культуры, от немецкого романтизма.

Н. С. Арсеньев не мог миновать истории нашего духовного развития. Нельзя не быть ему благодарным за портреты Д. Веневитинова, Станкевича, славянофилов. Книга дает возможность почувствовать почву, на которой выросло все это духовное богатство. Почва эта — не только немецкие университеты, но и «ореховые шкафы» дедовских библиотек, и живое общение с носителями русского религиозного опыта, и оригинальные русские мысли. Пушкин, Вяземский, Тютчев, Баратынский, Толстой, Достоевский... им отведено много места в книге Н. С. Арсеньева.

Теперь, в 150-ю годовщину Отечественной войны, особенно волнуют страницы, которые Н. С. Арсеньев посвятил этому приспомятному событию. Оно было огромным толчком для русского культурного развития. Из испытания войны, говорит Н. С. Арсеньев, мы вышли более европейцами, чем прежде и более русскими, чем прежде. Хотелось бы, чтобы эта мысль не была забыта в дни юбилейных поминовений.

Н. Осипов

МАРТОВСКИЕ ДНИ 1917 ГОДА. С. П. Мельгунов. Париж, 1961.

Перед читателем проходит вереница первых дней февральской революции: сумбур в Таврическом дворце, неприкаянные солдаты, еще не знающие, что им делать, улицы революционного Петрограда, экспедиция ген. Иванова, отречение императора Николая II, жизнь в Царскосельском дворце в эти дни, эксцессы во флоте, симптомы разложения, обреченность Временного правительства.

Задача С. П. Мельгунова — документально восстановить, как это все собственно происходило. При этом С. П. Мельгунов стремится с максимальной точностью, по дням и часам, а по возможности и по минутам, установить время того или иного события, беспощадно исправляя свидетелей, которые, по обычаю всех свидетелей, путают безбожно. Шульгин говорит, что он выехал в Псков на свидание с императором на рассвете, — «в 2 ч. 47 мин. пополудни», поправляет его Мельгунов. Но важно установить не только факты несомненные и бесспорные. Были и такие, о которых не осталось прямых свидетельств: полуфакты, полунастроения. Например, поездка Шульгина и Гучкова в Псков обычно изображается,

как конспиративное предприятие в тайне от Совета, представители которого даже хотели помешать едущим, но они как-то «проскочили». На самом деле, не было тайны, и представители Совета решили смотреть на поездку сквозь пальцы, — нигде это не зафиксировано, но это явствует из разрозненных фактов, искусно сопоставленных исследователем.

Конечно, С. П. Мельгунов, согласно исследовательской традиции, ценит прежде всего протоколы и дневники, т. е. документы, в которых события запечатлены по горячим следам; с большим скепсисом относится он к воспоминаниям, где события прошли сквозь призму их позднейшей оценки автором. Беспощадно расценивает он «Дни» Шульгина, которые в самом деле изобилуют неточностями. Вот, например, Шульгин «очень картинно изобразил потрясающую речь Милюкова» у вел. кн. Михаила Александровича. Мельгунов по этому поводу замечает не без яда, что Шульгин попал на Миллионную к самому концу речи Милюкова. Следует заметить, что как раз в этом случае Мельгунов оказался несправедлив к Шульгину, которому было достаточно одного мгновения, чтобы оценить ситуацию. И Милюков, белый, как лунь, с сизым от бессонницы лицом, хриплым голосом каркающий самые значительные слова своей жизни, войдет в историю, как его изобразил Шульгин, потому что изображение это соединяет художественность с покоряющей жизненной правдой. А хронология по часам и минутам страдает у Шульгина, — это верно.

Исследование Мельгунова представляет собой блистательный пример ученого отцеживания комара, однако без поглощения верблюда и вызывает изумление мастерством, поистине ювелирным, и колоссальной массой труда, которую оно потребовало. Мельгунов вообще мастер исторического микроисследования. Его микроскопическая сетка нужна ему не только для точнейшего установления последовательности фактов и их достоверности или сомнительности.

В отдельных случаях она помогает ему разрушить основания складывавшихся в то время легенд, которые, обрастая позже фантастическими подробностями, приобретали характер фантастической достоверности. Разрушение этих легенд — большая заслуга Мельгунова. Он разрушил легенду о коварном замысле Николая II свергнуть Россию в пучину бед, отрекшись за Алексея с тем, чтобы позднее снова объявить его законным претендентом на престол. Разрушил он легенду о том, что императрица толкала волю императора в этом направлении. Проследив историю экспедиции ген. Иванова, он восстановил ее действительный облик, искаженный легендой, и т. д., и т. д. Проследить сложнейшую ткань исследования С. П. Мельгунова в рамках рецензии, разумеется, невозможно.

Книга заканчивается безнадёжным свидетельством Милюкова о том, что Временное правительство вовсе не было правительством, а только каким-то комитетом по созыву Учредительного Собрания и осторожным

замечанием Мельгунова: «Приходится усомниться в том, что руководящее ядро в правительстве сознательно шло на политическое самоубийство».

Н. Осипов

«НАЦИИ СССР И РУССКИЙ ВОПРОС». И. А. Курганов. Изд. Комитета за права и свободу в России, Франкфурт/Майн, 1961.

Большой фактический материал, собранный автором, всесторонний анализ и объективные выводы, завершающие работу, определяют значимость книги проф. И. А. Курганова. Книга эта ценна и интересна как для русского, так и для иностранного читателя, владеющего русским языком, и можно только пожелать, чтобы она была переведена на иностранные языки.

Книга состоит из четырех частей: 1. Нации и национальная политика коммунизма; 2. Национальная ситуация в СССР; 3. Перспективы перестройки СССР; 4. Русский вопрос на Западе.

Анализируя коммунистическую национальную политику, автор напоминает, что ставку на расчленение России, выдвигаемую некоторыми кругами на Западе, прокламировали еще большевики. Ленин, например, перед захватом власти в России писал: «Кто пишет против государственной измены, против распада России, тот стоит на буржуазной, а не на пролетарской точке зрения» (соч., т. 17).

Тактика Ленина, как указывает проф. И. Курганов, сводилась к тому, чтобы «идти к власти через расчленение России с последующим объединением ее на коммунистических началах».

В своей дальнейшей, до наших дней, национальной политике, используя центристские тенденции в настроениях населения, отсутствие национальной розни и сознание общности своей судьбы, коммунистическое руководство, в одинаковой мере попирая интересы всех народов Советского Союза, преследует свои собственные интересы по сохранению и укреплению своей власти.

Основываясь на советских сведениях о численности населения России в 1913 году, а затем в 1926, 1939 и 1959 годах и учитывая данные о приросте населения, автор показывает, что в результате коммунистического господства наш народ постигла демографическая катастрофа. Он пишет, что это следствие —

«специфического для коммунизма бесчеловечного отношения власти к народу, которое проявилось во время войны и которое проявляется в СССР непрерывно. Как бы велики военные потери ни были, они составляют все же не более одной трети всех людских потерь в СССР. На две трети эти потери связаны, прежде всего, с непрерывным террором коммунизма, непрерывным полуголодом в стране, непрерывной нуждой и жилищной скученностью, непрерывными мобилизациями, разрушающими соотношение полов

и нормальный общественный быт народа. Вот почему СССР с 1926 по 1959 год потерял 75 миллионов человек».

Такова цена коммунизма, общего врага как малых, так и больших народов.

В части, посвященной национальному составу населения, автор показывает, как в СССР постепенно происходит национальная консолидация и сокращение числа национальностей: по переписи 1926 года в СССР было учтено 194 национальности, — по переписи 1959 года их указано только 108.

Отмечая, что наиболее многочисленные нации СССР — русская, украинская и белорусская, И. Курганов пишет:

«Общее их происхождение, в значительной мере общая историческая судьба, ряд общих черт духовной и материальной культуры и общая, продолжающаяся столетиями жизнь в одном государстве, способствовали тесному их сближению. Все это дало ученым основание говорить о «русском элементе» в национальной структуре России, т. е. о группе родственных по крови и языку, а также близких по своему историческому прошлому трех русско-славянских нациях».

Автор далее подчеркивает:

«Преобладание славянорусского элемента, а в его составе абсолютное преобладание русской нации, составляет одну из основных особенностей национальной структуры СССР».

Статистические данные показывают неуклонный рост численности собственно русского населения в ряде национальных республик СССР, причем, этот рост нередко перегоняет прирост живущего там коренного населения. Это подтверждает, что в СССР происходит грандиозный процесс миграции населения, главным образом с запада на восток, вызываемый прежде всего экономическими причинами. В результате этого процесса население разных национальностей все более перемешивается и ускоряется процесс слияния народов СССР в одну нацию. Анализируя этот процесс, И. Курганов пишет:

«В СССР часто пишут: «мы — россияне», но народ еще не слился в одну российскую нацию и эта формула говорит скорее о будущем, чем о настоящем. В СССР часто пишут: «мы — украинцы», «мы — белорусы» и т. д., но народ не представляет собой тех традиционных украинцев, белорусов и т. д., какие были в 1915—1920 годах и эта формула говорит скорее о прошлом, чем о настоящем. Современные нации СССР развиваются в направлении к своему единству: они уже не являются прежними традиционными нациями, но они еще не являются и новой, единой нацией. Это нации переходного периода.»

В третьей части автор излагает свои соображения по поводу возможного будущего устройства России, давая интересный материал для обсуждения этого вопроса.

Четвертая часть книги посвящена анализу взглядов некоторых кругов на Западе, поддерживающих идею расчленения России, которые нередко фальсифицируют ее исторический путь. И. Курганов опровергает эти взгляды, сводящиеся к тезисам: «Россия — империалистическое го-

сударство», «империализм — прирожденное свойство русского народа» и т. д. Автор пишет:

«В свете... действительности вся теория о русском империализме — не только провинциально-устарелая, но и объективно-несостоятельная, ложная теория».

И как бы заключая свою книгу, И. Курганов пишет, что только ускорение развивающихся в СССР социально-политических процессов и укрепление единства народов в нем, противостоящих коммунизму, только победа над коммунизмом в СССР может привести к разрешению «русского вопроса» и к спасению мира от гибели.

В. Самарин

«ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ». Андрей Седых. Изд. «Нового русского слова», Нью-Йорк, 1962.

Книга эта привлекает внимание прежде всего тем, что в ней можно встретиться с такими уже далекими, но вместе с тем близкими, большими людьми, как Куприн, Алданов, Рахманинов, Ремизов, Шаляпин, Глазунов, Бунин и другие.

Автор в предисловии предупреждает:

«Это — не биографии и не опыт литературной, артистической или какой-либо иной характеристики. Это — личные воспоминания, только то, что я видел и слышал, что связывало меня с этими людьми».

И еще предупреждение в середине книги: «В воспоминаниях очень трудно избежать „ненавистного я“». Однако, то, что для многих пишущих в подобного рода воспоминаниях составляет непреодолимую трудность (которую зачастую и не хотят преодолевать), Седых преодолел вполне. Во всей книге, во всех случаях повествования о его общении с тем или иным лицом, Седых остается в тени. Из нее он появляется лишь тогда и настолько, насколько без этого не обойтись для показа чьей-либо характерной черты. Например, способность корректного Милюкова возмущаться озорной невыдержанностью молодых сотрудников свое газеты, Седых показывает в эпизоде, когда именно ему Милюков дает «взбучку».

О ком лучше всего рассказывает автор? Тут дело вкуса, дело симпатий самого читателя. Влюбленный в гений Шаляпина будет в восторге от рассказов о Шаляпине во всем его широком «диапазоне». Вот он —

«царь Борис, — скорбный, с печальной думой на темном, немного татарском лице, окаймленном черной как смоль бородой. Величава и медлительна его поступь, скорбит душа его»...

И он же, Шаляпин, преобразается в «воротившегося ночью» пьяненького мельника, в старика-гренадера, бредущего из русского плена, в беглого монаха Варлаама... А вот уже не на сцене:

«Какой-то советский сановник начал поучать Федора Ивановича, как надо понимать пролетарское искусство. Шаляпин побелел, встал, взглянул на него и загремел: Ты кого учишь, сукин ты сын! Я царя Бориса понимаю, а твоего пролетарского искусства понять не могу?! Вон отсюда, пока я тебя с лестницы не сбросил!»

Поклонники Волошина, или Рахманинова, или Милюкова не могут не остаться неудовлетворенными живыми, полнокровными изображениями своих «далеких близких». Но Седых достигает еще большего: читателю и неблизкие становятся близкими. Ремизов, к примеру, особыми симпатиями читателей не пользуется. В его произведениях читателей раздражает, как говорит Седых, —

«не всегда понятная абстрактность, внутреннее издевательство, чрезмерное пристрастие к описанию всяких 'африканских докторов', неправдоподобность снов, бесконечная чертовщина, которую позаимствовал Ремизов у Гоголя и которую возвел он в некий литературный и даже житейский стиль».

Но Седых так тепло, участливо показывает этого своеобразного писателя с его странностями и причудами, что даже предубежденный читатель приближается к нему с симпатией и участливостью...

«Крупным планом» дан Алданов и особенно Бунин. Читая о Бунине, представляешь его так ярко и в дни его солнечные, и в дни хмурые, отуманенные самой прозаической бедностью. Многозначительно применено к этому Седых:

«Читателей, вероятно, смутит откровенность, с которой я говорю о бедности некоторых писателей. Сделано это сознательно и это — дань их мужеству. И. А. Бунину, например, предлагали в случае возвращения в СССР богатую, обеспеченную жизнь. Только прочтя письма, в которых он рассказывает о своей 'нищей старости', становится понятно, как велик подвиг писателя, обрекшего себя на моральные и физические лишения во имя сохранения личной свободы».

И еще очень хорошо и своевременно говорит Седых:

«Есть вещи, которые следует опубликовать, ибо советские литературоведы теперь стараются превратить многих выдающихся русских эмигрантов, упорно не желавших вернуться умирать на родину, в 'советских патриотов'».

Весьма интересно живут в книге Седых три больших русских юмориста — Дон Аминадо, Саша Черный и Теффи, в творчестве которых «смешное и грустное так тесно переплетаются, что не всегда разберешься — плакать хочется, или смеяться?».

Интересны — и очень! — в конце книги «Монпарнаские тени» — беглые зарисовки на фоне парижской богемы. Приходят и уходят Борис Поплавский, «тухлый дьявол» Алексей Толстой, Довид Кнут...

Книга написана тем хорошим, литературным русским языком, для изобразительной силы которого нет ничего невозможного.

К. Д.

«ОГНИ АЗИИ». Елена Рубисова. Париж, 1961.

Легендарная птица Феникс восставала к новой жизни из огня, из пепла. Оживает перед читателем и легендарный Восток в книге Елены Рубисовой «Огни Азии». В этих огнях живо, «осязуемо» выглядят, начиная с Греции — Ирак, Иран, Пакистан, Индия, Цейлон, Непал, Бирма, Индонезия, Египет, которые Е. Рубисова недавно посетила.

В главе «Ур Халдейский (родина библейского Авраама) автор пишет:

«Желтые цветы, пронизанные солнцем, кажутся золотыми. Они совсем такие же, как золотые цветы в диадеме царицы Шубад. Здесь, на поверхности холмов, в которые превратился город, где она жила, цветы эти все еще растут».

Так, на всех страницах книги, даже самое древнее прошлое «увязано» с нашим «сегодня», пронизано одним и тем же живительным солнцем. Даже говоря о Заратустре, жившем более тысячи лет до Р. Х., автор находит уместным, своевременным (и читателю это кажется вполне естественным) одновременно говорить об американских мальчишках, о межпланетных снарядах...

В Бомбее «По широким — как Елисейские поля Парижа — новым авеню города движется множество автомобилей. Экипажей, запряженных лошадьми, почти не видно, их заменили такси» — и в органической связи с этим показываются буддийские храмы, где «все насыщено тишиной и покоем. Сурия — Солнце — шлет живое, могучее золото лучей своим детям».

Глава об Индонезии начинается так:

«Остров Бали — „rip-up“ Индонезии: мы часто видим на афишах и фотографиях его пляжи, окаймленные пальмами, скульптурные ворота его храмов и, особенно, его танцовщиц в высоких и пышных коронах из цветов».

И дальше этот красочный мазок современности неощутимо переходит в яркий показ древней символической мистерии «Баронг», в интересную беседу о балийских храмах, о богинях Деви Шри, Деви Дану, Деви Гунунг...

Даже в древнейшей каменной громаде — в Хеопсовой пирамиде — автором живо и своеобразно столкнуты древность и современность. Нельзя не привести эти строки:

«Несмотря на абсолютную тишину, комната Хеопса показалась мне насыщенной таинственными шумами — шепотами, голосами. Что это? Голоса камня? Или голоса другого мира? Похожее ощущение «говорящей тишины» испытываешь иногда, глядя на безмолвное широкое поле, залитое светом полной луны. Неожиданно этим голосам, шепотам тишины, ответил мощный живой голос — комната Хеопса огласилась и наполнилась звуками русской песни (без сомнения, первый случай в истории пирамиды). Проводник египтянин так удивился этой столь непредвиденной реакции русской души туриста на таинственные вибрации в воздухе «королевской комнаты», что застыл, как

вкопанный. Безмолвно и одобрительно прослушав песню до конца, он спросил...»

Но не будем продолжать цитирование: этак нам придется цитировать всю книгу. Хочется только сказать еще вот что: книга «Огни Азии», написанная сочным живым языком, не только, так сказать, занимательна, — она имеет и научно-познавательный характер.

Книга обильно иллюстрирована фотографиями Г. А. Рубисова, составляющими органическое целое с текстом.

К. Д.

«СКАЗКИ СИБИРСКИЕ. ЛЕГЕНДЫ О БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» Ив. Новгород-Северский, Париж.

Чудесная книга! В содержании и языке не чувствуется ни малейшей, хотя бы и очень тонкой, подделки под народные сказки и легенды. Можно сказать, что авторы этой книги — сами русские сибиряки, корейцы, чукчи, алтайцы, киргизы, эвенки, а Новгород-Северский только с любовью, со старанием высыпал на бумагу самоцветы их устного творчества.

Сказки в книге таковы, что их с истинным удовольствием прочтут и дети и взрослые. Последние даже с более глубоким интересом, находя в содержании и языке те прелести, которые детям для осознания и оценки еще недоступны.

В сказках хотя и немало давным-давно знакомых персонажей — зайцев, медведей, голосистых петушков, чудаковатых дедушек-бабушек, вплоть до царевичей и жар-птиц, причем даже в издавна знакомых вариациях, но все это в книге Ив. Новгород-Северского звучит по-новому, свежо, оригинально. На многие сюжеты, на вариации в них наложила свою сочную, яркую, своеобразную печать матушка Сибирь. Эта печать и на замечательном языке сказок, на присловьях, погудках-прибаутках, поговорах, щедро вмешанных в сказки.

Вот, к примеру, один из зачинов сказки:

«У нас пасека была недалеко от села. За кривым Иваном, за морем-кияном. Пасека небольшая — от Оби до Алтая, пять тыщ ульев. А пчелы... Всего пять пчел! Во каки пчелы: каждая пчела по тыщи верст взяла. От улья к улью летает, никогда дома не бывает. На поход летят — ворота трещат»...

Или вот зачин совсем словно бы старинного образца:

«Зачинатся сказка — елова подмазка: от сивки, от бурки, от вещей каурки. У глухоморья сибирского, у стана богатырского, на льду киянском, у озера Канского, стоит зелена листвяжина — золоты маковки. Стоит — небо подпирает. На ей в зиму-зимскую сполохи играют. По этой по лесине ходит кот — баюн говорун»...

Неправда ли, этот старинный зачин выглядит совсем сибирским?

Или вот некоторые из тех словечек, выражений, своеобразных оборотов речи, из которых состоят все сказки сплошь:

«Они с норовом, упрямые, занозистые, домоседы. Не пойдут итти». «Посередь той еланки небольшая фатерка: избушка об одном окошке. На куричьей

ножке, на собачьей голяшке. Берестой крыта, груздем подперта». «Тогда зачала Алтай-Гора шуметь, реветь. Словно с нее шкуру сдирают». «Долго плакал глухарь... От слез у него глаза и брови покраснели». «Под-над стенкой зерно сыплется, ядреное, как горох, крупное, как слеза оленья». «А сама (собака К. Д.) отлучилась по своему собачьему делу. А может к хозяину, хлеб хвостом выколачивать». «Рад медведь, что от охотника удрал; счастлив и охотник, что не попался медведю». «Хмелек щеголек: сам ходит в рогожке, а нас водит нагишом!»

Нельзя не отметить и того, что все сказки проникнуты народным теплом, добродушием, любовью и сочувствием ко всему живому. Характерна в этом отношении такая сентенция из сказки «Не робей, воробей»:

«Всякого Бог терпит на своей земле. Всякому радуется, будто он нужен Ему. А нам самим как знать, кто кого нужнее? Думаешь: подлец человек, а он возьмет да из самого что ни есть огня-попымя тебя и вынесет. Сам опалится, а тебя спасе. Так — без корысти, за здорово живешь».

Никак не в контрасте со сказками, но в естественной, органической, нежно-ласковой увязке с ними находятся сибирские легенды о Божией Матери. Божия Матерь в этих легендах — «Скорая Заступница» всех сирых, обездоленных, «Радость всех скорбящих». Ходит Она по земле сибирской простой странницей, помогает тетке Матрене в канун большого праздника хлеб на полосе дожать, учит людей гречку-гречиху сеять, от погибели тела и души людские спасает.

Поэтому-то во всех избах сибирских в переднем углу торят (горели?..) неугасимые лампадки «перед Матерью Божией, Радость всех скорбящих называемою». И верит (верил?..) народ, что придут иные времена и —

«Тогда возрадуется Пресвятая Богородица и от радости възрыдает. Сына Божия облобызает и Сыну Божию скажет: — Благодарение Тебе, Сыне, что мир не сгинул!»

К. Д.

ПАМЯТИ С. К. МАКОВСКОГО

15. 8. 1877 — 13. 5. 1962

Последние месяцы Сергей Константинович чувствовал себя плохо: грипп, температура, постоянная слабость. Он почти не выходил из дома: надо было беречь силы.

— Вы даже не предполагаете, как их мало осталось... как мне мало осталось. По настоящему мало, — спокойно, без рисовки, говорил он, с какой-то даже жуткой примиренностью.

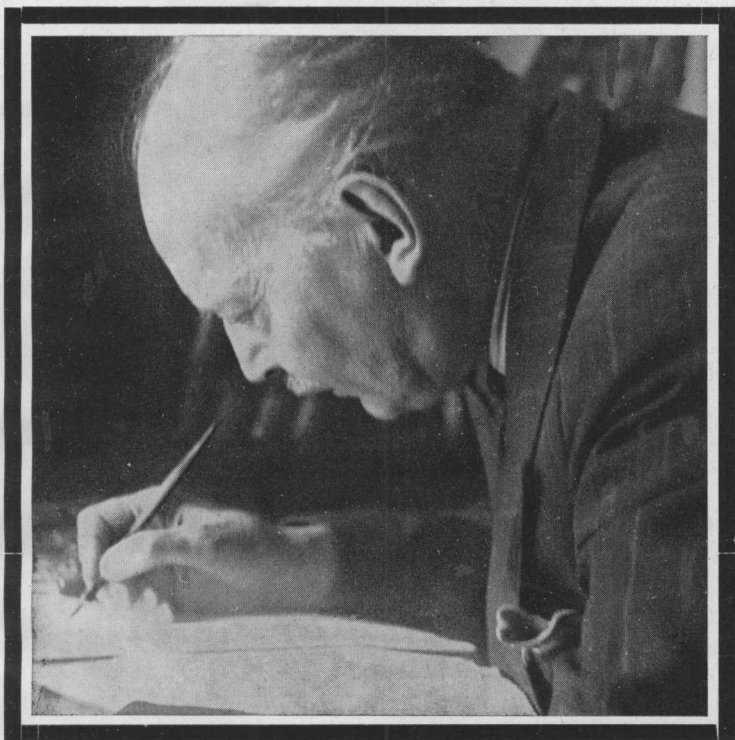
Я был у него совсем недавно, — зашел, как всегда, на минутку, и просидел около двух часов. Он обо всем расспрашивал, всем интересовался, не хотел отпускать: от болезни будто ничего не оставалось.

Говорили обо всем: о соотношении сил между «Востоком и Западом», о возможности межпланетных путешествий, о новой французской книге о Льве Шестове, возмущившей Сергея Константиновича, о стихах Евтушенко, о неизбежности и вместе с тем невозможности третьей мировой войны. И снова — о поэтах и писателях.

Решительно всем интересовался этот родившийся еще в царствование Александра II человек. И если другие, более молодые, постепенно замыкались в себе, отходили от текущей жизни и сторонились событий, то Сергей Константинович на все отзывался, все переживал и всему старался найти причины и вывести следствия. На его письменном столе всегда лежали газеты и журналы: французские, немецкие, английские.

Вместе с тем, до последнего дня оставался он тем, кем был в России, полвека тому назад: представителем серебряного века, западником первых десятилетий нашего столетия, одним из центров, вокруг которого, со времен «Аполлона», вращалась элита русской литературы и искусства. Но если тогда, вместе со своими друзьями и сотрудниками по «Аполлону», он «болел Западом», то в эмиграции к этому прибавилась обостренная болезнь Россией, русской культурой, русским будущим.

Вот почему все разговоры с Сергеем Константиновичем неизмен-



С. К. МАКОВСКИЙ
15. 8. 1877 — 13. 6. 1962

(Один из последних снимков)

но кончались разговором о русской литературе, о русских писателях, поэтах, художниках, музыкантах, философах. Кого только не знал он, с кем не встречался, кого не читал! И где только он сам не писал!..

Сын известного художника Константина Егоровича Маковского, Сергей Константинович начал писать и печатать статьи по искусству уже в 1898 году. В 1905 году вышел первый сборник его стихов; несколько лет спустя — сборники критических статей. Он был одним из основателей и редакторов журнала, посвященного русской художественной старине — «Старые годы» (1907—1917), руководил русским отделом выставки, устроенной этим журналом в Петербурге в 1908 году. В те же годы читал лекции по всеобщей истории искусства в «Обществе поощрения художников». В 1909 году основал свое главное и любимое детище — художественный журнал «Аполлон», который и редактировал почти девять лет, вплоть до октябрьского переворота.

Был организатором многих выставок: в 1910 году организатор русского отдела на Международной выставке в Брюсселе; в том же году — устроил выставку художников «Мира искусства» в Париже; в 1912 году, совместно с Французским институтом в Петербурге, юбилейную выставку «Сто лет французской живописи»; в 1914 году был комиссаром художественного отдела на выставке книжного искусства и графики в Лейпциге. Тогда же составил книгу о русской книжной графике. В 1913 году основал журнал, посвященный русской иконописи, в котором приняли участие все видные знатоки древнего русского искусства. Один из учредителей «Общества защиты памятников искусства и старины».

В эмиграции Сергей Константинович писал во многих русских изданиях; в Берлине и Праге выпустил несколько книг. Наиболее значительные из них: «Силуэты русских художников», «Итоги современной живописи», «Народное искусство Подкарпатской Руси». Последняя книга вышла на трех языках: русском, чешском и французском; вместе с выходом книги была устроена большая выставка «Искусство и быт Подкарпатской Руси» (Прага, 1922).

Годы 1926-1932 — С. К. один из редакторов газеты «Возрождение», руководитель ее литературно-художественного отдела. После войны, в течение нескольких лет — председатель Объединения русских писателей в Париже и редактор сборников «Встреча»; с 1949 по 1959 год редактировал сборники русских зарубежных поэтов, выходивших в издательстве «Рифма». Деятельный сотрудник «Нового журнала» и альманаха «Мосты», как и газет «Новое русское слово» и «Русская мысль».

С 1940 по 1957 год вышло семь сборников его стихов: «Вечер», «Somnium Breve», «Год в усадьбе», «Круг и тень», «На пути земном»,

«В лесу» и «Еще страница». В 1955 году, в издательстве имени Чехова, вышла книга его воспоминаний — «Портреты современников»; наконец, в этом году, в издательстве ЦОПЭ, второй том воспоминаний — «На парнасе серебряного века».

Эта последняя книга явилась как бы духовным завещанием Сергея Константиновича. Он говорил еще в прошлом году:

Больше ничего не хочу. Издать эту книгу и умереть.

По выходе, тотчас же начал рассылать ее своим многочисленным друзьям, деловым знакомым — и каждый день получал в ответ благодарственные письма, отзывы буквально со всех концов света; звонили ему даже из Москвы, по поводу книги.

— Много еще надо бы рассказать и досказать. Да нет ни времени, ни сил, — говорил С. К. незадолго до смерти. И подбирал материал из своего архива, делал записи, собираясь написать статью о Серове, по просьбе редакции «Мостов». Вместо этого телефонный звонок: «Вчера вечером Сергей Константинович скончался». Умер он, когда в квартире никого не было. . .

До последних дней сохранял он горячность, острый интерес к новым людям, всегда кем-нибудь или чем-нибудь увлекался. За увлечениями следовали разочарования, потом новые увлечения — и так до смерти. Казалось, всю жизнь искал невозможного совершенства, наделял людей или книги несуществующими качествами, а потом, убедившись, что их нет, отходил, разочаровывался, чтобы снова искать, возвращаясь в заколдованный круг. Но искренен был всегда, и в увлечениях, и в разочарованиях. С жаром хвалил и горько жаловался, убедившись в ошибке. Он действительно всего себя отдавал постоянному исканию, горению, ни на мгновение не ослабевающему интересу к людям.

В людях искал ясности, порядка, верности данным обещаниям. Часто жаловался:

— Не хватает этого у нас, русских. Мы сотворены по образу и подобию героев Достоевского. Нам бы учиться, а мы все в учителя норовим, весь мир хотим переделать.

Поэтому особенно любил Пушкина:

— Пушкин писал, думал и любил не по нашему. Мы без надрыва ничего не умеем делать, нам логика претит. А Пушкин — непонятно даже, откуда свалился в нашу дичь этот блестящий европеец. И принялся порядки наводить в нашей неразберихе. А между тем, никто так не чувствовал и не понимал России и русского народа, как он. Что осталось от «народа богоносца», от мистических видений Соловьева, от пророческих вещаний Блока,

Сергей Константинович не любил этого «тумана». Чувствуя себя европейцем, он хотел, чтобы мы, русские, научились порядку и — «свою собственную кашу расхлебали бы, а потом уже шли варить

международный компот». Не любил и «душевных излияний» и может быть поэтому многие считали его сухим, даже черствым. Но это была не черствость, а замкнутость, охрана своего внутреннего мира от других и охрана других от себя. Каждому довольно своих собственных забот и тревог, а чрезмерные «излияния», считал он, всегда поверхностны и редко искренни.

Сергей Константинович часто возвращался к этой теме, говорил о неискренности, рисовке, сентиментальности вместо подлинного чувства, тщательно оберегая себя от них. Но тех, кого он ценил и к кому привязывался — об этих людях он говорил всегда с жаром и заботливо хранил их имена и память. Так, до смерти, бережно сохранял он память о своем друге Иннокентии Анненском, как и о многих других людях.

Кончина С. К. Маковского — уход от нас одного из последних творцов блестящего периода развития русской культуры, ее «серебряного века».

К. ПОМЕРАНЦЕВ

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ: Колеблемый треножник .	3
ПОЭЗИЯ — ПРОЗА	
ВЛАДИМИР СМОЛЕНСКИЙ: Стихи	11
ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН: Видение (рассказ)	17
О моих женах, о ледоколах и о России (очерк)	21
ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВА: Стихи	26
ГАЙТО ГАЗДАНОВ: Нищий (рассказ)	30
ОЛЕГ ИЛЬИНСКИЙ: Стихи	43
Н. БЕРБЕРОВА: Маленькая девочка (пьеса)	48
АЛЕКСАНДР БЕК: Стихи	105
ИРИНА ОДОЕВЦЕВА: На берегах Невы (отрывок)	109
СТИХИ А. ЛИСИЦКОЙ, с предисловием Г. Струве	121
МИЛОВАН ДЖИЛАС: Война (рассказ)	137
ЛИТЕРАТУРА — ИСКУССТВО	
ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ: Пушкин	144
В. ВЕЙДЛЕ: Для кого пишет писатель?	153
П. БОБРИНСКИЙ: Мысли о русском символизме	171
ЮРИЙ ИВАСК: Литературные заметки	177
АЛЕКСАНДР НЕЙМИРОК: Иво Андрич	192
АЛЕКСАНДР ВАХРАХ: О Николае Оцупе	203
БОРИС ФИЛИППОВ: Страстное письмо с неверным адресом	211
КУЛЬТУРА — ПОЛИТИКА	
ЛЕВ ШЕСТОВ: Платон	229
Г. КРУГОВОЙ: О жизненной драме Владимира Соловьева	244
СЕРГЕЙ ЛЕВИЦКИЙ: Кризис общения	258
Б. МАТИНО: Социально-политические идеи христианской демократии	268

Н. ОТРАДИН: Вокруг разоружения и вооружения	280
Д. ШУБ: Ленин и марксизм-ленинизм	298

ДОКУМЕНТЫ — ВОСПОМИНАНИЯ

Переписка И. С. Шмелева с Томасом Манном	317
ЮРИЙ АННЕНКОВ: Б. Пильняк, И. Бабель и М. Зощенко	325
А. БЕЛЬГАРД: Печать и Распутин	345
ВЛ. ГЕССЕН: Из воспоминаний	352
В МИРЕ КНИГ: Борис Зайцев — «Тихие зори»; «Божественная комедия. Ад», перевод Б. Зайцева; С. Маковский — «На парнасе серебряного века»; The Penguin Book of Russian Verse; С. Мельгунов — «Мартовские дни 1917 года»; И. Курганов — «Нации СССР и русский вопрос»; А. Седых — «Далекие, близкие»; Е. Рубисова — «Огни Азии»; Ив. Новгород-Северский — «Сказки сибирские»	365
Памяти С. К. Маковского	380

В этой книге десять иллюстраций